

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Ю. ДАВЫДОВ

ВЕЧЕРА В КОЛМОВЕ
И ПЕРЕД ВЗОРОМ ТВОИМ...


ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Ю. ДАВЫДОВ

ВЕЧЕРА В КОЛМОВЕ

Повесть о Глебе Успенском

И ПЕРЕД ВЗОРОМ ТВОИМ...

Опыт биографии моряка-мариниста

Москва «Книга» 1989

ББК 84Р7-4
Д 13

Вступительная статья *Юрия Болдырева*

Разработка серийного оформления
Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера, Н. А. Ящука

Художник *Ю. А. Цветаев*

Д $\frac{4702010201—016}{002(01)\text{-}89}$ 22-89

ISBN 5—212—00113—7

БЛИЗКОЕ ДАЛЕКОЕ

Перед нами книга, в которой два — точнее — три, а еще точнее — четыре главных действующих лица. К реальным людям прошлого века Василию Головнину и Глебу Успенскому присоединяется Николай Усольцев, вымышленный писателем Юрием Давыдовым. Он-то и есть четвертый.

Порою ловишь в себе некое удивление: как же это удается ему быть столь разным, а порою и совершенно непохожим на того, каким ты представлял автора, читая предыдущие страницы? Думаю, причина в том, что каждый раз возникают, так сказать, сообщающиеся душевные сосуды — автора и персонажей.

Писательство (если оно не самозабвенное марание бумаги, то бишь графомания) — один из способов самопознания, неустанного устроения души. Вероятно, читатель легко убедится в правильности сказанного, сравнив «Головнина» с «Вечерами в Колмове».

Лихость, молодечество, нет-нет да и вспыхивающие на страницах «Опыта биографии моряка-мариниста», как бы запечатлели молодость автора, радость обретения живости письма, умения своевольно, легко, ненатужно распорядиться словом, которым он даже бравирует, будто вчерашний курсант новенькими лейтенантскими погонами.

Ко времени работы над «Вечерами в Колмове» это умение куда как возросло, но оно уже не заботит писателя. Стиль стал сдержаннее, медлительнее, основательней. Все внимание сосредоточено на сути. Тот иль иной абзац «вынь» из небольшой повести и почувствуешь весомую зрелость раздумий, наполненных нелегким опытом прожитого. И все же, конечно, это тот же Давыдов, некогда обратившийся к историческому жанру, скорее всего не только и не столько ради интересных и для него, и для читателя ситуаций и коллизий, даже не из желания поведать нам о замечательных людях, а прежде всего ради попытки ответить на жгучие вопросы, поставленные и ставящиеся современностью.

Что же это за вопросы?

Наверное, их можно свести к знаменитому козьмапрутковскому: «Где начало того конца, которым оканчивается начало?». С середины 50-х годов, после XX съезда, после доклада Н. С. Хрущева о культе личности, многих не могла не охватить, говоря нынешними словами Ю. Давыдова, «скорбь о негодяйстве нашем» и неотступная

жажда осознать, почему же, почему разразился в стране шабаш репрессий. И вот вопросы — кто мы? что значим? откуда пришли, куда идем? — потрясли всех, кто мыслит и чувствует.

Ю. Давыдов, судя и по разного рода интервью, а главное, судя по его писательской практике, считал и считает, что многие проблемы нашего сегодня требуют пристального внимания к делам и дням второй половины прошлого века, к началу века нынешнего.

«Мне кажется, — говорит он, — что я иду от проблемы, но не от исторической проблемы, которую вычитал в книгах, а от того короткого замыкания, которое происходит от соприкосновения проблемы исторической с проблемой современности. В то же время и не ищу аллюзий и не занимаюсь ими. Аллюзия — это дело пустое, пена, проблем ни исторических, ни современных она решить не может и предназначена только для читателя, который читает между строк и порою даже не замечает, что содержится в самих строках. Но то соприкосновение, то короткое замыкание и порождает, по-моему, исторического прозаика, вообще писателя. Без этого историческая проза превращается в антикварную лавку, в нумизматическую коллекцию. Как бы полно и детально ни была описана в ней соответствующая эпоха, авторское знание в такой прозе кажется набором случайных сведений».

Время от времени он уходил от народников, от их идейных противников и «деятелей» тайного сыска, погружаясь то в блистающий мир корабельных походов и морских сражений, то в бурные перипетии жизни отпрыска русской купеческой семьи, который оказался в предреволюционном Париже и в революционных Северо-Американских Штатах... Уходил, но неизбежно возвращался к своей «долгой теме», к тому клубку противоречий, что возник в пореформенной России, ибо из этого-то клубка нити протянулись, просквозили через революции и войны и дотянулись до теперешней быстротекущей жизни.

Исследуя революционное и освободительное движение, отыскивая высокие нравственные идеалы, завещанные прошлым, автор не мог не обратиться к могучей фигуре Германа Лопатина, что он и сделал в романе «Соломенная сторожка», удостоенном Государственной премии СССР 1987 года. И не мог он пройти мимо писательской и человеческой судьбы Глеба Успенского — одного из самых совестливых писателей России, одной из самых светлых и трагических личностей русской культуры. Образом Германа Лопатина писатель напоминал каждому из нас, на какой бы ниве он ни трудился, о необходимости честности, бесстрашия, моральной чистоплотности. Образ Глеба Успенского должен напомнить о святости литературного дела, о пагубности лжи, равнодушия, эгоизма для литературы, для писателя.

Давыдов не воссоздает полную биографию Успенского, подобно входящей в этот же том полной биографии Головнина. Всю жизнь Глеба Ивановича — счастье и горе, надежды и разочарования, светлое упование и кромешное отчаяние — автор, говоря

словами поэта Давида Самойлова, «врубает в один эпилог». Не завлекателен этот эпилог, не соблазнительна эта «беда здоровой совести в больном мире». Нет лавровых венков победителя и триумфатора, есть флигель в психиатрической лечебнице, хотя бы и такой, как Колмовская, где медики исповедуют и практикуют принцип «нестеснения».

Но есть и иное.

Рассказывая о неприятии Верой Фигнер, а возможно, и иными из ее героических соратников того, что писал Успенский о деревне, о мужиках («— От ваших мужиков тошно... Ничего светлого, жалкое стадо»), Давыдов утверждает: «Успенский не пугал деревней, не отваживал от деревни; он писал правду». То же самое можно сказать о показе Давыдовым горькой участи Глеба Успенского: не пугает — правду пишет, которая открылась ему, Давыдову, когда «настиг час». Правда эта горька и прекрасна, ужасна и высока. И влекуща, несмотря на ужас. Ведь говорит же доктор Усольцев, видящий тот мрак, в который все более погружается Успенский, и слова эти, произнесенные в самом начале повести, то и дело вспоминаются при дальнейшем чтении: «Еще студентом я состоял в Глеб-Гвардии: так называли в ту пору читателей-почитателей Успенского. Прибавил бы и обожателей, но словечко из лексикона институток, а наша гвардия рекрутировалась в основном из пролетариев умственного труда. Мы перемрем, лягушачьего пуха не останется, но любовь наша к Гл. Ив. переживет нас».

И современники Успенского, и мы, нынешние, не столь уж, к сожалению, многочисленные читатели его, привыкли видеть в нем зоркого и предельно честного изобразителя трудовой России былых времен, неустанного будителя общественной совести — и только. Давыдов существенно дополнил этот образ — показал Успенского-провидца, Успенского-пророка, который каждой частичкой своего сердца болел за деревенского труженика и в то же время мучился неотвязной мыслью «о многосложном» нравственном «расстройстве» народной жизни, сулящем в будущем «самые неожиданные комбинации».

Он высоко ценил самоотверженность народовольцев, но не принимал их метод, их «террорную доктрину». «Людям подполья Успенский верил до конца, они были начисто лишены мелодраматизма. Успенский не верил в бомбу, начиненную динамитом. Светоч идеала слепил людей подполья. Не заслоняясь, лишь опустив глаза, Успенский видел поле. И слышал тревожный шелест колосьев, возникавший вместе с тенями от наплывающих туч будущего. Его одиночество было вынужденным. Он стоял особняком именно там, где ему хотелось бы стоять в обнимку».

Что-то в этом будущем заставляло Успенского всматриваться в, казалось бы, архаический опыт Аракчеева, которого крестьяне честили антихристом именно за то, что он «*вломился в хлев*, в поле, в овин, везде и всюду, в самые недра земледельческого *творчества* да и крушил направо-налево *поэзию* крестьянского труда» (курсив Ю. Давыдова. — *Ю. Б.*).

Читая «Вечера в Колмове», думаешь не только об истории, но и о современности. И еще, еще раз убеждаешься в том, что подлинный, истинный, настоящий писатель, о каких бы временах и людях не писал, живет и нынешними, и завтрашними заботами...

Давние поклонники давыдовского таланта с интересом прочтут в этой книге его новую повесть. А те, кто прочтут жизнеописание Головнина, увидят, что состав книги не случаен. Василий Головнин и Глеб Успенский разделены временем, обстоятельствами жизни, тематикой и стилистикой своих произведений. Василий Головнин и Глеб Успенский объединены духом гуманизма, скрепами правды и честности.

Юрий Болдырев

ВЕЧЕРА В КОЛМОВЕ



В заведениях для умалишенных служба каторжная, а тебе говорят: «Николай Николаевич, кроме Колмова, других вакансий нет». Ты говоришь: «Помилуйте, я не психиатр». «Ну что ж, — пожимают плечами, — воля ваша». И тебе ничего не остается, как отправиться за несколько верст от Новгорода.

День, помню, соответствовал моему настроению. Сеялся дождик, осинки знобило, а тут еще это гнетущее ожидание рыданий и хохота губернского бедлама. Но вот в робкой роще показались флигеля и хозяйственные строения земской больницы.

Главный врач, осанистый, волоокий брюнет, встретил меня сурово, если не сказать надменно. Так и повеяло восточным владыкой, не то хазарским, не то ассирийским. (Позже я узнал, что Борис Наумович Синани происходил из караимов.)

Мы сидели в больничной конторе. Заглядывали служители в черных поддевках. Г-н Синани распоряжался отрывисто, видно было, что его боятся, и это мне ужасно не понравилось. Борис Наумович объявил, что принимает меня, терапевта Усольцева, лишь вследствие недостачи персонала. Да и вообще, прибавил он, психиатрами не делаются, а рождаются... Он стал задавать вопросы. Отвечая, я хранил корректную независимость, с трудом подавляя раздражение. Он вдруг рассмеялся: «Ну, чего это вы, батенька?» Я увидел совсем другого человека. «Кто знает, может, и вы родились психиатром», — с необидной, примиряющей снисходительностью предположил г-н Синани, и мы условились, что завтра же он начнет просвещать неофита-ординатора.

Это «завтра» давно уж кануло в Лету. Б. Н. Синани оставил Колмово, поселился в родных краях, в Симферополе или Ялте, точно не знаю. Я ему многим обязан. Да и человеком он оказался порядочным, хотя бы потому, что не жирел за счет больницы, по нынешним меркам этого достаточно.

Отъезд Б. Н. Синани меня огорчил. Смерть Успенского обрекла меня на неизбывное одиночество.

Хоронили Глеба Ивановича в Петербурге, на Волковом. Народу собралось много, но ни одной мундирной фигуры, никакой официальности. Пел студенческий хор, а казалось, процессия текла в безмолвии, как текут глубокие воды.

Нынче на дворе холода, носа не высунешь. Приступаю к своим

запискам... нет, лучше сказать, продолжаю, ибо и здесь, в Колмове, часто в мыслях своих обращаюсь к миражам Новой Москвы.

Доктор Усольцев не думал о читателе, свобода завидная.

Думать о читателе надо литератору, несвобода привычная.

Прежде всего вкратце сообщу историю трагическую и поучительную, сознавая, однако, непоучительность трагических историй.

Так вот, в прошлом веке, на исходе 80-х годов, в Африке, у пустынного берега Таджурского залива, возникло поселение русских колонистов — крестьян, мастеровых, интеллигентов. Все они желали устроить общежитие по совести. Увы, Новая Москва не устояла на добровольно заданных устоях еще до того, как ее спалила вражеская эскадра.

Медик Н. Н. Усольцев, колонист Новой Москвы, изложил ее перипетии в «Записках», впоследствии опубликованных. А здесь, зачином нашей повести, цитируется начало другой усольцевской тетради. Если «африканскую» я разыскал, то вторая досталась случайно. Нарочитые «случайности» в ходу у беллетристов, но тут уж прошу верить на слово. Как и тем мгновениям, когда настольная лампа, освещая усольцевскую тетрадь, высветила живые черты Николая Николаевича.

Худощавое лицо, некогда гончарно обожженное нездешним зноем, иссекали резкие, как трещинки, морщины. Глаза были не печальные, не задумчивые, а, что называется, не от мира сего. Признаться, мне даже мелькнуло вульгарное «чокнутый» — все мы наслышаны, будто долгое пребывание среди душевнобольных не проходит даром. Но тотчас и подумалось: глаза не от мира сего? — да ведь мой Усольцев и явился-то не из сего мира — он служил в Колмове на закате девяностых, на заре девятисотых.

Тетрадь свою он озаглавил «ВЕЧЕРА В КОЛМОВЕ». Не велик труд изобрести что-нибудь другое, приманчивое. Однако нельзя. Тетрадь, как волокуша, тянет повесть. Перемени название, выйдет плутовство, смахивающее на плагиат.

Добавляя то, чему Усольцев свидетелем не был, старался избежать разностильности. Не уверен, удалось ли, но, видит бог, старался.

И последнее. Заимствуя записи, непосредственно относящиеся к Глебу Ивановичу Успенскому, не забывал о том, что в сфере духовного обитания доктора Усольцева оставались, как он говорит, «миражи Новой Москвы», и потому намерен приложить к повести часть его африканских мемуаров.

В нашей больнице исповедовали принцип «нестеснения». Ни смирительных рубах, ни карцеров, ни кулачной расправы. Нет, этот желтый дом не был мертвым домом, и все же я не скоро избавился от тяжелого, как во сне, беспокойства, свойственного новичку в призрачном и одновременно реальном мире человеческого безумия.

Главное, чем следовало овладеть, так это умением объективи-

ровать больного, то есть до известной степени встать на его точку зрения. Что сие значит? Надо понимать то, что тебе, врачевателю, обладателю здравого смысла, представляется драматической или трагикомической бессмыслицей. Однако как ты определишь эту самую «известную степень»? И потому, чем настойчивее твои усилия объективировать, тем внятнее и грознее: «Нет, лучше посох и сума...»

Больного надо любить; этот дар не каждому дарован. Больному надо сострадать; сострадание — минорный отзвук страдания, а при душевных болезнях страдания не всегда внятны другому человеку. Больного надо, так сказать, вытерпливать, а терпение не капитал, которому нет извода.

Таковы были обстоятельства сугубо медицинские. Но я потому и прилепился к земскому лечебному заведению, что оно сливалось с земледельческой колонией. Свыше полутысячи пациентов принадлежали в большинстве к лицам непривилегированных сословий, крестьянам и мещанам. Колмово, стало быть, представляло ассоциацию демократическую.

Всем известно, что после падения крепостного права перед каждым в России, в той или иной мере, но перед каждым, встал вопрос народного дела. Вопрос этот начертан на челе века. И все мы, толкуя вкривь и вкось, бродим впотьмах, ощупью. Какая-то всеобщая беспомощность, озаряемая от времени до времени сполохами надежд на гармоническое решение. А Глеб Иванович даже в минуты отчаяния повторял: на мужика глядите, на мужика.

Гляжу!

Отправляясь в Африку поднимать Новую Москву, мы, колонисты, названные нашим атаманом *вольными казаками*, страстно желали сплотиться крестьянским ладом. Мы, собственно, потому и покинули родные палестины, что *лад разладился*. Осталась лишь присказка: «Ладушки, ладушки, где были? — У бабушки». Там, в Новой Москве, мы, не жалея сил, принялись за дело. Вскоре атаман Ашинов, озабоченный благочинием, обзавелся личным конвоем, каталажкой, соглядатаями. Однако колонисты, не помышляя о свободе, сознавали себя вольными до тех пор, пока вождь наш не принялся энергично внедрять так называемое попечительное хозяйство. И что же? Мало-помалу у казаков опустились руки, они прониклись апатией, это отмечено в моих африканских записках.

Но пусть не говорят мне, что иначе и быть не могло. Пусть не говорят это мне, очевидцу колмовской практики!

Целительность труда для умалишенных признают и в Европе. Но там у них труд не коллективный, не артельный, это раз. И средство наживы, это два. Типический пример — заведение французов Лабит в Клермон-Ферране, где пациентов просто-напросто отдавали батраками окрестным фермерам. Разумеется, за определенную мзду. Вот вам рабовладельцы, вот вам рабство.

Не то в Колмове!

Наша колония располагала 75 десятинами земли, скотным



двором, конюшней. Имелись мастерские, кирпичный завод. В больнице, повторяю, действовал принцип «нестеснения», в колонии — добровольности. Не темная алчность разжиться работой, а светлая жажда жить в работе. Примечательно: в больничной палате, в больничном флигеле любой из больных чувствовал себя королем в своем королевстве, у каждого свой норов, свой «пункт», никто не слушает другого, все говорят о своем, слова и поступки эгоцентрические. А вот на поле, в мастерской эти же самые люди были большой семьей, где каждый зависит от каждого, подчиняется изумительному инстинкту коллективности.

Ну-с, возразят скептики, положим, таковы были ваши пейзане, а как же мастеровые, эти индивидуумы, отщепившиеся от деревни, этот продукт чадных, душегубных городов, они-то как же? О, господа скептики, понаблюдали бы вы за ними хотя бы день, другой. Увидели бы не тупо-бездумных исполнителей. Нет, работали прочно, искусно, на совесть. Помню такой случай. Где-то в Пермской губернии, в реальном училище, кажется, Красноуфимском, хитроумно изготовили несгораемый материал для кровель. Брошюра, трактующая этот способ, ненароком попала в Колмово. Наши разобрались что к чему, что-то изменили к лучшему и засучили рукава. Представьте, в Боровичах ахнули, на заводе Вахтера и К°, всей России известном. Или вот еще пример. Раздобыли ткацкий станок. Охотников хоть отбавляй. До звонка подхватывались, спозаранку, чтоб место занять; пришлось учреждать очередность.

Тысячу раз прав был Б. Н. Синани: «Наша колония дает наглядные условия, при которых и здоровые люди поздоровели бы». Сознаю, очень хорошо сознаю, что, попадись-ка мои записки обладателям так называемого здравого смысла, они бы ухмыльнулись: дескать, автор слишком долго находился в бедламе, вот и того-с... А здравый-то смысл чаще всего не что иное, как пошлый опыт. Пошлый же опыт (это из Некрасова), пошлый опыт — ум глупцов.

Так и я, избавляясь от него по каплям, не сразу разглядел полет сердец. Сейчас расскажу.

Вечера, свободные от дежурств, я коротал в семействе Б. Н., а всего чаще сиживал дома, пил чай и читал под висячей лампой. Ее матерчатый абажур обнимали латунные обручи; обручи имели прорези в виде сердечек. Потянет ли сквознячок зимний, налетит ли летний ветерок, тотчас качнется абажур, а блики от прорезей скользнут и взлетят по стене к потолку. Только-то и всего, ежели здравый смысл.

Из моей комнаты виден был каменный флигель. В одной из палат свет горел долго. Оконный проем расчерчивала железная решетка. Конечно, система «нестеснения» предполагала упразднение атрибутов системы «стеснения», то есть тюремной, но тут уж губернское начальство ни в зуб ногой, пришлось не убирать. Не стану уверять, будто меня денно-нощно точил вещественный знак острога. Но *это* окно, схваченное железными прутьями, светилось в палате Глеба Ивановича Успенского.

Еще студентом я состоял в Глеб-гвардии: так называли в ту

пору читателей-почитателей Успенского. Прибавил бы и обожателей, но словечко — из лексикона институток, а наша гвардия рекрутировалась в основном из пролетариев умственного труда. Мы перемрем, лягушачьего пуха не останется, но любовь наша к Глебу Ивановичу переживет нас.

С первых же дней колмовской службы мне страсть как хотелось занять его внимание записками о Новой Москве. Долго не решался, а когда отдал, самолюбиво съежился. Дело было не в литературных претензиях, это пустое. И даже не в том, что дальние путешествия, пребывание за морями, за долами как бы придают тебе некое превосходство над прочими. Нет, мысленно перебирая страницы своих записок, вдруг уподобил их глухой исповеди, то есть мычанию больного, лишенного дара речи. А я, признаться, рассчитывал втайне превзойти в глазах Глеба Ивановича нашего главного врача Б. Н. Синани.

Глеб Ив. уважал Б. Н., говорил: «Гениальный психиатр». Б. Н. тоже любил его любовью Глеб-гвардейца. Но он больше вникал в клинические подробности. А по моему разумению, высшие мотивы духовного бытия Глеба Ив., его психический фонд находились вне компетенции медицины. Именно на его духовном бытии я и сосредоточусь, ведь у нас сложились доверительные отношения.

Пишу «доверительные», понимая, что подобные претензии свойственны тем воспоминателям, которые пишут о людях из ряда вон. И это не всегда сознательная ложь. Есть то, что психиатры называют обманными воспоминаниями. Думаю, что избавлен от них долгим колмовским опытом самоконтроля. Это все то же: «Не дай мне бог сойти с ума». Навык утомительный, однако необходимый. В данном случае пуще других. И вот пример. Если бы у меня отсутствовал внутренний дозорный, я бы, описывая первый вечер, приватно проведенный с Глебом Ив., майский был вечер, теплый, тотчас соединил бы все его высказывания по поводу моей африканской рукописи. Оно, может, и вышло бы стройнее, да ведь не так было, не так.

Ну вот он пришел и с этой своей необыкновенно милой, немного конфузливой улыбкой просил отложить разбор моего сочинения до другого раза. Я согласился поспешно и даже радостно, будто отсрочивая исполнение казни. Мы стали пить чай и калякать. Глагол решительно не вяжется ни с моей почтительной любовью к Глебу Ив., ни с теснившим мою душу скорбным выражением его серо-голубых глаз, ни с манерой подергивать тускло седеющую бороду, подергивать словно бы в тревоге и вместе отрешенно. Но мы именно калякали, сумерничали, чаевничали. А ветер с Волхова покачивал абажур, светлые блики вздрагивали и двигались. Я заметил, что Глеб Ив. следит за ними.

Следил все пристальнее, но разговор наш, ничего не значащий, продолжался, и я, как сейчас, слышу его голос. Вот ведь что любопытно. Голоса других людей, давно отзвучавшие, могу, припоминаючи, определить — тонкий, толстый, грубый, еще какой, а его голос и теперь *слышу*, несильный и словно бы тронутый ни-

котинной желтизною, не то чтобы хриплый, как у многих курильщиков, нет, желтизною тронутый, вот так. Да-да, голос слышу, лицо вижу, лоб белый-белый и этот жест — вытянув два пальца правой руки, прикладывая накрест к груди, будто самому себе указывая, где болит... Вижу, слышу, но, окунув перо в чернильницу, воспроизвожу на бумаге какую-то фиолетовую немочь. А надо, непременно надо воспроизвести, потому что в этот первый наш вечер в словах его, вдруг произнесенных шепотом, мне приоткрылась тщета здравого смысла. И лоб его белый-белый почудился мне пылающим. Потому, должно быть, что в голове Глеба Ив. кипела идея самая кардинальная.

Если приблизительно, то в шепоте Глеба Ив. было следующее. Не полет и дрожь бликов от прорезей в латунных обручах абажура видел он, а Млечный Путь маленьких человеческих сердец, полных страданья, готовых исцелить друг друга касаниями, соприкосновениями, однако летящими врозь и не умеющими догнать друг друга. И на этом Млечном Пути, в этом полете было и его сердце, давно надорванное и обреченное на разрыв, что и случилось несколько лет спустя...

Боюсь, напишу темно, но есть тут какая-то связь со сновиденьем, о котором мне рассказывали, кто рассказывал, не помню, да суть-то вот в чем. Танееву, композитору, говорили мне, сновиденье было, ни в каких сонниках не сыщешь. Нечто живое, сияющее витало в черных безднах, витало, озаряя и согревая душу людей. А где-то внизу, по самому что ни на есть краю сновиденья, влеклась жалкая вереница в каких-то хламидах, в каких-то хитонах. Сияющими, живыми снились Танееву музыкальные мысли Чайковского, и Танеев плакал слезами восторга и благодарности. Снились и свои, танеевские, музыкальные мысли, жалкие хламиды, и он плакал слезами отчаяния.

Вникнуть надо, вникнуть! Как я понимаю, не звуки в цвете или в каком-то фигурном обличье снились, нет, *мысли*.

Доктор, слава богу, не покусился на рассуждения о муках творчества, о процессе творчества. Такие работы, произведенные пером психиатров, были ему, конечно, известны. О Гоголе, о Достоевском, о Тургеневе. А не покусился, думаю, не потому лишь, что не причислял себя ни к «прирожденным», ни тем паче к «гениальным» психиатрам, нет, догадывался о бессилии истолкования этих «мук», этого «процесса». И посему попросту фиксировал по памяти сюжеты своих собеседований с Г. И. Успенским, походя высказывая — и, повторяю, не для читающей публики — разного рода соображения.

Ну и прекрасно, чего же более? Да в том-то и дело, что на главном суждении Н. Н. Усольцева сказались «привычки» многолетнего читателя Глеба Успенского.

Усольцев очень хорошо понимал слитную двойственность в душе Глеба Ивановича. Успенский был истцом, Успенский был и ответчиком. Иск предъявляла та русская жизнь, которая в кор-

чах расставалась с Авраамом в лаптях и, ужасаясь самой себе, отдавалась Хаму в штиблетах. Ответчик же сознавал и вину свою, и ответственность. Никем не судимый, никем не осужденный, он был приговорен к уяснению и разъяснению причин и следствий. Постигая и то и другое, душил в себе художника ради нагой мысли. И, как на раскрытой ладони, подавал ее читателю.

Вот это понимали, хорошо понимали и Усольцев, и Глеб-гвардейцы. Но в Колмове, в заведении для душевнобольных, Успенский не то чтобы освободился от своего сизифова камня, он освободился от читателя. Оставаясь в Колмове, уходил из Колмова. Уходил в Страну Памяти. Туда, где нет ни «тогда», ни «потом». Между тем Страна Памяти такая же реальность, как и сегодняшняя реальность. А может, и еще реальнее, ибо не знает препон и помех сиюминутного.

Вот этого-то и не понимал наш медик, отмечая в устных рассказах Глеба Ивановича «элементы галлюцинаций». Какие же? Слушайте: «Глеб Ив. допускал, случалось, искажения. Не то чтобы вперед забегал, в сторону отклонялся, вспять возвращался, это вещь в разговоре, в беседе обыкновенная. Другое. Он нередко искажал перспективу времени и перспективу пространства, совмещая события и лица, несовместные ни во времени, ни в пространстве. Выходили вроде бы сюжеты фантастические, хотя обращался он к событиям и людям реальным».

Нет, не улавливал Усольцев законов Страны Памяти. Перебить же вопросом не решался. Пробовал и зарекся: Глеб Иванович то ли не слышал, то ли не понимал, а то и вовсе замолкал. И потому в тетради Усольцева многое отрывочно, сбивчиво, скоком-перескоком. Оно бы и ничего — на какой мне черт усольцевские домыслы? С другой стороны... Не раз я досадовал: эх, напрасно Николай Николаевич не выучился стенографии по учебнику Горшенина или Кривоша. То-то было бы славно.

А теперь что же?

Один из друзей Успенского свидетельствовал: «Передать рассказ Глеба Ивановича в подробностях, со всеми оттенками его остроумия — немыслимо. Его манера говорить образами, употреблять неожиданные сравнения, полные юмора, не говоря уже о мимике и жестах, не поддается воспроизведению».

Цитируя, понимаю, что Николай Николаевич наверняка изобличал бы меня в трусливом намерении испросить помилования у будущего читателя. Ну что ж, он был бы прав.

Листаю, перелистываю колмовскую тетрадь.

Мы, бывало, пишет доктор, сиживали с Глебом Ивановичем на скамье у Волхова. Вечерело, солнце пряталось, шлепал плицами пароходишко братьев Забелиных; комар пищал и мохом пахло, на другом берегу монастырские колокола зазванивали. Глеб же Иванович говорил, что «Владимир» был не колесный, как этот, волховский, а винтовой и что монастырское подворье в Константинополе куда люднее, чем вон то, на другом берегу, в Деревяницкой обители...

Я потому и ухватился за эти строки, что Усольцев сообразил, о чем, собственно, речь шла — «печкой» были африканские мемуары. Но если упомянут «Владимир», пароход морской, коммерческий, тут, стало быть, и Максимов выскочил. А выскочил Максимов, то вот и Серапинская гостиница в Петербурге.

Максимов, капитан «Владимира», статный красавец, сильно загорелый, отчего глаза казались не просто голубыми, но ослепительно голубыми, знал Успенского смолоду и называл его, как все старые приятели, Глебушкой. Они сидели в маленькой ресторации на берегу Южной бухты. Им прислуживал грек с огромными усами. Глебушка тотчас окрестил хозяина жуком-оленем. От скумбрии, вина, от мраморной столешницы веяло античностью.

Капитан Максимов предлагал доставить в Турцию контрабанду. Товар был уникальный. Глебушка не решался. Он говорил, что Максимов всегда был хватом, как бы не хватить через край. Капитан сердился. Черт возьми, перед отплытием всегда времени в обрез. Его посудина, принадлежавшая Российскому обществу пароходства и торговли, была ошвартована близ ресторации. «Владимир», разводя пары, уже нахлобучил на высокую трубу грязную папаху.

— Послушай, ты, пожалуйста, не мямли, а говори «да» или «нет». Ты же знаешь, к продолжительной беседе я без водки не расположен. А душить водку в такую жару невозможно.

Максимов валял дурака — он и в молодости не «душил» водку. Но в Серапинскую гостиницу, где Глебушка живал лет тому уж двадцать с гаком, заглядывал. Вот там-то и вправду «душили», невзирая ни на жару, ни на стужу.

Отправляясь в редакцию какого-нибудь журнальчика, Успенский не замыкал двери. Возвращаясь, заставал пишущую публику в двух состояниях. Либо в том, которое называлось «по вчерашнему», либо в том, которое именовалось «по сегодняшнему». Признаком первого был треск в черепной коробке, свист в кармане и всеобщая унылость, переходящая в остервенение. Признаки второго были пестрее, многообразнее в смысле телоположения присутствующих, и это означало, что один или двое получили «аванец», раздобылись в долг, а то, глядишь, и обретались при законном гонораришке. Коль скоро ни тем, ни другим, ни третьим не представлялось возможности залатать тришкин кафтан распроклятой питерской жизни, то и другое и третье использовалось по прямому назначению. Не пуншевая пирушка кипела, как у ротмистров. И не пир в три этажа, как у железнодорожных подрядчиков. Нет, «душили» угрюмо, мрачно. Завейся горе веревочкой. «Он до смерти работает, до полусмерти пьет» — это ж не только о мужике, не только о фабричном, это ж и про них, журнальных, газетных поденщиков.

Максимов, офицер военного флота, только что вышел в отставку. Он сменил кортик на перо. И ему случалось пропустить рюмоч-

ку — он смеялся: «Хожу, братцы, под парусом». — И грозил им пальцем: — «Но уланчики в глазах не бегают, это уж увольте-с, господа».

Навещая Глебушку, он брезгливыми толчками отворял форточки. Засим, надменно покачиваясь на носках, озирал знакомую компанию, спавшую так, словно каждый был обведен мертвой рукой. Глебушка по-обыкновению дремал чутко, как разводящий в караулке.

Происходил нижеследующий диалог.

— Ты зачем в кабак заявился? — спрашивал Глебушка, пряча глаза.

— Не в кабак, а в каюту господина Успенского, — голосом вахтенного начальника резал Максимов.

— Каюта, — понуро произносил Глебушка. — Каютой будет во едину из суббот.

— Гони в шею!

— И выгоню, ей-богу, выгоню, — отвечал Успенский без должной, однако, решительности. Строгий взгляд Максимова как подстегивал, Успенский вскидывал голову. — Вот увидишь, всех пошлю к черту в голенище. — И разводил руками. — Да они ж опять придут, Коля. — Он вздыхал. — А то и сам приведу. Посуди, стучит давеча коридорный: «Глеб Иваныч, Глеб Иваныч, тут один во все двери толкается, не из ваших ли?» Иду, вижу Решетникова. Ну, скажи на милость, Решетникова вижу, что прикажешь делать? — Он опять вздохнул. — Опохмеляю, ежели бог послал. Ну, и сам приложусь. Нельзя же эдаким милостивым самаритянином, обидятся. — Помолчав удрученно, пригубил стакан с пивом. — А с холодным-то вниманием вокруг: сивушный мир, сивушная гибель.

— Вот, вот, — смягчался Максимов, — заболеешь ты, право, заболеешь, погляди на себя в зеркало... И табачище изводишь, как боцман. Нет, брат, не пускай ты их, не пускай!

— Да как не пускать? Товарищи мне и не какие-нибудь пустельги, прощалыги, нет, люди талантливые, сам знаешь... Но и то верно, одуреешь с ними... Нет, ты не думай, я непременно отвяжусь, непременно, — продолжал Успенский с тем проникновенным напором, с каким убеждают не собеседника, а самого себя, — я вот тут, в Серапинской, задолжал, а как расквитаюсь, сей же миг в какую-нибудь обитель трудов и нег, чтоб без буфета, в безбуфетное пространство сокроюсь...

В затененном углу номера, на диване скрипнули пружины и трезвый пасмурный голос произнес: «Пора, мой друг, пора...» Решетников, как всегда, отрезвел круто. Невысокий, тщедушный, нашаривал пиджак. Потом стал вдевать в рукава, движенья были резкие, угловатые. «Где оно, безбуфетное?» — буркнул Решетников и, не прощаясь, ушел тяжелым, на всю ступню, шагом.

Последняя от него весточка была такая: «Сделайте божескую милость, пришлите три копейки, а если можно, то семь. Клянусь, при первой возможности...»

Когда Успенский приехал впервые в Петербург, он пошел на

Волково кладбище, поклонился Белинскому. Теперь, годы спустя, Успенский провожал на Волковом автора «Подлиповцев», автора «Между людей», провожал Федю Решетникова.

Март был теплый, земля разомлела, комья жирной глины плюхались на гроб, как жабы. Могильщики проворно махали лопатами. Рядом, на улице с печальным названием Расстанная, был кабак с неуместно бодрой вывеской: «Веселая долина». Да и то сказать, какой же дурак назовет кабак «Юдоль слез»?

Вдова Решетникова просила разобрать бумаги покойного — может, хоть что-нибудь сгодится в печать. Разбирая, нашел он клочок газеты: сообщались приметы мальчика, сына какой-то прачки, пропавшего без вести. Никаких набросков, никаких черновиков не было. «Я для себя ничего не ищу», — говаривал, бывало, Решетников издателям-наживалам. Он не умел издеваться, он умел презирать. Чем сильнее презирал, тем сильнее стискивал зубами черную трубочку с жуковым табаком. Трубочка была маленькая, как в старину у кучеров, рот у Решетникова был большой. «Я для себя ничего не ищу...» Спозаранку до темна гранил панели — искал мальчонку, пропавшего без вести. Свои детки сидели голодом: «Сделайте божескую милость, пришлите три копейки...» Город грузно тонул в грубой перемеси дождя и снега. Шаркая худыми сапожонками, Решетников искал мальчика, пропавшего без вести. Решетникову было жарко, начиналась горячка... Мускулы рук и ног свело у Глеба Успенского жгучими жгутами, он ослеп от боли и потерял сознание.

Некролог — слово о мертвом — напечатал Успенский в «Отечественных записках». Мартиролог — слово о мученике — произнес Успенский на литературном вечере, голос дрожал, прерывался: «Вечная память Федору Решетникову и вечное спасибо за простую и глубокую правду о простом русском человеке». И Успенский опять почувствовал судорожное подергивание мускулов. Ему стало не по себе, будто он провинился перед покойным вот этим своим физическим ощущением. Успенский поспешно отошел в угол большой залы, схоронился за портьерой и стал курить. Не дымить, как обыкновенно, не попыхивать, а курить короткими, с влажными всхлипами затяжками.

Выдержав траурную паузу, публика разместилась за длинным столом с самоваром и бутербродами. Позвали Глеба Ивановича, он сел сбоку, тронул стакан, но пить чай не стал, а продолжал курить, меняя в мундштуке одну папиросу за другой.

Публика, звякая чайными ложечками, вершила суд Париса. Говорили о Высшем Искусстве, где Решетникову, увы, места не находилось: палитра скудная, слог необработан, а главное, нет философии, выраженной художественно.

Успенский ронял пепел на лацкан пиджака, на скатерть. Он не чувствовал ни гнева, ни раздражения, ни обиды. Он тосковал какой-то последней тоской. Не черной, не смурой, а так, последней, и все тут. Не слушая, он слышал. Он молчал, а ведь молчать-то можно о многом. Он и молчал таким молчанием.

Высшее искусство, гений? О, гении видят жизнь словно бы сверху, а решетниковы барахтаются в безобразной житейщине. Гармоническая ясность слога? Да откуда ж ей взяться у решетниковых? Они кричат, большим своим ртом кричат, а кто ж, господа, кричит мелодически?.. Нет философии, выраженной художественно? Да она у него как лесная жимолость, осыпанная волчьими ягодами; жимолость сильно пахнет перед дождем, а волчьи ягоды и волки не едят...

Он хотел уйти незаметно, но в просторной прихожей, ярко освещенной, его догнала курсисточка, такая костлявенькая, в очечках, носик чижиком, никак не заподозришь amoroso*. И точно, она лишь хотела «высказаться». Максимов тотчас изобрел бы какой-нибудь обманный маневр и увильнул бы, Успенский эдак не умел.

Извозчик еще не успел взять с места, а она уже «высказывалась». Странно, у нее был приятный голосок, гневно позванивающий на словах — «идейность», «идейный», повторенных многократно. Успенский поднял воротник пальто и втянул голову в плечи, но все равно «идейный», «идейность» вились, как пчелы. Она говорила быстро, возбужденно, и это ее возбуждение отзывалось мелким подрагиванием перышка на шляпке.

Барышня тоже осуждала Решетникова. Но не по кодексу эстетики, а по кодексу этики: Решетников не был идейным писателем, идейным человеком, ибо идейный писатель не ищет забвения в водке, а так как неидейный Федор Решетников находил забвение в водке, то и был он всего-навсего графоманом и таковым бы и остался даже и в том случае, если бы разбогател, ибо не был человеком идейным... Злиться было глупо, но Успенский разозлился, и эта его злость была запоздалой реакцией на давешнее, застольное, однако и барышне тоже адресовалось с ее звонко-гневными «идейность», «идейный».

— А известно ли вам, сударыня, — перебил барышню Успенский, — известно ли, что такое тупые ножницы? И эта женщина с Васильевского острова? В газетах было, читали, а? — Барышня будто поперхнулась, вытянув шею, смотрела на Успенского испуганно, указательный пальчик тыркался в переносицу, никчемно оправляя очки. — Не знаете про женщину, а? — не унимался Успенский. — Ну вот, вот, а туда же — «идей-ность»!

— Не понимаю, — оробела барышня, — извините, не понимаю, Глеб Иванович.

— Вот то-то и оно, ни черта лысого не понимаете, — продолжал Успенский с несвойственной ему грубостью и уже немного устыдившись этой своей грубости, однако не настолько, чтобы простить Федину «неидейность». — Тупые ножницы, сударыня, это... Нет, вообразите, вообразите, если можете: у вас появилась некая настоятельная мысль, ее надо высказать, она вас жжет, но

* Любовная тема музыкального произведения.

тут-то, сразу же — другая мысль, встречная: а как бы эту первую, для тебя важнейшую, как бы это ее, голубушку, *ослабить*?! Ну, сами понимаете, для чего — да-да, чтоб цензура не угостила, чем ворота подпирают. И вот ты вертишься, как на сковородке, ты *сам* ослабляешь свою мысль, и это-то изнуряет, сударыня, изнуряет донельзя. Но все равно тупые ножницы цензурного комитета не минуешь. А они-то не бечевку стригут, не волоса, они нервы кромсают. И вот, извольте, сударыня, радоваться, распродался ваш покорный слуга по-строчно, по-листно, осталась вешалка без сюртука. И стыдно, и тоска, и такое, знаете ли, чувствие, будто солдатскую шапку жуешь. Не жевали? Попробуйте! А вы-то со стороны: раз идейный писатель, сиди и пиши про народ. А я вот своих товарищей, вконец и нуждой, и цензурой, и редактором изглоданных, да я ж их то и дело в больницу везу: белая горячка. Э, думаешь, наложу-ка на себя руки, не могу больше, сил нет. Одно останавливает — вашей сестры боюсь: «Ах, — скажете, — не идейный писатель был Глеб Успенский!» — Он усмехнулся. Бедная барышня не знала куда деваться, готова была из пролетки выскочить. — Нет, погодите-ка, раз уж мы «высказываемся», то давайте-ка и про Васильевский остров...

И все так же горячо, все так же волнуясь, он рассказал историю, действительно, страшную, происшедшую в одной из василеостровских линий. Какая-то карга из каких-то низменных расчетов заточила женщину, кажется, родственницу, в чулане. И, заточив, держала там, пока случайно все не обнаружилось, *пятнадцать* лет.

— Вы можете представить, какова была женщина, выйдя из чулана? — Барышня, поникнув, поняла, куда он клонит. Он сказал горько, почти с отчаянием, сказал не только этой барышне, а и тем просвещенным, — «у Решетникова гармонии нет, палитра скудная», — этим тоже сказал: из чулана, господа, и Решетников, и все мы, да-с, из чулана.

Дальше ехали молча. Барышня все порывалась «не затруднять» Глеба Ивановича, она, мол, доберется, но он, не говоря ни слова, удерживал ее за рукав, и она как-то виновато покорялась, а ему было немного конфузливо: эва, из пушки-то по воробышку.

Показалось какое-то фабричное строение. На воротах фонари сидели, как филины. Извозчик придержал пролетку — ворота отворились, с фабричного двора потянулись ломовые телеги, волоча по булыжнику гром колес с чугунными ступицами. А следом тяжелым, желтым, махристым духом натекал запах производственный: то была фабрика фосфорных спичек.

Успенский высадил барышню у подъезда обшарпанного доходного дома и поехал к себе, в Серапинскую. Хотя пролетка давно миновала фабрику, смрад преследовал Успенского. Войдя в номер, он, не раздеваясь, только шапку бросил, склонился над умывальником, долго полоскал рот, отхаркивался, отплевывался, сморкался, пока не убедился, что уже не чувствует желтого, тяжелого, смрадного. На всякий случай, как бы вторя движениям Максимова, он распахнул форточку. Но едва распахнул, как гнусная

желтизна натекла опять, и это был запах, который губил фабричных, и это был запах чулана, который губил решетниковых, его, Глеба Успенского, тоже.

Переговоры о контрабанде, происходившие в приморской ресторации между капитаном Максимовым и писателем Успенским, завершились успешно. Два дня спустя пароход «Владимир», обновленный севастопольскими мастеровыми, пришел в Одессу и встал под погрузку.

В уездном городе Одессе правил бал Меркурий. Пароходы трубили, как тритоны. Пестрые флаги, как сороки, тараторили на ветру. Судовые рынды отбивали склянки. А высоко над рейдом, на сдобных подушках из дыма и мятого пара, возлежал бог торговли. Все здесь повиновалось ему — пароходы и парусные шаланды, шкиперы и матросы, подрядчики и артели грузчиков.

«Владимир», седея от пыли, оседал до ватерлинии. Счет шел четвертями. Не казенными, в девять пудов, а теми, что назывались нижегородскими — двадцать четыре пудика каждая. Четвертями поступала в трюм благодать Новороссии, пшеница-арнаутка, твердая, весомая, челночком. А рядом тяжело вздыхала машина собрата «Владимира» по ломовой работе на линии Одесса — Марсель. Цепь, тащившая якорь, клацала соединительными скобами.

Из этого аляпистого звука возник гимназический инспектор, стал рядом с Успенским и тоже смотрел на портовый город Одессу, на рейд, пароходы, шаланды. Потом сказал: «Ты видишь, мы расширили свои пределы...»

Инспектор не только инспектировал гимназию, а и преподавал историю Российской Империи. Исполняя обязанности инспектора, он пламенел страстью к фрунтовому порядку: пусть в одном классе сидят Ивановы, в другом — Петровы, в третьем, скажем, Смирновы; он занумерует каждого, как однофамильцев-офицеров. И чтобы все-все с окончанием на «ОВ». Как учитель истории он знал другую страсть. Указкой-шпагой пронзал супостатов: «Мы взяли... Мы покорили... На плечах отступающего противника мы ворвались...» И в заключение восклицал: «И вот мы расширили свои пределы от... и до...» Гимназисты, притаив дыхание, воодушевлялись гордой слитностью своего мизерного, с поротой задницей «я» и ребросокрушительного «мы», способного всем языцам дать карачун.

Ах, инспектор, инспектор, плохим учеником оказался Успенский Глеб, совсем плохим. Весной и летом ездил по Новороссии и думал не о Потемкине, а о том, сколько же пролилось кровушки чудо-богатырей. А сейчас с палубы видел море, и тоже думал о кровушке чудо-богатырей. Минувшее «от и до» очерчивалось штыком-молодцом, нынешнее — оралом. И завершалось вот этими нижегородскими четвертями. В минувшем были отцы-командиры и реляции; в нынешнем — живорезы и гешефты.

Успенский не писал: «буржуа», Успенский писал: «буржуй».

Буржуа учиняли революции и совершенствовали не только колбасные изделия, но и машины. А Тит Титыч, хапнув дворянские родовые, облапил мамзелю: гы-гы-гы, что хошь куплю, что хошь продам; эй кто там? шампанского и паюсной икры... Буржуазии не было, была буржуйная орда. Впрочем, Тит Титыч уже прельщались «*рыском*»: мериканцы, которые в Америке: у тех, слышь ты, рыск. Ловкий народ, деньги сами в карман плывут, знай только рыск... Они путали «риск» и «рыскать», но из путаницы этой уже произросла вереница дармоедов — «от» пахаря «до» здешних артельщиков и матросов.

Грузчики, мужики орловские и курские, выгоревшие добела на южном солнце, чередой поднимались по сходням.

Курсом Одесса — Марсель «Владимир» не миновал Константинополя. Максимов требовал, чтобы Глебушка крикнул: «Виват!» Успенский, улыбаясь «наполовину», говорил, что улыбка будет «полной» после благополучного возвращения в Россию на том же самом «Владимире».

Так как обратный путь я описывать не буду, надо проститься с Максимовым. А жаль. То-то бы придал веселой энергии этой повести. В самом деле, что за человек! Уже сказано: лет двадцать тому сменил кортик на перо. Он писал и печатался, но Петербург был ему тесен. Максимов добровольцем воевал в Сербии с турками. Под командой Скобелева сражался за свободу братушек болгар. Лет шесть жил в Америке, сотрудничая в «Нью-Йорк геральд». Но море всегда резонировало в душе, как в раковине. Он плавал на русском Севере, теперь плавал в южных морях. Прибавьте, красавец, добряк и славный товарищ. Жаль не взять такого персонажа, да делать нечего, повесть не роман.

Контрабандно, беспачпортно он доставил Глебушку в туретчину. Барабаны-тулумбасы, играйте туш! Успенский садился в шлюпку, Максимов махал фуражкой.

Прогулку, предложенную Максимовым, Успенский принял не потому, что проезд не требовал затрат, хотя и это имело значение. И не потому, что тянуло на «рыск»; риск по тогдашним временам был невелик. Он согласился съездить в Константинополь в надежде стряхнуть с себя изнурительный *гон*.

Глеб Иванович и самому себе не смог бы в точности сказать, где и когда он впервые ощутил эту гнетущую охоту к перемене мест.

Смолоду он месяцами находился в пути. Он познавал Россию. Промозглые полустанки, проселки, пьяный скандал за стеной в какой-нибудь провинциальной гостинице, дрянную снедь в каких-нибудь «Грезах Лиссабона» — все это он принимал как неизбежность.

Исподволь, в неуследимые дни поездки стали чем-то похожим на гон. Не грешник, гонимый бесами, и не облако, гонимое бурей. Нет, не гонялый зверь, поднятый с логова еще до того, как его вспугнет своим заполошным гамом охотничья свора. Как и

прежде, наблюдал, размышлял, писал, но и наблюдал, и размышлял, и писал, словно бы дрожа нервной дрожью. Его мотало по России в поисках светлых, гармонических мотивов российской действительности. Он искал и не находил, он был гонялым зверем. И потому согласился на краткую беспачпортную отлучку.

И вот он увидел город, теснившийся к берегам Золотого Рога. Славны бубны за горами. Толчея, вонь, раздрызганные конки, шайки шелудивых псов. И вавилонщина, ничего не поймешь.

Он укрылся в православном подворье. Подворье кишело богомольцами. Одни направлялись к палестинским святыням, ко гробу господню; другие — в единоверную Грецию, на Афон. Пилигримов метило выражение суетливой озабоченности, будто на узловой станции, когда ударил колокол.

В келье было душно, как в валенке. Толстые мухи, роясь столпом, гудели заупокойно. Praванивало варевом, сальным, нечистым. Вот, брат, «твой щит на вратах Цареграда». Он затосковал. Сей бы момент променял и щит, и врата, весь Царьград на какой-нибудь Царевококшайск, а уж на Царицын-то и подавно.

До Царицына было далече, до царицынского уроженца — близехонько. В том же коридоре, в такой же комнате-келье квартировал Ашинов.

Дело было ранней осенью восемьдесят шестого. Стало быть, за несколько лет до возникновения Новой Москвы, описанной впоследствии доктором Усольцевым. Но Ашинов-то, оказывается, уже тогда высмотрел подходящую широту и долготу для счастливой Аркадии. Возвращаясь в Россию за доброхотами и добровольцами, за теми, кого он наречет «вольными казаками», будущий атаман дожидался пароходной оказии. Его проекту нужен был глашатай. Случай посылал Ашинову известного писателя, которого он не читал, но о котором слыхал. И когда магометанские созвездия неприязненно сощурились на православное подворье, г-н Ашинов отправился к г-ну Успенскому.

Г-н Успенский, сидя верхом на стуле и свесив руки, опасливо поглядывал на деревянную, с тощим тюфяком кровать. Клонило в сон, но кто ж не знает — где попы, там и клопы. Добро бы отечественные, а тутошние, надо полагать, яры, как янычары. Из хмурой опаски вывел г-на Успенского сосед-постоялец.

То был рослый, крепкий человек, упрямо-лобастый, борода в каржавых подпалинах, смотрел весело, зорко, эдаким ловцом душ. Черкеска с газырями красиво и плотно облегала его сильную грудь.

Служка принес чаю и баранок, это хорошо, а то, поди, во всем Цареграде нету, лопай рахат-лукум или как там еще. Служка ушел, можно было брать разбег — так, так, Николай Иванович, откуда и куда изволите и прочее. Ашинов, однако, без предисловий овладел вниманием г-на писателя.

Речь шла о переселении, о поселении. От добра добра не ищут. Люди не птицы перелетные; в путь трогаются, исход предпринимают, когда совсем невмоготу. Из множества русских вопросов

Глеба Ивановича особенно больно брал за душу переселенческий. Ох, извечные поиски Беловодья и Синегорья, смерть переселенца в дороге, сопливенькая девчушка, плетущаяся за мамкой, у мамки грудной на руках. И всегда почему-то моросит, моросит холодный, до костей, дождик... Проект же этого, в черкеске с газырями, не исчерпывался переселением. Этот предусматривал «вольное устроение». Говорил, будто шашкой лозу рубил, вроде бы даже с присвистом: земля и мужик на земле; никакого начальства со стороны, все выборные; трудно будет, да где наша не пропадала. И гвоздем: вы бы, уважаемый Глеб Иванович, об моем почине в газетках порадели.

— Намерения у вас хорошие, — сказал Успенский и головой покачал. — Намерения.

— Слова не останутся словами, — заверил Ашинов.

Успенский помолчал, потом спросил:

— В Ленкорани бывать не случалось?

— На Кавказе живал, кунаки есть, — ответил Ашинов. — В Ленкорани не приходилось.

— А мне приходилось.

Он был там весной. Каспий штормил, берега гремели, как порожние бочки. Туман плутал в тополях, уже зеленых; белые домики напоминали малороссийские мазанки.

Извозчик подрядился свезти Успенского в недальнюю от Ленкорани слободу Николаевку. Глеб Иванович спросил извозчика, слыхал ли он о Михайле Попове? Оказалось, наслышан: был-де Попов свят, но и простоват был, это тоже так.

Больше полувека тому не здесь, у Каспия, а в Заволжье Михайла Акинфович Попов основал «рабочее согласие», в обиходе — «общие». Положил краеугольное: что недвижимое, что движимое — не твое, не мое, а наше. Должности тоже вот, как и этот, с газырями, предлагает, должности были выборные: и заведующий общественным амбаром, и учитель, наставник праведности, и «видители», контролеры, чтобы все укладывалось в справедливость. Выборных обязанностями наделили, а правами обделили. И стали работать на общей земле, общими орудиями, общим скотом... Окрестные мужики, почесывая в затылке, приговаривали: «Одначе!» Смысл этого замечания заключался, вероятно, в том, что начальство не потерпит. И точно! Хотя «общие» не чинили ни зла, ни беспокойства, вышла «бумага», и Попова погнали в Сибирь, а прочих — под красную шапку, во солдаты... Утекли годы, натекли «веяния», единомышленники, преданные «согласию», помаленьку собрались на краю империи, у Каспия. Попов, уже старик, вскоре преставился. Его оплакивали не скупой слезою. Осиротев, все заверяли друг друга в верности заветам усопшего...

Обо всем этом Успенский слыхал, все это очень его занимало, однако с поездкой в Ленкорань медлил. Не раз ведь мужики говорили: «Нешто с нашим народом можно? Ты, барин, возьми примером хоть такое. Ну вот, значит, стакнулись, положим, гать нас-

телить, объездом крюк большой, а с гатью близко, доплюнешь. Ладно, ударили по рукам. Глядь-поглядь, каждый норовит объегорить другого, крику-то, брани-то, я, ста, больше Митьки силов кладу, я, ста, семь потов пролил... Ну, бросили. Не, барин, разве с нашим народом можно?» Вот этого «разве можно» и не хотелось увидеть Глебу Ивановичу. Да, конечно, «общие» искренне поклялись: дескать, уходя от нас, Михайла Акинфьевич то-то и то-то заповедовал, мы от сего ни-ни, не отступимся. Эхе-хе, черт-то не дремлет. И по-настоящему набожные монахи — монашат: лицемерят, изловчаясь так ли, эдак ли, а нарушать обет, принятый добровольно. Природа свое берет, «коль выгонят в окно, так я влечу в другое». Вот он и медлил ехать в Николаевку, а теперь, приближаясь к слободе, ощущал на губах слабую, просительную улыбку, будто упрашивал «общих» не обманывать его надежду на возможность «согласия».

Увы, черт и вправду не дремал. Когда-то общинники строили собратьям одинаковое жилье, селились без плетней, без частоколов. А нынче? Увы, грустно поглядывал Глеб Иванович на дома и домишки, хаты и хатенки. Каждый отгораживался, заслонялся от соседа. А это что ж такое? За крепким, ни щелки, забором возносились высокие хоромы, крытые железом.

— А это нáбольший, это Иван Антоныч жительствуют, — язвительно пояснил извозчик. — Псы на дворе — ого! — не подходи, разорвут. Восприемник, стало быть, покойничка, вот я и говорю, простоват был. — Не трогая лошадь, он для виду помахал кнутом да вдруг и прибавил благодушно: — Все мы, барин, Евстафии. Ну, этот, кот-то Евстафий, и покаялся он, и постригся, и посхимился, а все во сне мышей ловил.

Некий Иван Антонович чаще всех божился именем основателя «общих», прямо-таки с уст не спускал. И, возглавляя общинников, не мышей ловил — нанимал ватагу, промышлял белорыбицей, большой деньгой обладал.

Впору заворачивать оглобли? Нет. Неохота было с порога признать, что все поросло травой забвенья.

Старики-ветераны гордились и руководительством Михайлы Акинфовича, и своими праведными трудами, словом *былым* гордились. А «теперешних» осуждали. Одни гневно — разбаловались, мол, испортилась порода; другие — недоумевали: и откуда только пагуба взялась, не иначе как наслали окрестные инородцы. Общественные работы заглохли, общественная столовая выстудилась, а общественная касса — что кружка у пожарника-погорельца.

«Теперешние», охотно толкуя с Глебом Ивановичем, над стариками-ветеранами отнюдь не посмеивались, уважали, а все же по наряду на общие работы ходить не хотели, потому что... Вот в городе, говорили, водопроводы завели, во все, значит, дома воды вдоволь, и вода одинаковая, что тебе, что мне, а не все ж поголовно в один и тот же час эту воду пьют, постирушку затевают или щи варят, не-ет, каждый по своей надобности, по своему обыкновению.



Однако и старые, и молодые, равно признавая порчу «согласия», признавали, что так быть не должно, а должно быть иначе. И покаяние было, и надежда светилась. Уповали они на будущие поколения, у этих, мол, аккуратнее будет, ежели, конечно, затеплить в детской душе совестливость. Затепливая, себя не щадили: из нас, детушки, все доброе, все благое неприметно выползло и остались, как от змей выползки, шкурки...

Вот про этих-то «общих» и рассказал, коротко рассказал Глеб Иванович за чаем с баранками. Ашинов, отирая полотенцем красное крепкое лицо, отвечал, что у него там-то, в Африке, слово с делом не разминутся, и, будто присургучивая какую-то невидимую заповедную хартию, пристукнул кулаком по столешнице, а Глебу Ивановичу вдруг и мелькнуло давнее-давнее, когда он играл роль самозванца и его настигали минуты искренней уверенности в своей власти, в своем призвании.

Еще на студенческой скамье водил он дружбу с Прошкой Григорьевым. Прошкин дядюшка, отходя в лучший мир, отказал племяннику солидное именье в Саратовской губернии. Григорьев променял Москву на глушь. Там он до такой степени проникся состраданием к сеятелю и хранителю, что готов был отдать не только свою землю, но и все помещичьи во всех губерниях. Мужики стали за версту кланяться барину-недоумку. Однако, поразмыслив, Григорьев заключил, что его благородный подвиг не поддержат владельцы ветшающих ампиров. И он предался грезам об экспроприации — кровавой и грозной, необходимой и праведной. Об эту пору Успенский ненароком завернул в Прошкины пенаты. Григорьев обрадовался старому приятелю. И не замедлил формулировать свою доктрину: «Будешь великим князем Константином». Успенский отшутился: Романовым, мол, не хочу, буду Мартынкой-царевичем. Величаться ли царским братом, благополучно здравствующим, или Мартынкой-царевичем, давным-давно отгулявшим в широких, как воля, оренбургских степях, не в том была суть. А в том, что мужик непременно взбунтуется, лишь бы призыв был от царева имени, от августейшего, а не от городского шептуна-пропагатора. Глебушка нашел невозможным обманывать мужика, и без того кругом обманутого. Прошка возражал примером Пугачева: верил иль не верил мужик в то, что Емелька есть ампиратор Петр Третий, корень-то был в землице. Проня так приставал, что Глебушка махнул рукой. Добро, будь по-твоему, сам убедишься, каков ты балбес.

Ну, и поехали на простых дровнях. Был февраль, избы ды́мились не столбами, а волоком — к метелям. И верно, забуранило и верхом и понизу. Они едва тащились. Григорьев ничуть не походил на придворного кучера — рожа, как рогожа, глаз кривой. А великий князь Константин, завернувшись в тулуп, ничком иль бочком валялся на соломе, злясь на балбеса Прошку и стыдясь своей дурацкой роли в его дурацкой затее.

Дело обыкновенно делалось так.

Останавливались у кабаков, тоже, знаете ли, «народных заседаний проба». Великий князь продолжал возлежать на соломе. Кучер нырял в заведение. Невдолге выныривал из клубов пара, за ним — гурьба мужиков, все без шапок, у одного полуштоф, у другого миска с закуской. Глебушке было и смешно, и срамно, он с головой прятался в тулупе. «Вот, ребяты, царев брат родной, — объявлял великокняжеский кучер негромко и внушительно. — Его императорскому высочеству заказано до срока свой светлый лик явить. — Он подмигивал кривым глазом. — Сперва, ребяты, надобно их высочеству иметь убеждение в вашей готовности. А тогда уж оне знак подадут, а вы, как верные подданные, не теряя времечка, отымайте у господ землю». Мужики, крестясь, опускались на колена; один протягивал полуштоф, другой — миску с закуской. «Нет, ребяты, пить их высочеству ни-ни, опасно покамест. А я за вашу решимость приму. Благодарствуйте». И они скрывались в снежных вихрях. Молва о царевом брате обгоняла метелицу, самозванца встречали хлебом-солью.

Обман и безобразие, а поневоле признаешь, что Григорьев не такой уж дурак. Сто лет минуло, а выходило по старой пугачевской пьесе. Мужику было, вообще-то говоря, наплевать, кто это там на соломе, в тулупе, главное, чтобы призывал к черному переделу именем царевым. Тут и отчаянность тлела — эхма, авось возьмем; тут и лукавство, хитрый расчет притаился — промашка выйдет, тотчас, известно, ту-ру-ру, солдатский рожок, а у мужика-то за пазухой пригрето голубиное оправдание: царь-государь повелел, как можно неслухом?.. Нет, Глебушка, не унимался Григорьев, не ты мистифицируешь мужика, это он тебя мистифицирует. Однако великий князь не учинил мужицкий бунт, а сам взбунтовался, и вся эта феерия развеялась февральскими буранами.

Но, черт возьми, осталось в душе и некое недоумение. Странная штука! Бывали минуты — и вдруг он верил в мощь свою, власть и призвание. Вот, может, и этот Ашинов тоже?

Николай же Иванович, наседая на господина Успенского, чтоб, значит, «прописал в газетках», выложил козырную карту. Карта была географическая. Пунктир, виясь муравьиной цепочкой, изображал пароходный маршрут из моря Черного в море Красное близ африканского берега и далее — в Индийский океан, а на африканском берегу, в Таджурском заливе, чернел аккуратный квадратик — Новая Москва, поселение вольных казаков и вместе с тем морская станция для судов Российского общества пароходства и торговли.

— Каково? — вопросил, избочась, будущий атаман Новой Москвы.

А Глеб Иванович услышал: «И мы расширили свои пределы...»

Была у нас в Колмове дубрава, молодые дубки и старые, корявые, дуплистые. Там любили играть детишки больничных служителей. Любил прогуляться и Глеб Иванович. Но мне дубрава

помнится невесело. И день-то был погожий, жаркий, стрекозы зависали на лету, а помнится как бы осенним, когда мрачно ухает серая неясыть. Да она будто бы и ухнула, едва Глеб Ив. произнес: «Буланже!»

Начну несколько издалека.

Я был убежден, что давно уж, еще в африканских своих записках, предал анафеме атамана Ашинова, загубившего святую идею Новой Москвы. Но — разбойник?! аванюрист?! самозванец?! Нет, по-моему, Глеб Ив. и упрощал, и несправедлив был. Я не знал, что Н. И. Ашинов намеревался устроить морскую станцию, то есть державно утвердиться на важном для всей Европы коммерческом пути сообщения. Не знал, но и это не склонило меня к согласию с аттестацией, выданной Глебом Ив. нашему атаману, будь он трижды проклят.

Моя душа не принимала изначальности ашиновской лжи, ашиновской авантюрности. Ну хорошо, добро бы я, молодой и, пожалуй, восторженный, я один видел нимб над головой вождя Новой Москвы. Так нет же! И крестьяне-колонисты, народ тертый, осмотрительный, тоже. И мой друг, отбывший ссылку, умный, проницательный М. П. Федоровский. Да все, пожалуй, верили атаману, верили в атамана, иначе кто бы устремился за ним и с ним в неведомую даль? Откуда они, вера и доверие? По Глебу Ив. выходило, что и тайна-то не ахти уж какая: «Буланже!»

Мысли Глеба Ив. нередко набирали такую скорость, что речь его напоминала восхождение по крутой лестнице через две-три ступеньки. Боясь отстать, я старался лишь покрепче ухватить сказанное, чтобы уж потом, на досуге, додумать, поразмыслить. Вот и Буланже выскочил, как пробка, но Глеб Ив. тотчас указал на родство французского генерала и нашей продувной бестии в неизменной черкеске.

Лет десять тому, может, чуть больше, о Буланже много писали в газетах. Офицером он участвовал в захватных колониальных экспедициях. Генералом занимал кресло военного министра Франции. Все это плавно вписывалось в карьеры, коим несть числа. Но Буланже был слишком честолюбив и властолюбив, чтобы удовлетвориться министерским креслом. Лавируя, он шел к диктатуре.

Сопоставляя нашенского с французом, Глеб Ив. сказал, что и тот и другой, ясное дело, не могли же действовать в одиночку. У того и другого были свои сторонники, приверженцы, партии. Будь у Буланже под рукой лишь отпетые негодяи, по которым веревка плачет, тогда бы и толковать не о чем. Что до ашиновцев, то я бы и Шавкуца Джайранова, начальника тайной полиции в Новой Москве, я бы и Шавкуца помедлил повесить на плачущей веревке — темный человек, он служил Ашинову, как мюрид имаму.

Итак, оба имели сторонников, преданных цели, чистых, искренних. И отсюда опять вот это, упомянутое мною выше, то есть вопрос вопросов — откуда они, вера и доверие?

Глеб Ив. остановился посредине аллеи. Я тоже. Он посмотрел на меня, скрестил руки на груди и произнес чужим голосом, с под-

дельным воодушевлением: «Господа! Не беспокойтесь! Доверьтесь мне, господа, я все знаю-с. Следуйте за мной, господа, и не беспокойтесь».

Вот, черт возьми, обыкновенный перескок через две-три ступени. Прервать его было опасно, он мог ничего не ответить, мог ответить невпопад, его рассеянность была высшей сосредоточенностью, но я был так озадачен этой неожиданной позитурой — скрещенные на груди руки, чужой голос, все прочее; так был озадачен, что Глеб Ив., словно бы пожалев меня, умерил прыжки своей мысли.

О вере, о доверии так говорил. Мол, от времени до времени наступает минута неотразимости коренных вопросов жизни. Все это знают, понимают, страдают, бьются головой об лед, у многих, смотришь, кое-какие замечания-примечания к вопросу о том, чего же, собственно, делать, что предпринять, однако все только топчутся, кружатся, перебраниваются, никто не решается поднять знамя. И не от недостатка мужества, а от недоверия к самому себе — ну что, дескать, я, кто я такой, чтобы сметь. И вот тут-то возникает Некто... (Глеб Ив., скрещивая руки на груди, как раз и изобразил этого Некто.) И возвещает городу и миру: «Не беспокойтесь, господа! Доверьтесь мне, не беспокойтесь». Тотчас все мы из тины-то своей и выползаем на берег, как раки перед дождем. Возникает энтузиазм, вот как после севастопольского погрома, после Крымской, энтузиазм, да; закипает деятельность, лес рубят, щепки летят... и... смотришь, «на нивах шум работ умолк», а на дорогах рыщут волк с волчихой, все те же коренные вопросы жизни нашей. Ну, тут уж мы, кто шибче, кто медленнее, уползаем в тину, как раки после дождя, мысль наша ослабела, совесть наша пустоцветом, уползаем, стало быть, до следующего Некто.

Я не поддакивал. Люди не раки, прогресс неостановим, прогресс происходит. Далее. Не прощая Ашинову ни загубленную идею, ни репрессии, осуществленные посредством Шавкуца Джайранова, я все же усматривал в нашем атамане жертву обстоятельств, фигуру трагическую, и не желал ставить его на одну доску с насквозь проплеванным французом Буланже.

А ведь тот, задумчиво отозвался Глеб Ив., кончил самоубийством. Одни говорили, что причиной политическое фиаско, другие объясняли скоропостижной кончиной мадам Бонневен. Буланже любил ее, любил, как редко теперь любят, и... А ваш-то «трагик», ваш Ашинов, этот себе-то пулю в лоб нипочем не пустил бы. Бьюсь об заклад, никогда, нипочем. В чужой лоб — с полным нашим удовольствием; в собственный — нет уж, дудки. Ну, на себя, доктор, примерьте, вы бы из-за любви, а?

О мадам Бонневен я никогда и не слыхивал, но тут другое было. Я почувствовал спазму сердца, точь-в-точь как годы, годы тому, ночью, на пустынном берегу Таджурского залива, когда падали звезды, когда мелкие волны лизали песок и гальку, а я больно, пронзительно, ясно осознал безнадежность моей любви к Софье Ивановне Ашиновой.

В африканских записках она не раз упомянута, однако моя любовь к ней даже и в записках, для себя одного писанных, запечатана семью печатями. А так как Глеб Ив. мой «мемориӣ» читывал, я и вообразил, что он эти печати сломал. И, вообразив, почему-то струсил, испугался, будто пойманный с поличным, да и прострочил заячьей стежкой, что Ашинов был счастлив в любви, что жена его, С. И., в девичестве была Ханенкой, из тех самых, в Малороссии известных, даже и гетман был Ханенко; словом, прострочил невесть для чего, так, с постыдного перепугу.

Глеб же Иванович, думая о чем-то другом, рассеянно молвил, что какие-то Ханенки живали в Чернигове, когда он, Успенский, учился в тамошней гимназии.

Донесся звук больничного колокола, звонили к обеду, и я обрадовался концу нащего променада в дубовой роще.

Чернигов — это отрочество; родиной, детством была Тула. Он потом написал «Нравы Растеряевой улицы», так это про Тулу.

Дом его деда стоял на улице Остроженской, близ тюрьмы. Одним концом улица впадала в Хлебную площадь, другим замирала у кладбища. Такая, стало быть, топография детства.

Кстати сказать, д-р Усольцев касается в своей тетради предмета, отнюдь не безразличного медикам, психиатрам в особенности, — наследственности. Ныне, кажется, выражаются мудренее: генетический фонд. Едва Глеб Иванович, пишет д-р Усольцев, поступил в Колмовскую больницу, будучи в состоянии тяжелейшей депрессии, как Б. Н. Синани все же счел возможным расспросить его про дедушек-бабушек, о дядьках-тетках. И Глеб Иванович, несмотря на свое состояние, «очень толково», то есть понимая непраздность вопросов Б. Н., отвечал, что по материнской линии, Соколовых, у него за плечами заурядное провинциальное священство, исключая деда Глеба Фомича, достигшего «степеней известных», знатока латыни и древнегреческого, ревностного, до фанатизма, сторонника неукоснительного законопослушания; по линии же отцовской — чиновничество, тоже провинциальное, впрочем, не вполне заурядное, а с некоторыми художническими наклонностями. Синани, пишет далее д-р Усольцев, держался разумной методы — объяснял пациенту, почему, для чего, зачем важно знать о семье и предках пациента. Глеб Иванович усмехнулся: «Темна вода во облацех».

Итак, дом Глеба Фомича Соколова, где текло безбедное детство Успенского, стоял на Остроженской, неподалеку от тюрьмы.

В острог, по тогдашнему трогательному обыкновению, издревле принятому в России, в острог этот по воскресеньям, а на двунадесятые праздники тем паче, носили подаяния. Арестантский двор гремел кандальным железом. Полуобритые головы напоминали серый булыжник. Принимая милостыню, арестанты благодарно роняли головы на грудь, казалось, булыжники падают, падают к ногам. В остроге Глебушка не плакал. Он плакал, возвратясь домой. Его чувствительность трогала маму и папу. Но плакал

мальчик не только от жалости к «несчастным», но и от чувства вины перед ними; объяснить же свою вину не умел ни себе, ни папе с мамой. А гимназия стояла на площади, где вершились торговые казни. Палач кнутобойствовал, преступник кричал, спина у него, вспухая, делалась багровой и сизой. Истошный крик «ааа» вдруг пресекался, а миг спустя исторгалось огромное, как колесо, «ооо», и Глебушке казалось, что в этом «ооо» ужасное, невыносимое изумление человека, изумление перед тем, что вытворяет над ним кнутобоец, широко и прочно, как столбы, утвердивший ноги на бревенчатом помосте-эшафоте. Гимназисты, пихаясь, едва не вываливаясь из окон, глазели на экзекуцию, прищелкивая языками, сглатывали слюну, и переглядывались, и подмигивали друг другу, давая понять, что им нисколечко не страшно и даже весело. А вот этому Глебке, тьфу, неженка, этому страшно, никогда к окнам не протискивается... Все кончалось, преступника сносили с помоста за руки и за ноги, полубритая голова моталась, как кочан. Толпа редела, уроки продолжались. Глебушка, как оледенелый, не мог понять ни давешнего восторга сверстников, ни этого, словно ни в чем не бывало, бу-бу-бу учителя.

Острогом, Остроженской, торговой площадью начиналась дорога в каторгу. Туда не шли, не ехали, туда — *гнали*. Он смотрел, как их гонят, пыль застит солнце и скрипит на зубах, и першит в горле. А их все гнали, гнали, и они, гонимые, тянулись по Остроженский в сторону погоста. Там была безымянная могилка, говорили, что по ночам над этим холмиком, то укорачиваясь, то удлиняясь, вздыхает, теплится огонек — тоскует, страждет, жалуется чья-то безвинно загубленная душа.

В доме Соколовых читали молитву и укладывались спать. Мама, склоняясь к его изголовью, ласково говорила: «Ах, Глеб, у тебя опять глаза на мокром месте» — и целовала сына. Все засыпали, кроме сверчков и мальчика. Он лежал тихо-тихо, не шевелясь, опять он был виноват, виноват перед теми, кого гнали и уже угнали, а на обочинах тех бесконечных дорог, по которым их гнали, теплились огоньки, огоньки, огоньки.

Он лежал тихо-тихо, не шевелясь, и вдруг вздрагивал всем своим тельцем, потому что сквозь потолок, с неба, должно быть, и сквозь пол, из-под земли, должно быть, раздавалось грозное: «Пропадешь!» Да-да, ничего не придумываю, читатель, это же сам Глеб Иванович говорил в Колмове д-ру Усольцеву: «Как только начинаю себя помнить, чувство какого-то тяжкого преступления тяготеет надо мной. «Пропадешь!» — кричали небо и земля, воздух и вода, люди и звери». Понимаете? Пре-ступ-ления! С таким вот камнем-то легко ли?..

После Тулы был Чернигов. В тульской гимназии его звали «Глебом», «Глебкой», в черниговской — «кацапом». А еще были «жиды», этих он в Туле не видел. Гимназист Успенский Глеб не говорил: «жид», потому что ему говорили: «кацап». Гимназист Успенский Глеб впервые ощутил горечь ничем не заслуженной отверженности. В Туле он был великороссом среди великороссов.

Тут он был одним из немногих. Отщепенство уравнивало «кацапа» с «жиденятами».

Там, в Чернигове, как и повсеградно, отзвонили колокола, возвестившие, что император Николай Павлович почил в бозе. Потом на дальнем юге отгремели севастопольские пушки, возвестившие невозможность жить, как жили. Явились молодые учителя. И «хохлам», и «кацапам», и «жидам» предлагали: «Вот, господа, читайте «Письмо Белинского к Гоголю». Поймете многое». На уроках не допрашивали, а спрашивали: «Вы все уяснили?» Ответишь утвердительно и садись — получай «пятерку». Вьюноши восторгались молодыми учителями. И потешались над простаками: ты мне «пятерку», а я тебе шиш без масла. Внимая призывам к совести и чести, вьюноши лгали. На экзаменах обнаружился ноль. Молодые учителя были в отчаянии.

Когда мы, услышав колокол, шли обедать, мальчики и девочки, дети больничных служителей, торопясь, доигрывали свои игры. Я не раз замечал, как тянет Глеба Ив. приласкать детишек, но он, словно бы силком, удерживал себя. «Боюсь испугать...»

Я об этом к тому, что дети-то, в отличие от взрослых, по той либо иной надобности посещавших Колмово, дети не сторонились больных. Случалось, правда, дразнили и с визгом кидались врассыпную, но то была забава, и только. Зато какое понимание, проницательность какая, это уж сердцем, сердцем.

(Помню, мальчишечка, сын ночного сторожа, как водится, из отставных солдат, мальчишечка лет десяти — двенадцати серьезно, вдумчиво объяснял младшей сестрице: «Они не бешеные, им страшное снится». Девочка спросила: «Почему страшное?» «А это как тебе после страшной сказки, — сказал мальчик, — только у них не сказка была, а взаправду было». «А я заплачу и проснусь», — сказала девочка. «Да они ж не спят, — все так же серьезно, вдумчиво объяснял мальчик, — они ж с открытыми глазами страшное видят, как же проснуться? И вот смотрят, смотрят, а сами думают: вдруг по-хорошему обернется, тут и сказке конец».)

Мы были уже на больничном дворе, когда на дорожке показалась ладная фигура Егорова — торопился, почти бежал; увидев Глеба Ив., замахал руками, что-то крикнул.

Два слова о Егорове, чудовском крестьянине, из тех самых мест, где у Глеба Ив. был свой дом. Егоров после несчастья — пожар случился, все выгорело — совсем, как говорят мужики, ослабел, то есть в хозяйственном смысле ослабел, да и нанялся больничным служителем. С Глебом Ив. они были вроде бы земляками, Егоров при нем состоял как бы дядькой, и, надо признать, замечательным. Не потому лишь, что услужал усердно, и не потому, что неукоснительно исполнял предписания фармацевтические и процедурные, и не потому даже, что его спокойное, открытое лицо так и светилось приветливостью, а как раз потому, что свет этот гас, сменяясь выражением оскорбленного достоинства, когда Глеб Ив. впадал в мрачную раздражительность. Да, Глеб Ив., воплощение

деликатности, бывал с Егоровым, мягко выражаясь, несдержан. А потом ходил, что называется, поджав хвост, унывал, покашливал, заглядывая Егорову в глаза. Тот не ворчал: «Ладно, чего уж там...» Напротив, твердо объявлял, что он человек вольный, не холоп, не дворовый, работает по найму, права свои знает. И заключал: «Ежели коли еще раз, пеняйте на себя — поколочу!» Вот это «поколочу!» и было уже отпущением грехов, прощением, амнистией, и Глеб Ив. смеялся, радостно потирая руки, а Егоров ворчал, что он вовсе не шутки шутит, а прибьет взаправду, невзирая на какую-то там систему «нестеснения». Система не система, а он действительно любил Глеба Ив. жалостливой, снисходительной любовью. И вот еще что. Небольшие суммы, присылаемые женой Глеба Ив., хранились у меня, и он нет-нет и выманивал два-три рубля. Выманив, тотчас раздавал служителям. Егоров *никогда* не брал и пятачка.

За несколько дней до приезда в Колмово г-жи Успенской у Глеба Ив. вышло с Егоровым столкновение особого свойства. По словам последнего, он утром, как обычно, принялся за приборку, а Глеб Ив. ни с того, ни с сего замолотил по столу кулаком, ногами затопал и стал криком пенять в том смысле, что он, Егоров, природный крестьянин, из лучшего в России сословия, а он, Егоров, вместо того, чтобы крестьянствовать, землю пахать, веником шваркает и его, Успенского, ночную посудину выносит и т. д. и т. п. Ударил Глеб Ив., видать, по открытой, незаживающей ране. Егоров мне признавался, и я уверен, так бы и приключилось, признавался, что еще бы минута — и он, право, вздул бы барина-обидчика, но тут Глеб Ив., уронив голову, повинно, тоскливо молвил: «Эх, Андрей Петрович, жить бы нам с тобой не здесь, а в избе» — и заплакал. Егоров, однако, не остыл, хлопнул дверью, пришел ко мне и угрюмо попросил перевести в другое отделение, он-де ни за какие коврижки услужать г-ну Успенскому не станет. Я долго уламывал Егорова. Он наконец нехотя согласился, сказав: «В последний раз, а там хоть режьте...» Согласиться-то согласился, но держал вооруженный нейтралитет, и Глеб Ив. сокрушался: «Бойкот объявил, волком смотрит».

А сейчас «волк» бежал по дорожке, махал руками, улыбался, выкрикивал: «Лександра Васильевна приехали! Лександра Васильевна приехали!»

Приезд жены не был неожиданностью — и письмо прислала, и телеграмму, а Глеб Ив., словно бы пораженный известием, сбился с шагу, юношески зарделся и бросился в сторону больничной конторы. Я увидел, как Егоров догнал Глеба Ив., как Глеб Ив. доверчивым, детским движением взял Егорова за руку, и вот так, держась за руки, они мелькали среди вишневых деревьев, окружавших контору.

Я уступил Успенскому свою квартиру. Александра Васильевна прожила у нас три дня. Все это время я был в тревоге. Для меня не были секретом горестные переживания Глеба Ив. Он полагал, что обрек свою семью на прозябание. Его угнетало не только на-

стоящее, но и прошлое — вечная поглощенность спешной работой и никакой заботы о домашнем очаге, о детях. Все тяготы несла Александра Васильевна. А теперь вот донашивала старые фуфайки, ходила в стоптанных туфлях, утверждая, что других ей не надо, эти в самый раз, по ноге. Глеб Ив. мучился, никакой, говорил, я не муж, не отец, а нахлебник, да к тому же нахально требующий, чтобы его навещали, о нем тревожились, ему писали. Случалось, что мученья достигали степени отчаяния, он ожесточенно бил себя по голове каким-нибудь тяжелым предметом, благо Егоров всякий раз, будто чутьем угадывая, поспевал вмешаться. Понятно, что я тревожился. Не о том лишь, как пройдет свидание, но и о том, как сойдет разлука. Правда, еще с первых оттепелей он настойчиво добивался «отпуска», хотел совершить пешее хождение по здешним весям, это, говорил, необходимо ему, надо обновиться существом, получить свежие впечатления, и тогда он возьмется, непременно возьмется за перо, напишет, как он говорил, о «великих людях земли русской», нынешних шлиссельбуржских мучениках — о Вере Фигнер, о Германе Лопатине, который, заворожив его однажды, приворожил пожизненно...

Я этот «вояж» обещал, сказать честно, не очень-то твердо и определенно: смотря, мол, «по состоянию». Но с течением времени все больше склонялся к тому, чтобы исполнить свое обещание. Стало быть, и теперешняя разлука с женой могла сойти благополучно, потому что Александра Васильевна часто живала в здешних местах, точнее, в Сябринцах, близ Чудова, а значит, во дни пешего хождения Глеб Ив. не минует Сябринцы.

Кратким прологом «вояжа» была поездка в Новгород, на станцию железной дороги. Глеб Ив. провожал Александру Васильевну; я сопровождал Глеба Ив.

Колмовское свидание протекло спокойно, даже и радужно. На блеклом, нервном, усталом лице Александры Васильевны возникала робкая улыбка. Она, видимо, страшилась внезапной перемены к худшему, так уже случалось. Глеб же Иванович, ласково забирая ее ладонь в свои ладони, улыбаясь, развивал идею «убийства времени», остающегося до встречи в Сябринцах. Идея была в том, чтобы «разыграть письменные этюды воспоминаний», он возьмет сюжетом прекрасную мадемуазель Бараеву, а она, Александра Васильевна, — что пожелает, по своему усмотрению.

Благое намерение, эти вот «этюды», осталось благим намерением, но и Глебу Ив., и Александре Васильевне было так хорошо в тот пасмурный, тихонький, теплый день в извозчичьей пролетке, неспешно катившейся в Новгород, на станцию железной дороги.

На вечерах в этом доме ювелирных фейерверков не бывало, и вдруг... «В этом доме»? Надо, пожалуй, напомнить: на Малой Итальянской, в адвокатской квартире, там, где Глеб Иванович говорил о покойном Решетникове...

Так вот, собралась, как обычно, публика интеллигентная, молодая и возраста среднего, разговор на сей раз шел не о литературе,

а о политике внутренней, неизменно поставлявшей пищу для суждений, подчас рискованных.

Опоздавший завсегдатай, описывать которого нужды нет, явился с незнакомкой блистательной: серьги бриллиантовые, брошь бриллиантовая, кольцо с бриллиантом. Уже не расцветающая, но еще цветущая дама была в черном кружевном парижском платье с высоким воротом а ля Медичи. Лицо тонкое, четкое, твердое. Глаза? Бесспорно, выразительные, но коль скоро смысл выразительности оставался спорным, все решили, что глаза у нее загадочные.

Несмотря на усердные разыскания, мне не удалось установить ее имя, буду называть, как называл Глеб Иванович, — Шантрет. Французское словцо ничего иного не значит, как только «шатенка». Глеб же Иванович произносил протяжно, с нарочитым прононсом, возникал легкий, звуковой, что ли, шарж. Иронией, шаржем маскировал он и замешательство, и досаду, и вообще черт знает что, возникавшее в душе то поочередно, то вперемешку, как от мутовки.

Шантрет появилась в ту минуту, когда политическая тема сменялась литературной: у Глеба Ивановича просили «чего-нибудь новенького»... Он знал насквозь этих серьезных слушателей. Все они наперед имели обо всем мнение само-сто-ятельное. И потому на литературных вечерах, не робея, допрашивали писателя, почему он пишет так, а не эдак. Одни обвиняемые притворно и лениво капитулировали — да, не так пишу, не так, уж не обессудьте. Другие, еще не обстрелянные, сердито недоумевали, отчего читающая публика взяла за правило глядеть на писателя сверху вниз. За Глебом Успенским читающая публика признавала талант, и даже талант замечательный, однако сетовала на то, что Глеб Успенский не пишет «настоящих романов», а печатает «отрывки», «наблюдения», «страницы из записной книжки». Полагая свои мнения самостоятельными, они пели с чужого голоса — повторяли так и сяк журнальную критику. А журнальная критика то упрекала г-на Успенского в сжатости, которая, утрачивая достоинства краткости, приобретает недостатки схематизма, то чуть ли не осуждала на смертную казнь за бегство из садов художественной прозы в каменоломни прозы публицистической. Критика, отнюдь не всегда благожелательной тональности, не то чтобы вовсе не задевала, не огорчала, не коробила Успенского, однако и не опрокидывала навзничь. «Какая же у меня словесность, — разводил он руками, — не словесность у меня, а черная, ломовая работа...»

Ну-с, просили «чего-нибудь новенького». Отказывать он стеснялся, не умел: конфузили даже малейшие подозрения в капризности и жеманности артистической натуры. Он прочел «отрывок», «наблюдение», видел, что задел за живое, но готов был и к самостоятельным мнениям. Никто, однако, и губой не успел шевельнуть, как новоявленная Шантрет без всяких вводных предложений, вроде «на мой взгляд» или «мне кажется», произнесла безапелляционно: скучно, плоско, глупо. И повергла собравшихся в

единодушное замешательство. Или, как, наверное, выразился бы д-р Усольцев, в коллективное помешательство, характерное для иных периодов истории человечества. Все ошеломленно молчали. Нигилизм нигилизмом, но не эпатаж ради эпатажа. И все решили, что у загадочной Шантрет самобытный и, может быть, поистине глубоко национальный взгляд на искусство. Ничего иного не пришло в голову само-сто-ятельной публике.

А виновник торжества? Возражать было бы еще скучнее, еще площе и глупее, чем он пишет. Он чувствовал себя нелепо, неуклюже, скверно. Так скверно, что из головы сразу, как под обухом, вылетел срок возвращения домой. Задерживаться, опаздывать в такой день было непростительно, как измена. Вымученно усмехнувшись, он сказал:

— Мне сделали аванию. — И, поклонившись, вышел.

Нарочитой заменой расхожего «мне нанесли обиду» на редкостную «аванию» Глеб Иванович не избавил себя от скверного, нелепого, неуклюжего положения в пространстве и вместо того, чтобы поторопиться домой, вялым шажком поплелся к Фонтанке.

Опершись на парапет, он долго и тупо смотрел на черную речку, меченную, как желтком, отблеском фонаря, и потряхивал головой, как ныряльщик, в ушах которого застряла вода.

Дома он застал акушерку. Поджав губы, повитуха смерила взглядом обжигающей презрительности гуляку праздного. Он похолодел, у него дрогнуло под коленками, он страшно перепугался, как бы и второго, долгожданного и желанного младенца не постигла участь первенца.

Первенец родился мертвеньким. Александра Васильевна обреченно шептала: «Пусто... Пусто...» Глеб Иванович, не зная, что делать, чем ее утешить, глотая слезы, хотел было затеплить лампадку. Давно порожнюю плошку затянуло паутиной. Александра Васильевна повела глазами на красный угол, опять молвила: «Пусто...» — но в этом повторе был уже не прежний смысл, и Глеба Ивановича прохватило лютым одиночеством Сашеньки — нет ей прибежища, нет утешения. В отрочестве, гимназистом, он читал о мучениках веры; сейчас, сквозь слезы, холодившие скулы, видел мученицу безверия.

Еще до замужества Сашенька Бараева сказала жениху, что она «утратила способность веровать». Успенский не поперхнулся. И он, и она принадлежали к тому кругу, который не только не общался с господом богом, но и не раскланивался с господом богом. Одни отрекались медленно, посреди тягостных сомнений, другие рационалистически-спокойно. Сашенька Бараева, вчерашняя институтка, только что получившая аттестат, «утратила способность», потрясенная кончиной родного брата, совсем еще молодого человека, цветущего, полного сил. Сашенька отождествляла Всевышнего с Высшей Справедливостью, и потому ужасная несправедливость братниной смерти отрицала, как ей казалось, бытие божие.

Батюшка, знавший и любивший Сашеньку с самого раннего детства, печально цитировал священное писание: глупость человека извращает пути его, а сердце его негодует на господа. Да, ее отречение было негодованием. Потом негодования не было, ибо не стало предмета негодования. Но душа, освобожденная от веры, сиротеет, говорил батюшка. Она тоже могла бы сослаться на писание: нехорошо душе без знания. Добрый старик принялся бы объяснять, в чем тут суть. Это было бы впустую: Сашенька Бараева уже встретила на путях знания такие сочинения, как Бюхнерову «Силу и материю». Законы физики, химии, физиологии отменяли закон божий. Не душа сиротела без знания, а мыслящая материя.

Однако тайна из тайн: несуществующая душа жаждала любви, и, когда Сашенька Бараева думала о Глебе Успенском, мыслящая материя оставалась не у дел.

Их свадьба ужаснула бы ревнителей обрядности. Ни должного застолья, ни должного комплекта застольщиков. А время-то избрали, шут их возьми, неурочное, утреннее, в одиннадцатом часу. Малой компанией сидели у Палкина, ничуть не обращая внимания на сварливое шарканье еще не промявшихся, заспанных половых. Неудовольствие прислуги объяснялось не только ранью, но и отсутствием заказа на море разливанное. От таких гостей нечего было ждать. А Глеб Иванович и не желал моря разливанного. Не скаредничал, какое там... Повторял, сияя, что вот-де, друзья-товарищи, молодой супруг совершенно добровольно избирает позицию подкаблучника.

Затем вся компания покатила на Острова. День стоял высокий, весенний. Как часто бывает в Петербурге, тепло прореживалось длинным холодным ветром, и это было приятно, как и стук копыт по мостовой, сухой и звонкой.

На Островах полунагие рощи окунались в голубое, прозрачное. Взморье лежало как выглаженное. На тонком, в ниточку, горизонте всплескивал бледный дым парохода. Хорошо жить на белом свете!

Шампанское, выпитое у Фелисьена, гармонически сочеталось с рюмками водки, пропущенными в русском трактире. Там держали калужских кенарей. Глеб Иванович, улыбаясь, сказал, что канареечное дело птицеловы называют «благосклонным». Кенари по случаю супружества г-на и г-жи Успенских ликовали — и дудкой, и вроссыпь, и колокольчиком. Ах вы, пташки-канашки мои... Дома, в Туле, у деда была говорящая сорока Чипа, щегол щебетал, была и канарейка, выписанная из Полотняного Завода. Приживальщик Михалыч застру́нит, бывало, на скрыпочке: «Ах вы, пташки-канашки мои...» — канареечка тотчас начнет перебирать лапками на жердочке, а головкой верть-верть, ребятишки смеялись и в ладошки хлопали... Ему вдруг взгрустнулось. Нет, не по тульскому детству, а так, черт знает почему, вроде бы от крутой перемены всех жизненных обстоятельств. Вот тебе и сюрприз! И своя-то душа потемки. Ждал, желал, Бяшечкой звал, ласточкой. Совершилось, а

тут и на тебе — грустно... И как раз в эту минуту Сашенька перехватила его грустно-туманный взор. Он покраснел. Она посмотрела на мужа, в ее черных, смородинками, глазах светилось и счастье, и еще что-то такое, ему непонятное, да, кажется, и самой Сашеньке неотчетливое.

Кенари умолкли. Кто-то предположил, что певцы требуют гонорара. Глеб Иванович освобожденно засмеялся, он сказал, что канарейкам надо платить канарейками, желтыми рублевыми бумажками, но в соответствии с торжеством, каковое имеет быть, молодые жалуют на круг синенькую и зелененькую, и пусть уж хозяин делит эти восемь рублей, как вздумается...

Поженившись в мае, они чуть не год маялись. В мае добрые люди не женятся? Права пословица в тех случаях, когда в сундуках добра нет. У четы Успенских сундуки отсутствовали за ненадобностью. Была надобность в булке, в стеариновой свечке, в заварке чая. Он писал «Разоренье»: Михаил Иванович, человек рабочий, фабричный, ощущал потребность бунта отнюдь не бессмысленного. «Имею просияния моего ума, — говорил Михаил Иванович, — я всю эту разбойную механику понимаю...» «Разоренье» печатали «Отечественные записки». Платили исправно, до копейки — оставались копейки: молодоженов преследовали кредиторы. Александра Васильевна зарабатывала переводами с французского, с немецкого. Со стороны легко было счесть, что у молодоженов нет перевода деньгам. А Глеб Иванович задавался вопросом почти риторическим: «Александра Васильевна, не найдется ли чего-нибудь закусить?»

Наконец они сносно зажили на Гончарной. Ждали ребенка: первенец — царь в дому. Воцарения не дождались, первенец родился мертвеньким. «Пусто... Пусто...» — обреченно шептала роженица, Глеба Ивановича мучила какая-то тяжелая возня за стеной. Ему казалось, что он в каземате, а в соседнем каземате душат кого-то, душегубство творится в соседней темнице. Настенные часы, истратив силу пружины, не действовали. Глеб же Иванович думал, что смерть малютки остановила течение времени.

С постылой Гончарной они переехали на Фонтанку.

И вот теперь, сейчас, здесь, во флигеле, Александра Васильевна разрешилась благополучно. Усталая повитуха смотрела на «гуляку праздного» благосклонно. Он ходил фертом и насвистывал.

На другой день Глеб Иванович, торжествуя, извещал знакомых, полузнакомых, даже и знакомых шапочно:

— Александра Васильевна сына родила! Нос, знаете ли, не как у новорожденных, совсем, знаете ли, настоящий нос!

А что же Шантрет? О нет, она не забыла писателя, «пищущего плоско, скучно, глупо». Приговор должен был ошеломить писателя. Судя по всему, Шантрет преуспела. И она повадилась в дом на Малой Итальянской. Шантретин предмет, благожелательный ко всем и каждому, холодно сторонился обидчицы. Она была настолько умна, чтобы не переоценивать силу своего удара. И не настоль-

ко дура, чтобы рассчитывать на скорую победу. Она навела справки. Утверждали, что писатель Глеб Успенский счастлив в супружестве. Она не поверила. По ее мнению, он мог быть счастлив только с нею.

Приступая к осаде, Шантрет сменила доспехи: парижские туалеты на скромные платья, бриллианты — на железную цепочку. Объявляла сумрачно: «Эту цепь раскует только смерть!» Но смерть почему-то медлила, и осада продолжалась. Успенский получал записочки, лапидарные, как изречения риторов времен давно минувших, с эмблемами непреходящими. «Ты спишь, Брут, а Рим — в цепях», а вокруг, как виньетка, топор и кнут, кандалы и эшафот... Идейный писатель, казалось бы, должен был пасть ниц пред нигилисткой, готовой погибнуть за высокие идеалы. Идейный писатель не только не падал, но и устранялся от свиданий наедине. Шантрет дала ему понять, что он черствый, как сухарь.

— Вы совершенно правы, — обрадовался писатель, — я сухарь, сухарь заплесневелый и бесчувственный.

— Вы воплощение жестокости, — сказала Шантрет, ее красивое, четкое, твердое лицо злобно побелело.

Она перестала появляться на вечерах в адвокатской квартире. Но... Лотошница, ряженная старухой, выныривала из подворотни. Угадав Шантрет, страстный курильщик пускался наутек. Но... Обернувшись подростком-рассыльным, она гналась за ним с каким-то свертком, будто бы забытым в Пассаже. Он ретировался в первый попавшийся проходной двор. Но... Поблизости от его дома, на Фонтанке, скучал извозчик; Шантрет, сидя в пролетке, поглядывала из-под зонта, как филер.

Давно бы следовало дать отпор несносной «ритурнели», а Глеб Иванович не решался, терпел, надеялся на авось. Всего же муторнее было то, что он сразу не сказал Александре Васильевне об этой липучке. Не приведи господь, узнает стороной — бабьи сплетни страшнее пистолета. А узнает, спаси и помилуй, вспышка ревности. Чувство столь же гнусное, как и чувство собственности: ты мой — не отдам. Дьявольски неприятны подозрения в супружеской неблагонадежности. Не велика, конечно, радость и в подозрениях на счет политической благонадежности, но к тому имеются резоны, а вот каяться пред Александрой Васильевной, видит бог, не в чем. Однако давно надо было, что называется, доложить по начальству.

А Шантрет... Если цензор не верил в его преданность престолу, то она — в его преданность жене. Цензор не ошибался и пребывал начеку. Шантрет ошибалась и дошла до белого каления.

В один день филерши на извозчике не обнаружилось. Глеб Иванович вольно вздохнул. Едва он удалился в сторону Аничкова моста, как во двор его дома шмыгнула, подобрав юбку, торговка апельсинами. Проворно поднявшись на второй этаж, она брякнула дверным колокольчиком. Дверь отворила Александра Васильевна.

— Сочныя, сладкия, полновесныя, — гостинодворским зазывом отрекомендовала Шантрет марсельский экспорт.

Александра Васильевне приятен был аромат апельсинов. Она нимало не подозревала присутствия смертельной дозы сернистого мышьяка.

— Чистое объядение, барыня, — охрипшим голосом посулила Шантрет и мгновенно побледнела.

— Что с вами? — всполошилась Александра Васильевна.

— Мне.. мне... поговорить, — пролепетала Шантрет.

В комнате спал младенец. Над колыбелью почудился Шантрет нежный призрачный дымок ребяческого сна. Она вскрикнула и, судорожно вцепившись в корзину, бросилась вон.

Никогда больше Глеб Иванович не видел Шантрет.

Он дал себе зарок впредь не мешкать с «донесениями по начальству». А поводы к тому подвертывались. Александра Васильевна, слава богу, не выказывала чувства собственности. Барышни увлекаются ее мужем? Господи, только Баба-Яга не испытает магнетизм его обаяния. Но Глебушка, пожалуй, чересчур мнителен, у мнительности глаза велики, а мнительность Глебушкина — производная величина душевной чистоплотности.

Он принимал как должное ее уверенность в его брезгливой чуждости пикантным историям. Но ему как бы и не хотелось верить в ее полную свободу от ревности. Он предполагал тайные страдания и сожалел об этом.

Она и вправду страдала. Однако он не догадывался, где зарыта собака.

На Островах, в день свадьбы, когда они встретились глазами и Глеб Иванович поймал в себе внезапный испуг от совершившегося, она и себя поймала на чем-то неожиданном, а теперь, матерью семейства, поняла, что это было предчувствием распри. Но тогда, на Островах, не поняла, потому что была счастлива неведением.

Чего же она не знала, о чем ведать не ведала?

О том ли, что счастье с несчастьем, как вёдро с ненастьем? Полноте. Переменчивость судьбы не секрет даже и для институток. Может, о том, что жизнь внезапно рвет жилы и ставит точку? Ну нет, страшным примером была скоропостижная кончина брата. Или о том, что жизнь, вытягивая жилы, то и дело ставит знаки препинания — препоны, неудачи, помехи? Господи, кто же этого не понимает!

Так в чем же таилось ее краткое — там, на Островах, — предчувствие долгой тяжбы?

Нет, не с безденежьем, не с невзгодами. И не со сверлящим, как древоточец: я, дескать, денно-нощно, словно пчелка, а ты исчезаешь надолго, пахнет от тебя не только табаком, пиджак швыряешь куда попало, да и забываешь, стыдно сказать, чистить зубы.

Но ежели не в том была тяжба, то, может, в борьбе за власть или в борьбе за свободу? Нет, она не посягала на домашнее самодержавие. (Глеб Иванович с порога вручил ей державу — правь, матушка, как славная комендантша Белогорской крепости.) И не обороняла принципов женской эмансипации. Оборонять нужды не было: Глеб Иванович не атаковал эти принципы. Напротив, совсем

напротив. Его не умиляла Татьяна Ларина: от ее верности пахло гаремом — «я другому отдана». То-то и оно, *отдана*.

Рассуждая «вообще», хотя и не отвлеченно, оба думали, как Пушкин, не зная, впрочем, что Пушкин так думал: «Несчастие жизни семейной есть отличительная черта во нравах русского народа». Мысль эта, искренне считал Глеб Иванович, будучи верной, не адресовалась, однако, лично ему. Что ж до Александры Васильевны, то она, материнством счастливая, чувствовала и сознавала «несчастливость по-своему».

И Глеб Иванович, и знакомые литераторы, и издатели отдавали должное ее несомненному дарованию. Залогом тому были переводы, поощренные Тургеневым. Но залог это ведь даже и не пролог. Она не работала, а прирабатывала. Работа требовала независимости от домашности. А последняя не исчерпывалась домоводством. Детей надо не только кормить, мыть, обувать, одевать, лечить, но и воспитывать. Дети, дети... Она ни на день не спускала с них глаз. А втайне предавалась литературным мечтаниям, задумывала повести, отваживалась и на романы. Увы, увы, семья хоть и не вериги, а не сбросишь, как вериги. К тому же она бы и сгоряча не стала бы никого уверять в своей практичности. Выгадывать, торговаться, что называется, протягивать ножки по одежке, не то чтобы казалось ей унизительным, а было как-то неловко, утомительно, конфузливо. Но с Глеба-то Ивановича в этом смысле какой спрос? Стало быть, кому-то же надо, а кому, кроме нее?

Огорчения Александры Васильевны Глеб Иванович и замечал, и понимал. И посему измыслил однажды замечательную «коммерцию».

Мясной товар поставлял Александре Васильевне разбитной ярославец с Сенного рынка. Глеб Иванович подкараулил его на черной лестнице и попросил об одолжении, как говорится, не в службу, а в дружбу. Ярославец отвечал — завсегда, мол, готов. Пожалуйста, продолжал Глеб Иванович, не торгуйтесь с Александрой Васильевной, какую цену назначит, на такую и соглашайтесь. «Завсегда готовый» мясник попятился. Помилуйте, говорит, сами знаете, скотина привозная, того и гляди по миру пойдешь, никак-с невозможно-с... Нет, нет, оборвал Глеб Иванович, вы меня не поняли; вы настоящую-то цену записывайте, мы с вами под конец месяца и сочтемся, я вам еще и приплачу по пятачку с фунта. Ярославец просиял, экий господин-то славный... Так и пошло, ладно да складно, к полному общему удовольствию. Неизвестно, сколь бы долго продолжалось, не поделись Александра Васильевна своей удачливостью со знакомыми дамами. Само собой, клиентура у ярославца резко увеличилась. Да сразу и осеклась. Как так, всполошились покупательницы, что же ты, мошенник, с нас дерешь, а вот с госпожой Успенской по-божески, ах ты негодник, ах ты бесстыдник... Ярославец оскорбился: зачем-де мораль напущать? Был бы ваш супруг-то таким же славным господином, как Глеб Иванович... И «ларчик» открылся. Александра Васильевна не знала, сердиться ли, смеяться ли, Глеб Иванович приуныл, как банк-

рут, хмыкал, разводил руками и повторял, что «скотина привозная, никак-с невозможно-с...»

Дом, дети, бесконечные хлопоты, нескончаемые заботы, такие вот ярославцы, они-то, грустно думалось Александре Васильевне, и убивают ее бессмертную душу. Она понимала — литература и домашнее — были бы невподым и Глебу Ивановичу. Понимая, принимала ли? Сколь много он мог бы дать Саше, Вере, Маше, Оле... Не в ходу у них ни «папа», ни «папенька» — зовут Глебом, даже и Глебушкой, точно старшего брата. Любимого и любящего, да-да, так, но у брата ведь нет отцовских обязанностей. Александра Васильевна удивлялась чуткой безошибочности детских сердечек: Глеб, Глебушка. Но ее сердце нет-нет да и сжимала обида. Ничтожный повод искоркой падал на трут, вспыхивала ссора.

— Нельзя же мне, Глеб Иванович, все одной да одной.

— Уж не желаете ли, Александра Васильевна, чтобы я с вами непременно под ручку расхаживал?

— Вовсе я этого не желаю, но, согласитесь, не я одна семью заводила.

И Глеба Ивановича такая печаль, такая беспомощность замолаживали, что Александре Васильевне ничего другого не оставалось, как только слезинку смахнуть и пойти удостовериться, не гневается ли самовар — Глебу Ивановичу без чаю, как без папирос.

Она понимала, что на страже всей его сущности стоит эгоизм. Не смешной, не отвратительный, а тот безотчетный, можно сказать, естественный и даже великий эгоизм, без которого нет и невеликого писателя. Опять-таки спрашивается: понимая, принимала ли?

Ее бедное «я», заточенное в семейном «мы», то долу клонилось, то плечи пря́мило, оставаясь неспособным ни на самоутверждение, ни на самоотречение.

Судя по воспоминаниям доктора Усольцева, Глеб Иванович, проводив жену до станции железной дороги, вернулся в Колмово хотя и молчаливо-рассеянным, но спокойным.

Окно в его палате ослепло еще до полуночи, и это был добрый знак. Усольцев светло подумал о своей душевной неотделимости от Глеба Ивановича и о том, что этот субъективизм дороже служебно-врачебной объективности. И еще успел подумать, засыпая, как хорошо, старомодно и хорошо, когда муж и жена на «вы» и по имени-отчеству: «Вы, Александра Васильевна...», «Вы, Глеб Иванович...»

Утром был обход палат почти ритуальный. Усольцев привычно не замечал запаха карболки и мочи. И привычно замечал, как больные, собираясь на работы, опасаются его докучливой заботливости: вдруг не пустит. Опасения эти были приятны «коллективисту» Усольцеву.

Визит к Успенскому оставлял Николай Николаевич напоследок, так было у них заведено: вслед за визитацией — прогулка. Нынче

Усольцев прицеливался к «французскому сюжету», возникшему как бы в подверстку к беседе в дубовой роще о Буланже и прочем.

Усольцеву пришел на ум губернатор Лагард. Их свидание состоялось в Обоке, в африканском захолустье. Лагард, представитель Франции, восхвалял палачей-версальцев и почем зря костил парижских коммунаров. Вот этот-то «сюжет» и предполагал Николай Николаевич тронуть, прогуливаясь нынче с Глебом Ивановичем. Ведь Успенский был во Франции вскоре после разгрома Коммуны.

Минуту спустя доктор понял, что прогулка не состоится. Он понял это по едва уловимому движению подбородком, сделанному служителем Егоровым. И само движенье, и скрытый в нем смысл были, к сожалению, знакомы д-ру Усольцеву. «Не умеете вы, канальи, вылечить Глеба Ивановича», — без слов обвинял Егоров. Вслух же сказал: «Всю ночь не спали, мучились».

В сон наклонило еще до полуночи. И не тяжело, муторно, мутно, как после сульфонала, а с тем здоровым удовольствием от усталости, которая была следствием поездки в Новгород, суеты на дебаркадере, свистков локомотива, словом, впечатлений, как-то увязанных с теми давними днями, когда они поженились, жили с хлеба на воду, но счастливо.

Он погасил лампу и, наверное, скоро и покойно уснул бы, если бы выкурил последнюю папиросу. Но не выкурил. И не потому, что рачительный Егоров ругался, замечая прожженную наволочку или простыню, а точно бы ради Александры Васильевны — манеру курить в постели она считала «негигиенической». Хорошо-с, извольте, курить не будем, а вместо того посидим минуту-другую у окна, ночь светла, и мы, Александра Васильевна, проникнемся очарованием пейзажа: вы ведь нередко упрекали нас в равнодушии к «ландшафту».

Сидел, закинув ногу на ногу, облокотившись о подоконник, и «проникался». За рекой, почти неразличимой, лишь угадываемой, в рассеянном лунном свете тихо, будто замерев в парении, мерцали монастырские кресты, а тут, под окном, и чуть дальше был малинник, такой плотной черноты, словно не кустарник, а куча антрацита. Глеб Иванович, вероятно, еще и еще удержался бы на позиции «проникновения», если бы четкий, как из коленкора, очерк заречной обители не воскресил перед ним женщину строго монашеского облика. В последний раз ему привиделась инокиня Маргарита в Нижнем, когда гостил у Короленки. Волнуясь, с глазами, полными слез, Успенский горевал о ее вечном заточении в Шлиссельбурге, а Владимир Галактионович ласково утешал его проникновенным, задушевным голосом с мягкими, южными интонациями, похожими и на украинские, и на польские.

Сейчас, однако, мысли Глеба Ивановича не сосредоточились на инокине Маргарите, оттого, должно быть, что в мыслях он еще был с Александрой Васильевной, обнимая каким-то общим, без подробностей, без частностей, объятием всю совместную жизнь,



именно совместную, когда нет ни твоего «я», ни другого «я», а есть «мы», а в голосе Короленки невнятное сменялось внятным, и Глеб Иванович уже понимал, что Короленко вслух читает что-то из Успенского.

Так бывало не однажды. Успенский сознавал, что голос беззвучный, как этот лунный свет, звучит лишь в голове его, в ушах его, но всякий раз дивился своей памятливости, Владимир Галактионович читал-то его, Успенского, сочинения, а он, Успенский, намолол, прости господи, столько, что и оси у мельницы подмололись.

«Я присутствовал совершенно как посторонний, чужой человек, — читал вслух Короленко, — чужой человек, наблюдающий со стороны разговор, который молча происходил во мне же самом».

Да-да, так было, было задолго до Колмова. И пусть господа психиатры определяют, что сие значит. О, они сказали бы: прострация, угнетенное состояние духа. А вот и нет, не то и не так, какая там, к черту, прострация. Такая же прострация, как и этот малинник под окнами. Совсем другое, совсем другое! Находят, знаете ли, минуты особенной, напряженной зоркости, и ты переощущаешь себя — понимаете? переощущаешь! — во всевозможных направлениях, даже в какую-нибудь букашку или цветок под окном почтовой станции, на краю малинника. Да, в ничтожнейший цветок, и вот так же затекал локоть на подоконнике... «Я продолжал безмолвствовать, — читал Короленко, и так отрадно было бы слышать этот проникновенный, сердечный, с мягкими интонациями голос, если бы... если бы Короленко почему-то не выбрал рассказ Цветка. — Не могу выразить, до чего это трудно. Едва только из «нее» и «меня» вышло одно *мы* и едва мы на некоторое мгновение ощутили действительную цельность и полноту жизни, — смотрю: что-то мне становится страшно, холодно и одиноко. Она со мною неразрывно, но я одинок...»

Теплое мерцание монастырских крестов сменилось льдистым отсветом. Голос Короленки, утратив мягкость, мучил Глеба Ивановича. Не мог он понять, почему, зачем Короленко читает *это* — никогда не писал аллегорий, да вдруг и написал. И напечатал в «Северном вестнике» исповедь невзрачного Цветка на краю малинника, исповедь, которой внимал усталый путник. Отчего так жесток Короленко, человек необычайно человечный? И как раз сейчас, когда он, Успенский, мыслью своей обтекал всю совместную жизнь с Александрой Васильевной, и веяло счастьем, пусть невозвратным, но ведь, если счастье было, оно, затаившись, ждет хотя бы краткого пробуждения. Глеб Иванович не хотел слушать, не мог слушать, но как же заставишь Короленку замолчать, если это не зависит от Короленки, а зависит от тебя самого, потому что беззвучный голос Владимира Галактионовича звучит в твоей голове, в твоих ушах. И Успенский, не переменяя положения тела, не чувствуя затекшего локтя, слышал и слушал о несчастьях раздвоенного «мы», об отчаянии подчас злобном. «Правда, и теперь, — продолжал Короленко, — правда, и теперь иногда мы опять *мы*, в

самом деле. Но увы! Это уже в минуты горького сознания, что оба мы несчастны и что все наши страдания для будущих якобы поколений ровно ничего не означают, что наши дети будут страдать так же, как и мы... Здесь я очнулся: в совершенно темную комнату вошла кухарка со свечой. Яркий свет ослепил меня...»

Яркий свет ослепил его — в совершенно темную комнату вошел Егоров со свечой. Вошел сердитый, внезапно разбуженный беспричинной тревогой, и едва не обронил свечу: Глеб Иванович вскочил со стула, лицо белое, ни кровинки, точь-в-точь, как неделю-другую тому, когда садовник обкашивал клумбы и острые, блескучие «жик-вжик» влетали в палату, а Глеб Иванович, схватившись за голову, крикнул Егорову: «Скажи, чтоб перестали! Ведь больно же, траве больно!» Странное дело, Егоров тогда не то чтобы понял или не понял, а внезапно ощутил душу живую везде и всюду, в этой траве тоже... Но теперь-то, но сейчас — кому больно?

Где было догадаться — не свеча ослепила Глеба Ивановича, а боль Александры Васильевны, прочитавшей некогда признания жалкого, прибитого градом, сломленного Цветка. Глеб Иванович замотал головой, с силой захлопнул окно и обмяк, поник.

Он покорно выпил лекарство, послушно разделся, послушно лег под одеяло и, выпростав руки, сложил их на груди. Егоров сел у него в ногах, дожидаясь действия снадобья.

Сидел молча, искоса поглядывая на солнечный лучик, скользнувший в палату. Лучик, думал Егоров, дотянется до изголовья да и обеспокоит Глеба Ивановича, губ коснется, щек коснется, обеспокоит. Егоров хотел было задернуть занавес, но не стал, смутно ощущая единство этого лучика с травой, которой больно. Глеб Иванович засыпал, и Егоров, перекрестив его, как нянька дитятю, на цыпочках вышел из палаты, а Глеб Иванович остался в узкой луговине, быстро и густо зараставшей сон-травою.

Смеженные веки тяжелели, будто под гнетом старинных медных пятаков. Но страшно не было, как бывало, когда этот гнет на веках воображал он первыми мгновениями небытия. Страшно не было потому, что в сумраке сон-травы, в ее зыбкости он чувствовал губами и щекой золотистую, трепетную полоску, и это было здешним, колмовским свиданием с Александрой Васильевной.

Понятно, ни о каком «французском сюжете» в то утро не могло быть и речи, потому что и прогулки-то не было. Да и вообще в усольцевской тетради нет об этом ничего. О причине судить не берусь. Может, просто-напросто не представился случай.

А в Париж Глеб Иванович ездил.

Он устал, подвизаясь в журнале Некрасова, хотел развеяться, перевести дух. Где же развеешься, как не в Париже? Требовался, однако, прожиточный минимум. Некрасов тороватостью не отличался. Но у него был замечательный нос. У меня, говорил Николай Алексеевич, нос, как у выжлеца. А выжлец потому и вожак гончих, что добычу чует раньше всех. Вот он и чуял, каков Глеб Успенский, молодой, тридцати не стукнуло, беллетрист. Стало быть, у

кого же и занять «минимум» в счет будущего гонорария, как не у Некрасова? Сочтемся! Серией «Парижских писем» сочтемся. И вот — еще до отъезда: «Милостивый государь Николай Алексеевич! Ради бога, простите меня...» И потом, уже после отъезда, из прекрасного далека: «Милостивый государь Николай Алексеевич! Не гневайтесь на меня...» Милостивый государь хмурился, но в милостях не отказывал.

Первым парижским впечатлением был запах. Не скажешь «приятный», скажешь «знакомый», придержав за зубами «родимый». Носильщик подхватил саквояж и тотчас шмякнул на перрон. Кучер, разворачивая фиакр, попер на панель, на прохожих. От носильщика, от кучера пахло отнюдь не ландышами. Можно было чертыхнуться, можно было подосадовать, но с берлинскими не сравнивать. Там носильщик брякал бляхой, как будочник медалью, а кучера брали под козырек, как фельдфебели. О, они делали свое дело недурно, но так, словно руки-то по швам.

Успенский ночевал в отеле, проснулся рано и рассмеялся радостно и испуганно, как бывает в детстве, накануне больших праздников, и ты, просыпаясь, боишься, что все-все уже было, прошло, ты опоздал, а вместе с тем знаешь, что еще ничего не было и проспать тебе не дали бы.

Завсегдатай российских странноприимных мест, если только позволительно зачислять в этот разряд губернские и уездные гостиницы, он остался доволен лоском недорогого номера и еще тем, что внизу был дворик, светло желтеющий, отгороженный от соседнего брандмауэрной стеной, но не угрюмой и словно бы сочащейся сыростью, как в Петербурге, а увитой плющом, и этот плющ, утверждая цепкость своей старости темными ветвями, свидетельствовал о своей молодости ветвями гибкими, почти изумрудными, пригретыми весенним солнцем.

Был май, было тепло, в Петербурге сказали бы: «Жарко». Успенский вышел без пальто, в костюме, признаться, потрепанном, там, в Петербурге, он этого бы совершенно не заметил, а здесь сразу же захотелось купить новый, но не потому, что все ходили с иголочки, а потому, что он уже испытывал магию парижской элегантности. И, прах его возьми, купил на Итальянском бульваре, а заодно уж и пальто купил, выложив семьдесят франков и впервые чувствуя удовольствие от покупки вещей, в сущности, внимания не стоящих.

Он ежедневно много, долго ходил по городу. У него была легкая походка, и на душе было легко, как в начале гимназических вакатов. Он ощущал явственно, что скулы и надбровья утратили хмурую тяжесть, точно выбрался из чащобы на опушку и вот прихлынул вольный свет открытого неба. Особенно нравились ему здешние сумерки, сизые, светло-фиолетовые, такие, которые на нашем Севере, где-нибудь за Онегой, называют сутеменью.

Вместе с тем он знал, не догадывался, а знал, что весь этот круговорот, блещущий огнями фонарей и фиакров, бойкость эта, театральные занавесы, размалеванные объявлениями о лучших

в Европе клистирах и штиблетах, витрины с лучшей в Европе галантереей, бульвары с лучшими в Европе кокотками, все это труля-ля скрывает постыдное, злодейское, совершившееся совсем недавно в этом городе, живущем как на юру. Не догадывался, а знал, но, боже мой, думать о злодейском, постыдном не хотелось, а хотелось дышать, глазеть, фланировать.

Однако настигает час — глаза имеющий да видит.

Он увидел площадку, ровнехонько вымощенную каменными плитами. На площадке резвились petits parisiens. Собачонка, похожая на Тюньку, гонялась за ребятишками, звонко тявкая и мотая зеленым бантиком. Младая жизнь играла у гробового входа? Входа не было, но были на каменных плитах темно-ржавые пятна въевшейся крови. Он сразу понял, что *это* такое, и сразу же словно бы отшатнулся, безотчетно желая удержаться в парижском тру-ля-ля. Он пошел прочь, за шиворот попала льдышка и скользила, подирая холодом. Он оглянулся, будто взывая о помощи, на собачонку. И теперь ему уже казалось, что Тюнька – незадолго до отъезда подобрал в питерской подворотне жалобно скулящий комочек, выходил дворняжечку — Тюнька, сердобольно помаргивая, семенит впереди, увлекая его все дальше и дальше от этих темноржавых пятен на аккуратных каменных плитах.

Однако бьет час — имеющий уши да слышит.

На армейском плацу происходил, вероятно, развод караула, Успенский услышал рожок, хриплый и резкий. Потом он услышал: «Именем французского народа...» Ритуальной формулой начинались приговоры над бывшими коммунарами. Здесь, в Версале, заседал военный суд. Заседал уже несколько месяцев, собирая все меньше публики; она предпочитала рукоплескать в театриках — уж так высмеивают блузников, животики надорвешь.

Суд вершился в какой-то замызганной зале. На длинных скамьях сидели скучливо любопытствующие иностранцы, поодаль сидели изможденные, одетые нищенски жены и матери подсудимых. Эти женщины не ждали пощады для своих мужей и сыновей, и все же, робко поднимая заплаканные глаза на мундирных господ, безмолвно молили о снисхождении: ведь мой-то по чистой случайности, другие-то, может, и с умыслом, но мой-то, Спасителем клянусь, по чистой случайности.

Военные судьи, с жирными волосами и печатью безнадежной истасканности на лицах, давно уже не испытывали к подсудимым ничего, кроме презрения, и разделывались, как с гуртом на бойне, с этими сапожниками, столярами, грузчиками, портными. Резолюции — расстрел или каторга — читали они скороговоркой и только сакраментальное «Именем французского народа» произносили с механической четкостью, как до эпохи свободы — равенства—братства произносилось королевское или императорское титулование.

Конвой, клацая ружьями, принимал осужденных. Тяжело волоча ноги, они напрягали остаток сил в тщетной надежде промедлить самую малость, всего-то одну-две минуты, в течение которых все может круто, чудом перемениться — пуля, уже летящая в

лоб, в грудь, в живот, пролетит мимо, а медленная смерть в аду Новой Каледонии или Кайенны отойдет в сторону, уступая место какой-нибудь из парижских тюрем, и ты увидишь, бог с ней, с решеткой, увидишь небо Парижа...

Чувствуя удушье и тошноту, втянув голову в плечи, Успенский, будто ощупью, будто сослепу, выбрался из казармы, пересек огромный двор с орудийной батареей, блещущей воинственно-весело, и, услышав напоследок вонь солдатского сортира, пошел все быстрее и быстрее, не разбирая дороги.

Нынешним утром, решившись посетить заседание военного суда, Глеб Иванович, наперед нервничая, не заметил в Версале ничего, так сказать, чарующе-версальского. Напротив, все казалось унылым, как Елец. Почему-то на уме был Елец, а не Елабуга или что-нибудь другое в этом роде. А толпа, ожидающая пуска фонтанов, была глупее петергофской. Сейчас его и вовсе не занимали красоты Версаля, в кущах которого когда-то млели людовики и наполеонтии, обожравшиеся человечиной.

В Париже, в отеле, не спросив чаю или кофе, он лег и мгновенно уснул, разбитый и душевно, и телесно. Пробуждение тоже было мгновенным, он очнулся с ясным, как звяканье льдинок в жестяном ведре, осознанием вчерашнего дня.

Версаль, все, что было в Версале, представилось в некоей математической расчисленности. Деревья и кустарники, подстриженные квадратом, прямоугольником, конусом, были геометрическим торжеством над матерью-природой. Артиллерийская батарея на казарменном плацу — симметрией, глумящейся над каждым живущим. Круг за кругом, словно под циркулем, циркулировало версальское судопроизводство. Рационализм был холодным и голым, как покойницкая, душе места не было. Совесть? Справедливость? Он встал, зажег свечу, его сгорбленный силуэт приклеился к стене. Он листал лексикон Ренара. Совесть? Справедливость? Язычок огня, вытягиваясь, клонился к лексикону, свеча, сгорая, тоже искала, что же такое Совесть, что же такое Справедливость? Оказалось, что совесть тождественна сознанию. Оказалось, что справедливость тождественна правильности.

В перерывах версальские мундиры курили, заложив руки за спину или в карманы красных штанов. Они делали свое дело правильно, стало быть, справедливо. Они делали свое дело в здравом уме, стало быть, по совести... Успенский перебрал в памяти знакомых судейских. Эти тоже упекали в каторгу, да вот не покуривали пахитосочку, не замечая плачущую бабу. Русская совесть несовместна с рассудочностью; нет, у нас лучше...

На дворе рассвело, послышался коротенький стук тележки, развозившей по домам молоко. Скоро, значит, начнется костоломный грохот омнибусов, экипажей, колясок, и опять, опять тру-ляля. Он швырнул саквояж на середину комнаты, огляделся, с чего начать укладку багажа. Взгляд его упал на эстампы с видами Парижа. На почте не нашлось давеча конвертов подходящего

формата, а теперь вот, не дай бог, помнешь, приобрел-то не где-нибудь, а в Лувре... Недоуменно, самого себя осуждая, он развел руками: еще раз не побывать в Лувре, не увидеть Ее?

Он торопился, словно боясь разминуться с Нею. Постепенно, исподволь в его торопливости возникло что-то не сразу понятное, не сразу осознанное, а так, вроде бы мимовольное и сейчас, перед встречей, последней, может быть, в его жизни встречей, сейчас не нужное, не нужное, не нужное. Да-да, он и прежде замечал зловещие отметины на фасадах, арках, колоннах, там и сям замечал эти щербины, оспины в темных подпалинах, в трещинах, в пороховых кружочках — следы картечи, следы ружейных залпов, следы прошлогодних баррикадных боев. Да-да, замечал, как же... но сейчас в минуту одну все эти отметины в траурных пороховых кружочках, эти незрячие глаза павших коммунаров и версальских солдат, выскочив, выколупнувшись из своих орбит, роились над ним, жужжали и взвизгивали...

Когда он пришел наконец в Лувр, то долго переводил дух, будто бежал верст десять, петляя и увертываясь.

В Лувре, огромном музее музеев, ему нужна была лишь анфилада античных мраморов. Да и не вся анфилада, отнюдь не вся. Но сперва надо было миновать многое. Он бывал здесь не однажды. Культурному человеку полагалось бы благоговеть, а ему страсть хотелось подмигнуть сторожам: бедняги деревенели посреди этого холодного мрамора. А нынче он даже и для виду нигде не задерживался: он шел к Венере Милосской.

Из-ва-яние? Это слово он осязал как снулую рыбину. Нет, нет, она не была изваянием и не принадлежала к сонмищу луврских венерок с их бедрами, бюстами, торсами.

В небольшом зале он, притаив дыхание, медленно и робко поднимал глаза, и всякий раз в первые мгновения он ни о чем не думал, а только чувствовал мурашки на спине, и это было почти испуганное оцепенение при виде истинной красоты, при виде красоты истины. Этот телесный озноб не угасал, а сообщался мыслям, и это были чувствующие мысли, чувствующие мысли о правде и справедливости, о том, что правда не всегда справедливость и не всегда прекрасна, а истина не бывает, не может быть несправедливостью, не бывает, не может быть непрекрасной, и еще о том, что тьмы низких истин нет, есть низкие правды, а истина... истина... Она в непарадном зале с бархатным диванчиком, сидя на котором и глядя на Венеру Милосскую, плакал Гейне, Афанасий же Фет, человек культурный, ничего не понял и лучше выдумать не мог, как упиваться «сияньем наготы божественного тела...». Взглянул бы на завитки волос, слипшиеся на висках: Она только-только вернулась с поля и под притолокой в сенях положила серп, ибо Она — прародительница и вятской Авдотьи, и смоленской Акулины, и тех мужичек, которых он, Успенский, встречал и на Шексне, и в других деревнях. Их называли *большухами*, они были старшими в дому, в семье, в хозяйстве, они были самодержцами, то есть сами держали всё, поднимали, упро-

чивали, взбадривали, умножали, хранили, пускали в ход. Вятская Авдотья, овдовев, подати платила сполна. Односельчане недоумевали: «Стали, вишь, и баб засчитывать в души». А смоленскую Акулину односельчане стращали: не дадим тебе ни пахать, ни сеять, потому ваша бабья команда должна во дворе сидеть, как исстари повелось. Но Акулина, плечом отринув мужа-пьяницу, пахала и сеяла. Овес и ячмень уродились добрые. Бабы тут чуть не за ухваты: мы-де не плоше, мы-де без вас, бражники, сдюжим. Мужики собрали сход. Так и так, Акулина, из-за тебя в деревне смута. Большуха руки в бока — найду на вас суд, найду и управу. Мужики поскребли темечко. Ну тя к лешему, будь по-твоему, а только сей момент ставь миру четверть. Акулина ни шагу назад: «Бесстыжие! И шкаликом не попотчую, хоть лопните!» Мужики не лопнули, но крякнули... Эх, Афанасий Фет, петь бы тебе венерок, а ты о большухе — сиянье наготы... Скромным мужеством веет от Венеры Милосской, мужеством и скорбью о негодяйстве нашем, но скорбь не глухая — будто сквозь ставень бьет солнечный лучик, и луч этот есть возможность совершенства нашего, частного совершенства и общего. Не то чтобы у ворот и не то чтобы близехонько, а лишь возможность, так ведь и это счастье, реальное счастье, как синица в ладонях... И уже не мурашки бежали по спине, и уже не чувствующие мысли в голове и в сердце, а так, как в полуночном детском сне, когда ты потянешься, сильно-сильно потянешься — и вырос, вырос, вырос...

В мои колмовские будни нежданно-негаданно вторглись Н. С. Тютчев и В. Ф. Кожевникова. Миновать, как полустанок, нельзя — токи времени пронизывают и заведения для душевнобольных.

Николай Сергеевич Тютчев некогда учился в Медико-хирургической. Он был старее меня. В молодости ходил в народ, конспирировал. Тюрьма и ссылка разжевали его жизнь. Теперь Н. С. «водворили» в Новгород под надзор полиции. Страдалец за народ свят, я смотрел на Тютчева снизу вверх. Не думаю, чтобы это ему льстило, однако и не претило. Подозреваю, что сам на себя он смотрел как на предмет для подражания. О муках-страданиях не распространялся, выгодно отличаясь от тех, кто, просидев несколько месяцев в тюрьме, все оставшиеся годы только об этом и говорит. Вспоминая Сибирь, он своим толстым голосом спокойно сообщал, что и там сплотил из мужиков хор-р-рошую боевую дружину, готовую пустить в ход оружие.

Крепкий, седой, в неизменной блузе и поярковой шляпе, пристукивая палкой, он в Колмово наведывался не ради д-ра Усольцева, а ради Глеба Ивановича, и меня это, правду сказать, не радовало.

Доминирующей чертой его характера была суровость; угрюмая требовательная суровость. От него исходил колючий холод: «Виноват ты, сукин сын, перед русским народом, и нет тебе, шельма, амнистии». Вот это-то меня и не радовало, каменная десница

Тютчева угрожала, на мой взгляд, душевному равновесию Глеба Ивановича.

Попробую объяснить с точки зрения Глеб-гвардейца.

Великаны — Достоевский, Толстой, — страдая, судили и осуждали. Наш Глебушка отродясь ходил в осужденных. Он пребывал в покаянии не перед народом вообще, нет, вот перед *этим*, то есть каждым.

Великаны, томимые дисгармонией жизни, обретали гармонию в своих творениях. Нашего Глебушку, чернорабочего, язвили ожоги третьей степени.

Великанов и двести лет спустя читать станут. Нашего Глебушку и теперь уже призабывают. Оттого он еще роднее. Он нам со-временник, мы вместе минемся, оттого и чувство особое, крестами поменялись.

Есть, наверное, высокое и горькое предвкушение в том, чтобы возложить на себя венец терновый. У него было другое, условно назову пермским. Помню, он рассказывал об этом, поджидая Тютчева.

За несколько лет до Колмова, странствуя по Руси, Глеб Ив. задержался мимоездом в Перми. Сибирскую железную дорогу еще не построили, Пе́рмь была перевалом на этапном пути в Сибирь. Там скапливались те, кого Глеб Ив. называл «виноватой Россией» — труба нетолченая каторжан и ссыльнопоселенцев. Оттуда они и валили косяком за Урал.

Понятное дело, Глеб Ив. увидел арестантские партии. Видывал и в детстве, видывал и взрослым, и тоже не сухими глазами. (Тут мне вот что хотелось бы в скобки заключить. Ни мужик-пахарь, ни мужик-арестант ни на волос не верит барским сентиментам, хотя и не слевшит чем-либо попользоваться. Пусть так. Но нынче и человек интеллигентный посмеивается над сентиментами. О, знаю, знаю, милосердная слезинка быстро высыхает. Однако не бесследно, нет, она не дает прочерстветь до прозелени. Опять же понимаю, это еще не признание собственной греховности, а все же на вершок, на вершочек поближе.)

Да, так вот в Перми. Из окна гостиницы смотрел он на этапную партию — простолюдины, разбойники и воры, политические. Смотрел, да вдруг, как на краю обрыва, властно потянуло, властно, отчаянно-весело повлекло в гущу, в стрежень этого исхода, чтобы в миг единый, однажды и навсегда отрешиться от пошлейших условий и условностей, от всего расстройства жизни, отрешиться и откочевать в новые места. Он так и сказал, нажимая голосом: *новые*.

Это ж не география, не широта и долгота, не север, не юг, понять надо, вникнуть. Ашиновского колониста взять, он не в Африку поехал, хотя и поехал в Африку, он *в Новую* Москву подался, потому что в старой па́хами дышал, как опо́енный мерин. У него исконная, отчич и дедич, из-под ног уходила, как у Антея, да только не Зевсов сын душил, а городской и «свой», деревенский, из класса паукообразных...

Рассказав пермское, Глеб Ив. замкнул скорбно: «А дальше Тюмени, пожалуй, и не ушел бы». Вот эта самая Тюмень, в каком, спрашивается, смысле? Холодно взглянув, пожмешь плечами и скажешь: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». А ведь не то, не то, господи боже ты мой. Не то! Беда, горе-злосчастье: не надеялся он, не уповал на новину и в новых-то, ну, совсем, совсем новых местах, вот в чем беда, горе-злосчастье... Об этом еще напишу, а сейчас о Тютчеве продолжу, Николае Сергеевиче.

Боялся я его визитов к Глебу Ивановичу. Только появится, я навастривал уши, как овчарка. Сколько успевал замечать, он и с Глебом Ив. пребывал замурованным в суровой сосредоточенности. И все же какая-то внутренняя защелка, что ли, не давала ему катить на Глеба Ив. тяжелую тачку каторжанской укоризны. Надо полагать, в душе Тютчева, как жердь в колесных спицах при спуске с крутизны, сидела мысль, что уж кто-кто, а Глеб Ив. платил за свою вину перед русским народом такую пеню, какую не уплатил ни один великан словесности.

И все же мои опасения не улетучивались. Ведь и с тормозилкой в спицах колеса полозя́т. Странно, глупо, но я упускал из поля зрения необыкновенную — другого слова не подберу, а надо бы — необыкновенную, покоряющую искренность Глеба Ив. И потому глупее-глупого изумился, встретив Николай Сергеевича сильно взволнованным.

Столкнулись мы в сенях, он шел от Глеба Ив., палкой-посохом не пристукивал, на весу держал, неуклюже, будто не зная, куда деть. Тут же, в сенях, случилось быть и В. Ф. Кожевниковой. Тютчев остановился. Истончившимся от волнения голосом повторил нам только что сказанное Глебом Ивановичем.

В памяти моей навсегда оттиснулось, слово в слово. «Вы счастливы, — сказал он Тютчеву, — тюрьма и ссылка сохранили вам совесть. А вот я все подлые годы прожил не в тюрьме, не в ссылке, а это уж такое пятно, ничем не ототрешь, ничем не вытравишь».

И твердокаменный Тютчев, казалось мне, был действительно счастлив, повторяя сказанное Глебом Ив., но счастлив-то не своим тюремно-каторжным превосходством, а тем, что преисполнился глубокой любовью. Любовью к Глебу Ив. Успенскому.

Нужно было видеть и Вареньку Кожевникову. Она питала к Тютчеву неприязнь, если не сказать враждебность, и вот радовалась его счастью, даже скулы разрумянились.

Мне послышались колокольчики летящих навстречу друг другу человечьих сердец, и я готов был заключить в объятья и этого страстотерпца-народника и этого марксида в юбке...

С маху написав «марксид», робею впредь называть нашу молоденькую фельдшерицу лишь по имени. О нет, буду величать и по батюшке. Этого требует и капитальная доктрина, которую она исповедовала, и докторальный тон, которым она проповедовала.

Варвара Федоровна Кожевникова прежде служила в Петербур-

ге. Добровольная смена столицы на глушь могла бы, пожалуй, растревожить уютное жандармское гнездышко на Московской улице. Но полковник де Гийдль либо отчаянно хлестал шампанское, либо самозабвенно удил рыбу. А жандармский ротмистр Федякин, уродившись фефелой, фефелой и остался.

Что до меня, то я объяснял ее перемещение с брегов Невы на берега Волхова альтруистическим устремлением «в стан погибающих». Мнение это, вполне понятное людям моего поколения и моего умонаправления, поверки не выдержало, дело было не в альтруизме. Не стану, однако, отрицать, что с обязанностями своими Варвара Федоровна справлялась превосходно. Да вот местечко-то выбрала неспроста, о чем я поначалу не догадывался.

Не знаю, почему я был взыскан ее вниманием. Может быть, так сказать, по касательной, вследствие нашей короткости с Глебом Ив. А может, кто-то из новгородцев шепнул, что этот Усольцев и гнездышко на Московской — вещи несовместные.

Говоря о новгородцах, должен заметить, что под губернскими кровлями обитали отнюдь не кувшинные рыла. Тому много способствовала колония ссыльнопоселенцев, включавшая не только народников, но и социал-демократов. Бывая в городе, я почти всегда заглядывал к Н. И. Ушакову, секретарю губернской управы. Николай Ильич привлекался к дознаниям по политическим мотивам еще в семидесятых годах; в Новгороде он, как и Тютчев, находился под гласным надзором. Варвара Федоровна тоже посещала Н. И. Ушакова. Полагаю, он-то и выдал мне похвальную грамоту.

Но если бы Усольцева не было в Колмове, мадемуазель Кожевникова выдумала бы Усольцева. Ее снедала жажда миссионерства, ее библией был «Капитал». Заглянув в этот гроссбух, я отшатнулся. Скуластенькая, некрасивая Варвара Федоровна надменно поджала губы. Ни дать ни взять игуменья Измарагда, настоятельница соседнего с нами Деревяницкого монастыря. Я почувствовал себя послушником и покорился. Варвара Федоровна, не мешкая, осенила меня крестным знамением: товар — деньги — товар.

Несколько позже мне стало известно, что перевод «Капитала» выполнил Герман Лопатин, задушевнейший друг Глеба Ив., пожизненно заточенный в шлиссельбургский каземат. Но будь переводчиком сам доктор Маркс, в черепной коробке доктора Усольцева не прибавилось бы мозговых извилин. Нужны были иные навыки, иные привычки мысли. Главное же то, что К. Маркс исследовал не нашу, а европейскую экономику, западный капитализм. Тут-то и возлежал камень преткновения, на кривой не объедешь.

Я держал сторону Ник. Сергеевича Тютчева — дескать, коня и лань в одну колесницу не запряжешь, общих закономерностей нет и быть не может, ибо Россия не Запад, а Запад не Россия. Варвара Федоровна ходила на нас в атаку. Добро бы с пылкостью «молодо-зелено». Так нет же! В ее сухой докторальности был отзвук презрения к нашей старческой немощи... Вот уж где закономерность так закономерность: каждое поколение считает себя

умнее, авантажнее предшествующего, хотя бы потому, что оно последующее... Лично я, человек покладистый, не без телячества (выражение Глеба Ив.), не прочь был признать, что старого пса новым штукам не выучишь. Другое дело Тютчев. Он свой редут отстаивал, как севастопольский ветеран. Законы, открытые Марксом, угрюмо заклинивал Ник. Сергеевич, не фатальны для России.

А мне думалось: вот, мол, в одном поезде едут, но в разных вагонах; притом он полагает, что следует из пункта «А» в пункт «Б», а она — из пункта «Б» в пункт «А». Мои попытки привлечь внимание к пункту «К», то есть к опыту Колмова, встречали союзную иронию враждующих сторон. Да-с, без улыбки говаривал Тютчев, но для сего, сударь, надобно всей России рехнуться. И они косились на меня с таким видом, будто покручивали у виска указательным пальцем. Странно, люди умные, а того в толк не возьмут, что коллективное, артельное, мирское, воплощенное в колмовском хозяйствовании, разрешает все проклятые вопросы. Право, странно.

Пока они, выражаясь фигурально, разъезжались в разные пункты, поездом Петербург — Новгород, прибывающим за час до полуночи, какие-то таинственные личности доставляли нашей фельдшерице запрещенную литературу, типографские принадлежности, стопы бумаги. Вместо того чтобы распространять, пропагандировать колмовской опыт, они избрали нашу больницу складочным местом. Вероятно, даже Судейкин, некогда знаменитый сыщик, считавший революцию безумием, а революционеров безумцами, даже и он вряд ли заподозрил бы причастность сумасшедшего дома к каким-либо конспирациям... Что и толковать, все странно, странно, странно... Мне вот что вдруг пришло в голову. Не знаю, как сейчас, а в прежнее время некоторых революционеров перевозили из тюрем, даже, кажется, из Шлиссельбургской, в Казанскую психиатрическую больницу; там, однако, не возникало подобия колмовского коллективизма. Опять-таки странно. Впрочем, причина, надо думать, в том, что в Казанской держались наистрожайшей системы «стеснения»...

Так вот, складочное, стало быть, место, и одним из кладовщиков оказался пищущий эти строки. Варвара Федоровна хранила в моей квартире увесистые холщовые мешочки, плотно, как дробью шестого нумера, набитые свинцовыми литерами. Отнюдь не желая прокатиться за казенный счет в края северного сияния, я по сему поводу не ликовал. Однако ж не отказался. Почему? Да все то же телячество; так сказать, польщен доверием.

Где она прятала другой «товар», я, конечно, не спрашивал. Но то, что в Колмове не только склад, а и транзит, догадаться не составляло труда. Много позже, задним числом, я узнал, что в Новгороде в ту пору была типография «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» или что-то в этом, социал-демократическом, роде. А тогда я одно знал — Аввакир Д. таскает холщовые мешочки в город; привяжет бечевками под рубахой, наденет

просторный казенный халат — и в путь. Опять же недурно придумано; кто станет обыскивать сумасшедшего?

Аввакир Д., на мой взгляд, случай не медицинский.

Ныне мало уж кто помнит убийство Мякотина.

Он и его ровесники, гимназисты старшего класса, надумали основать тайное общество. Аввакир Д. был из учредителей, Мякотин тоже. И вдруг Аввакир Д. по секрету от Мякотина объявил сотоварищам, что Мякотин предатель. Несколько дней спустя несчастного убили в подгороднем лесу. Заговорщики обезглавили труп, голову отнесли в сторонку и затолкали в ельник... Пишу — и дрожь пробирает: каковы юноши!

Преступников вскоре схватили. На суде они корчились в истерических припадках. Аввакир Д. был исключением. Он тупо твердил, что убийство было неизбежностью. Однако путался в объяснениях этой неизбежности. Сперва так: собаке — собачья смерть. Потом так: жертвоприношение послужило бы искрой всероссийского мятежа. Сожалел лишь о том, что вгорячах отсекли голову, — измена как гидра, отрубишь одну голову, вырастут две; Мякотина-то он знал, а теперь вот иуду быстро не угадаешь.

Суд пригласил Б. Н. Синани, он тогда еще был у нас главным врачом. Борис Наумович нашел Аввакира Д. невменяемым и согласился принять на излечение. Правду сказать, я предпочел бы, чтобы этого наглого прындика сплавили на Сахалин. По-моему, Аввакир Д. страдал, сам от того не страдая, нравственным идиотизмом. А нравственный идиотизм — явление социальное, больницам неподведомственное.

Как бы ни было, Аввакир Д. находился в Колмове. Он был непереносим. Он преследовал больных — кипятком плеснет, калом замарает и проч. Случалось, ему задавали взбучку. И что же? Аввакиру праздник: «Ага! Разбудил! Проснулись!» Напротив, многотерпеливый персонал, подчиненный системе «нестеснения», бесил Аввакира. «Темное царство! — кричал он. — Рабы, холопы!» Его глаза, поразительно ясные, почти прозрачные, выражали откровенную и, готов поклясться, честную решимость возмущать спокойствие; он был, что называется, разбивателем стекол.

Следуя методу Б. Н. Синани, я скрепя сердце внушал Аввакиру Д., что он, в сущности, добрый малый, а был бы и вовсе хорошим, если бы перестал пакостить. И кому же? — вопрошал я патетически. И отвечал раздельно-гипнотически: людям, честно зарабатывающим хлеб свой насущный. Не помню, сколь долго продолжались эти пассы с вариациями, но усилия мои были вознаграждены неожиданно и оригинально.

Аввакир Д. вдруг согласился с тем, что он человек мягкого сердца. Господи, обрадовался я, так в чем же, Аввакирушка, дело? Кажется, от прилива чувств я даже взял его за руку, как берут младенца или слепца, чтобы обойти лужу. Но глаза ясные-ясные, почти прозрачные, глаза-то были у него зрячие.

Он сказал так: послушайте, доктор, надо же кому-то творить зло. Понимаете? И бога гневить, и черту перечить... Понизив

голос до шепота, убийца Мякотина открыл мне свое таинственное, свое великое, трудное, утомительное предназначение. Настолько утомительное, что он, посвящая меня, привставал на цыпочки и, будто сопротивляясь давлению воздушного столба, вытягивал шею.

Да, он, Аввакир Д., предназначен везде и всюду, поелику возможно, творить зло. Ибо, исчезни зло, исчезнет и добро. Ибо, чем больше зла, тем, естественно, и добра больше. А так-то, если попросту, то иной раз такая скука возьмет, так все надоело, да и доброе делать, в сущности, интереснее, не говоря уж о том, что приятнее, однако как вспомнишь, что все цветы добра увянут, засохнут, оставшись, так сказать, на беззлобной земле, в беззлобной атмосфере, как вспомнишь, ну и берешься за прежнее. И тут этот философ, этот доморощенный Мефистофель преспокойно и, пожалуй, с ленцою плюнул в мою физиономию, после чего удалился, производя руками движения, какими, вероятно, дъявол запахивает свой плащ, если только дъявол носит плащ.

Перекипев, несколько придя в себя, я словно бы расслышал эхо африканской притчи о вековечной тяжбе Зеленого Добра и Черного Зла. Притча заканчивалась «по Аввакиру»: ежели Добро изничтожит Зло, то чем же торжествующему Добру заняться на другой день? Сдается, что-то похожее и у Аристотеля, в его мысли о том, что неизменность Зла подтверждает существование высшей сферы Добра. Между нами говоря, я предпочел бы, чтобы они поменялись местами. В сферах, там и музыка сфер, но мы-то не слышим.

До времени Аввакир Д. не принимал участия ни в полевых работах, ни в ремесленных. Так же, как и горсть бывших чиновников, не желавших «унижать себя мускульной работой». Б. Н. Синани, еще будучи главным врачом, положил правилом: тех, кто может трудиться, но не трудится, содержать на голом рационе. (Стол артельный был обильный, а рацион, в соответствии с земским бюджетом, скудный.) Тунеядцы имели наглость жаловаться губернатору. Тот деликатно давал понять Б. Н.: милостивый государь, нельзя же добиваться справедливости в сумасшедшем доме. Б. Н. сардонически парировал: ваше превосходительство, только в сумасшедшем доме и возможно апостольское — кто не трудится, тот не ест.

Аввакир Д. не примыкал к жалобщикам. Не до того было Аввакиру Д. Серым волком рыскал он в больничных покоях, в поле, на скотном дворе, в мастерских, рыскал, заглядывал в лица, искал.. он искал предателя. Ведь измена что гидра — вместо головы Мякотина выросли две, три, вот он и должен обнаружить иуду. Но что же мог предать иуда в Колмове? То есть как это что, возмущался Аввакир, ведь и сумасшедший дом не останется в стороне при всероссийском восстании. Его ясные глаза смотрели цепко. Право, не по себе делалось, даже и жутковато.

Говорят, один портретист рисовал и перерисовывал Люцифера до тех пор, пока тот не предстал пред ним и не грянул: зачем ты



изображаешь меня таким уродом? Боюсь, я рискую тем же, если не упомяну о романтическом чувстве Аввакира Д.

Романтические чувства не такая уж редкость в больнице для душевнобольных. Я мог бы привести трогательные примеры Филемонов и Бавкид. Но Аввакир Д.? В его сердце, казалось мне, не нашлось бы и струночки, способной прозвучать нежностью. А вот, извольте-ка, носил букетики мадемуазель Кожевниковой.

Я рассказал Варваре Федоровне историю Мякотина. Ответом были рассуждения об идиотизме русских условий, определяющих изуверские поступки, о пагубном обаянии террора, обаянии, которое они, русские социал-демократы, в юности восхищенные народовольцами, обязаны преодолеть и в самих себе, и в других. Все это имело резоны. Но рассуждать, как с кафедры, когда речь-то зашла об ужасном преступлении Аввакира Д. и К°? А замечание об «идиотизме» было и вовсе непристойным. Каковы бы ни были «условия» — они наши, на ровном дыхании произносить «идиотические», это уж ни в какие ворота. (Я, собственно, не против смысла, а против тона.)

Простерлось ли ее миссионерское рвение и на Аввакира Д.?

Пусть она свои эмоции подчиняла рационалистической концепции. Даже и такой, совершенно ненавистной Н. С. Тютчеву, как неизбежность погибели мужика в фабричном вареве. Но Аввакир Д. и его «теория», его практика Зла? Но Аввакир Д. и маниакальные поиски «гидры», «иуды»?

И все же некоторые признаки указывали на то, что Аввакир Д. находился под влиянием Варвары Федоровны. Сказывалось, конечно, и романтическое чувство, но, смею думать, не только романтическое.

Начать с того, что Аввакир Д. взялся за дело. «Ковырять землю» — его выражение — он не пожелал, а пожелал приобщиться к мастеровым, ибо «за ними будущее» — выражение, на мой слух, заимствованное у мадемуазель Кожевниковой.

Аввакир Д. остановил свой выбор на Илье Ильиче Птичкине. (Врачебная этика запрещает называть фамилии больных, но тут другой случай. Во-первых, записки не для печатания; во-вторых, бедняга сравнительно недавно умер.)

Птичкин — кожа да кости, личико с оладушек, бороденка сквозящая, реденькая, как у скопцов — Птичкин, в прошлом гробовщик, был помещен в Колмово по поводу пароксизмов безудержной ярости. Любопытно, что его аффекты провоцировались родственниками покойников — они норовили спровадить своих незабвенных сколь можно дешевле. Еще любопытнее то, что Птичкин бушевал не корысти ради; он ярился на неуважение к усопшему. Ему, к смертям, казалось бы, привычному, кончина любого человека представлялась не уходом в лучший мир, а следствием «числовой ошибочки», вкравшейся в мироздание, «ошибочки», о которой скажу чуть позже.

В Колмове, естественно, бывали и летальные исходы. Птичкин не бушевал, понимал, что здесь хоронят за счет земства,

но огорчался страшно, что не мешало ему охотно и даже с некоторым художническим удовольствием сооружать домовину.

Самое же примечательное в том, что колмовская система «нестеснения» обнаружила в натуре Птичкина действительно художественный талант. (Вот еще пример благотворности указанной системы, отсутствующей в обществе людей с так называемым здравым смыслом, где таланты мнут и душат сотнями.) Талант Птичкина заключался в рисовании по шелку. Несколько его рисунков я послал в Питер. Они нашли спрос в Гостином дворе. Заказы не замедлили, Птичкин работал усердно, у него появились волонтеры-подручные, профит округлялся.

Надо отметить, что все доходы нашей колонии поступали на общий кошт. Работники довольствовались крошечными суммами, никто не роптал, чем мы опять-таки выгодно отличались от «здравомыслящих». И вдруг Птичкин запросил прибавки. Для чего, почему? Он мялся, мямлил, тряс козлиной бородкой, морщился. Не доверял мне, явно не доверял. Я непритворно разобиделся. Наконец, он вымученно произнес: «Помогите спасти земной шар...» Меня, как говорит Егоров, взяла остолбуха.

А дело-то было вот в чем.

Земной шар, рассуждал Птичкин, для того вращается, чтобы жили человеки и твари. Однако есть где-то подколодный злодей, ущучит минуту и прекратит вращение. Вот и надобно поскорее тиснуть в газетках объявление: сожри, сударь, полмиллиона и отвяжись... Но это еще не все. Сотворив Землю, объяснял мне Птичкин, Творец допустил промашку, ошибочку. («Ошибочка» произносил Птичкин отнюдь не осуждающе, а так, как произносят: и на старуху бывает проруха.) Однако есть «научный ученый», ну, вроде бы мудрец-часовщик, надобно другое объявление дать: получи, благодетель, полмиллиона, излови ты, бога ради, эту тлетворную ошибочку-козявку, по причине которой человеки-то существуют наискось, раскорякой, ползком и спотыкливо да и помирают несолоно хлебавши.

Вот для чего он и требовал прибавки за свои рисунки по шелку — страсть как хотел сколотить миллион. Растроганный, я обещал Птичкину делать особые отчисления на особый банковский счет, Птичкин прослезился. Я почувствовал себя мошенником. Но ложь, даже ложь во спасение, как, впрочем, и правда, чревата непредсказуемым! Птичкин мучился сам, мучил своих волонтеров — добивался шедевров. Оно и понятно, за шедевры можно запросить втридорога, а значит, и скорее сколотить выкупной капитал для всеобщего спасения.

Замечу попутно: Глеб Ив., собираясь писать о колмовских «типах», хотел посвятить Птичкину очерк. В конце концов, и Глеб Ив. жизнь положил на поиски «выкупного капитала»!

Нехотя возвращаюсь к Аввакиру Д. Чего искал он в артели Птичкина? Художественный промысел, говорю уверенно, ничуть не привлекал Аввакира, хотя подручничал он исправно. Гвоздь был в отпускном билете!

Из Колмова удирали редко, как в свое время редко удирали из Новой Москвы. Атаман Ашинов отвергал право *вольных* казаков на перемену места жительства; находящихся в нетях он зачислял в дезертиры. Колмовских же беглецов, за версту приметных арестантскими халатами, летом легкими, триковыми, зимой тяжелыми, верблюжей шерсти, «вертала» полиция. Б. Н. Синани, а потом и я устраивали беглецам распеканцию: позоришь нашу колонию, никто на цепи не держит, скатертью дорога и т. д. Но полиция задерживала и нарочных, посланных в город для различных артельных нужд, и мы стали выписывать отпускные билеты. Вот это-то и было нужно Аввакиру Д. В меньшей мере для Птичкина, в большей — для мадемуазель Кожевниковой с ее холщовыми мешочками, набитыми типографскими литерами.

Все шло как по маслу. И вдруг... Ей-ей, не поверил бы, если бы не верил Илье Ильичу Птичкину.

С разнесчастным, потерянным видом он стал секретно заверять меня в том, что Аввакир Д. и есть тот самый злодей, который ущучивает минуту, чтобы прекратить вращение земного шара. Что такое? Почему? В чем дело? Оказывается, Аввакир вознамерился вздыбить колонию, ибо тружеников-колонистов обирает начальство. Забастуем, подбивал Аввакир, учредим выборное правление, а выбирать станем из своего же брата.

Как прикажете поступать? Надеть на смутьяна смирительную рубашку было бы грубым нарушением системы «нестеснения». Приняли решение либеральное: наблюдать. Покамест наблюдать. Надеялись на благоразумие наших людей, они же трудились добровольно. Но с другой стороны, были, мягко выражаясь, людьми с неустойчивой психикой. Черт подери, этого курносенького блондинчика, этого ясноглазого сеятеля зла все ж таки надо было в свое время сплавить на Сахалин.

Повторяю, я знал о некоей подчиненности Аввакира Д. мадемуазель Кожевниковой, однако и на унцию не допускал ее причастности к нелепой Аввакировой пропаганде. Нет, не допускал, но... Невмоготу стало выслушивать ее докторальные поучения. Я увиливал, она сердилась. Я повторял азы Тютчева — ваша доктрина неприемлема для России, она ж в ответ, как холодной водой из ушата: «Вполне приемлема!» Энергически и все с тем же апломбом племени младого. Но эта «приемлемость» имела конкретный смысл. Вскоре она вручила мне старый номер «Юридического вестника», журнала, который я, честно сказать, никогда не видел, и очерк Глеба Ивановича «Горький упрек», который я никогда не читал.

Когда ты повседневно занят проникновением в потемки чужих душ, для своей не остается времени. Да и далеко не каждый психиатр озабочен досмотром за самим собой. Наоборот, очень немногие склонны анализировать собственное «я». Но состояние, овладевшее мною при чтении «Юридического вестника» и «Горького упрека», так ярко и так памятно, что я постараюсь воспроиз-

вести чувство принадлежности к Потоку. Не причастности, а именно принадлежности.

Я бы сказал — к «потоку истории», если бы само слово «история» не ассоциировалось у меня с реестром злодейств, тусклых не потому, что они просто-напросто забываются, а потому, что они повторяются. При слове «история» вижу нескончаемый коридор: по одну сторону портреты августейших особ, министров, генералиссимусов, по другую — батальный балет на суше и на море. На стороне портретной идет борьба честолюбий и раскладывается вечный пасьянс якобы добрых намерений; на другой — геройские воины, оснащенные разного рода инструментами для кровопусканий, звероподобно бросаются на других воинов, тоже оснащенных инструментами для кровопусканий. Оригинальных картин — пальцев на руке хватит, все прочие — копии, копии с копий, варианты вариантов.

Нет, нет, только не «принадлежностью к истории». Все дело, наверное, в том, что я чувствовал себя в мощном потоке жизни, начавшейся до меня, длящейся при мне и во мне, имеющей продолжение после меня. Я испытывал что-то похожее на санную езду при морозе и солнце, в снежных вихрях, когда добрый конь наддает, наддает, а ты натягиваешь вожжи, и они подрагивают, тебе и весело, и немножко страшно. А вместе с тем нарастало чувство грозное, будто все громче гремел поддужный, все тревожнее заливались бубенцы, а конь всхрапывал, и — на белом, на голубом, в искрах — серые волки скользили, бока вздувались, зубы скалились... Вот так, примерно так, лучше не умею. И все сие в один присест, колмовским вечером, окунувшимся в глубокую ночь, размытую потом рассветом.

Перво-наперво приступил к очерку «Горький упрек». Очерк никогда не печатался от альфы до омеги, он имел хождение в списках. Логичнее было бы начать журнальной публикацией (посмертной) письма Маркса о России, ведь очерк Глеба Ив. был откликом на это письмо. Нет, поступил вопреки логике. И не потому лишь, что Глеб-гвардеец, а потому, признаюсь, что неприязнь питал к д-ру Марксу.

Каково же было мое изумление, когда Глеб Ив. в первых же строках яснее ясного заявил, кто, собственно, шлет горькие упреки. Вовсе не он, русский писатель, а немецкий автор — нам, русским. За что? А как раз за то, что мы, да-да, мы-то и выпускаем из рук свою самобытность. Вот так-то! Положим, и Глеб Ив. изобразил отшествие Авраама и пришествие Хама, то есть мужицкий разор и буржуйную разживу, но дробно изобразил, а д-р Маркс ухватил, что называется, под жабры, изучив русскую экономическую литературу, русские официальные издания... Прямо в уши мне прозвучал трубный его голос: очутились вы на европейской дорожке, не сумеете свернуть, не успеете выскочить, ну и прости-прощай самобытность ваша; прости-прощай, ждет вас брюхо Господина Купона...

Спрашивается: для чего и зачем мадемуазель Кожевникова вру-

чила мне и журнал «Юридический вестник», и список очерка «Горький упрек»? Какая «приемлемость», какие общие, фатальные законы?

И вот тут-то марксидка ошеломила меня своей свободой от Маркса!

Во-первых, сказала она по-обыкновению сухо и докторально, во-первых, письмо давнее, двадцать с лишним лет тому, и, будучи диалектиком, не следует думать, как Маркс, потому что теперь Маркс думал бы иначе; довод для меня неубедительный. Во-вторых, она, видите ли, сомневалась в точности перевода; довод слабенький. В-третьих, *тогда* можно было предполагать близость социального переворота, близость революции, и Маркс не хотел отнимать у русских революционеров надежду на крестьянскую общину; довод сильный, но не в пользу Учителя — он, стало быть, кривил душой...

А вот уж в наше время, продолжала немилосердная фельдшерица, только сумасшедший волен носиться с земледельческой колонией и обвинять социал-демократов в том, что они сатанински преувеличивают развитие русского капитализма... Сатанински! Да что я в самом-то деле из города Глупова, что ли? Это же глуповцы талдычили: «Сатана», «Сатанинское». Да никогда, ни разу с моих уст не срывалось ничего подобного!

Вот вы говорите, наседала марксидка, пропуская мимо ушей мои «частые» возражения, вот вы отрицаете русский капитализм... Она встала, положила руки на спинку стула и, раскачивая стул, вскидывая голову, сама себе отвечала, глядя и на меня и сквозь меня. А мы вам, господа, возразим вместе с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, к марксизму, как известно, непричастным, возразим, — Россия *уже* находится в таком положении, когда бежать некуда, кроме как в цивилизацию развитой промышленности. Но если Менделеев не авторитет, то, вероятно, Глеб Иванович...

И тут только я не то чтобы заметил Глеба Ив., а осознал его присутствие... Пока Варвара Федоровна ссылалась на его сочинения — мужицкий мир, породив мироеда, лишился аппетита к сельским работам, разбредается в поисках заработков, плывет да плывет, как мильон вобл, Глеб Ив. курил, молчал, смотрел в окно. И таким неожиданным, таким внезапным был шепот: «Смотрите, крыльями бьет, крыльями...»

Его шепот прожег меня, словно горючими каплями. Что проку в доктринах, в смене поколений, если крыльями бьет Маргарита, вечная узница?

В годы от колмовских дальние, на Васильевском острове, у Глеба Ивановича сходились люди крамольные. Бывала и Фигнер, Вера Николаевна Фигнер. Не с первого взгляда, а с первого рукопожатия — крепкого и краткого — Успенский решил, что ей свойственны порывы гнева. Доказательств он не ждал, но получил довольно скоро.

— От ваших мужиков тошно, — сказала она, прочитав в «Оте-

чественных записках» очерки «Книжка чеков». — Ничего светлого, жалкое стадо.

— Светлое есть, да я-то, Вера Николаевна, пишу о расстройстве крестьянской жизни, и, уверяю вас, пишу правду.

Вот тут она и вспыхнула, даже и ногой притопнула.

— Правду?! Зоологическую!

Успенский оглядел гостей и развел руками.

— Вот, господа, слыхали? Вера Николаевна требует: вынь да положь шоколадного мужика. А где такого возьмешь?

Все рассмеялись — «шоколадного». Она улыбки не сдержала, но и укоризны тоже.

— Мы, Глеб Иванович, зовем молодые силы в народ, в деревню, а после такого чтения — калачом не заманишь.

Не хотелось повторять уже написанное, уже опубликованное, но — повторил, повторил голосом «нешоколадного» мужика: «Не суйся! Убирайся вон!» Никто не смеялся. Успенский опять ощутил свое одиночество.

Не злорадством, и они это знали, дышало перо, когда писал он очерк «Не суйся!». Участь народника угнетала уготованностью тюрем, ссылок, эшафотов. И еще не менее горьким: народ не принимал народника. Вчерашний крепостной отпихивал чужака, ряженого чужака, горожанина: «Убирайся вон, не твое дело...» Успенский не пугал деревней, не отваживал от деревни: он писал правду. Людям подполья Успенский верил до конца, они были начисто лишены мелодраматизма. Успенский не верил в бомбу, начиненную динамитом. Светоч идеала слепил людей подполья. Не заслоняясь, лишь опустив глаза, Успенский видел поле. И слышал тревожный шелест колосьев, возникавший вместе с тенями от наплывающих туч будущего. Его одиночество было вынужденным. Он стоял особняком именно там, где ему хотелось бы стоять в обнимку. Очно иль мысленно он оглядывался на Веру Николаевну Фигнер. Она была красива не тонкостью черт, не ровной, матовой белизной лица, а ясной и строгой одухотворенностью всего существа своего. Он принимал ее гнев и укоризны, потому что душа ее вмещала *общее* горе.

В Колмове он задумал писать о Вере Фигнер, навечно, пожизненно осужденной и находившейся в Шлиссельбургской крепости. Начинал писать и бросал. Вместо живого облика маячил перед глазами фотографический портрет, тот, что был в петербургской квартире, и тогда возникала Маргарита, черный плат, бледный лик.

Почему Глеб Иванович называл ее Маргаритой, Усольцев не объясняет, а я нигде ничего пояснительного не нашел. Знаю только, что в особенно тяжкие для Успенского минуты шлиссельбургские караулы, оглохшие в мертвой тишине, не слышали легкую, быструю, беззвучную, поступь вечной узницы. Она оставляла позади коридоры, переходы, закоулки, дворы, где пахло как в склепе, дресвой, окалиной, тленом. Последняя дверь, железная дверь угловой башни, словно бы нехотя, отворялась пред нею,

в узком проеме, как в раме, означался бледный лик, черный плат, и вот уж ее не было в Шлиссельбурге, она была в Колмове.

Страшась смерти, говорила она голосом твердым, но словно бы ослабевшим от бесконечного молчания в одиночном каземате, страшась смерти, ты малодушно призываешь смерть, забывая, что нравственная порча настигает стремительнее физического небытия. Ты говоришь, что все ухнуло и лопнуло, остались злоба и смрад, но, если ты с этим соглашаешься, значит, ты — былинка злобы и смрада. Да, былинка, а если и писатель, то всего-то навсего писатель, живущий в России, а не русский писатель, потому что русский писатель будит общественную совесть, а ты бром глотаешь, бранишься с Егоровым иль предаешься воспоминаниям с доктором Усольцевым...

Слушая Маргариту, он вдруг видел себя в освещенном, натопленном зале, посреди возбужденных молодых людей, они смотрели на него радостно, кто-то, вытянув шею, произносил «шшш», кто-то ласково пожимал его локоть — они ждали, ждали, ждали, и он обронил запинаясь: «Давно не пишу... Теперь буду...»

Так было еще в первую колмовскую годину, когда Синани разрешил недолгую отлучку в Петербург. Несколько дней Глеб Иванович прожил на Васильевском; в комнате был портрет шлиссельбургской узницы. В один из тех дней — трескучих, морозных — посетил студенческий литературный вечер на Михайловской, в Дворянском собрании. Вечер давали в пользу землячества студентов-сибиряков. Глеба Ивановича узнали, окружили, ему радовались. «Давно не пишу... Теперь буду, буду...» А на рассвете, в час тяжелого багреца, когда отдают богу душу или уводят на эшафот, на рассвете сдвинулась плита чугунная, и там, в жерле, в колодце, в омуте, копошился, ворочался *Иваныч* — тот «элемент» натуры Успенского, который он называл «свиным» и который был сгустком безобразной наследственности в перемеси с бессовестностью его земного существования, его жизни. Он и здесь, в Колмове, ощущал, как копошится, ворочается Иваныч, напирает изнутри, разве что не чугунная плита мерещилась, не жерло, а грязные фонтанчики, что выстреливают, брызжут меж торцов питерской мостовой, предвещая наводнение. В такие минуты он брезгливо ненавидел свое тело, словно бы зараставшее жесткой щетиной, этим внешним признаком «свиного элемента».

Спасти от Иваныча могла бы Маргарита, если бы он, Глеб Успенский, мог спасти Маргариту. Но у него не было Слова, способного расточить узы и утвердить Маргаритину власть — всероссийскую, всемирную, вселенскую. Он искал Слово, находил словеса, душа его изнемогала.

И вот она опять явилась в Колмово, бесшумно приблизилась к окну, за окном покачивались ветви, одетые листвой, и Успенский сказал: «Крыльями бьет, крыльями, да это ж Россия...»

И вдруг он понял, что́ ему делать.

— Пора в дорогу, — сказал он таким ясным голосом, что у доктора глаза посветлели.

— Хоть завтра, — согласился Усольцев и добавил, улыбаясь: — Еще древние советовали: когда наступает улучшение, отправь пациента в путешествие.

«Хоть завтра» — вырвалось на радостях. Однако человеку при должности негоже оставлять должность сиротеющей. «Хоть завтра» Усольцев не мог, два дня спустя мог. «И непременно пешком, — говорил Успенский, — всю жизнь ездил, а надо ходить по земле».

Они поднялись так рано, что даже пеночки и зяблики еще спали. Запах сада послышался Усольцеву долгим ми-мажорным звуком, и доктор, бодро настроенный, подумал о целительном действии ароматических молекул. Небо было мутным, нечистым, но Успенский уверял, что день отстоит без дождя, жарким, еще и в усолонь потянет.

— Без дождя? Почем вы знаете? — Доктор на ходу поигрывал тросточкой.

— А вчера-то вечером не слыхали? Кузнечики как оглашенные, а лягушки концертировали — примета верная: быть вёдру!

— Положим. Ну-с, а какая-такая «усолонь», это с чем едят?

— Эх, доктор, доктор, без году век среди новгородцев, а знать не знаете. Небось, там-то, у Красного моря, там, небось, каждый день усолонь искали. Тень это, доктор, тень... Ба! Что за форум?

На широкой опушке дубовой рощи толпились едва ли не все колмовские работники. Спозаранку пришли они благословить почин артезианского колодца. Надо было и скважину пробить, и оросительные канавы вырыть, и желобы соорудить, чтобы излишек отдавать Волхову.

Почин вершили землекопы. Остальные, торжественные, как на престольный, наблюдали. Усольцев растрогался: «Вот, Глеб Иванович, видите, как у нас-то, а?»

Заметив доктора, один из землекопов — высоченный, дюжий, с бородой ушкуйника — возвестил гулкой, как у протодьякона, октавой:

— Подземная вода, слепая вода узреет солнышко!

И все перекрестились.

Дальнейшие записки Н. Н. Усольцева показались мне несколько странными.

Прежде писал он конторскими ализариновыми чернилами. Такими же, какими служебно писал «историю болезни», по-тогдашнему — «скорбный лист», что на мой слух выразительнее. (Пожалуй, так и следовало бы назвать эту повесть.) Да, чернилами писал, а тут пошли в ход и цветные карандаши, наводившие на мысль о какой-то системе курсивов. Я пытался ее обнаружить, но нет, не обнаружил.

В его фрагментарных записях не обозначены ни маршруты, ни даты посещения тех или иных пунктов, включая и усадьбу де Воллана с одним-единственным жителем. В усольцевских воспо-

минаниях о Новой Москве и Абиссинии ничего подобного не наблюдалось; присутствовала точность хронологическая и топографическая. Стало быть, «пешее хождение» рискует вызвать нарекания читателя-краеведа.

И еще одно. В Сябринцах не оказалось семейства Г. И. Успенского. А ведь свидание было обусловлено с Александрой Васильевной. Возможно, Глеб Иванович не успел предварить свой приезд, вернее, «приход» телеграммой, и Александра Васильевна была в столице.

В Петербурге часто сменялись наемные квартиры — он был жильцом. В губерниях еще чаще сменялись нумера и съезжие избы — он был постояльцем. И только здесь, у мелкой Керести, булькающей на камешках, как иволга, здесь, в Сябринцах, был его *Дом*.

Не наследственный, а благоприобретенный. Слово составное; юридически — на свои деньги, на свои средства, но выделить надо другое: приобретенный во благо.

Весной восемьдесят первого оставаться в Петербурге стало невмоготу. Не потому, что Петербургу быть пусту в пору вакатов и отпусков, а потому, что в городе пластался Семеновский плац, а на плацу Семеновском в апреле восемьдесят первого повесили первомартовцев.

В день казни Глеб Иванович не то чтобы не нашел в себе сил хоть взглядом проститься с ними — он не нашел в себе сил оказаться в толпе жадно любопытствующей. Александра же Васильевна была на Семеновском, в этой толпе. Она разрыдалась, выкрикивала что-то несвязное. Ее толкали, на нее шикали, будто слезами своими и криком мешала она церемониальному действу, от которого толпу бросало в завороженный трепет. Она вернулась с плаца, дрожа всем телом, зуб на зуб не попадал, губы были белые. Удавки, захлестнув пятерых, захлестнули Глеба Ивановича, он горел в жару, как в ангине, эскулап диагностировал ангину и присоветовал Крым.

Они уехали из Петербурга так поспешно, что квартальный донес по начальству об «исчезновении г-на Успенского, находившегося в дружбе с казненными государственными преступниками». Коль скоро г-н Успенский пребывал под негласным надзором, сообразительный обер-полицмейстер снесся с новгородским губернатором, ибо в пределах Новгородской губернии г-н Успенский имел обыкновение сочинять свои статейки.

И точно, не в Крым поехал, а подался в край елового сумрака, крушинного подлеска, увалистых верещатников, в тот край, откуда «сеятель и хранитель» при первом удобном и неудобном случае уносил ноги в город, а бабы-горюхи плакались — не шлет никакой «помочи».

Все было как и минувшими веснами. И зеленый шум, и майский жук, и голавль, по-здешнему мирон. Было и привычное ощущение находящегося под надзором. Если не сам урядник, то ста-

роста или лавочник подзывал соседей «на пару слов» — ты там смотри-ка, поглядывай за приезжим. И соседи интересовались: «Позвольте спросить, вы зачем приехали?» Ответить: наблюдать и писать, — право, как-то не совсем ловко. Эдак неопределенно рукой повести: я, мол, писатель, — опять последует полувопросительное: «Ага, по писарской, стало быть, части...» Возразить, нет, так, мол, для себя, это же все равно что пригласить: глядите, вот он, олух, вот бездельник. И находящийся под надзором невразумительно приговаривал: «Да, так, знаете ли, посмотрю, отдохну немного». После чего следовало умозаключение: «Ага, при капитале, значит». Признавать «капитал» — хлестаковщина какая-то, черт знает что. И выходило: а этот-то, приезжий, он, брат ты мой, кромешный какой-то человек; с виду несамостоятельный, а за все платит, не торгуясь, даже будто и конфузясь дешевизной запроса. Платит? Платит! Ну, так и леший с ним, пущай живет, однако по нынешним временам глаз нужон.

Все это он знал не хуже, чем «Отче наш». И все это дьявольски надоело. Но в тот год, восемьдесят первый, в год Семеновского плаца, было и другое, прежде небывалое. В зеленом шуме слышался ропот толпы, в тенях от суковатого дерева мерещилась виселица. А толстый майский жук, а крупные звезды болотных незабудок, а белесая кислица в ельниках и даже мирон, немой как рыба, — жужжали, нашептывали, шуршали: бесстыжий, бесстыжий, бесстыжий. И это жужжание, нашептывание, шуршание преследовало пуще, чем «подозреваемость», когда ты вроде птицы, заметившей черное дуло дробовика.

Может, и вправду надо было отдохнуть душой и телом у теплого моря, в виноградниках, под плоскими кровлями хижин татарских? Нет, в Крым не поехал. И не потому лишь, что поездка вывернула бы наизнанку карман, а потому, что должен был остаться там, где был. И он укоренился в своем *Доме*.

Деревня находилась близ Чудова, называлась — Сябринцы. Чудово — это чудь, а сябры — это соседи. Все перемешались давным-давно, нимало не заботясь о чистоте крови. Забот хватало о хлебе насущном. И окрестные мужики, и чахоточная мастеровщина фарфорового завода даже и в мясоед трескали постные щи.

Завладев усадебкой величиной с овчинку, Успенский «явил» паспорт в Первый стан Новгородского уезда Новгородской губернии. «Негласное», стало быть, продолжалось — за человеком оседлым оно и сподручнее. Оседлый же человек посадил топольки и березы; об этом донесений не было. Донесения были о том, что г-на Успенского навещают люди приезжие, разных сословий, местные тоже приходят к г-ну Успенскому. А что там, в дому, есмь тайна. Может, и эти... как их... оргии, в одной из комнат окошко светлое по вся ночи.

Но сейчас, когда они с Усольцевым добрались до деревни Сябринцы, сейчас еще воспоминания не теснились, а было чувство, в котором сливалось, казалось бы, неслиянное — и волнение, и успокоение. Первое вызвал скрип крыльца и дверей; второе —

запах в сенях; этот запах Глеб Иванович и не пытался обозначить словесно. Чего же обозначать, если ты *Дома*.

Усольцев, не желая мешать встрече с Домом, забрел в тень, разулся и прилег, радуясь прохладе. Натруженные ступни горели, он шевелил пальцами и улыбался — не шибкий ты, Коля, ходок, недаром мужики в Новой Москве посмеивались над интеллигентами-колонистами: «Ихнего брата завсегда отличишь — тонконогие».

А Глеб Иванович сразу прошел в ту комнату, которую называл рабочей. (Кабинетов у него никогда не было.) Он оглядел стол, стулья, железную кровать, этажерку. Они с Александрой Васильевной довольствовались мебелишкой, которая называлась и «простой», и «рыночной» — ее изготавливали местные столяры наряду с оконными рамами, лавками, табуретками. В рабочей комнате ничего не переменилось. И это отсутствие перемен, и эти прибранные бумаги, письма, журналы, газеты, уже пожелтевшие и, чудилось, ломкие, но нет, заботою Александры Васильевны не пропылившиеся, все это болезненно-сладко отозвалось свидетельством терпеливого ожидания работника в рабочей комнате: «...и подземная вода увидит солнышко...»

Он работал по ночам.

За окном дремали березки. С дороги не слыхать было тележных колес — эх, спицы рябиновые, ободья ивовые.

Он писал, прикуривая папиросу от папиросы, придерживая левой рукой четвертушку почтовой бумаги, писал мелко и четко (наборщики хвалили), сидел прямо, не горбясь, а пепел, к всегдашнему неудовольствию Александры Васильевны, ронял куда попало.

Братья-писатели на свой манер настраивали лиру. Один пропускал рюмочку, другой съедал горячие сосиски с тушеной капустой. Тот погружал длани в лохань с горячей мыльной водой и сидел зажмурившись, а этот задумчиво тыкал вилкой соленые грузди.

Глеб Иванович «настраивался» в маете неприкаянности. Ходил, никого и ничего не замечая. Ходил, одетый не по-домашнему. Не во фраке, конечно; фрак называл «сорокой», сшил однажды — когда в Москву ездил, на Пушкинский праздник. Нет, не во фраке, но в костюме, выходном костюме, как в гостях. Наконец наступала минута, похожая на ту, когда молоко поднялось и вот-вот хватит через край. Он надевал домашнее, такое, что, как битая посуда, два века живет, и переобувался в стоптанные, дырявые штиблеты, ни один старьевщик не дал бы и алтына.

Но, бывало, маета затягивалась.

— Вы, Глеб Иванович, пишете по-барски: когда хочется, — раздражался Михаил Евграфович. — Нет, пишите, когда и не пишется. По-барски-то каждый сумеет.

Успенский вздыхал, морщился. Ему было жаль Салтыкова: ждет, ждет, а ты ему приносишь ужасную дрянь; Успенский го-



ревал над своей «испорченностью», спешкой, поденщиной. А Щедрин, добровольно пригнетенный ворохами корректур, объяснениями с авторами, грызней с цензурой, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин успевал и чужое, и свое перемарывать, перебелять, потачки не давал. Пригласили его как-то на ежегодный обед писателей не то в «Малом Ярославце», не то у Бореля, он отмахнулся: «Ежегодный обед? Я обедаю ежедневно».

А Глеба Ивановича принесла однажды нелегкая как раз перед «ежедневным обедом». Не отрывая пера, головы не поднимая, Щедрин буркнул:

— Вам что, Глеб Иванович?

Вот то-то и дело — *что*.

Часа полтора тому Успенский был в редакции, получил в конторе триста рублей, выбежал на Литейный, схватил ваньку: валяй во все лопатки, у Александры Васильевны ни рубля, в долгах как в шелках. Ну, потрусили: не рысак, квелая лошадушка. А извозчик попался знакомый, мужик непьющий, смирный, втридорога не заламывал, ему бы справного коня, ого... А теперь вот тебе и «ого».

— Нуте-с, вам что, Глеб Иванович? — повторил Щедрин, продолжая править корректуры и чувствуя, как сосет под ложечкой от голода.

Ах, только бы глаза-то не поднял, не уставился бы сурово, отвергая не то чтобы панибратство, это уж боже спаси, а маломальскую задушевность. И Успенский торопливо попросил «авансик», ей-ей, к завтрашнему утру все будет готово. Щедрин глянул на Успенского серыми, выпуклыми, насквозь видящими глазами.

— Что-о-о?! Ка-акой «авансик»? Вы нынче получили триста рублей?

— Получил, — покаянно согласился Успенский. — Да, знаете ли, расходы всякие, то-се, мне бы рублей полтораста, обойдусь.

— Расходы? Ну-ка, ну-ка, что вы купили? — И, отложив перо, откинувшись на высокую, выше головы, спинку кресла, указательный палец вытянул, будто прицеливаясь к конторским счетам.

— Итак?

Это «итак», словно костяшка на счетах уже щелкнула, привело Успенского в окончательное замешательство.

— А вот, Михаил Евграфович... А я, видите ли, сапоги купил, лучше варшавских, честное слово...

— Охотно верю. А еще что? — пытал Салтыков, не спуская с Успенского глаз, в которых, однако, нет-нет да и проскакивало что-то, придающее Успенскому если не смелость, то все же способность к сопротивлению. — Еще-то какой товар, а?

— А еще фунт сыру, швейцарского, для Александры Васильевны, очень любит швейцарский. И все это, знаете ли, на извозчике, на извозчике, в Гостиный, в Морскую, в Гостиный, в Морскую... А потом...

— А потом, сударь, — прервал Щедрин, — потом я вам скажу: покупок на четвертной билет, а вы триста — триста! — рублей

получили, двух-то часов не прошло. Где остальные? — спросил он, словно пистолет к виску приставил. — Отвечайте!

И, хотя пистолет холодил висок Успенского, в глазах Щедрина видел он отсвет отцовской укоризны.

— А сапоги-то!

— Слыхали!

— А сыр-то!

— Тьфу пропасть! Заладили: «сапоги», «сыр», «сапоги», «сыр»... Признавайтесь, роскошествовали, небось? Так, что ли?

Минута была подходящая, самая подходящая минута была открыть карты, сказать, что уж больно извозчика жаль стало, хороший мужик, непьющий, ему бы коня настоящего, ого... Нет, не сумел сказать, что эти-то полтораста рублей, теперь искомые как «авансик», он и отдал хорошему мужику, чтоб купил себе хорошую лошадь. А сказать не сумел потому, что ведь «ужасти» как благородно бы вышло, такой, знаете ли, благодетель меньших братьев, сирых, неприголубленных.

— Эх вы, Ротшильд, — откатившимся громом рокотал Щедрин. — Отменный бы из вас, Глеб Иванович, министр финансов получился. Буду ходатайствовать, да-с, буду предстательствовать, — бурчал он, оседлывая нос большим черепаховым пенсне.

Пенсне это всякий раз и всегда некстати, а нынче и вовсе неуместно и глупо, проблескивало в голове Успенского мыслью о третьегильдейском купце Бараеве — тесть, покойник, держал мастерскую черепаховых изделий. Да уж, не до тестюшки, нет, а все же опять мелькнуло. А Щедрин уже что-то писал на чистом лоскуте бумаги. Положил поверх корректур и писал, перо цепляло, и Успенский, уже догадавшись, чем занят Михаил Евграфович, опасался, как бы тот не посадил кляксу, отчего, вполне это вероятно, раздражившись, сменит милость на гнев. И тогда уж шабаш...

Старик с грубым, как у бурлака, басом, смеявшийся так редко, что все вздрагивали, старик этот втайне очень и очень дорожил Глебом Успенским. Порой даже и гениальным называл, но заочно, а очно нередко и пушил. Полагая доброту человеческую «предметом, достойным величайшего уважения», он находил этот «предмет» возведенным в высочайшую степень именно у «непутевого Ротшильда».

— Извольте, — сказал Щедрин, подавая через стол распоряжение о выдаче «авансика». — Извольте, Глеб Иванович, только, бога ради, не покупайте больше ни сапоги, ни сыр швейцарский. — И сразу отступил в густую тень своей суровости. — А очерк жду к сроку, рассыльного попусту гонять не стану. И можете, воля ваша, язвить меня эксплуататором, как Некрасова язвили.

Успенский, радостно оживившись, хотел было оспорить — я, мол, Некрасова называл не эксплуататором, а плантатором, такое вот уточнение было на языке, но не успел... А не успел по двум причинам: во-первых, Михаил Евграфович уже уткнулся в ворох корректур, аудиенция была окончена, а во-вторых, потому, что

кто-то весело окликнул: «Глеб Иванович!» — он оглянулся: под березами стоял Усольцев.

Передохнув на берегу Керести, доктор, видите ли, чувствовал естественный голод, доктор, видите ли, немедленно готов к столу. Глеб же Иванович рассеянно молвил: «Плантатор», «черный Кадо». Несмотря на загадочность и некоторый мрачный оттенок, сообщенный эпитетом «черный», Усольцев и бровью не повел: за Глебом Ивановичем, выхваченным из задумчивости, водилась привычка «досказывать», словно с разбега, то, о чем он только что задумался. И посему Усольцев гнул свое: голод не тетка.

Тетка-соседка накормила чем бог послал, и сотрапезники, вернувшись в Дом, легли соснуть.

Мерно и мирно похрапывая, Николай Николаевич спал крепким, необыкновенно приятным сном, пока не учуял запах табачного дыма. Доктор осуждающе причмокнул и этим звуком разлепил свои веки.

— Клятвопреступник! — бросил Усольцев неисправимому курильщику.

Уговорились еще в Колмове: путешественник, путешествуя, очистит авгиевы конюшни, то бишь легкие, от никотина. И вот, пожалуйста.

— И вам не стыдно? — осведомился доктор, спуская ноги на пол и зевая до слез. — Вы же обещали?

— Э, — махнул рукой Успенский, — чего только не наобещаешь, лишь бы на волю выпустили.

Тон был шутливый, однако уподобление земли обетованной тюремному заведению укололо колмовского патриота. В отместку — пусть не впрямую Успенскому, зато в лобовую этой самой «воле» — сказал он не без вызова:

— Укажи мне такую обитель...

Глеб Иванович все так же шутливо польстил панегиристу системы «нестеснения»:

— Ах, Николай Николаевич, кабы ваш тезка-то посетил богоспасаемое Колмово, то, право, указал бы такую обитель.

Усольцев не мог не улыбнуться, но не мог не пустить и другую стрелу.

— «Я не люблю иронии твоей...»

Некрасовское «Я не люблю иронии твоей...» Глеб Иванович цитировал нередко. И еще вот это, для него интимно-трогательное: «Так осенью бурливее река, но холодней бушующие волны». И теперь уже совсем нешутливо, а как бы искательно, с какой-то беспричинной боязнью отказа, он позвал доктора в Чудовскую луку, от Сябриниц близкую.

В Чудовской луке, рядом с охотничьим домиком, лежал могильный камень, надпись извещала, что под камнем покоится Кадо, черный пойнтер.

Кадо погиб при исполнении служебных обязанностей: его сразила шальная охотничья пуля. Страстен был пойнтер в здеш-

них лесах, на болотах-лединах, а в домашней праздности, в Петербурге, на Литейном, снисходительно-добр.

— Здравствуйте, Кадо, — почтительно говорил Успенский, снимая в гардеробной пальто и калоши. — Здравствуйте, маркиз. — В черном пойнтере угадывалось нечто старофранцузское, аристократическое, гобеленное. Он смотрел на Успенского пегими, философически-печальными глазами. — Вы славный, вы замечательный, — продолжал Успенский, оглаживал длинную жесткую спину пойнтера и трогая подушечками пальцев нежную шелковистость за ушами. — Вы прекрасны, Кадо, но швейцар вашего замка отвратителен.

Внизу, в парадной, состоял в ливрейной должности сивый, плоскомордый холуй. Дока по части обхождения, швейцар делил посетителей на «плюгавых» и «настоящих». Первые, Успенский в том числе, обращались на «вы», вторые — «тыкали».

А Кадо был снисходительно-добр ко всем, кто приходил к Некрасову. Кадо облаял бы только чиновников цензурного ведомства. А это не только простительно, но и похвально. На цензоров не худо было бы напустить и Топтыгина — в углу прихожей скалился бурый медведь; поднявшись на дыбы, Михайло Иваныч опирался на суковатую орясину.

В кабинете Некрасова, в шкапу, стояли охотничьи ружья. Рассказывали: Николай Алексеевич бьет, как бритвой режет. Успенскому казалось, что в лесах, на болотах, на току Некрасов очень похож на Кадо: поджарый, сухой, весь в напряжении.

— Ах, отец, — проговорил Некрасов усталым голосом и жестом показал на кресло. — Ах, отец, да что же это вы за несчастный такой?

— Опять? — встревожился Успенский, подозревая очередную пакость комитетских цензоров.

— Нет. — Некрасов догадался о том, о чем нетрудно было догадаться. — На сей раз бочком, петушком, а проскочили. Ну, есть два, три пассажика, ладно, управимся в четыре руки. Я не о том. Чего это вы, отец мой, казнитесь? Эва, двести десять рублей! Мне в тысячу раз больше вашего должны, так даже и не чешутся. Нет, сейчас зачеркну, и молчите, молчите, пожалуйста!

Ох ты, господи, еще вчера, да, вчера еще Успенский костил Некрасова «плантатором». Стыд-то какой, многие ухмылялись. Потому и «плантатором», что себя-то сознавал чернокожим. Выжимая все соки, на одних гонорарах держат, а надо бы и на жаловании... Ах, Глеб Иванович, Глеб Иванович, будем справедливы, будем справедливы. Да, вот там, в подзеркальном ящике, можно сказать, эльдорады. Однако ведь и расходы огромные. Ну хоть бы на «нужных людей», чтоб журнал-то под откос не пустили. Тошно глядеть, как Николай Алексеевич фальшиво-любезен с «нужными людьми»; тошно слышать, как подсударивает пошлостям «нужных людей». А картеж? Карты тоже, небось, прорву берут. Будем справедливы, Глеб Иванович, будем справедливы... А Некрасов, росчерком пера сняв жернов, висевший на шее этого Глебушки,

краснеющего быстро, как южная ольха на срезе, Некрасов говорит уже совсем о другом, и Успенский уже испытывал то состояние, которое заключал в два слова: душа работает.

Душа работала, принимая и перенимая нервную энергию другой души. Не поймешь, на чем она держалась в этой ветхой, изможденной оболочке. Сколько Успенский знал Некрасова, Николай Алексеевич выглядел много старше своих лет. Какая-то запредельная худоба, эта блеклая желтизна почти уже голого черепа, эти ввалившиеся щеки. Казалось, Николай Алексеевич непрестанно зябнет и надо бы поскорее подбросить дров в камин. Но камин и без того пылал, жарко пылал, словно бы в Михайловском, когда Пушкин читал стихи Пущину. Теплый воздух, струясь и голубея, наплывал на картину художника Ге, и картина зыбилась, зыбилась, заслоняясь тоже зыбящейся листвой Петровского парка на окраине Москвы, где сад с беседками и качелями примыкал к «Яру». Половой указал Успенскому комнату: «Пушкинский уголок, сударь». Нет, нет, он не смел жевать пожарскую в «пушкинском уголке», он подальше выбрал закоулок и прежде, чем распорядиться ужином, спросил... ведь, собственно, затем он и пришел в «Яр»... спросил, найдется ли в соколовском хоре солистка, знающая что-нибудь на слова Некрасова?.. Цыганка была молодая, вся в алом, звенящая, а цыган-гитарист — в вишневом плисовом жилете. Спела она «Родную землю», спела «Не говори, что молодость сгубила», и это было не контральто, пусть и глубокое, не владение голосом, пусть и редчайшее, а нечто бесконечное, как наши пространства, нас же и поглотившие, и такая скорбь, такая бездонная скорбь... Боже ж ты мой, где же исход, где он? Не блеснет ли зарницей эпилог в «Кому на Руси»? Молчал Николай Алексеевич, улыбаясь кротко и коротко, этой улыбкой своей будто умоляя телесную боль отпустить на минуту — рак сводил его в могилу... И, переждав приступ боли, тылом ладони убирая пот со лба, спросил едва слышно: «Эпилог? А вы как думаете — кому вольготно?» Успенский назвал кого-то из семерых временнообязанных. «Ну, что вы, — покачал головой Некрасов и еще тише, раздельно и горестно молвил: — Пья-но-му... Изо всех семи деревень не зарастает тропа в кабак...» Прощался Глеб Иванович, уходил туда, на Литейный, в шум, в город, в непрестанное движение обыденности. Бурый медведь, опираясь на орясину, скалился в углу прихожей. Эх, Топтыгин, ты знавал лучшие дни — видать, так и ломил в новгородских чащобах, и охотник из Чудовской луки, охотник со своим черным пойнтером Кадо тоже знавал лучшие дни...

Вот этот домик, охотничий домик Некрасов купил за десять лет до того, как Успенский благоприобрел усадьбишку в Сябринцах. И вот уже пропасть лет не было Николая Алексеевича в этом охотничьем домике, а близ, под могильным камнем, лежал черный пойнтер Кадо, и надпись извещала, что Кадо, черный пойнтер, был незаменимым другом.

А незаменимый егерь Сергей Макарович Макаров, старик, кра-

сивый своей свежей старостью, великий следопыт, бог Пан здешних лесов, не сразу узнал сябринского хозяина. Однако, приглядевшись, решил, что это ж, конечно, Глеб Иванович, хотя и сильно переменившийся. Сергей Макарыч подошел и поздоровался с Глебом Ивановичем за руку, а с господином, который с тросточкой, обменялся поклонами.

Ему-то, Сергею Макаровичу, ничего не требовалось, он не из тех, кто колесом ходит, лишь бы «пондравиться» господам да сшибить пятиалтынный. Ничего не надо. Глеб Иванович, всей округе ведомо, и комара не убьет, а этот, с тросточкой, разве что окуней удит. Оно-то, пожалуй, и лучше, а то вот теперешних взять — какие, к лешему, ружейные охотники? Выкушают на травке и ну палить в пустые бутылки от рейнвейна... Нет, ничего не требовалось Сергею Макаровичу, разве что самого себя приласкать, старинушку вспоминая, когда Николай Алексеевич в Чудовскую наведывался. У меня, говорил, Карабиха есть, куда-а-а Чудовской, а не люблю... Уж и на ладан дышал, а приехал прощаться, насилу довезли. Какой охотник был, одно слово, из потомственных.

Егерь принял папиросочку, сказал «благодарствуйте», но постарался придать своему иконописному лицу выражение, которое, по его мнению, должно было пояснить, что он, бывало, и заграничной сигаркой услаждался, вот так-то, господа. Приглашение посидеть-покурить совпадало с его, так сказать, мемуарным желанием. Он предвкушал то удовольствие, с каким старики прижмуриваются на осеннее солнышко.

И вот уж неизменный спутник Николая Алексеевича Некрасова завел речь об охотничьих обыкновениях и приключениях, каких уж нет и не будет. И не потому только, что чистопородные ружейные охотники перевелись, а еще и оттого...

— Раньше что? — задался он вопросом, возникавшим, очевидно, еще у пещерных костров, сам же и ответил: — Раньше раздолье, всего вдоволь, а теперь и дичь повыбили, и лес беспощадно сводят.

Размежевав прошлое и настоящее, старый егерь пустил неторопливой чередой обстоятельные сюжеты. Тут было:

— о том, как они с покойным, царствие ему небесное, хаживали и на бекаса, и на куропаточку, и на зайцов (не на «зайцев» сказал, а именно что на «зайцов»);

— о том, как Николай Алексеевич чуть ненароком егеря Пантелея не продырявил;

— о том, что Николай Алексеевич затаится в шалаше, в засаде, однако, опасаясь такой же нечаянности, подает сиповато: «Эй, ребята, смотри, я здесь!»;

— о том, что медведя, которого он, Макарыч, чучелом свез в Питер, на Литейный, медведя этого до-олго окарауливали на гарях, потому медведь не дурак, медведь любит на пожарищах, где малинники — подойди-ка: сучья звонко трещат, далеко слышит, черт;

— о том, что Николай Алексеевич, охотник перворазрядный,

егерям платил, не скупясь, и девок-загонщиц одаривал, чтоб громчее пели;

— о том, что с Николаем Алексеевичем приезжали разные превосходительства, из тузов тузьё, нашего губернатора возьми, он перед такими тьфу...

И наконец, о том, что однова Николай Алексеич прибыл веселым-превеселым. Эх, говорит, Макарыч, я намедни восемь тыщ выиграл!

Все это Успенский слушал, не перебивая. Слушал, наклоняя голову, не столько «сюжеты», сколько звучание неторопливой, обстоятельной речи, но, когда егерь, упомянув «восемь тыщ», от полноты чувств шмякнул картузом о колено, Глеб Иванович рассмеялся.

Усольцев же прихмурился. Он счел долгом вразумить рассказчика в том смысле, что Николай Алексеевич Некрасов, великий писатель России, добывал хлеб трудом, литературным трудом.

Выслушав наставление, старик надел картуз, ответил серьезно:

— А мы, ваше благородие, им не мешали. Они там, — он через плечо показал на охотничий домик, — запрутся, день не выходят, три, а мы ничего, понимаем, ждем. — Словно бы вдруг что-то сообразив, Сергей Макарович прищурился. — А вы, ваше благородие, старье не покупаете?

— Какое «старье»? — не то удивился, не то обиделся Усольцев.

— А тут вот намедни налетели молоденькие барышни, ну, совсем стрекозки, из самого, значит, Питера. Так они, ваше благородие, за какое-нибудь вышитое полотенце, бросовое, в дырьях — изволь получи полтинник. А бабы-то и говорят: ну, раз за старину принялись, выходит, скоро конец света.

Успенский рассмеялся.

— Нет, мы с доктором совсем по другой статье.

Уже стемнело. Длинный вечер перетекал в короткую ночь. Неподвижные тучки раздумывали, брызнуть ли дождичком или подождать, пока Успенский с Усольцевым уберутся в Сябринцы. Из Чудовской луки послышалась песня.

— Федосья с Маруськой затеплили. Это у них любимое: «Неужели ты завянешь, аленький цветочек?» — Егерь усмехнулся. — Завя-янет.

А Глеб Иванович, вслух повторив «затеплили», тронул Усольцева за рукав: «Как хорошо. Мы бы с вами как? Ну, запели, завели... А то — затеплили. Будто свечки».

— Федосья с Маруськой много песен знают, — отметил старик, — у нас про таких говорят: душа долгая. Да только песни-то с голоду дохнут, скоро и вовсе деревня обезголосит: прет народишко в Питер, на полировку.

Распрощались, как и поздоровались: Глеб Иванович с Сергеем Макаровичем за руку; егерь и доктор — поклонами.

В Сябринцах, в рабочей своей комнате, Глеб Иванович, раз-

бирая старые бумаги, нашел пачку читательских писем, все больше от провинциальных учителей, фельдшериц, статистиков, нашел и тетрадки, исписанные мужиками-грамотеями, а под конец и сочинение какого-то деревенского мальчонки на тему «Наши домашние животные». Тетрадки, письма грустные были, печальные, в надрывах от повсеместной неразберихи, недоли, путаницы. Зато сочинение школяра глянуло глазенками некрасовских деревенских детей, и Успенский опять почувствовал радость и счастье жить.

Чувство это возникло еще на первых пешеходных верстах, но сейчас, ночью, когда керосиновая лампа освещала «домашних животных», а тени от ветвей елозили по бумаге, сейчас к радости и счастью жить прибавилась любовь ко всему сущему на свете.

Минуя деревни, шли они берегом широкой реки, направляясь к обширным, верст на пятнадцать, заливным лугам. Оттуда, с лугов этих, где уже завершалась косовица, накатывал дух свежего сена. А по реке тянулись большие порожние барки, готовые поднять не меньше десяти тысяч пудов. Чтобы соорудить эдакую «судо́вину» — не то чтобы говорил, а как бы повествовал Глеб Иванович — соорудить, а потом и водить через пороги, в ненастья, при ветрах, меняющих направление, тут, дорогой мой, нужны не одни только труд да смётка, нет, сударь, истинное вдо́хновение требуется.

Рассуждая о сенных барках и «лесных гонках», высказывая множество соображений на сей счет, Глеб Иванович повествовал не без горделивости, будто самолично и «судо́вины» взбадривал, и плоты сплавлял аж до питерских затонов.

Правду сказать, все это не представляло для нашего медика жгучего интереса. Он слушал вполуха, однако улыбался — никогда в Колмове Глеб Иванович не бывал так светел. Думал же Усольцев о другом. Точнее выразиться, не думал, а недоумевал, отчего же Глеб Иванович так обидно равнодушен к поэзии Колмова.

Недоумение это проистекало из рассуждений Успенского, высказанных до того, как его внимание привлекли сенные барки, и возникших не внезапно, как понимал Усольцев, а в непосредственном соотношении с тем душевным состоянием, которое все сильнее и полнее овладевало Глебом Ивановичем после ночлега в Сябринцах. Внезапности не было, была неожиданность. Но не в том, что о Пушкине отзывался Глеб Иванович без упоения, это еще в Колмове можно было подметить. И не в том, что́ говорил о Лермонтове, этого в Колмове не замечалось, да и вообще-то никакого разговора не было. А в том, *что* именно говорил Глеб Иванович.

Пушкин, говорил он, многие струны тронул, очень многие, а ведь даже Пушкину не приходило в голову... У него — «влачащийся по браздам неумолимого владельца». Понимаете? «Влачащийся» раб, в грязи он, в опорках, и Пушкин, несомненно, сострадает, но вот даже и Пушкину невдомек, что мужик-то со своей клячонкой, с сохой, мужик этот способен всей душой восчувство-

вать... нет, не каторгу, а радость, красоту своего труда на земле. И красоту мира божьего, всего, что вокруг, а вокруг-то, может, суглинок, кочки, ельничек, такое все сирое, и небо-то не блещет, и речонка с осокой... Так, да... А теперь, Николай Николаевич, нуте-с, нашепчите-ка про себя «Когда волнуется желтеющая нива». Хорошо-с! А теперь вдумайтесь, сударь, смысл какой? А такой, стало быть, что наш поэт Бога увидел и начал постигать, что такое счастье... Думаю, *такое* на каждого находит, случается. Вот и со мной тоже, в Лувре бывало или вот давеча в Сябринцах, когда глазенки детские. А изъяснишь ли? Да что с меня-то взять. А тут — Лермонтов! Так вот, скажите на милость, что такое «Когда волнуется желтеющая нива»? Ну-с, слива, и притом малиновая. Значит, поспевает слива, поспевает, а рядом ландыш красуется. Не какой-нибудь затрапезный, шершавый крыжовник или забубенная бузина, а нежненький ландыш. И все в одну пору — тут тебе слива, тут тебе и ландыш. И росой-то омыты, но какой? — «душистой»; а тень какая? — «сладостная». А освещение какое? — этого не понять, то ль вечерняя заря, то ли утренняя. Те-те-те, сейчас и скажете: «По-эзия!» Хорошо, но при чем здесь постижение счастья? Бог-то при чем? Оранжерея какая-то, одеколон, а поэт ничего не постигает душой, он вроде бы высокопоставленную особу зазывает: извольте взглянуть, вот слива-с, а вот сюда, сюда пожалте, вот ландыш... Может и красиво, а за душу не берет. А назову я вам одного лишь, этот и в мужицкую радость проник, и «лоно природы» знает не как случайный прохожий. Знаете кто? У него все в движении, плечо «раззудись», «рука размахнись», он чувствует, как весело запрягать или борону ладить. Кольцов, прасол Кольцов...

Усольцева неприятно задели не столько суждения о Пушкине, сколько о Лермонтове. Что ж до Кольцова... Читал давно и неохотно, казался умиленно-искусственным. Но все это так ли, нет, а главное в том, что Глеб Иванович, рассуждая о поэзии прозаически, не желает, решительно не желает видеть прозаическую поэзию Колмова, где колонисты-то как раз и счастливы — «размахнись рука», «раззудись плечо». Нет, не хочет видеть.

Сейчас, когда они шли берегом широкой реки, когда дух больших покосов накатывал все гуще, солнце садилось чисто, а роса... гм, роса была душистая, сейчас Николай Николаевич вспомнил артезианский колодец, землекопов, колонистов и, вспомнив, пригласил Глеба Ивановича признать, наконец, что колмовская солидарность и есть поэзия. Увы, в глазах Успенского доктор опять заметил лишь опасливое сочувствие.

Вечером они добрались до заливных лугов. Горели костры, пахло большим табором. Глеб Иванович слыхивал, что местных, коренных косарей теснит пришлый люмпен, но даже и не предполагал такую массу наплывной голытьбы. Кольцовский косарь ходил *гулять* в донские степи, а эти набивали кровавые волдыри; настоящие *косаки* составляли меньшинство. Они сплачивались в свои артели, подрядчики платили им щедрее, в харче отказа не

было — не то что хлеба вдоволь, а и каши с лучком и салом, по воскресеньям щи мясные.

Огни и запахи съестного, стук ложек, говор, вся эта обширная панорама лугов и вершеных копен будила в Глебе Ивановиче стародавнее желание серьезных бесед с каждым встречным-поперечным. Он уже приглядел неартельную голь, но доктор Усольцев приметил другое — один из косаков блестел очками.

Подошли, поздоровались. Этот, в очках и шляпенке с провалившейся тульей, всмотрелся в Успенского. «Как же, читал, читал и восхищался. Фотографию видел, узнал вас, Глеб Иванович, как же...»

Оказалось, бывший профессор Новороссийского университета. (Жаль, Н. Н. Усольцев не указал фамилии, можно было бы навести справки.) «Да, кафедру бросил». Что так? «Ну, знаете ли, как самоубийцы пишут: «От невеселой моей жизни». А все же, если не секрет? «Вам ли не понять, Глеб Иванович? Не жил, а разве что дышал в кошмарном сне. Лежишь, а машина какая-то, локомотив, вот-вот тебя, как гуся. Страшно, дико, крикнуть бы, чтобы проснуться, а крик в горле комом, и давит тебя, давит, давит». А как здесь теперь себя чувствуете? «Воля! В прежние условия жизни ни под каким караулом не двинусь».

Сдается, он и вправду был счастлив, бывший профессор, человек лет сорока — сорока пяти, миловидный, голубоглазый, брадатый, утолявший после здоровой работы здоровый голод. Счастлив волей, независимостью, тем, что на равных с косаками, звон косы ему отраден.

Ни Успенский, ни Усольцев не были поборниками «опрощения». Но не Глеб Иванович, а Николай Николаевич, взволновавшись, стал укорять экс-профессора за столь примитивное избавление от драмы совести, за уклонение от роли интеллигенции в святом деле облагораживания народной души, в которой еще так много лесного, звериного, за то, что экс-профессор променял сердце всескорбящее на сердце эгоистическое, это вот и есть измена заветам шестидесятников, всем мученикам долга.

Покончив с кашей, экс-профессор отер ложку, провел ладонью по бороде, легонько тронутой сединой, и, широко улыбнувшись, потягиваясь, отвечал в том смысле, что у него нет ни малейшего позыва сочинять проекты «об оздоровлении корней» или о том, чтобы кабаки ставили не ближе чем в двадцати верстах от населенных пунктов. Все эти проекты вырабатывают высоколобые, не спросив мужика, в пользу и благо которого вырабатывают. А засим разные комитеты утверждают: быть по сему и никаких разговоров! В отношении же народной нравственности он полагал так: вынесли и мамаев, и биронов, и салтычих, и шпицрутены, а вот бескровной пытки мертвым кружочком не вынесем, рубль-то хорошо роет, приканчивая помаленьку устои, уклады, обычаи... И вдруг обозлился: вместо того чтобы навязывать мне «дра-аму со-овести», навострили бы лыжи в деревню, благо рядом, да и оказали бы какую-нибудь помощь.

— Я-то навострю, — огрызнулся доктор, — а вот вы, милостивый государь, с этим «мертвым кружочком» уже мертвы. — И Усольцев обернулся за подмогой к Успенскому.

Глеб Иванович лежал навзничь и, заложив руки под голову, смотрел на тихо меркнущее небо. Доктор с еще большим раздражением, обидой и досадой сказал Глебу Ивановичу, что этак и простуду схватить недолго и что надо искать ночлег, а не валяться на голой земле.

Наш доктор хотя и грозился: «Я-то навострю!» — однако, прикинув расстояние до деревни и чувствуя на душе пренеприятную оскомину, счел за благо ночевать в сенном сарае.

Сарай и прессовую машину содержал сенник, местный крестьянин. «В сарае так в сарае», — бурчал доктор, пробираясь сквозь колкую темноту вслед за Глебом Ивановичем.

Табор на лугах смолк. Слышался шорох полевок, осторожных и вместе с тем, казалось, нахальных. Глебу Ивановичу было немножко неловко своего давешнего молчания. Николай Николаевич говорил в общем то, что и он мог бы сказать экс-профессору. Но и тот с этими «мертвыми кружочками» был прав, не хотелось ввязываться в «культурный разговор», а хотелось лежать и глядеть на небо, продлевая сябринское душевное расположение и словно бы перечитывая домашнее сочинение деревенского мальчугана. Вот прелесть-то, а? «Черт есть животное домашнее, четвероногое, но не всегда, а когда спит. Когда же ходит, то на двух ногах. Водится на печке, питается золой и углями. Бабушка его не боится. Сама читает молитву, и я должен читать: «Да воскреснет бог и расточатся врази его». Он и расточается, расточается в нашу кошку Машку. На вопрос, какая польза, прямо отвечаю — никакой, потому что черт хотя и домашнее животное, пахать неспособен». Глеб Иванович тихонько хохотнул в кулак. Доктор, все еще сердитый на Успенского, протестующе заворочался. «А я тогда, — вслух продолжал Глеб Иванович, приняв этот протест за знак внимания, — я тогда, что называется, сидел в должности. Письмоводителем служил в ссудо-сберегательной кассе, это в Самарской губернии было. Прислали к нам молоденького учителя. Географию начал так: «Дети, будьте внимательны. С той самой поры, как Адама и Еву прогнали из рая, люди делались все глупее и глупее и думали, что солнце вокруг земли вращается». Учил он и русскому. А тогда, знаете ли, предписание вышло, чтобы в домашних сочинениях ученики не смели касаться бытовых условий. Так вот и указали: бытовых условий. Ну, допустим, какую-нибудь Сахару. Извольте радоваться, ученик пишет: «Заря там дюже красная догорела, значит, будет в этой Сахаре дождь». А я возьми да и предложи сеятелю разумного — раз, говорю, нельзя «из жизни населения», валяйте про скотину. Неделя, другая, бежит мой Песталоцци, трясет бумагами, кричит: «Один про черта накатал, другой и того хуже». Что такое? «Вот, полюбуйтесь!» Читаю: «Тятька податей не заплатил, старшина увел домашнее животное к становому». А может, говорю, и увел? А Песталоцци

возопил: «Каков мерзавец! Прямо в социализм ударился!» Доктор смеялся, слезинки смахивал. Поди-ка, сердись на Глеба Ивановича...

На заливных лугах хотелось быть еще и еще. У Глеба Ивановича и тут сладились знакомства. Успенского не называли ни «господином», ни «барином», называли по имени-отчеству.

А доктор Усольцев день ото дня все сумрачнее хохлился. Странно, но его тяготило, раздражало, ему мешало как раз то, что в Колмове было привычным, повседневным, неутомительным.

Где бы они с Глебом Ивановичем не останавливались, с кем бы ни встречались, Усольцев, словно бы и помимо воли, приступал к психиатрическим наблюдениям, сопоставлениям, анализам, диагностике. В его действиях — это-то и главное! — была *подозрительность*. Встречных-поперечных подозревал он в тех или иных психических отклонениях и весьма быстро подбирал тому подтверждения. Особенно поразила Усольцева, так сказать, общая, групповая, артельная ненормальность вот здесь, на заливных лугах, на косовице, которой занята была масса людей, пришлых и местных, молодых и немолодых, словом, людей разных. И все они, заметил Усольцев, не умели проводить время воскресного отдыха, не знали, куда себя деть. И чем ближе был вечер, тем сильнее уставали от своего отдыха. Делались угрюмыми, вспыльчивыми, доходило до драк — и все это было нетерпением, когда ж кончится праздник и придет понедельник, день тяжелый, то есть труд, который называли «проклятущим». Они раньше обыкновенного укладывались спать, тут крылось не только здоровое желание хорошенько выспаться, но и нездоровое, как полагал Усольцев, нежелание длить этот отдых, этот воскресный вечер.

Все сие доктор хотел было объяснить отсутствием умственных интересов, но себе-то он не мог отказать в их наличии, а вот, поди ж ты, такая маета, такое неумение управиться с самим собою, и все оттого, что он свободен от Колмова, то бишь от повседневного труда, который он, Усольцев, хотя и не называл «проклятущим», но который не менее утомителен, чем труд мускульный.

С каким-то нехорошим, даже, пожалуй, мстительным чувством он сказал Успенскому об артельном, общем, коллективном состоянии духа в день воскресный. В ту минуту Успенский смотрел из-под руки, как солнце, закатываясь, делает из речной воды, от берега до берега, широкую золотую, там светлую, тут темную, а вон там багровую ленту. Он ничего не ответил Усольцеву. И Николай Николаевич вдруг поймал себя на том, что ему, Глеб-гвардейцу, если быть честным, надоел Глеб Успенский; надоел, измотал, всего измочалил. Мысль эта, явившись впервые, не огорчила Усольцева, он был холоден. Он чувствовал властную тягу туда — *домой*, в Колмово. Усольцев сознавал, что это не долг тянет его в заведение для душевнобольных, а потребность избавления от здоровых людей, то есть тех, кого принято считать здоровыми.

«Пора возвращаться», — вырвалось у него с начальственной жесткостью, он сам вздрогнул. Лицо Успенского мгновенно исказилось, глаза как выцвели, Усольцев попятился. Таким он уже однажды видел Глеба Ивановича: сжимая кулаки, Успенский кричал главному врачу, что тот, насильник-гипнотизер, поработил его, как собаку. Но сейчас не закричал. Не сказав ни слова, поворотился и понуро пошел к сенному сараю.

Доктор, совершенно уничтоженный, плелся следом. И вдруг длинная мысль холодно и остро, как спица, прошла от виска к виску, мысль о том, что и он не совсем нормален. Походка Николая Николаевича переменилась. Он шел таким же неверным, спотыкливым шагом, как и Успенский. Доктору стало жутко.

Холодные, обложные дожди застигли Успенского близ железнодорожной станции Валдайка. Там же застигли они и «агента системы нестеснения», как Глеб Иванович несколько дней кряду называл Усольцева; с каждым разом, правда, все мягче, снисходительнее.

И холмистые окрестности, и эта заброшенная усадьба де Воллана были знакомы Успенскому еще лет двадцать с лишним тому назад. Стóрожа, отставного солдата, гулко кашлявшего, Глеб Иванович не знал. Зато знавал барина, и этого оказалось почти достаточным для того, чтобы Акимыч пустил господ на краткий постой. Говорю «почти», потому что остальное довершила трехрублевая бумажка.

Дом был как выморочный. Крыша прохудилась, из обвалившихся печей последнюю золу выдуло, штукатурка, отваливаясь, обнажала грязный войлок.

А флигель еще держался, во флигель убрали мебель красного дерева, мореного дуба, ореховую и грушевую. Она чем-то напоминала черного пойнтера Кадо. Сходство, вероятно, определялось старофранцузским происхождением. Свою прекрасную партию де Волланы покинули в годину революции, когда громили не только Бастилию и родовые гнезда аристократов, но и аббатства. Да-да, монастыри и аббатства, храмы и часовни, и весь этот погром никто не приписывал масонам из пришлых мерзавцев, а все простодушно полагали, что таковы уж всегда «неистовства разнузданной черни». Де Волланы, видать, уносили ноги не столь поспешно, чтобы удовольствоваться лишь фамильными драгоценностями, а вывезли и фамильные мебеля. Впрочем, может быть, и не фамильные — Успенскому смутно помнилось, будто Григорий Александрович вроде бы упоминал о каком-то аббатстве.

Этот де Воллан служил по дипломатическому ведомству. Он был, что называется, хорошо воспитан, Успенского он почитывал и наедине, и вслух, в обществе. Находил, что Успенский знает Россию, но шедевры в свет не выдает, а выдает сырой материал в собственном соусе, и только. Да и как личность не представляет ничего примечательного.

Напрямик, однако, не высказывался. Не потому только, что

мешало хорошее воспитание, а потому, что нет-нет да и прибегал за помощью к Успенскому: в досужий час писал роман. Извиняясь за докучливость, он умучивал Успенского. Тот страдал, как от невралгии, однако отвечал, что Григорий Александрович ничуть ему не в тягость, напротив, он, Успенский, готов обратиться к такому-то или такому-то издателю, вот только надо бы дописать то-то и убрать то-то. Де Воллан слушался писателя, хотя у писателя-то, по его мнению, отсутствовал «божественный огонь». Увы, ничего путного не получалось. То ли разуверившись в своем таланте, что уже делает честь де Воллану, то ли в поисках другого наставника и посредника, он мало-помалу перестал докучать Успенскому. Теперь де Воллан обретался где-то за границей, может статься, во Франции, откуда родом была и эта окаменелая мебель красного дерева, мореного дуба, ореховая и грушевая.

Кладбищенское роскошество флигеля не занимало Успенского. Старик же Акимыч, гренадерской, хотя уже и согбенной, стати, в изжелта-сивых усах, старый воин Акимыч... Господи, сколько акимычей видывал! Изведут сочную пору жизни во фрунте, остаток изживают один на огородах вместо пугала, другой при станционном буфете, третий мирским подаянием.

Грустно... Бобыль Акимыч, надо полагать, был исправным солдатом — до ушей не зарос, тонюсеньким, как шильце, лезвием скоблит щетину, одежда латаная, штопаная, пуговицы накрепко.

Полковые командирчики,
Батальонные начальнички,
И-и батальонные начальнички,
Штаб и обер-офицерики...

Усольцев не сомневался, что и в Акимыче найдет Успенский собеседника. Потому и не сомневался, что теперь, вне Колмова, сообразил, в чем она, тайна-то обаяния Глеба Ивановича: не рассудочно-литературный интерес к человеку, а едва ли не инстинктивное желание и старание «войти в положение». «Войти в положение» — это же, думал Усольцев, не мое «объективирование» и не тонкая художническая игра. Не-ет, тут, наверное, что-то другое, что-то другое... Может быть, такая слитность наблюденного и воображенного, когда уж одно неразличимо от другого. Ему показалось, что он приблизился к тайне вдохновения. Он потоптался, не решаясь переступить границу, да, собственно, и не знал, в какую сторону двинуться, а только повторял про себя: «Таинственный процесс... таинственный процесс...»

Дождь набирал силу, нахрапистый ветер сотрясал ставни.

Примостившись у камелька, Акимыч и Успенский распределили обязанности: Акимыч вязал чулок, клубок шерсти играл у ног, как котенок; Глеб Иванович кочережкой оправлял поленья и курил.

Разговор не долго грелся военными сюжетами, коих в запасе у Акимыча, надо полагать, было не меньше, чем охотничьих у егеря из Чудовской луки. Скользнул разговор несколько в сторону, и тут уж Усольцев прислушался. По Акимычу выходило так, что

все враги веры-отечества, не поймешь зачем бунтующие, на поверку, ближе-то поглядеть, оказывались ничего себе, совсем ничего себе и даже, сказать можно, хорошие люди.

Поляки? «А что поляки? Народ чистый. Ты попробуй-ка в сапогах на койку завалиться, так пани тебя мигом за волосья стащит».

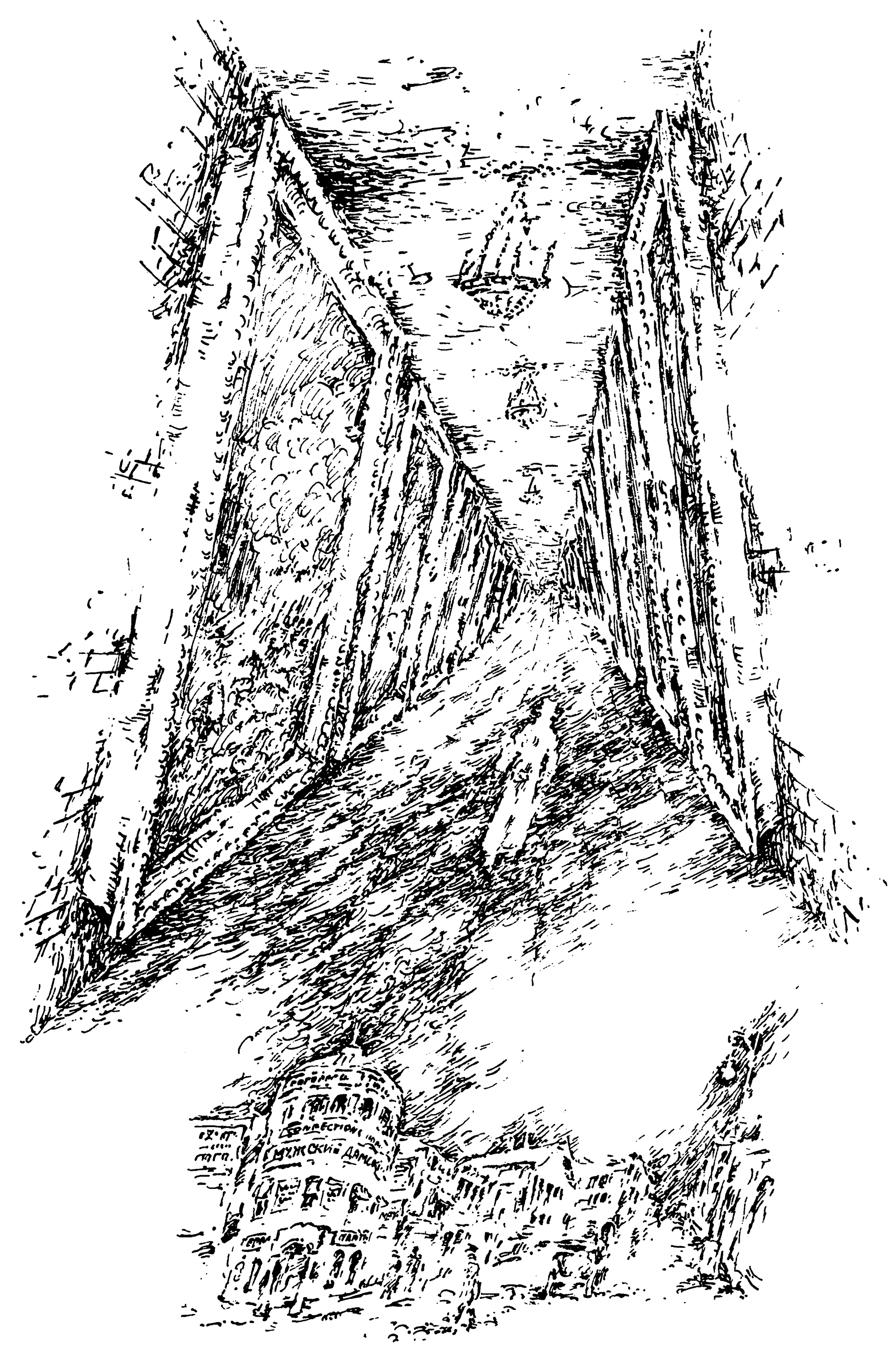
Ну, а кавказцы? «Эва, Капказ! Вот черкесы, головорезы и разбойники, побили мы их, со счету собьешься. Ну, и они, понятное дело, спуску нам не давали. А прямо вам сказать, лучше этого народу поищи. Помню, стоим постоем, ничего, живем. А жа-ары, страсть господня, какие жары. И как-то, за полдень уж было, самый зной, взялось гореть, спасу нет. Так что же думаете? Откуда ни возьмись черкесы налетели, туча тучей. И давай валить, давай растаскивать, гасить. Церковь отстояли! Это ж понимать надо — Магометова закона, а тут храм-то наш, православный! Геенна огненная, губы в кровь трескаются, а они до последней головешки с нами. Первейший народец, да... А теперь, Глеб Иванович, такой парад наступил, когда крещеный крещеного опасайся, без ножа зарежет, опасайся, как в секрете, не в пример больше, чем Магометова закона который...»

Нет, в Сербии Акимыч не был, не пришлось. А слыхать — слыхал, «бестолковщина вышла». Подумав, прибавил: «Пускай и бестолковщина, а славян нельзя не отбить, потому младший брат, свой...» Там-то как раз, в Сербии, Успенский и познакомился с владельцем здешней усадьбы, но сейчас это мельком, потому что метко прострелил Акимыч: «Бестолковщина».

В Белград отправился Глеб Иванович из Парижа. То было уже второе парижское житье, семейное. Первое я кое-как воспроизвел, а второе...

В усольцевской тетради — ни слова. Казалось, было о чем вспомнить колмовскими вечерами — и Тургенев, и русская библиотека, и газета «Вперед!» Петра Лавровича Лаврова, и Герман Лопатин; да, было что вспомнить, было о чем вспоминать, и потому ума не приложу, как объяснить столь обширное белое пятно в усольцевской тетради. И я-то хорош, тоже ведь ни слова. Только сейчас спохватился. А что делать? На дворе уже осень семьдесят шестого, и Глеб Иванович уже не в квартирке у Булонского леса, близ виадука, нет, он в гостинице «Кан сербского краля».

Там, в Сербии, поднявшейся против султанского владычества, он не жаждал упоения в бою. Сильно подозреваю, ему не по душе был этот род упоения. Он ведь... медлю сказать... даже быструю езду на чудо-тройке не любил, а уж, кажись, русский из русских. И не парижские друзья-эмигранты увлекли его на Балканы. Друзья-эмигранты поступали по совести: надо внести лепту в дело славянского возрождения, в дело «меньшого брата». Разделяя чувства парижских блузников, Глеб Иванович все же и такое суждение имел — прежде чем освобождать «меньшого», следовало бы



освободить «старшого». Так чего же искал он в сербской буре? Успенский, видите ли, не верил сообщениям французских газет. Не потому, что французские были лживее отечественных, а потому, что и те и другие слишком уж убедительно толковали о славянских комитетах, которые возникли в России и разожгли в русском народе святой порыв «жертвовать собою чужому несчастью». Если бы, напротив, сообщалось о нежелании приносить жертву, Глеб Иванович не усмотрел бы в том ничего постыдного для народа православного: не до жиру, быть бы живу. Сострадания, русского сострадания к единоверцам-сербам он не отрицал. Он сомневался, настолько ль оно велико и сильно, чтобы ринуться очертя голову под разрывные пули и кривые сабли. Правда, славянские комитеты сулили добровольцам не одну лишь всероссийскую аллилуйю, не только безвозмездное содержание в госпиталях, но и денежное вознаграждение сверх прогонных и подъемных. И все же, и все же...

Так вот, в Белграде остановился Успенский в гостинице «Кан сербского краля». Гостиницу оккупировали волонтеры первого сорта: офицерские фуражки, чиновничьи и с красным околышем, дворянские. Различие головных уборов не отменяло общность головных интересов — как военные, так и статские, не преуспев на российской службе, вышли в отставку или их отставили без прошения. Ударил час, и они воспряли: «Образуется! А как же? В Сербии был, за славянское дело воевал!» Но коль скоро история, отвергая поспешные притязания, поддерживает долговременные усилия, они не торопились на поле брани. Однако положение обязывает, и военные, заменяя междометия бряканьем сабель, стройно рассуждали о том, что надо бы оттянуть войско от границ, расположить окрест Белграда, а тогда уж и грянет генеральное сражение, разом решит судьбу кампании. А статские обивали пороги, норовя заполучить что-либо по «провиантской части». Вся эта публика обреталась вполпьяна, а то и вовсе. Шастали, шурша шелками, какие-то нашенские дамочки с хищным огоньком в глазах.

Рядовых добровольцев видел Успенский на железнодорожном вокзале, на дунайских пристанях, в казарме, в харчевнях, а всего чаще — под открытым небом. Бородачи были в картузах, сибирках, чуйках. И все в огромных, точно на медведей, сапогах. Едва переступя порог родных палестин, они сконфузились да так, в состоянии конфузливой оторопи, и пребывали поднесь. Дома-то все на один салтык, сравнивать не с кем, а тут-то, в чужих краях, куда ни глянь, впору шапку ломать и, ей-богу, не знаешь, куда деть свой дерюжный узел. Крепенькие, белокаменные деревни, явственный, как из печи с хлебом, дух довольства, пригожая физиономия местности произвели на них впечатление настолько сильное, что и завистью не язвило. Какая зависть, коли все условия, какие ни возьми, непохожие, все разное. А вот туркам надо было задать взбучку. Это хоть на себя примерь: лезут к тебе в огород, ну и берешь палку.

При отправке из России сказали торжественно: там, в Сербии, ночей не спят, ждут вас, не дождутся. А на поверку — никакого тебе: «Живио!» Начальники, назначенные славянскими комитетами, тотчас куда-то скрывались. А овцы без козлищ тонули в неразберихе, в бестолковщине. И уже доносилось родимое: «А, все один черт!» Или философическое: «Рассуждай не рассуждай, а выйдет не по-нашему». Отсюда и резюме: «Наплевать!»

Успенский еще в Париже сомневался в чистом, как слеза богородицы, порыве к жертвоприношению. И фуражки, и картузы рассчитывали что-нибудь да урвать. Но это «урывание» мыслилось по-разному. Фуражки, околачиваясь в военном министерстве или пуская пробки в потолок гостиницы «Кан сербского краля», норовили обойтись без пролития собственной крови. А сибирки понимали, что надо бы поскорее раздобыться ружьецом, неплохо бы и курткой, как у здешних войников, и — не жалей, брат, живота своего. Наплевать!

Провожая мужиков-волонтеров на театр военных действий, Глеб Иванович и негодовал и жалел — негодующе жалел людей, которые и на родине и вдали от родины были и оставались бесконечно терпеливой наковальней. Вполне допускаю, что негодовать на многотерпение — чувство не совсем русское, ибо совсем русское чувство, как утверждают некоторые, есть восхищение и гордость своим многотерпением, да ничего не попишешь, так он думал, так чувствовал.

Бесстыжих из «Кана сербского краля» он презирал. Куртизанят! Не вызывала симпатий и белградская, так сказать, губернская чистая публика. Ах, как возмущается, сидя в кофейнях, как она возмущается: войник-мужик, не выдержав бешеного натиска башибузуков, хорошо натасканных на убийство, на резню, задает стрекача в кукурузу или вместе со своей кучей-семьей бросает дом и убирается куда глаза глядят. Негодуя, губернские наживалы обделывали свои делишки. Так же, как и куртизаны? Нет, кейфующие «младшие братья» пристегивались к европейскому ходу вещей, а «старшие» выше должности полкового или столоначальника не воспаряли.

Гостиница опротивела. Успенский нанял комнату в квартире окнами на Дунай. Красиво! Но отрешишься ль мыслью от тех, кто получил пистонное ружье и куртку? Он никогда не бывал в сражении, в деле, но фантазия его не разыгрывалась. Почему «но»? Да потому просто, что батальные фантазии как раз и разыгрываются у тех, кто в деле, в сражении не участвовал. У Глеба Ивановича не было никакой охоты услышать дробь барабанов и крылатый треск флага на боевом ветру. И никакой охоты вообразить, как стелется пороховой дым, как на холме бьют пушки и повисают в воздухе большие белые биллиардные шары...

В Белграде все опасливее, все тревожнее говорили о ратных успехах Абдул Керим-паши. Та чаша весов, на которой был полумесяц, перевешивала чашу со крестом. Городские лазареты не вмещали раненых. Удалые головушки уже не прожектировали побе-

доносное генеральное сражение. Многие, не таясь, подумывали о замирении с султанским воинством. Тогда-то Глеб Иванович и решился посмотреть, что же происходит на театре военных действий. Да-да, и говорил, и старался думать, что едет «посмотреть». Он стеснялся говорить, что едет не «смотреть», а хочет, как бы и помимо собственной воли, находиться среди наших. А эти *наши* неотступно мерещились ему молоденьким волонтером, почти мальчиком.

Ванюша и был мальчиком на побегушках и колотушках при лавочном сидельце в московском Зарядье. Ворон не ловил, слямзивал копеечку, другую; выйдя в приказчики, прикарманивал бы гривенники, а при удобном случае, глядишь, и оставил бы в хозяйской кубышке торричеллиеву пустоту. Какая же нелегкая занесла его в Сербию? И таких же, как он, молоденьких добровольцев, которых замечал Глеб Иванович в каждой партии волонтеров? Придавило ложью, неправдой жизни, до конца ли осознанной иль вовсе не осознанной, но придавило, издергало, облепило паутиной, а тут-то и прогремела труба. Где-то далеко-далеко вскипало дело по совести, сербы взялись за оружие, чернявые, должно быть, с серьгой в ухе, ну, грабят этих сербов, а они меньшие, маленькие, в ведомостях, поди, не врут — «меньшой брат», а он-то, Ванюша, он-то что же молчит и смотрит? Тятька задал ему взбучку, Ванюша сказал, что в Москве-реке утопится; тятька запер его в погребе, Ванюша закричал, что повесится; тятька выпустил — куда без деньжонок денется Аника-воин? И Ванюша сбежал, где-то прилепился к дядькам-добровольцам, а теперь уже был там, «на театре», под пулями и картечью Абдул Керим-паши...

Лошади были дороги, Успенский искал попутчиков. Тем временем затрещали барабаны — вестовщики объявляли приказ военного министра: рекрутам, не мешкая, вступать в строй. Боевое счастье окончательно изменило сербам.

Успенский выехал из Белграда в почтовой повозке. Стояла уже вторая половина октября, пора печальная и для здешних мест. Гнет дурных известий усугублялся холодом и дождем, Успенского познабливало, лучше бы сидел дома, *совсем* дома, ну, хотя бы в «Славянском базаре». Нисколько не мятежный, он не просил бури, но полагал, что едет навстречу бурям.

Два дня спустя он уже знал, что такое война, ибо повальное отступление есть ее вывернутый наизнанку мундир, без орденов, погон, нашивок. Это уж была не бестолковщина, а бедствие.

Повозка застревала в толпах беженцев, вопивших: «Турци! Турци!» Люди и телеги смешивались со стадами коров. В водоворотах колыхались фуры с тяжело раненными и больными солдатами, все они были в рубищах, заляпанных грязью. Этот поток выплеснул за обочины тракта, в поток этот вклинивались, тотчас рассасываясь, армейские отряды. Наконец возникла какая-то огромная запруда. Она подавалась то вперед, то назад, она колыхалась, онемев от бессилия, от покорности, от холода и дождя, хлеставшего все злее.

Ни на окаянной дороге повального отступления, ни в Белграде, куда Успенского вынесло, как щепку кораблекрушения, ни после перемирия, когда волонтеры, требуя немедленной отправки в Россию, едва не опрокидывали пароходы и баржи, Глеб Иванович не встретил Ванюшу.

Успенский, как и волонтеры, тоже возвращался речной дорогой, вниз по Дунаю. Вчерашние добровольцы то бесшабашно веселились, то мрачно ворчали, и все это укладывалось в уже известные формулы: «Наплевать!» и «Один черт!»

Огонь в камине упал, Глеб Иванович, спохватившись, взбодрил огонь кочережкой, а чернобородый раскольник, впервые прикоснувшийся к оружию там, в Сербии, сдерживая гнев, спрашивал, куда же христианство глядит, уступая единоверцев туркам, а потом, указывая на Дунай, червленный золотом, предрекал единение всех славянских речек в реке великой, как здешняя или наша Волга. Ночь наступила тихая, глубокая, черная, стрежень метили блики звезд, все замолкло, только машина ду-ду-ду, вот тогда они и запели «Выхожу один я на дорогу...», эти двое иль трое кремлевских, чудовских певчих. Откуда взялись, бог весть, а пели прекрасно, всю скверну с души снимая, о чудовских певчих знает егерь в Чудовской луке, хитрющий, надо сказать, мужик, «затеплилась» песня — это очень хорошо сказано, именно «затеплилась», может, и Ванюша слушал певчих, может, не пропал парень, слушал где-то там, за темной водой, на темном берегу. Дрова горели жарко, на освещенной половице шевелился клубок шерсти, у старого солдата, как у бабы-большухи, всякое дело спорится и никакой тебе бестолковщины.

Усольцев клевал носом. Надо было одолеть дремоту, чтобы ночью не маяться бессонницей. Он взял свечу и пошел в соседний покой, ощущая приятную, старосветскую, что ли, уютность, и улыбчиво думал, что вот ведь не приходилось ночевать в старинных дворянских гнездах. В соседнем покое, на ломберном столе, в креслах, на огромном изодранном диване, были книги. Развалом и стопками. И доктор, утвердив свечу, стал рыться в книгах.

Ну какой же беллетрист, описывая усадебную библиотеку, не сказал бы, что она большей частью состояла из французских романов? Скажу и я, прибавив, однако, что и русских было не мало.

Усольцев читал усердно и в студенчестве, и молодым земским врачом, и в Новой Москве, благо Софья Ивановна Ашинова привезла и литературный багаж, и потом, в Аддис-Абебе, одалживаясь за неимением лучшего романами у коммерсанта Савуре, доброго приятеля.

Сейчас, на сон грядущий, Николай Николаевич одолжился у де Волланов Жераром де Нервалем, «Аурелия» назывался роман, «Аурелия», вот так. Должно быть, ерундистика, но в конце-то концов имеешь право и на бездумное чтение. Особенно, когда не худо бы привести в порядок нервы. А нервишки в последние дни пошаливают.

Он стал читать и зачитался. Потому и зачитался, что настроился на бездумное чтение, а оно-то нередко перемежается раздумьями.

Герой романа, как и Николай Николаевич, жил в Африке. Правда, не на берегах Таджурского залива и не в Абиссинии, а в Египте. У героя романа тоже была сожительница; правда, не кофейного цвета, а атласно-черного. Герой романа тоже расстался со своей хранительницей очага — «она меня била», а Николая Николаевича пальцем не трогала, но в одночасье повела плечом да эдакой Земфирой и откочевала к соплеменнику.

Романические обстоятельства, легонько соприкасавшиеся с его, Усольцева, жизненными, вызвали улыбку. Пустяки, однако и любопытно.

Не пустяком оказалось другое — Аурелия, героиня романа, пусть и водевильная актриска, но ведь предмет пожизненной, безответной любви. Впрочем, какого ответа ждать, о какой неплатонической любви помышлять, если она, плотью актриска, воплощает Свет, венчающий шар земной? Сновидения вторгаются в действительность, действительность вторгается в сновидения, и возникают то маниакальное возбуждение, то меланхолическая подавленность... Доктор нехорошо усмехнулся: чудаки-психиатры называют это циркулярным психозом... Он понял, что роман рожден в муках самонаблюдения Жерара де Нерваля, вчера еще неведомого ему, Усольцеву, а сейчас вроде бы двойника... Сновидения вторгаются в действительность, действительность вторгается в сновидения, в бесконечных пространствах летит шар, увенчанный Софьей, Софьей... Николай Николаевич мысленно пригляделся к Софье Ивановне Ашиновой и мгновенно осознал, что она умерла. Всего вероятнее, г-жа Ашинова супружески благополучно существовала, но для него, Николая Николаевича Усольцева, сию минуту отошла, перестала существовать. Он подумал: «атаманша» — и опять нехорошо усмехнулся... Но Аурелия все еще жила на страницах «Аурелии». Оставаясь источником Света, будучи Светом, она была то богиней Дианой, то святой Розалией. Святая Розалия? Усольцев ничего не знал о ней, и стал думать о Розалии, как о святой Маргарите, хотя и не побился бы об заклад, что есть святая Маргарита, и о том, что Маргарита и Вера Фигнер представляют единство, именно в единстве своем являясь Глебу Ивановичу. Если бы спросили, думал Усольцев, если бы Бориса Наумовича спросили о Маргарите, он бы, как психиатр из психиатров, опять и опять указал бы «точку зрения» Жан-Жака Руссо... Но что именно, какая такая «точка», Николай Николаевич припомнить не мог, потому что он сам вместо Аурелии витал на шаре вкруг солнца, однако на каком-то витке все же припомнил «точку зрения» — мол, записывайте бреды горячечного, увидите, сколь они высоки, сколь велики... Да-а, что-то... что-то в этом роде, но, может быть... «Господин доктор, я вам постелю изготовил», — сказал Акимыч.

Сейчас, вечером, приступая к продолжению описания нашего пешего хождения из волости в волость, я вдруг почувствовал не-

охоту водить пером. Повторять бессчетно описанное печальниками горя народного? Нужда и разор, гоньба за рублем и кулаки-скупщики, кирилловские гармоники, не находящие спросу, эти старухи, которые шьют какие-то кули из ветхой мешковины, дранье ивовой коры для кожевенных заводов, пахари, корзинщики, гвоздари, короче, весь этот бедный, темный люд, все это неизбывное прозябание, клянущее город и алчущее города, представились мне столь безобразными и однообразными, что, право, волком взвоешь. И если я не выбрасываю белый флаг, то причиною Глеб Иванович, его тогдашнее душевное состояние, решительно непохожее на мое теперешнее, хотя уж он-то на все, указанное мною выше, смотрел отнюдь не сквозь розовые очки. А между тем... Экое дурацкое «между тем» — между чем, спрашивается?

Не сумерки, не отчаяние, не какие-то симптомы надо мне сейчас фиксировать для скорбного листа, и вот испытываешь пренеприятное ощущение мускульной вялости, сознавая, что оно вовсе не телесное, а словесное. Насколько я успел заметить, даже и в изящной литературе осеннее ненастье, печаль, меланхолия выходят поэтичнее, выразительнее, нежели весеннее пробуждение, ликование, воскресение. А мне-то как раз и надобно обозначить весенний лейтмотив Глеба Ивановича.

Мотив этот возник после того, как скрылось из виду колмовское удельное княжество. И день ото дня усиливался. Деревни, почтовые станции, заурядные трактиришки с прусаками во щах, «калики перехожие», баба с ребятенком на руках, мужики и лошади у шлагбаума, тусклое струение железнодорожной колеи, сильный запах просмоленных шпал, нагретых солнцем, — все было ему крупным, ярким, все было как бы внове, все исполнено жизни, движения, необыкновенного счастья обыкновенного существования на этих полях, дорогах, опушках, в лесах и перелесках этого смиренного края, и он словно бы распахивал свои объятия, вольно и радостно загребал все живое и неживое и прижимал к груди.

Глеб Ив. не был человеком религиозным. Даже и в той легкой, поверхностной степени, которая свойственна большинству наших образованных людей и выражается в домашнем умилении на вербное или на пасху. Но тогда это вот счастье и радость сиюминутного были для него, он сам говорил, огромной любовью к Богу, любовью и благодарностью за Сотворение Мира.

Я нисколько не сомневался в том, что эти любовь и благодарность Богу — всего-навсего привычная униформа, как и машинальное: «Слава те господи». Даже из уст закоренелого атеиста не услышишь, что он-де исполнен любви и благодарности к естественному отбору, эволюционному процессу и т. п. Да, тогда я нисколько не сомневался, а теперь... Теперь склонен к тому, что он, неверующий, наделен был чувством религиозным, глубоким, чистым и, если можно так выразиться, благородным.

Как бы ни было, а из любви, лучившейся в глазах его и морщинах, из любви, охватившей Глеба Ив., пробивалась, точно бы родничком, точно бы ключевой струйкой, пробивалась мысль, выра-

женная отрывочно, вскользь, мне, однако, внятная. Потому и внятная, что я-то знал об инокине Маргарите, вечной узнице с трепетными крыльями... Нет, это у Глеба Ив., вероятно, не мыслью было, не убеждением, даже и не чувством, а скорее предчувствием — предчувствием великого возрождения, всеобщего обновления в ту самую минуту, когда всем и каждому откроется очень и очень простое, очень и очень явственное: полнота и счастье вот *этого* дня. И, открывшись, прогонит тайную мышку, скребущую сердце, мышку-норушку твоей краткости, твоей отдельности, твоей особности. А ведь кто же, как не эти мышки-норушки, мелкими-мелкими, быстрыми-вострыми зубками изгрызывают в прах совесть, потому что чего уж там совеститься, коли позади миллиард тьмы и впереди миллиард тьмы, есть только вспышечка шведской спички — пых и погасла, тут уж поспевай, повертывайся, режь, дави, жми, кусай, грабастай, лишь бы не промахнуться, лишь бы не опоздать, лишь бы не обскакали, лишь бы не объехали. Да, но суд-то, суд Божий? Э, нынче лишь бабушки при радельной свечечке поминают геенну огненную. И она есть, геенна огненная, крематорией зовется. А суд Божий совсем другое — возвещение всем и каждому счастья *этого* дня, *этого* часа, необыкновенного счастья обыкновенного существования, чем упраздняется ненависть, злобность к другому, стороннему, может, и чужому, и чуждому, но ведь тоже, как и ты, постигшему необыкновенное счастье обыкновенного существования.

В таком, стало быть, умонастроении, при таком, стало быть, миросозерцании Глеба Ив. и продолжалось наше пешее хождение, перемежавшееся, впрочем, как бы в нарушение обета, ездой на повозках, обывательских или почтовых, со здешними валдайскими колокольчиками.

Ничего не загадывая, перемещаясь в пространстве без руля и ветрил, оказались мы на старинном тракте, по обеим сторонам которого красиво и стройно белели немолодые березы. День был погожий, с тем горячим шепотом, какой бывает у листвы, набравшей полную силу. А когда деревья умолкали, слышно было, как в придорожных травах сварливо перекликаются дрозды, и это смахивало на бабью перебранку. Но едва шагнешь подсмотреть, что это они там не поделили, из-за чего сыр-бор, как птицы мгновенно немели.

Сколько помню, в его сочинениях не встречалось пространных пейзажей, ничего, так сказать, тургеневского, он будто не замечал ни фауны, ни флоры, а если и замечал, то всякий раз, что называется, по делу, двумя, тремя штрихами. А вот во время нашего хождения я узнал от него пропасть всякой всячины как раз о фауне и флоре, хотя слова эти, а равно и «лоно природы» произносил он с иронической подковыркой — дескать, столь же смешны и выспренны, как слова «юбилей» или «почил в бозе». Что до берез, то это уж потом он назвал их «предметом педагогики», «материалом для березовой каши», а тогда сказал, что лучшей древесины для тонкой резьбы нет — сколков не бойся, в любую сторо-

ну ножу-косяку поддается ровнехонько, несмотря на то, что куда плотнее липы и строже осины. В нынешнем году, говорил он, ежели вы, доктор, изволили заметить, березы выбросили листочки раньше ольхи — и вот, пожалуйста, лето теплое. Я возразил, у Акимыча, мол, хоронились от холода и дождей. «Э, — махнул он рукой, — и на старуху бывает проруха». И ради вящей объективности добавил: «О будущей весне ничего не предрекаю. Осенью поглядим: ежели берез с вершинки желтизною тронет, то ранняя, это уж поверьте».

О, если бы тогда, в те погожие дни, я настоял на возвращении в Колмово! Исполненный сил или, если угодно, любви и благодарности Богу, Глеб Успенский, не изнемогая душой, нашел бы спасительное Слово, освобождающее вечную узницу Маргариту. Непременно нашел бы! И никогда Иваныч не погубил бы Глеба, никогда! Но я медлил, я не смел предложить возвращение в Колмово, опасаясь повторной вспышки ярости, той, что опалила меня на заливных лугах.

Промешкал, не решился. Не предвидел последствий? А должен был, должен! Ну, хотя бы в тот день, когда послышалась тонкая флейта и тяжелая, мерная, пришаркивающая поступь.

Показались офицеры верхами, солдатские шеренги. То был батальон Выборгского полка. Опустив голову, исподлобья поглядывая на солдат, Глеб Ив. слушал флейту... Флейтой змей заклинают, с детства такую картинку помню. Но звуки ее могут нарушить душевное равновесие даже у человека с рыбьей кровью, это я вычитал в медико-психиатрическом трактате, из тех, которые, начиная колмовскую практику, брал у Б. Н. Синани... Так вот Глеб Ив., опустив голову, спиною вприслон к березе, слушал военную флейту, и я могу поклясться, что как раз в эти минуты зашелестел над ним злой гений местности.

Бранчливые дрозды, испуганные маршем поротно, улетели. Шпалеры берез-ветеранов молчали, ибо шепот в строю есть нарушение дисциплины. Они смирно стояли на равной дистанции, как линейные на вахт-параде. И все казались одного роста, как гренадеры. Аракчеев любил березы. Эти высаживал самолично и самолично подвязывал молодые ветви. Ах, березы, березки, березоньки — символ России, воспетый пиитами. Глеб же Иванович говорил: «Инструмент педагогики» — «березовой кашей», вот уж чем накормили Россию досыта.

Если был Аракчеев притеснителем всей России, то мы теперь были в эпицентре аракчеевского притеснительства. Не уверен, руководился ли он принципом внедрения всепроникающей исполнительности именно там, где пролегал некогда путь из варяг в греки, где гремел некогда вечевой колокол, где проклюнулась славяно-росская республиканская идея, а только ведь именно на земле-то новгородской и учредил Аракчеев первые военные поселения. О, флейта, полковая флейта... Ее уже не было слышно, пыль, взметенная сапогами солдат Выборгского полка, улеглась, но Глеб Ив, не двинулся с места...

Из-за дальней гряды кучевых облаков, огромных и невесомых, жемчужных, палевых, золотистых, вдруг вынеслись вороные кони, черная лакированная коляска, остро и узко засверкали стальные подковы, стальные ободья, а кавалергардская каска жарко вспыхивала на солнце. И вот уж вороные роняли белое мыло на серый, пыльный булыжник шоссе, черная коляска метила летучими тенями белоствольные, рослый же мундирный человек в каске, с развернутыми эполетными плечами оставался неподвижен. Ни звуком не нарушая полуденную тишину, все это неслось прямиком на Глеба Ивановича Успенского, а он так и не двигался с места, стоял, прислонившись спиной к березе, скрестив руки на груди. По ту сторону тракта горбился холмик, поросший вереском, там ждали государя братья Немочай, бунтовщики-поселяне. Были они, кажется, из коренных новгородских насельников, а фамилия почему-то как сечевое прозвище. Ну да Ивану-то Ивановичу, его, Успенского, младшему брату, незачем было искажать фамилию сослуживцев, и дело не в этом, а в том, что бунтовщики уже спускались с холма — фуражки на затылке, ружья наперевес, от примкнутых штыков блеск, как от сосулек на морозе. И вот так, вдвоем, потоптавшись, будто пробуя, выдержит ли тракт, земля выдержит ли, утвердились они, опираясь на ружья, посредине шоссе. А березы, привставая на цыпочки, с обмеревшими от страха соками стволов и корней, смотрели, что же теперь будет. А было то, что вороные, хрипя и задирая морды, разодранные стальными мундштуками, взвились и присели, и черная лакированная коляска, тяжело навалившись на конские крупы, остановилась. Статный седок, с развернутыми эполетными плечами, в кавалергардской каске, даже и не шелохнувшийся при резкой, внезапной остановке, человек этот, то есть государь император Николай Павлович, поднявшись во весь рост, прогремел: «Что вам нужно, канальи?!» «Нет, — ответили братья Немочай, — ты выйди-ка и подойди к нам, потому как мы русский православный народ». Государь император вышел из коляски и подошел к братьям Немочай широким, твердым шагом. «Ну, — сказал государь император, — чего же вы бунтуете?» «А ты зачем назначаешь таких начальников? — сказали братья Немочай. — Ты, видать, ничего не знаешь, что они с нами делают». «Они, — сказал государь император Николай Павлович, — поступают по силе закона». «Наше дело труба медная, — отвечали братья Немочай, — а с мужиками и бабами по какой силе поступают, знаешь?» «Говорите как на духу», — приказал государь император Николай Павлович. «Ну, слушай» — и братья Немочай стали рассказывать, как в селе Позеры выгнали поселенских баб за околицу, положили навзничь, засим ротный велел унтерам задрать бабам подолы так, чтобы лица покрыть, после того пригнали мужиков-поселян: «Ищите, дураки, какая ваша, каждый должон по телесным признакам определить». Государь император Николай Павлович свел брови и поморщился. «А которые промашку дали, — сказали братья Немочай, — тех секли нещадно. Это тебе цветочки, а ягодки-то не желаешь ли?» Ягодки

он не желал. Сказано было: «Разберу. А бунтовать не сметь». «Как же не сметь, — рассудительно заключили братья Немочай, — ежели ты сам не знаешь, куда этих начальников девать». Ни слова не молвил государь император Николай Павлович, сел в коляску, поворотил коней и в полной тишине помчал на рысях, мчал, удаляясь, пока не сокрылся в гряде кучевых облаков, огромных и невесомых, жемчужных, палевых, золотистых. А Немочаи смотрели из-под ладоней, приставленных козырьком. И потом исполнили ружейный артикул, тот, что означает отдание чести «по-ефрейторски», и честь эта, надо полагать, относилась к царскому «разберу». Но тут-то, невесть откуда, и возник на тракте статский чиновник. Его благообразное, умное лицо, с бакенбардами и крупным, округлым, чистым выбритым подбородком, имело выражение такой безукоризненно строгой честности, что братья Немочаи сняли шапки. Чиновник этот был с детства известен Глебу Ивановичу до нитки. Звали его Глебом Фомичом Соколовым. Знал Успенский и то, что Глеб Фомич занимал какую-то должность в управлении поселениями, и вот он сейчас, заложив руки за спину, стоял перед Немочаями, «пряжки» — нагрудного знака за беспорочную службу — у него еще не было. Он сказал что-то, и братья опять взяли ружья наперевес, и опять примкнутые штыки блеснули сосульками на морозе, и от этого блеска Успенскому стало холодно и страшно, хотя он и сознавал, что ничего с Глебом Фомичом худого не приключится, будет и впредь занимать разные должности, достигнет значительной уже не здесь, а в Туле, где станет вершить дела палаты государственных имуществ. Глеб же Фомич, выпростав из-за спины правую руку, слабым, однако непреклонно-презрительным движением отстранил штыки, и Немочаи, не противясь этому мановению, опустили ружья дулами вниз. Глеб же Фомич Соколов, убирая руку за спину, не повышая голоса, ровно и педантически перечислял злодеяния, учиненные бунтовщиками: полицмейстеру размозжили голову и старики ваши, которые не сегодня-завтра предстанут перед престолом господним, приходили потоптаться ногами на бездыханном трупе; капитану Бернадскому довольно было одного смертоносного удара саблей, так нет, долго и старательно рубили в куски; Леонтьеву, генералу, шомполами дух вон вышибли, да, жесток генерал был, неистов в гневе, однако телесному наказанию не подлежал, государь нашел бы свои средства, и вы, бунтовщики, на сей счет не сомневались, ибо сами же кричали, что бунтуете по царскому слову, царскому повелению...

Глеб Фомич не взывал ни к покаянию, ни к жалости к жертвам, он утверждал Закон, и братья Немочаи, растерянно переглянувшись, скорбно выдохнув: «Грехи наши тяжкие», наперебой выдвинули оправдательные, смягчающие мотивы. Главный был тот, что они же и вправду получили тайный царский приказ изничтожать зверей-начальников, потому как сам государь император не поспевал с ними управиться. Глеб Фомич Соколов отвел этот довод все тем же мановением руки, указавшей на дальнюю гряду облаков, что, очевидно, давало понять напраслину ссылки на цар-

ский приказ. Другой мотив заключался в том, что они, бунтовщики, разбивая полковые ящики с казенными деньгами, не дуванили, не крали, а записывали в приход, чтобы после победы над злодеями все до полушки возвернуть державе. Тут Глеб Фомич Соколов сделал некое наклонное движение головой, что, вероятно, означало похвалу. И наконец, третье, высказанное Немочаями, было то, что они не только пальцем не тронули добрейшую майоршу Гербель, а еще и караул к ее дому приставили, а когда майорша Анна Яковлевна исхитрилась упрятать в своем доме нескольких кровопийц-офицеров, ей только матерно погрозили, однако опять-таки пальцем не тронули... Глеб Фомич Соколов отвечал, что таковые поступки будут приняты во внимание следствием, но чаша, полная крови, перевесит. Закон восторжествует в полной мере, так как в противном случае вся Россия, включая и бунтовщиков Немочаев, низвергнется в пропасть. Глеб Фомич Соколов выпростал из сюртука красный платок размером в полотенце и неторопливо, тщательно отер лоб, щеки, подбородок. А потом, потряхивая платком, как бы высушивая на солнышке, все так же строго и наставительно присоветовал: коль скоро аудиторы и писаря, занявшись следствием, будут взапуски драть вчерашних бунтовщиков взятками, отчего в иных случаях Фемида может умерить свою строгость, не худо бы озаботиться кое-какой наличностью или кое-чем из награбленного... И тут он не исчез, не скрылся из виду, как государь император в облаках, а дернул дверной звонок, отчего в его тульском доме тотчас прекратилась ребячья беготня, а сорока Чипа трижды повторила: «Обедать! Обедать! Обедать!»

Меня мутило от голода, Глеб Иванович отвечал, что обедать придется в Муравьях, ближе ничего нет, ни деревни, ни трактира, ни почтовой станции. Мне было все равно где, лишь бы поскорее.

Благо выдалась оказия — армейские фуры с шанцевым инструментом и какими-то ящиками, обшитыми холстиной. Унтер-офицер с ястребиными глазами старого служаки дозволил нам сесть.

Обоз принадлежал Выборгскому полку. Глеб Ив. спросил унтера, давно ли он служит в этом полку. Унтер отвечал, что недавно, всего-то пять лет, а прежде служил в Нейшлотском. Нейшлотский не интересовал Глеба Ив.

Дело было вот в чем.

Когда-то именно в Выборгском полку, размещавшемся в старинных Аракчеевских казармах, отбывал воинскую повинность младший брат Глеба Ив. Отбывал бок о бок со сверстником, тоже нижним чином, этого сослуживца-приятеля звали Немочаем; он был прямым потомком одного из закоперщиков мятежа военных поселян восемьсот тридцать первого года. Иван-то, младший брат, и рассказал Глебу Ив. всю эту историю с государем императором, рассказывал со слов приятеля, таким было семейное предание. Ну, а теперь, трясясь по булыжнику и направляясь в Муравьи, Глеб Ив. и думал поспрошать унтера, да вышла осечка. О Глебе же Фомиче Соколове заводить речь не было никакого смысла.

Унтер о нем, конечно, и слыхом не слыхал, Глеб Фомич служил во времена Аракчеева, а тогда этот унтер с ястребиными глазами еще не увеличил на единицу народонаселения империи. А когда увеличил, Глеб Фомич Соколов уже управлял Тульской палатой государственных имуществ. Выходец из священства, он кончил курс гимназии, отличившись в латыни и древнегреческом. Мог бы пойти по ученой линии, а пошел по чиновной, полагая, что все беды российские — из-за отсутствия честных исполнителей законов. Дед мой, говорил Глеб Ив., никогда не запускал руку в казенный сундук, взятки ему претили, он помогал бедным, держал приживальщиков, был набожен, даже по средам и пятницам постился, а не то чтобы на великий пост. И при всем том, говорил Глеб Ив., тиранствовал. Нет, скулы не сворачивал, а тиранствовал безмолвно, семейство и слуги трепетали его. Пить не пил, а певать певал, русские песни любил, певчих птиц любил, внука тоже любил, певчим дроздом называл, но он, Глеб Ив., не помнил случая, чтобы дед Глеб Фомич отличил внука от прочих каким-либо баловством или лаской. Однако дочери своей повелел жалеть Глебушку, ибо он, Глеб Фомич, провидит — войдя в возраст, пропадет Глебушка, как пить дать пропадет. Может, потому-то, заключил Глеб Ив., грустно улыбаясь, мне, бывало, чудилось, будто небо кричит: «Пропадешь!» — и земля кричит: «Пропадешь!» — и я заливался слезами...

Показались наконец Муравьи, куда и держали путь армейские фуры со своей поклажей. Муравьями называли в просторечии Муравьевские казармы, точнее, гарнизон, тоже учрежденный еще Аракчеевым. Кто знает, может, и деду Глеба Ив. случалось бывать в Муравьях.

Я эти казармы абрисом дам ниже. Не ради типической картины аракчеевских времен, а потому что здесь-то и затянулась тугая петля.

В Муравьях мы почему-то застали два батальона 88-го пехотного Петровского полка. Говорю «почему-то», ибо этот полк имел постоянное пребывание не в Муравьях, а в Грузине, бывшей вотчине Аракчеева. Причину временной передислокации не знаю.

Между прочим, хотелось бы отметить как бы маргиналией. Дислокации, диспозиции, дирекции — все эти звучные термины имеют щегольскую прелесть для некоторых нынешних молодых статских, которые отродясь не бывали в боевом деле. Одного из таких, некоего Медведева, зауряднейшего сотрудника губернских ведомостей, я встречал в Новгороде. Его тщеславие, гипертрофированное бесталанностью, требовало поступков, и этот Медведев ничего лучшего выдумать не мог, как прозрачно намекать на свою доверительность с жандармским ротмистром. То, что другие, действительно увязавшие в постыдных сношениях с голубыми околышами, тщательно скрывали, Медведев как бы исподтишка афишировал, услаждаясь затаенным испугом сослуживцев. Жандармский ротмистр Федякин, как мне рассказывали, спьяну поте-

шался над этим Медведевым, клятвенно заверяя, что с таким болваном-болтуном ни один жандармский офицер вожжаться не станет, но Медведева сие ничуть не смущало. Так вот как раз этот лягушонок, раздуваясь быком, так и выщелкивал, так и выщелкивал баталистикой-баллистикой.

Последний пассаж я начал словами «между прочим», а сейчас сообразил, что начал смешным неспроста, а ради противупоставления совсем несмешному, то есть капитану Дьякову.

Когда мы, умирая голодной смертью, добрались до Муравьев, я бросился к полковому врачу. С Педашенкой мы прежде не встречались, я рассчитывал на коллегиальность. Педашенко принял нас радушно. Кругленький, как барабанчик, он был из тех военных медиков, которые признают только клистир и карболку. Бог ему судья, а накормил он нас до отвалу. Он же и на отдых устроил в офицерском флигеле, где нашим соседом оказался упомянутый капитан Дьяков, батальонный командир Петровского полка.

Худоба и высокий рост сутулили его узкие плечи. Сутуловатость, как это часто бывает, придавала Дьякову несколько застенчивый вид, что отнюдь не соответствовало свойствам его характера. Держался он просто, но не простецки. Имя Глеба Ивановича Успенского не было для него пустым звуком; капитан, однако, не счел нужным скрывать свое равнодушие к словесности, как он выразился, цивильной. Он выписывал литературу военную, и притом не только русскую, а и немецкую — германская армия, по его мнению, превосходила все европейские. Выписывал и военные периодические издания, не исключая «Морской сборник», поскольку его занимали будущие взаимодействия армии и флота. Капитан готовился держать экзамен в академию; вероятно, его желание сбылось, и теперь он, думаю, носит мундир генерального штаба.

Моя персона заинтересовала Дьякова, едва он узнал, что я был очевидцем и в некотором роде участником итало-абиссинской войны. Я сказал об этом с единственной целью — мне хотелось подчеркнуть (ведь я ж очевидец), что война — дело ужасное, черное, грязное, кровавое, и я это подчеркнул, прибавив, что вообще-то было бы замечательно, если бы воинственная половина рода человеческого нашла бы в себе мужество отказаться от своего мужества и однажды навсегда и поголовно сделалась трусливой. Прожект мой он пропустил мимо ушей, даже и не усмехнулся, а тотчас достал из шкапа карту Абиссинии и принялся рассуждать о битве при Адуа; рассуждал, надо признать, толково.

Глеб Ив. отчужденно присматривался к этому неординарному служителю Марса. Неприязнь «цивильного сочинителя» не осталась незамеченной капитаном Дьяковым. Его долг, сказал он, как и долг всего офицерского корпуса, ежечасно помышлять о тех днях, когда ценою своей крови, своей жизни предстоит доказать, что русский народ не напрасно содержит армию и флот. К сожалению — в его голосе зазвучала искренняя горечь, — к сожалению, у нас, в России, должным образом не сознают необходимость воздухоплавания. Он впервые улыбнулся, но улыбкой мрач-

ной и словно бы казнящей нас, штафирок. Впрочем, сказал он, понимания нет и там, где оно быть обязано. Он позволил себе резко отозваться о высокопревосходительствах: в советах заседать могут, советы подавать не могут. А тем временем, господа, продолжал он, меняя холодность на грозное воодушевление, тем временем в Европе, вот, скажем, при французском военном министерстве, создан особый отряд военных аэростатов, вооруженных бомбами, торпедами, и бомбы эти, торпеды с пан-кла-сти-том. («Панкластит» было произнесено с оттенком злорадства, только над кем иль над чем — непонятно.) Да-да, господа, новое изобретение, в сравнении с которым порох — пустяк. Нет, господа, напористо говорил он, словно добиваясь от нас восторга, вы только вообразите — он воздел руки, — вообразите-ка: аэростат, второй, третий и оттуда — бомбы, торпеды с пан-кла-сти-том! И капитанская грудь исторгла нечто среднее между «ура» и «пли».

Поднебесный милитаризм батальонного командира уничтожил молчаливую отчужденность Глеба Ив. На лице его, нервно дрожащем, сменялись выражения гнева, растерянности, бессилия, решимости, отчаяния, опять гнева и опять растерянности, бессилия и отчаяния, но... Не умею объяснить феномен, происшедший на моих глазах... Медленно, будто с ядром на щиколотке, он положил ногу на ногу. Медленно-медленно пристроил папиросу в мундштуке. И, сцепив на колене руки в замок, голосом, если можно так выразиться, великого оледенения, без единого жеста, все с той же нервной дрожью лица произнес: «В допотопные времена водились гигантские летучие ящеры. Они вымерли, понадобились тысячи лет, и вот летучие ящеры увенчали цивилизацию. И я вас понимаю, капитан, это же восхитительно — колотить сверху мирных обывателей. Летучим ящерам, а по-земному Иванову-Петрову-Дьякову, положат двойной.. нет-с, мало, тройной оклад жалования. А станут хорошо попадать, то есть мозжить не сотни, а тысячи черепов, так и прибавка выйдет, и Георгием пожалуют... Теперь спрашивается: а из-за чего, собственно, этим ящерам свирепствовать? Какая высшая-то цель, кроме оклада жалования, кроме Георгия и «Взвейтесь, соколы, орлами»? А вот какая: свинина вздорожала, векселя не погашены, банк кредитом не жалует, вот ящер-то и бросает торпеду: «Отдай! У меня разговор короткий. Отдай!»

Стратег воздухоплавания невозмутимо пощелкивал серебряным портсигаром. «Лету-чие ящеры, — сказал он вдумчиво. — Великолепно». Он снял с этажерки фолиант в толстом, под мрамор, переплете, извлек газетный лист, сложенный вчетверо, и штабным движением распластал на столе, поверх карты Абиссинии. Жирным синим карандашом был обведен заголовок газетной статьи: «ГАРАНТИЯ МИРА. ВОЕННЫЕ АЭРОСТАТЫ И ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА».

«Как видите, господа, — тоном геометра, произносящего «что и требовалось доказать», изрек капитан Дьяков, — как видите, суть вопроса отнюдь не в «свинине», не в интересах капитала. Чем

больше будет аэростатов, тем меньше опасность нападения. Я намерен писать на высочайшее имя, и уж позвольте мне, господин Успенский, заимствовать ваше прекрасное — «*летучие ящеры*». Представляете: эскадра «Летучие ящеры»! Мы нынче слишком прозаичны, необходим оттенок рыцарский, так что уж позвольте заимствовать...»

Глеб Ив. смотрел на батальонного дикими глазами. Сознавая необходимость немедленного вмешательства, я испытывал то, что, вероятно, испытывает несчастный стрелочник, когда столкновение поездов неотвратимо, а его, стрелочника, вдруг хватил кондратий. Дальнейший «диспут» был бы верхом нелепости. Мелкими шажками я строчил взад-вперед и наконец с фальшивой веселостью предложил взглянуть, каковы все-таки эти самые аракчеевские Муравьи.

Капитан Дьяков вежливо вызвался на роль чичероне.

В Муравьях все было возведено с явным расчетом на вечность. И казармы, и офицерские флигели, и сторожевая башня, и дом полкового командира с резными дверями красного дерева. Всего внушительнее был плац, сейчас пустынный и потому, должно быть, казавшийся огромным, как Марсово поле. Глеб Ив. заметил, что окна флигелей обращены не на плац, а во двор. Наш чичероне объяснил: в жестокие времена графа Аракчеева (поборник летучих ящеров так и сказал: «жестокие времена») здесь, на плацу, вершились шпицрутенные экзекуции — зрелище, согласитесь, не для офицерских детей и жен.

Гнусность, так сказать, историческая имела свое продолжение в нынешних Муравьях. Обнаружилась она несколько неожиданным образом. Конечно, если знать Глеба Ив., ничего неожиданного не было в его желании осмотреть гауптвахту и посетить арестованных. Капитан Дьяков, пожав плечами, указал на строение с колоннадой и решетками. Однако проникновение внутрь требовало разрешения полкового командира. «Не даст, — сказал капитан. И полупрезрительно усмехнулся: — Наш Леонид Алексеевич ужасный дисциплинист». На вопрос же, есть ли арестованные, отвечал, что сидят трое нижних чинов из его батальона. «Происшествие, господа, вероятно, единственное в своем роде».

Происшествие заключалось в следующем. Взводный унтер, будучи пьяным, «нанес оскорбление действием», то есть избил до полусмерти подчиненного, назову его Семеновым. Свидетелями были трое нижних чинов. Потерпевший — он лежал в лазарете — подал жалобу. Доктор Педашенко приложил медицинское заключение. Началось дознание. Унтер, само собой, отпирался. Свидетели показывали в пользу начальника: дескать, пьян не был, Семенова не бил. Оскорбитель «действием» посетил Семенова; принес натуральные пряники и фигуральный кнут — мол, будешь стоять на своем, сживу со свету. Бедняга, поразмыслив, отказался от жалобы — возвел, мол, напраслину; я-де подрался с товарищем, ну и получил на орехи. Дознание упрятали под сукно, а Семенову за «напраслину» приказали отсидеть под арестом после

выписки из лазарета. Вроде бы и аминь. И вдруг свидетели, все как один, взяли свои показания назад. Отказываясь от прежних показаний, они подлежали суду за лжесвидетельство и хорошо об этом знали. И все же решили открыть правду. Почему? Что их к тому принудило?

Сухое, черноусое лицо «летучего ящера» потеплело.

«Да-с, — сказал капитан, — почему же отказались... А потому, господа... Я их спрашивал... Они ответили: такая тоска взяла, такая совесть стала мучить, не было сил терпеть... Вы понимаете? И ведь сознавали, что судить будут, за лжесвидетельство на дознании будут преданы военно-окружному суду. Но — тоска, совесть, сил не стало...»

Боже мой, надо было видеть Глеба Ивановича!

Я тотчас поверил Б. Н. Синани. Помню, как еще в начале моей колмовской практики он говорил, будто в иные минуты исходят от Глеба Ив. светлые, явственно ощутимые токи. Б. Н. долго не понимал, что это значит. Потом выяснил (он вообще-то куда лучше, чем я, умел выспрашивать, я-то почти всегда оставался на позиции слушающего), да, выяснил. Оказалось, Глеба Ив. от времени до времени посещает мечта такая, видение такое, а при огромной напряженности его воображения как бы реальное, сиюминутное действо: убитые, умерщвленные, даже и на куски рассеченные — воскресают, и чудо этого воскресения в силе раскаяния убийц, стыда и раскаяния за убийство, за умерщвление. Чудо покаяния он и ставил выше всех таинств мироздания.

Да, я поверил Б. Н., ибо сам в Муравьях почувствовал этот ток и, кажется, Дьяков тоже, он как-то удивленно улыбнулся.

Не воспроизводя дословно сказанное тогда Глебом Ив., передам смысл. Солдаты, говорил он, беря об руку еще час назад ненавистного человека, солдаты ваши, капитан, явили и совесть, и щепетильность чести, а ведь они же вчерашние пахотники, у которых как раз в деле отправления правосудия — «помилуй бог, волостной суд!» — все, даже истцы, испытывают мрак бессмыслицы, кривды, сивухи, сознавая, что каждого из них можно довести до злодейства, жестокости, потому что «по нонешнему времени только и проживешь неправдой»...

Необходимо отметить мысль для Глеба Ив. важную, постоянную, наиболее гнетущую в его психическом фонде. Мысль эта была о многосложном нравственном «расстройстве» народной массы, сулящем в будущем, как он говорил, самые неожиданные комбинации. Однако, какие именно, не предрекал; это точно, иначе я бы, конечно, удержал в памяти...

А вот о солдатах ваших, капитан, продолжал Глеб Ив. все тем же взволнованным голосом, о таких людях надобно возвещать городу и миру, в пример ставить, поощрять... «А их и поощрят», — угрюмо заметил Дьяков. Глеб Ив. взглянул на него умоляюще, вопросительно. «Арестантскими ротами годика на три», — жестко объявил Дьяков, но было почему-то внятно, что жесткость его не служебная, не воинская, не уставная, да и не к солдатам отно-

сится, а к самому себе, батальонному командиру, у которого нет права на сантименты. «И ничего нельзя сделать?» — упавшим голосом спросил Глеб Ив. «И ничего нельзя сделать», — холодно ответил Дьяков. Наступила тягостная пауза, мы шли вдоль бесконечного плаца, как заведенные. «Послушайте, ведь это же нелепость, позор, мы все как в мешке, какой-то невозможный ужас. — Глеб Ив. говорил сбивчиво, тихо, безнадежно, отчаянно. — А вы о каких-то аэростатах, ведь это же черт знает что, аэростаты, на высочайшее имя, господи боже ты мой. — Он внезапно остановился, чуть шатнувшись назад, как перед ямой. — Капитан, сделайте для них хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь малость сделайте, а?» Дьяков, помедлив, нехотя отвечал, что «малость» он уже сделал — отдал свое месячное жалование. «И больше ничего-с не могу. Понимаете, господа, не могу-с!» Он козырнул, извинился неотложной заботой и скорыми шагами направился к штабному помещению — длинный, тощий, сутулый. «Извольте радоваться: и жалованье отдает и ящеров лелеет», — Глеб Иванович горестно покачал головой.

У него забрезжила идея ходатайствовать перед полковым командиром. Я повторил сказанное капитаном: «Ужасный дисциплинист». Бурбона, возразил Глеб Ив., припугнем публичной оглаской. Ну, сказал я, военно-судное производство уже в ходу, а когда в стране с легкостью необыкновенной обходят дух законов, то очень твердо держатся буквы закона.

Мы не знали, куда себя деть. Уйти из Муравьев? Но уже свечерело. Лечь спать? Не было, как прежде, по слову Глеба Ив., «вкусной физической устали». Оставить его я боялся. В Муравьях гений местности был еще злее, чем на аракчеевском тракте. Признаки, мне известные, свидетельствовали о крутой перемене в душевном состоянии Глеба Ив. Мне было бы крайне неприятно, если бы сторонние люди стали очевидцами его надрыва и срыва. А когда нас догнал денщик полкового командира, когда он передал нам приглашение отужинать, я понял неизбежность неизбежного.

Блеснув пенсне, полковник Шванк крепко пожал нам руки. Ему было лет пятьдесят, немногим за пятьдесят. Он был коренаст, одутловат, в усах с подусниками, бритоголов. Думаю, у него было не все в порядке с почечными лоханками. Полковник сказал, что вот-вот воротился из командировки в Грузино, по сей причине не имел чести пригласить нас сразу же после нашего прибытия.

Стол был сервирован превосходно, хрусталь старинный; свечи зажжены, подсвечники тоже старинные, тяжелые, золоченые. На стене, vis-a-vis висели два портрета. Один, масляными красками, поясной, — Аракчеева; лицо будто в два-три маха топором вырубленное. Другой изображал цветной тушью... какого-то китайца. Полковник Шванк улыбнулся, показав крепкие, желтоватые зубы. «Я не убежден, что это император Юй. Нет, не убежден, но мне, господа, хочется думать, что это именно Юй, и графу Алексею Андреевичу приятно смотреть на своего давнего-давнего

предшественника» (во весь вечер полковник ни разу не произнес ни «Аракчеев», ни «граф Аракчеев», только «граф Алексей Андреевич»).

Сели за стол, напольные часы красного дерева, тоже старинные, пробили отчетливо, без хрипов и придыханий, как нередко бывает с часами преклонного возраста. Полковник Шванк опять улыбнулся, показав крепкие, желтые зубы. «Точность поразительная, не чета нынешним. Принадлежали графу Алексею Андреевичу и достоверно свидетельствуют о том, что время графа Алексея Андреевича не истекло, а грядет, да-с».

Ситуация складывалась странная, если не сказать дурацкая. И Глебу Ив., и мне репутация Аракчеева представлялась однозначной. Желтая же улыбка полковника Шванка как бы настраивала шутки шутить. С другой стороны, наличие предметов культа — портреты и часы — вроде бы свидетельствовало об архаических взглядах нашего любезного хозяина. С третьей точки взять, он как бы приглашал нас к некоей игре ума, утверждая — на часы-то указывая — второе пришествие аракчеевщины, нисколько тому не ужасаясь, напротив, словно бы приветствуя. Все это было бы забавно, находись Глеб Ив. в ином расположении духа. В таком случае и я бы отнесся к полковнику Шванку как к монстру, имеющему, однако, право на собственные суждения по поводу любой исторической репутации. Положение осложнялось целью нашего визита. Надо было определить, имеет ли смысл бить челом «ужасному дисциплинисту».

Я был склонен к маневру дипломатическому. Пусть-де воскуряет фимиам мощам их сиятельства, от меня не убудет; в награду за внимание заручусь благосклонностью, а тогда уж и открою карты. Но, черт подери, я же был не один на один с полковником.

Покамест г-н Шванк хлебосольно предлагал нам отведать то-то и то-то, а сам уже с завидным аппетитом, поколебавшим мои подозрения относительно его почечных лоханок, приступил к ужину, я намекающе поглядывал на Глеба Ив., стараясь внушить свою «линию» и сожалея об отсутствии у меня гипнотической силы волоокого Б. Н. Синани, Глеб Ив. отвечал легким наклонением головы. Казалось, он уразумел мою тактику.

Но что это, что же это? Вместо того чтобы затаиться в засаде, Глеб Ив. предпринял фронтальный удар, то бишь выдвинул известные едва ли не каждому обвинения без лести преданному мучителю губернаторов и притеснителю всей России.

А полковник-то Шванк только этого и ждал. Он тотчас оседлал боевого коня, что, впрочем, не мешало сноровистой работе его крепких зубов. И вот так, уписывая за обе щеки, поблескивая пенсне, оправляя крахмальную салфетку, полковник выложил свои парадоксы.

Вы, господа, ехали трактом. Если император, преобразовавший Россию, прокладывал дороги и сажал деревья — это в зачет; если же граф Алексей Андреевич — это в начет. И так во всем, положительно во всем, господа. «Без лести предан»? Что ж в том худого,

над чем смеетесь? Вы скажете: царю. Отвечаю: царю — значит народу. Ныне, кого ни спроси, каждый в грудь ударит: я-де народу предан. И льстит ему, и вздыхает, и кадит, у сочинителей аж в зобу спирает. А граф Алексей Андреевич без лести, оттого и попал в злодеи. Мучил губернаторов? Да, но губернаторы умучивали губернии. Полон злобы? А на кого злобился? На тех, кому предписывал справедливость, человеколюбие, а видел какого-нибудь Фринена, который солдатские волосья рвал клочьями. Полон мести? А кому мстил, солдату, поселянину? Полноте, господа! Казнокрадам! Россия не поняла графа Алексея Андреевича. Почему? Да потому, что он был «друг и брат», к государю приближен, а наша матушка привыкла, что каждый из фаворитов — разбойник с большой дороги. Во чужом пиру похмелье. Надо, однако, признать, что и граф Алексей Андреевич при всей громадности своего жизненного опыта не до конца понял Россию: он верил в ее способность понять и принять собственное благо...

Полковник Шванк отбросил нож и вилку, столовый прибор звякнул хирургически. Его круглая выбритая голова блестела потом вдохновенья. Он залпом осушил бокал вина. Коренастый, апоплексический, прошелся по комнате, кратко отстукивая каблуками сапог. И поочередно смерил нас сквозь пенсне взглядом голубых, навыкате глаз, смерил, как новобранцев. Не знаю, каково чувствовалось Глебу Ив., а я, я в замешательстве потупился. Полковник Шванк сказал: «Одну минуту, господа, одну минуту».

Он принес две одинаковые тетради в сафьянных обложках, с золотыми литерами «А» и «А». Он раскрыл одну из тетрадей и показал страницы, исписанные красными чернилами. Он раскрыл вторую, исписанную черной тушью. У полковника Шванка был каллиграфический почерк. Он сказал, что выписал красным распоряжения, приказы, указания графа Алексея Андреевича; черным — как были исполнены, то есть испоганены, его приказы, распоряжения, указания. Он покачал тетради на ладонях вытянутых рук, будто взвешивая. Здесь, сказал полковник, поведя подбородком в сторону тетради черной, здесь все или, точнее, многие преступления и проступки, опорочившие без вины виноватого графа Алексея Андреевича. И все это выписано мною из его приказов, беспощадно изобличавших разного рода начальства. Не граф Алексей Андреевич породил аракчеевщину, нет, аракчеевцы породили аракчеевщину! Да, согласен, введение нового порядка сопровождалось жестокостями. Опять напомню Петра Великого. Ему, повторяю, все в зачет, а графу все в начет. А какая новина произрастает с легкостью лопухов подзаборных? Против картофеля — уж на что польза самоочевидная — разве не бунтовали? О, не хочу бросать камень в наш народ, немецкий бауер тоже не желал, тоже противился указам верховной власти... А самая большая мина, которую под графа подводят, так это, известно, бунт тридцать первого года. Хорошо-с! Но как же не принять в расчет холеру? Холера и была капитальной причиной. Как раз в том же тридцать первом году во Францию заявилась. Во Франции никаких военных поселений,

а чернь-то бунтовала, чернь-то кровь пролила. Нуте-с, что скажете, господа?

Вопрос был риторический, он не давал нам и рта раскрыть. Его сейчас и на рысаках нельзя было объехать. Он тетрадь черную сменил на красную.

«А здесь, господа, высказаны мысли великие, предначертания благородные. По секрету и шепотом: ей-богу, не уступают заповедям. Все эти пустяки с мундирами, нумерацией домов и прочее давайте-ка в угол, за печку, а наперед — такое...»

Я пересказываю, разумеется, по памяти, но за смысл ручаюсь. Да и как было такой «аракчеевщине» не вклиниться в память?!

Полковник располагал полным текстом «Положения о водворении военных поселений». Из девяноста девяти пунктов прочел лишь некоторые. Нет, не прочел — возвестил:

— беднейших в материальном отношении поселян оделить по табели имуществом, дабы имели возможность улучшивать свое состояние до степени благоденствия;

— наряды на общие работы производить так, чтобы не хирело домашнее хозяйство;

— недостаток земли восполнять расчисткой лесов, осушением болот, а равно покупкой у помещиков;

— нижних чинов и унтер-офицеров, выслуживших срок службы или уволенных по болезни, наделять от казны землей, инвентарем, мебелью;

— учредить запасные магазины, дабы желающие могли получать зерно на посевы и продовольствие с последующим погашением из нового урожая;

— батальонные, ротные, эскадронные командиры не имеют никакого права касаться имущества военных поселян помимо их желания и согласия;

— все хозяйственные распоряжения предпринимать так, чтобы поселянин знал и понимал, что таковое распоряжение послужит к настоящему или будущему улучшению его хозяйства...

Полковник Шванк, сладко изнемогая, опустился в кресло и вытянул короткие толстые ноги. Словно бы на последнем всплеске энтузиазма, он вспомнил то, с чего начал: аракчеевский тракт.

«Ваше воображение, господа, сказал он, несомненно, рисовало согбенных рабов, эдакую тьму египетскую. Положим бы, и так. Петербургская топь скольких поглотила? И ничего-с, «красуйся, град Петров...». Граф же Алексей Андреевич предложил поселянам взять общий подряд: поставлять камень, дресву, сооружать канавы, мосты, ну-с, все, что требуется. Поселяне, к сему непривычные, колебались. Наконец подрядились. И получили, господа, от казны ни много ни мало, несколько сот тысяч рублей... Полковник Шванк удовлетворенно умолк; на лице было написано: Dixi*.

Я иронизирую, стараясь умерить сильное впечатление от «за-

---

* Я сказал, я высказался (*лат.*).

поведей» Аракчеева. Благими намерениями вымощена дорога в ад? Не только, если иметь в виду упомянутый тракт. Но даже если иметь в виду общий смысл, то разве благие-то намерения сами по себе не есть ценность духовная?

Вернусь к нашим баранам.

Внимая посмертному оправданию Аракчеева, ни Глеб Ив., ни я не отрекались от цели нашего визита. И теперь, когда на одутловатом лице полковника Шванка было написано: «Dixi», наступил удобный момент. Однако нельзя же было не выразить нашего отношения если не к практике аракчеевщины (она, впрочем, отрицалась и самим оратором), то к установлениям и предначертаниям Аракчеева. У меня на языке вертелись атаман Ашинов, «попечительное хозяйство» Новой Москвы, но тут-то Глеб Иванович очень умно, очень уместно повел речь...

Нет, сперва, отнюдь не потрафляя апологету «графа Алексея Андреевича», а по чистой правде, он отметил обстоятельство, которое если не прибавляло лавров Аракчееву, то и не убавляло. Вот что: нынче становые на тройках летают, как на помеле, и по всей Руси великой слышен рык: «Деньги подавай, каналья!» — при прямом соучастии раскрепощенного народа столько народу дерут, что у аракчеевских ветеранов волос встал бы дыбом.

Приведя это обстоятельство, повторяю, соответствующее реальности, Глеб Ив. и повел речь об... антихристе. Говорил серьезно, вдумчиво, словно приглашая полковника совместно сочувствовать тем, кого антихрист пугает. Глеб Ив. по обыкновению жег папиросу за папиросой, и это, кажется, несколько раздражало некурящего полковника, но не настолько, чтобы отвлечь его внимание. Глеб же Иванович рассказывал, как он в разъездах своих по России не однажды слышал рассуждения мужиков в том смысле, что ежели выходит какое-либо облегчение, так это всего-навсего приманка антихристова, чтоб потом все обернулось еще хуже. Вот так и с Аракчеевым... Глеб Ив. поначалу обращался к нам обоим, а потом уже только к полковнику Шванку, так как вплотную приблизился к «графу Алексею Андреевичу»...

В деревне, что близ Грузина, ему, Успенскому, слышать приходилось, отчего и как мужики в оны годы зачислили Аракчеева в антихристы. Так сказать, окончательно зачислили. У какого-то мужика-поселянина пропали деньги. Вора не сыскали, о покраже дошло до Аракчеева. А тот, не медля ни часу, послал мужику ровно столько, сколько у мужика украли. И своеручную бумагу приложил: так, мол, и так, получи и не тужи, все, брат, под богом ходим. Казалось бы, вот она, милость, милость и добро, как манна ниспосланные. А вся деревня тотчас к мужику: не бери! и не думай, не бери — антихрист приманивает, ясное дело антихрист, кто же больше?! И мужик, представьте, отказался...

Я ожидал продолжения, каких-то объяснений ждал, иначе дичь выходила, Глеб же Ив. внезапно наклонился к полковнику Шванку: «Послушайте, а не явить ли и вам милость? Пусть и под угрозой прослыть антихристом». Полковник Шванк пенсне снял и впе-

рился в Глеба Ив. голубыми, навыкате глазами. «То есть как это? В каком же смысле?»

А я уже успел сообразить, в каком таком смысле. Ну, конечно, Глеб Ив. сказал о солдатах, содержащихся на гауптвахте. Полковник Шванк хмыкнул и надел пенсне. Нет, сказал полковник, у него нет никакой возможности попасть в антихристы. Даже и пожелай он похерить дело, поручик Крюков, заседающий в полковом суде, большой, доложу вам, ябедник, тотчас настрочит вышестоящему начальству. Шванк призадумался, пощелкивая пальцами. «Вот ежели бы доктор-то Педашенко признал всех троих умалишенными, тогда бы...» — «Тогда бы, — перебил Глеб Ив.,— к нам, туда, в Колмово. Очень подходящее место для тех, кого совесть замучила». Вот это последнее произнес он так, что сердце мое болью сжалось.

Я почувствовал себя виноватым и, сознавая себя ни в чем не виноватым, наступил на любимую мозоль полковника: дескать, так и делал Аракчеев. «Что такое? — воскликнул Шванк. — Еще поклеп на графа Алексея Андреевича?!» Никаких поклепов, отрезал я резко, никаких поклепов. Он, бывало, спроваживал неугодных людей прямиком в долгауз, в каталажку для сумасшедших, а в бумаге указывал нечто невразумительное и отвратительное: «Заслуживает особой важности, содержать впредь до распоряжения».

«Враки!» — брякнул полковник Шванк. Он осклабился, его крепкие желтые зубы изготовились перекусить мне горло.

Но теперь, когда наше предстательство за солдат потерпело фиаско, теперь уж нечего было щадить полковника Шванка, и Глеб Ив. очень негромко и вместе с тем ядовито заметил следующее: вы, г-н Шванк, не пожалели времени ни на Шильдера, ни на «Русскую старину», ни на Богословского, автора «Аракчеевщины», а мы с ним, с Николаем-то Гавриловичем, и в Грузино ездили, и в Селищах бывали, тоже, как вам известно, аракчеевское заведение, да, ни времени не пожалели, ни чернил, ни туши, а слона-то и не приметили. Слона! А знаете ли, почему ваш обожаемый граф и вправду был антихристом, почему вашего обожаемого графа мужики принимали за антихриста?.. Тугая, сизо-обритая кожа на круглой голове полковника будто рябью подернулась, так он набычился... А потому, продолжал Глеб Ив., все чаще и резче подергивая бороду, а потому, что он *вломился* в хлев, в поле, в овин, везде и всюду, в самые недра земледельческого *творчества* да и порушил направо-налево *поэзию* крестьянского труда.

На одутловатой физиономии полковника Шванка отобразилось изумление. «Творчество! Поэзия!» — повторил он, дрожа скулами. И разразился хохотом, пристукивая кулаком о кулак, притопывая ногой. Но едва ударили напольные часы, умолк и замер, приложив ладонь к своей большой, оттопыренной ушной раковине. Старинные часы, принадлежавшие Аракчееву, отбивали удар за ударом. Полковник Шванк поднял перст указующий. «Вы думаете, — произнес он загадочно и грозно, — вы думаете, они удлиня-

ют время, отделяющее нас от графа Алексея Андреевича. О-о, ошибаетесь, ошибаетесь, господа! Они приближают нас к исполнению его предначертаний «от финских хладных скал» и так далее. Приближают! Иного Россия не вместит, и в этом ее будущее благо».

Всякий раз, встретив в усольцевской тетради какое-либо собственное имя, делаешь стойку. Ну, не все ль равно, кто говорил то, что говорили капитан Дьяков или полковник Шванк? Суть важна, мысли. Но нет, натура требует документальных разысканий. И посему свидетельствую: полком действительно командовал полковник Шванк, а батальоном — капитан Дьяков; полковым доктором действительно был Педашенко, а делопроизводителем полкового суда — поручик Крюков. Но чего нет в «Памятных книжках» Новгородской губернии, так нет — ни строчки о летних ночах, лунных и теплых, когда под липами Муравьев прогуливались император китайский и вице-император всероссийский.

Не отрицаю саму по себе возможность прогулок: кто же не знает, что портреты, если только они исполнены в реалистической манере, выходят из рам и совершают поступки. Однако вопрос: а на каком, собственно, языке китаец Юй говорил с Аракчеевым? Ведь первый-то жил за тыщу лет до крещения Руси и, увы, не мог владеть русским языком, а второй, насколько известно, и не пытался овладеть китайским.

А вот, представьте, прогуливались они и беседовали, не обращая внимания на Глеба Успенского. В конце концов, экая малость — сочинитель. Да и он не делал ни малейшей попытки привлечь к себе внимание. После бесплодных мучений отошедшего дня — он один, доктор спит в соседнем покое, не надо ни о чем говорить, а потому можно слушать, о чем толкуют эти двое там, во дворе, освещенном луной и расчерченном черными тенями вековых лип.

Граф Аракчеев держался почтительно, ходил, подогнув колена — не глядеть же свысока на императора, пусть и китайского. К тому же августейший китаец был иностранцем. А граф Аракчеев, беспардонный в своем отечестве, вне пределов оного бывал весьма «пардонен». Правда, Муравьи принадлежали ему как вотчина, за всем поспевал уследить, и, пожалуйста, даже дверные медные петли на медных же винтах как новенькие. Да-с, Муравьи-то Муравьи, а все ж китаец — иностранец, то есть из иностранной цветной туши, стало быть, не плошай... Иностранец Юй непрестанно, как болванчик, кивал, кивал головой, отчего тугая коса за спиной непрестанно двигалась. Его давно уже не удивляли топорная грубость графской физии с висячим сизым носом и эти глазки, будто червоточины в яблоке. Впрочем, с червоточинами кто-то другой сравнивал, а не Юй... Вообще-то император втайне завидовал вице-императору: тот был из холста, а не из бумаги, да и масляные краски, надо признать, придавали графу упитанность, несравнимую с эфемерной легкостью цветной туши. Вместе с тем

иностранец Юй очень хорошо сознавал свое умственное превосходство над собеседником. И не потому лишь, что был императором, а тот лишь вице-императором, а потому, что был иностранцем. Правда, граф Аракчеев знал толк в артиллерии, а он, Юй, в артиллерии ни бельмеса не смыслил, но артиллерию мы побоку, ибо собеседник-то был всего-навсего эпигоном китайца в наиважнейшем деле, над которым бьются лучшие умы человечества ровно столько же тысячелетий, сколько существует землепашество. Да, эпигоном! Ибо кто, как не Юй... То есть кто, как не она, эта непрестанно кивающая коротенькая тень рядом с длинной и как бы пополам переломленной, — кто, как не он-она, сделал-сделала солдат крестьянами, а крестьян солдатами. Пусть армия кормит сама себя... Вот то-то и оно, ваше величество, почтительно отвечал Аракчеев, стараясь стать во фрунт, что никак не удавалось, потому что нельзя же вытянуться во весь рост, а надо семенить на согнутых ногах, задевая костяшками кулаков всякую дрянь — не прибрано на дворе, куда только смотрит полковник Шванк, во всем прочем офицер достойнейшей... Вот то-то и оно, глухо, как из гроба, отвечал Аракчеев, пусть сама себя кормит. И ведь что примечательно, продолжал он, ощущая позыв патриотического чувства и еще ниже пригибаясь к китайцу, — Юй был, кажись, глуховат, а может, граф путал Юя с государем Александром Благословенным, — и ведь что, позвольте заметить, примечательно: крестьяне очень охотно выучиваются всему военному, народ наш, ваше величество, умеет и любит воевать. Да еще и сам просит, не знаю, каково в Поднебесной, а наш сам просит: дозвольте, ваше сиятельство, не пить, запретите, ваше сиятельство, а то мы с кругу сопьемся...

Натянуло негустую тучу, тени под липами сдвинулись, смешались, весьма возможно, что китаец стал русским, а русский китайцем, после чего оба исчезли в доме полкового командира.

Шванк дрыхнул, угрев под щекой аленькую тетрадочку, из уголка полковничьих губ свисала слюнка-паутинка... Ужо намылит ему шею обожаемый граф. Эт-та, скажет, как: двор-то остался неметенным?! И верно, отлепившись от китайца, граф в собственном холсте ткнул Шванка под микитки. Отчаянный дисциплинист тотчас принял вертикальное положение. Аракчеев наморщил лоб. Он вдруг начисто, все же таки старичина, ну совсем он забыл, для чего, собственно, учинил побудку. Так и не вспомнив, брякнул: «При мне — что? Что скот, что народ — один к одному». «А теперь, ваше сиятельство, — рапортовал Шванк, — теперь цивилизация!» — «Это как? Дидерот, что ли?» — «Ах, ваше сиятельство, и без Дидерота тошно. Мы прежде имели чудо-тройку — вот, думали, наше настоящее, вот, думали, наше будущее. Сами знаете: «...что-то слышится родное...» А ныне, ваше сиятельство, сарай на колеса поставили, фонарь повесили, как у циклопа, и — фьють! — обогнал сарай-то необгонимое чудо. Обогнал. А теперь немцы и паровой плуг выдумали. Ну, хорошо, хорошо, ваше сиятельство, а последствия неисчислимые. Далее. Керосино-

вые лампы! Какие, осмелюсь спросить, песни без лучинушки? А укажи мужику, со всей лаской укажи: ты, Парфен, эдакую керосиновую дрянь — за плетень, за плетень, пусть ею городской лодырь-развратник травится. Так он же, ваше сиятельство, нипочем не согласится». «Обмяк народ, — прогнусавил Аракчеев, — совсем обмяк. А раньше то-то были детушки, где они?» Шванк вздохнул: «Давно под овес распаханы и съедены». «Стыд и позор», — шепнул Аракчеев, холстинным своим подбородком указывая на иностранца, который тушью. Тут опять пробили часы, и полковник Шванк твердо сказал: «А все ж, ваше сиятельство, дух наш никакими ураганами не развеять. Все хорошо-с будет, это уж точно!» «Ннно!» — выдавил Аракчеев и поглядел, торжествуя, на иностранца, который тушью. Император Юй, прозванный Великим, не без достоинства отвечал, что он в свое время противустоял потопу и сумел направить воду в нужном направлении... Бедняга китаец только и мог, что погордиться прошлым, за Аракчеевым было будущее, и он опять произнес: «Ннно!» — и Юй, иностранец, быстро-быстро закивал, чтобы увильнуть от взгляда аракчеевских... Черт знает что, не то рыбьи чешуйки, не то гнилые кругляшки на яблоках.

Туча отчалила, как баржа, месяц глянул, стало светлее. В вековых липах стлался туман. Прильнуть бы к этой теплой ночи... Любил Глеб Иванович, чтобы было что-нибудь теплое... Но нет, это вчера, позавчера, третьего дня прониклась, согрелась душа: «И сказал господь: это хорошо». Тут и начала, тут и концы, ничего больше не надо. А потом ты видишь поворот на аракчеевский тракт... И сказал, вспомнил Глеб Иванович, и сказал прохожий: «Будто глядит, а будто и не глядит, будто есть глаза и будто нету глаз, а вот, как примером взять, гнилые места на яблоках...»

Тогда, лет за десять до начала колмовского житья, попутчиком Глебу Ивановичу был Богословский; Николай Гаврилович писал «Аракчеевщину», год спустя издал в Петербурге, у полковника Шванка, поди, есть.

А шли они с Богословским в маленький монастырек — к удивительной Богородице: не с младенцем на руках, а с веретеном в руках. Мужики и бабы, направлявшиеся на богомолье, лоб крестили: «Там она, заступница наша. С веретеном, вишь, крестьянская». И тогда-то на тракте и повстречался мужик, годов ему было за семьдесят, Аракчеева помнил, портрет дал, никакой Шильдер не даст. Так, примерно, припечатал: «Сурьезный был, дьявол! Едет ли, идет ли, ровно мертвец холодный, и нос этот самый сизый, мясистый висит. А чуть раскрыл рот — и загудит. Это уж, значит, что-нибудь не так, непорядок заметил: «Па-а-алок!» Да в нос, в нос, гнусавый был. Сурьезный, одно слово, сурьезный, дьявол...» Богословский спрашивает: «И вы, дедушка, «па-алок» отведали?» Было, вздохнул, бывало. И резюмировал: «Без этого, мил человек, у нас нельзя. Конечно, продолжал, время было крепостное, не дай бог и вспомнить, а понимали настоящий порядок. Графа Ракчеева взять, драть-то драл, а вникал до тонкостев, не то что нынешние началь-

ники. «А чем нынешние нехороши, дедушка?» — «А всем нехороши, всем. Графа Ракчеева взять, упокой господи душу, бил да тиранил, а все затем, чтобы мужик себя не разорял. И жалься ему на кого хошь, на генерала жалься, пусть весь в звездах, так и генералу не поздоровится, зайцем пискнет. А нынешние тащат, как волки, и вся недолга, а ты ступай себе на все на четыре: ты, говорят, вольный, тебе, говорят, воля вышла. У нынешних дипломы, канты-банты, все как по закону исполнил и усвистал на фатеру, к жене, фортепьяну слушать. Ну, и получается, фортепьяна есть, а начальства нет...» Охотником порассуждать был старичина «с грудью выпуклой, широкой, весь, как лунь, седой...». И каждое рассуждение в отдельности заканчивал, точно римлянин о Карфагене, но с элегической растяжкой: не-ет, мил человек, у нас без па-алок никак, ну, реши-и-тельно невозможно; и мужик гниет, и начальство гниет... А по тракту бежали кони, а над трактом качались березы. И все это был балет — русским *народным* называют — балет «Конек-Горбунок». Все пять действий кнут гуляет, волшебный, необычайных свойств кнут.

Опять в доме полкового командира напольные часы красного дерева бой свой начали. Полковник Шванк, обнажая крепкие желтые зубы, возвещал «второе пришествие», ибо есть порох в пороховницах, никаким ураганом не выдует, и уже не иностранец Юй кивал, а этот, «с грудью выпуклой, широкой»...

— Как в мешке, как в мешке, — надорванным голосом произнес Глеб Иванович. — Ничего нет, кроме сапог всмятку.

Мерно, гулко, неостановимо ударяли часы. Он считал удары, сбивался, снова считал. Потом зажал уши и заметался, отчаянно пытаясь вытряхнуть из головы этот мерный, гулкий, неостановимый бой.

На рассвете он разбудил Усольцева. Доктор сразу вскочил на ноги. Ему показалось, что Глеб Иванович криком кричит. А Глеб Иванович — свистящим шепотом: «В Колмово... Умереть надо...»

Ехали всё тем же трактом — аракчеевским. Прямее и короче дороги в сумасшедший дом не было.

Изменив характер своих воспоминаний, Н. Н. Усольцев с излишними, на мой взгляд, клиническими подробностями описывает тяжелейшее состояние Глеба Ивановича при возвращении в Колмово.

Опустив эти подробности, должен отметить обстоятельства атмосферные, они серьезно беспокоили Николая Николаевича.

Усольцев рассчитывал добраться до Колмова нынче же вечером. Ничего необычайного в тот понедельник не происходило. Лиловые, в свинцовых разводах и рыжих подпалинах, тучи тяжело обложили горизонт. Душно было, ни лист, ни травинка не шевелились. Все предвещало грозу. Быть может, сильную.

Над нашей землей ежесекундно сверкают без малого сто молний, чаще линейных, иногда ленточных, изредка шаровых. Пути молний неисповедимы, как и пути господни. Они могут убить,

поджечь, взорвать, разнести в щепы. Кому-кому, а доктору Усольцеву, бывшему «африканцу», не нужно было напрягать воображение, чтобы представить грозу чудовищной мощи. Он, однако, опасался не буйства электричества, а тех волнений, переходящих в вихрь безумств, которые овладевают лечебницами для душевнобольных в канун грозовых разрядов и в минуты громовых раскатов.

Когда подъезжали к Колмовской больнице, небо было и аспидным, и медным. Роща то бурно роптала, то цепенела. Воздух огустел, не продохнешь. Тени пробегали по мураве, как дрожь.

В пути Глеб Иванович говорил мало, несвязно. Повторял, что умереть необходимо — ни он ничего не ждет, ни от него ждать нечего. Повторял, что превратился в нуль — не муж, не отец, не писатель. При виде Колмова и не обрадовался, и не огорчился. Ему было душно, он отирал пот.

Первой попалась на глаза пожилая женщина из тихого отделения. Не замечая доктора, не замечая Успенского, шепча что-то под нос, она шла медленным, истовым, как на крестный ход, шагом и, вытянув руки, несла над головой икону Богородицы Неопалимой Купины. Она боялась, что молния испепелит ее колмовский дом, ее колмовский приют, и вот ходила кругами, показывая заступнице от пожаров это аспидное, это медное, это страшное небо.

А близ дубравы, будто наперекор тому, что готовилось в природе, тяжело, но весело плескалась вода, бежала по желобам, пенилась — артезианский колодец действовал, тот, что начали рыть на рассвете, когда они уходили из Колмова. Доктор взял Глеба Ивановича под руку. «Смотрите! Какая прелесть, — сказал доктор. — Помните: подземная вода увидит солнышко?» — Лицо Успенского на миг прояснилось, но сразу и погасло. «А дубы погибнут», — сказал он, болезненно морщась. (В колмовской тетради записано, что несколько лет спустя дубрава захирела, птицы ее покинули, детишки там не играют, лишь обреченно и жутко вскрикивает серая неясыть.)

На больничном дворе, летними вечерами всегда не пустом, не было ни души. Откуда-то вывернулся вдруг Аввакир Д., этот, как писал Усольцев, «курносый прындик, одержимый нравственным идиотизмом». Ясные, наглые глаза блистали, он запел, заорал: «Будет буря-я-я, мы поспо-о-орим...» — и куда-то помчался, взбрыкивая.

На пустом дворе тишина была, как небо над пустым двором, — и аспидная, и медная. А там, в больничных палатах, в сухом воздухе, насыщенном электричеством, уже искрились, потрескивая, голубые с прозеленью и желтизною призраки. И безумцы уже готовы были начать отчаянную схватку со своим безумием.

Чувство, давно заглохшее, очнулось в душе Усольцева — боязливое и брезгливое содрогание, как у студента-новичка в анатомическом театре. Ничто, казалось бы, не располагало к улыбке, а доктор едва не улыбнулся. Это содрогание, боязливое и брезгли-

вое, упразднило тревогу — уж не «повредился» ли он, Усольцев, годами «объективируя» умалишенных?

Возникала ли тревога, снисходило ли спокойствие, одна позиция оставалась незыблемой, непреложной — не больная совесть, а именно здоровая совесть не выдерживает погружения в этот неустроенный и расстроенный мир. И потому гибнет Глеб Иванович, гибнет, как трепанг, исторгающий собственное нутро в пресной воде. А моя совесть, думал Усольцев, моя квелая совесть изгибисто управляется с угрызениями и самообвинениями, и посему буду я жить-поживать, пока не наступит конец, который все мы, люди здравого смысла, называем естественным.

— Вот и пришли, — сказал Глеб Иванович. — Вы за меня не беспокойтесь, я грозы не боюсь.

Не грозы он боялся, а грибного запаха. Воздух, насыщенный электричеством, был плотен и сух, но пахнуло сырым, грибным, трюфельным. Не было в комнате и быть не могло трюфелей, да запах-то был, и ноздри, втягивая воздух, твердели.

Он подошел к окну, взялся обеими руками за решетку, иногда приводившую его в ярость, но сейчас прочность железного переплета была утешительной. Осторожно потянув воздух, он услышал сильный запах жимолости, осторожно потрогал ноздри, ощутил, что они мягкие, и это тоже было утешительно. И тогда, не раздеваясь, только ботинки сбросив, лег поверх одеяла, вытянулся и смежил веки. Он ждал, когда, наконец, разразится гроза и хлынет дождь, и сразу дышать станет легче. И гроза разразилась, но дождь не хлынул, были лишь молнии, широкие, необычайной яркости, и сильные, частые удары грома.

Там, над крышей, под лиловыми, свинцовыми, рыжими тучами реяли Летучие Ящеры, реяли, роняя бомбы, они-то и были ударами грома. Вы злодей, гневно бросил он капитану Дьякову, а капитан Дьяков ответил: «Таковы гарантии мира». Вы изверг, сжимая кулаки, сказал Успенский, но Дьяков ничего не ответил, все накрыло громовым раскатом. И опять, почти без паузы, широко и ярко полыхнула молния, не открывая глаз, он увидел черный плат, бледный лик, ему показалось, что это давешняя пожилая женщина с иконой Богородицы Неопалимой Купины, но иконы-то не было, а были пылающие факелы. Он открыл глаза, над ним стояла инокиня Маргарита, черный плат, бледный лик, но крыльев не было, были *факелы*. В каждой руке по факелу, оба зажженные, оба пылающие, оба воздетые над головой. «Ты нашел Слово? — раскатом грома спросила Маргарита. — Если ты не нашел, я подпалю этот мир, как бочку с порохом, мое терпение истощилось», — сказала она, и в ослепительной молнии не было уже лика ее, только черный плат, только черный плат. Нет, прошелестели его губы, нет, я не нашел Слова, но какая же ты Совесть, если хочешь взорвать этот мир? Она скрестила руки над головой, факелы тоже скрестились, и вместе с огнем, из огня тонко-тонко засвистали полковые флейты: «Ви-и-иновен...» Широкой молнией возвес-

тило небо: «Пропадай!» И повторила земля, сотрясенная громом: «Пропадай!» Тихо стало, очень, очень тихо, только вот легонькое потрескивание, обратившееся в мерное жужжание, и Божья матерь, не останавливая веретено, уронила слезу: «Мне жаль тебя, но я заступница крестьянская, а ты из городских Иванычей». Еще резче прянуло грибным, кабаны хорошо чуют трюфели, ноздри твердели, и нос, и шея, а руки укорачивались, руки сводило к груди, он зарастал щетиной.

В эту ночь все мы, врачи и служители, сбились с ног. К утру тучи рассеялись, так и не пролив дождя. Першило в горле, и что-то ловил, ловил напряженный слух. Не сразу я догадался: петухи не пели в Колмове.

Потекли недели беспросветные. Глеб Иванович не выходил из палаты. Но едва березы тронуло желтизною, мелькнула мне последняя надежда, я примету вспомнил. Не могу сказать, в чем была она, эта надежда, а только попросил я Глеба Ивановича определить, какая на тот год грядет весна — ранняя иль поздняя. Губы его шевельнулись неумело, с трудом: «Весной...» — и больше ни звука.

Весной он умер, в марте девятьсот второго. Умер не в Колмове: Александра Васильевна почему-то сочла за благо переместить его в Ново-Знаменскую больницу близ Петербурга. О кончине Глеба Ивановича она известила меня телеграммой.

Провожала его огромная масса народа, провожала *своего* писателя — ни единой мундирной фигуры, никого из департаментов. Пел студенческий хор, но, казалось, текла процессия в безмолвии, как текут глубокие воды.

Со святыми упокой? Да, так — со святыми.

Колмово, 1902—1903
Москва, 1986—1987

ИЗ ЗАПИСОК Н. Н. УСОЛЬЦЕВА

О НОВОЙ МОСКВЕ*

* Полностью в кн.: Давыдов Ю. В. Судьба Усольцева. М., 1973.

1

Сочинения я писал гимназистом, давно. В словесности, как, впрочем, и в остальном, отнюдь не блистал. Но теперь у меня совсем иная, не гимназическая забота. Дело-то вот какое. Я хочу рассказать о событиях уже минувших. Стало быть, я эти события вижу и понимаю не совсем так, а то и совсем не так, как прежде, то есть когда они совершались. Отсюда трудность в соблюдении, так сказать, линии, пропорции. Не уверен, сумею ли, однако приступаю.

Поздней осенью, в хмурый день мы отчалили из Одессы. Все стояли на палубе, сняв шапки и крестясь. Город, берег, Россия отдалялись; мóря было все больше. Я взглянул на вольных казаков, объятых какой-то внезапной сумрачной тревогой. В ту минуту я испытал (помню это очень хорошо) чувство непонятной виновности перед этими людьми.

Н. И. Ашинов тоже был на палубе. Его огромная фигура, борода, разворошенная ветром, его военная стать — все в нем выражало спокойную, твердую уверенность. Но странно: еще вчера именно эти спокойствие и уверенность представлялись мне совершенно необходимыми человеку, стоявшему во главе нашего предприятия, а сейчас, на палубе парохода, сейчас, когда мы уже плыли в открытом море... Ведь должен же он, думалось мне, должен ведь ощущать свою грозную, свою необыкновенную ответственность?

Конечно, Н. И. Ашинов, как и Михаил Пансофьевич Федоровский, как и я, Усольцев, конечно, все мы верили, что русскому народу под силу такое, что ни одному народу на свете не под силу. Это так. Но человек-то, по имени Николай Иванович Ашинов, именно он, этот человек, был нашим Моисеем, был «в ответе» если не перед судом истории (хотя почему бы и не перед ним?), то уж, по крайней мере, перед судом собственной совести. Так откуда же у него это спокойствие, эта уверенность? Что он такое, этот человек, бестрепетно решившийся «понести грех на себе»?

Тут у меня и выскакивает первое отступление от «пропорций», ибо не тогда, а много позже сознал наличие как бы двух типов или двух разрядов человеческих особей. Есть такие, что прежде всего и раньше всего думают о *правах*, которые им сулят обязанности. А есть другие, есть те, что прежде и раньше всего думают об *обязанностях,* которые на них налагают права.

Возвращаюсь на наш пароход.

Вольные казаки, стряхнув оцепенение и надёв шапки, располагались. Началась распаковка скарба; у судовых бачков с кипятком загремели, как на станциях железных дорог, медные чайники; послышались говор, незлобная перебранка, даже смех.

Вскоре, однако, сказалась качка. Голоса утихли, лица сделались бледными, глаза мутными, равнодушными, казалось бы, ко всему на свете, хоть тут тони, хоть гори, все равно. Стали обращаться ко мне за помощью. Я знаю, репутация медика определяется первыми шагами его практики, да ведь от морской болезни не избавишь, ею перемогаются, и только...

Приехали в Константинополь. Власти, к сожалению, не разрешили нам посетить город, никому не разрешили, кроме С. И. Ашиновой, уж и не знаю, чем это она так угодила туркам.

(Софья Ивановна, жена нашего предводителя, слишком многое для меня значила в жизни, чтобы я доверился бумаге. Скажу только, что она была не то чтобы красавицей, нет, она была чрезвычайно привлекательна каким-то удивительным, редкостным соединением мягкости и энергии. Она музицировала, следила за литературой, свободно изъяснялась по-французски и итальянски.)

На берегу, в городе, С. И. пробыла недолго. Вскоре Н. И. Ашинов пригласил Михаила Пан. и меня в каюту. Оказывается, европейские газеты уже трубили о нашей экспедиции; всему свету возвещалось, что цели у нас немирные, что мы намерены произвести захватные действия и т. п.

Мы трое, С. И., Михаил Пан. и я, были задеты истолкованием наших намерений, которые и отдаленно не имели ничего общего с какими-либо захватами и насилием. Н. И. Ашинов сказал, что господа европейцы «боятся огня русской свободы», «заразительного примера Новой Москвы». Но сказал он об этом как бы походя. Реальный политик, он полагал следующее: из газетных сообщений явствует, что нас подстерегает серьезная опасность: европейские агенты постараются напугать вольных казаков неимоверными трудностями; больше того, сделают все, чтобы посеять среди нас, русских, раздоры, а может быть, даже и не задумаются подстрекать к убийству...

К убийству, удивились мы, но кого же именно и за что же именно? Н. И. Ашинов, не вдаваясь в объяснения, укорил нас в прекраснодушии, в излишней доверчивости к благородству культурных наций. Укоры свои высказал он несколько угрюмо, а заключил со всегдашним спокойствием: «Надо быть готовыми к коварству тайных врагов, но не надо при этом впадать в панику».

Мы, ей-богу, ушли неубежденными относительно шпионов, «мутящих воду», но скоро поняли, что атаман до некоторой степени прав.

В день нашего отъезда из Константинополя на пароход явился некий г-н Кантемир. (Я забыл отметить, что власти, запрещая русским посещать берег, не запрещали жителям Константинополя

посещать наш пароход и у нас все время были торговцы разными разностями.)

Кантемир, смуглый, с медленными, навыкате сливовыми глазами, недурно владел русским языком. Мой коллега, он прежде практиковал в Абиссинии, теперь практикует в Константинополе. Он сказал, что отыскал меня, потому что я тоже медик. Он выразил желание говорить приватно, прибавив, что я сейчас пойму причину.

В нашем помещении никого не было, исключая Шавкуца Джайранова, который спал, накрывшись с головою своей неизменной буркой. Мы сели, Кантемир стал рассказывать очень торопливо, волнуясь, прикладывая руку к груди.

Он утверждал, что встречался с Н. И. Ашиновым в Абиссинии, что Н. И. никаким почетом там не пользовался и что он, Кантемир, готов поклясться, что наш атаман — искатель приключений, авантюрист, способный на низости.

— Я счел долгом, — говорил Кантемир, — вы коллега, и я счел. Вы должны домой, будет плохо. Вы понимаете? Этим, — он широко повел рукой, разумея, очевидно, вольных казаков, — этим я не знаю, а вам плохо, очень... Я Ашинов знаю, честью ручаюсь, будет вам плохо. Я вам доброе хочу...

Вот она, подумалось мне, вот она, первая ласточка, культурный европейский шпион, «мутящий воду». Слушал я вежливо, но он догадывался, что я ему не верю.

Он скорбно покачал головой:

— Ай-ай-ай, мне жаль, очень жаль! Будет поздно, потом будет очень поздно...

Он откланялся. Я хотел было проводить его к трапу, он остановил меня: «Не надо Ашинов знать!» Я улыбнулся иронически: «Еще бы, еще бы...»

Кантемир исчез, незаметно замешавшись в толпе торговцев, покидавших пароход, на котором уже работала машина.

Я, разумеется, рассказал Михаилу Пан. о таинственном «благожелателе». Поразмыслив, мы решили понапрасну не огорчать Н. И. Ашинова и обо всем происшедшем попросту промолчать*.

2

Сейчас заметил, что многое останется непонятным, если продолжу хронологически. Мне, наверное, следовало не так начать. Но не перемарывать же сочинение, за которое все равно не полу-

---

* Из архивных документов явствует: С. Кантемир еще до беседы с нашим доктором сообщал русским властям об «авантюризме Ашинова», а главное, подчеркивал, что «никакой Новой Москвы не существует». (Центр. гос. ист. архив. Ленинград, ф. 178, д. 180.)

Информатор был прав: тогда Новой Москвы действительно еще не было. Несомненно, однако, что Н. И. Ашинов где-то и когда-то делился с С. Кантемиром своими замыслами.

Очевидно, Н. И. Ашинов знал о враждебности к нему этого Кантемира. Иначе необъяснима скрытность визита последнего.

чишь высокого балла. Оставляю как есть и возвращаюсь с парохода на землю, в Россию, ибо необходимо изложить причины, понудившие меня (да и других интеллигентов) прилепиться к экспедиции Н. И. Ашинова. Тут надо взглянуть на минувшее, на то, чем я дышал прежде, чем очутился в Новой Москве; постараюсь вкратце осветить ход вещей, которому обязан участием в истории взыскующих града.

Еще на студенческой скамье я горел желанием исполнить завет великого Пирогова: русской земской медицине предстоит не только врачевать, но и бороться с невежеством.

Окончив курс, я отправился практиковать в деревню. Я поехал в N-скую губернию в год Семеновского плаца*. Как и те, кто взошел на эшафот, я решился все отдать меньшому брату, народу, хотя, конечно, понимал несравнимость своей «жертвы» с жертвенностью Желябова или Перовской.

Недавний студент, обладатель месячного билета в вонючую кухмистерскую, отнюдь не избалованный и не обласканный городом, я не впал в ипохондрию при виде земского врачебного пункта. Он размещался в обыкновенной избе. Треть ее занимала русская печь; перегородки, не доходившие до потолка, отделяли аптечку от приемной, а приемную от жилья; пахло аммиаком, эфиром, карболкой, варевом и больными, дожидавшимися очереди.

Каково доставалось нашему брату, земскому медику, нетрудно вообразить, если я скажу, что мой, например, участок обнимал двадцать три деревни, то есть без малого 15 тысяч душ.

От коллег мне приходилось слышать о враждебности или по крайней мере настороженности, с какой наши мужики и бабы относятся к «дохтуру»; слышать, что летальный исход в каком-либо запущенном, безнадежном случае приводил к самосуду: «Дохтур зарезал!»; наконец, слышать сетования на то, что деревенские предпочитают обращаться не к дипломированному медику, а к помощи знахарей, которые-де «скорей помогают».

Не берусь определять причину, но на моем врачебном участке ничего такого не приключалось. Правда, поначалу ко мне как бы приглядывались и примеривались, да что ж тут удивительного — так наши мужики всегда держатся с новым для них субъектом из городских.

Приемная моя всегда была полна, но я еще и с визитациями ездил по деревням, благо по молодости лет умел спать 3—4 часа, где и как придется: в телеге, в розвальнях, в съезжих квартирах, на лавке в избе; ездил и в ненастье и впотьмах. во все времена года, и это при нашем-то бездорожье. Короче, старался поспеть везде, хотя и сознавал, что везде поспеть нет решительно никакой возможности.

Нужно сказать, что уже на другой иль третий год службы я испытывал горчайшее разочарование. Причиной тому были не ус-

---

* Н. Н. Усольцев имеет в виду казнь народовольцев, повешенных в Петербурге на Семеновском плацу в апреле 1881 года.

ловия моей жизни, а то, что моя служба, как ни бейся, выходила штукой несостоятельной. Я говорю не об отношении земской администрации к врачу имярек, а об отношении земства ко всему медицинскому делу на деревне.

Конечно, никакой врач не радуется мизерности своего жалованья, которое к тому же месяцами не вырвешь из земского сундука, в то время как у отцов земства отношение к этому сундуку весьма домашнее, патриархальное. Нет, и оклад могут прибавить, и платить начнут аккуратнее, но все равно медицинское дело на деревне как было, так и останется рахитичным.

Тут корень в положении, которое на Руси занимает всяческая администрация. Спору нет, она исполняет те или иные функции. Однако административные лица оцениваются не по знаниям и нравственным достоинствам, а только по своему положению. Здесь и замыкается круг: ведь контроль над администрацией требует свободы общественного мнения.

Между тем, по твердому моему убеждению, дело бы обстояло иначе, совершенно иначе, если бы им распоряжались сами крестьяне. Не день я прожил в деревне, внимательно наблюдая мирскую жизнь, в которой даже отъявленному скептику невозможно не обнаружить чрезвычайную способность крестьянина решать вопросы своего бытия.

Возьму два примера из множества.

Есть проблема, решение которой начинается оповещением старосты, идущего от избы к избе: «Утре делить!» Я говорю о дележе общинной земли. Дело в прямом и полном смысле жизненное, кровное. При дележе поднимаются ужасный крик и брань, думаешь, сейчас заварится крутая потасовка, но нет, вот все смолкли — и взгляните, как тщательно, как точно все свершилось: очень разная земля поделена едва ли не до вершка, и поделена в высшей степени справедливо.

Теперь второе: артели, чудесный организм, созданный мужицким разумом. Лучшие, которые мне довелось видеть, артели грабаров, почти идеальны. Не говорю о том, что земляные работы исполняются артистически, с необыкновенным вкусом и чувством соразмерности. Нет, я не об этом говорю, а тут вот что достойно замечания: артельщики всю работу делят, и каждый получает согласно выработанному (опять-таки, как и при дележе земли, получает тютелька в тютельку, потому что в каждой артели непременно есть «умственный мужик», бухгалтер, что твой немец!). Итак, работу грабары делят, доходы делят, а едят-то из *одного* котла. И не потому только, что так удобнее, так сподручнее, а потому что из этого одного котла возникает совестливость: нельзя тебе работать хуже другого, а щи хлебать вровень с другим! Нечего греха таить, любит мужик выпить. Однако в артелях нет пьяниц (их держать не станут), и никто не пьет в одиночку, а если уж и загуляют, то всей компанией и без ущерба работе. Наконец, есть в артелях и свой администратор — это *рядчик*. Работает он как все, но несет и множество обязанностей: отыскивает нанимателей, столковыва-

ется об условиях, заботится о харчах и т. п. И артель не оставляет рядчика без определенной надбавки, обычно от пятака до гривенника с каждого прибылого рубля.

Можно бы множить примеры, доказывающие чрезвычайную практичность русского крестьянина, его сметливость, его, так сказать, реальный ум. Опять хочу подчеркнуть не только эту сторону, но и другую, моральную. Да, разумеется, много видишь в деревне грязного и больного, эгоистического и даже дикого, но притом нельзя не обнаружить и нечто становое, определяющее: *мужик любит правду и справедливость.*

Беда деревни *вне* деревни, беда мужика *вне* мужика: ему не *дают* устраиваться на своих началах, своим разумом, о нем неукоснительно «заботятся», его постоянно регламентируют. И парадокс в том, что многие его заботники искренни; теперь вроде бы никто для себя не живет, а все живут для народа.

Вот от этих-то заботников, от этих-то регламентаторов, коих мужик объединяет словом «начальство», и тянет его могучей тягой подалее, за горизонт. Куда ж? А туда, где нет «начальства», а есть земля-матушка да господь бог.

В разговорах «по душам», «на вечные темы» — раздел, отрезки, аренда, теснота, нужда — неизменно возникал мотив «белых вод», заповедных краев, обетованной стороны. Мотив старый, старинный. Все крестьянское бегство в леса, в пустыни, в скиты есть упорное, неизбывное желание отделаться, ускользнуть от вездесущия «начальства». Разве не здесь духовный смысл и неудержимого потока за Урал, в неизведанные дебри, и устремление к какой-то реке Дарье, и бегства на юг, и переправы за океан, в Аляску?

Нет оснований видеть в русском мужике искателя приключений. Он вольности ищет, «волюшки», чтоб уж хоть и работать до седьмого пота, но работать-то на себя.

Я было пытался доказывать, что от начальства нигде не скроешься, что государство податями держится, даже читал описание Тюменской пересыльной станции, где переселенцы пухнут с голоду. Куда там! «Э, батюшка, Сибирь-то эту кто больно конфузит? Чиновник конфузит, всяческое начальство конфузит, чтоб, значит, мужик не уезжал, а то кто же будет господам работать. А царь-то все подготовил, только ступайте, детушки. О податях и помину не будет, про солдачество до третьего поколения не услышите...»

Что ж следует из этой несокрушимой, вечно живой надежды? Следует, очевидно, вот что: привычно веруя в царство божие «там», на небесах, мужик не может и не хочет, так сказать, надышаться одной лишь верой, а желает и жаждет устроения царства божьего здесь, на земле. Но тотчас и вопрос: как же устроить его здесь, если «начальство» вездесуще, если коренными переменами и не веет? Опять-таки замкнутый круг. И оставались беседы «по душам», до которых такой охотник русский человек...

Так я жил год за годом.

Мне бы, как теперь понимаю, остаться в N-ской губернии, на

своем врачебном участке, среди страждущих, тех, с кем успел почти сродниться. Но меня подхватило, как вихрем, меня будто озарило, осенило и вознесло на горние вершины, откуда открывалась прекрасная, светлая, гармоническая даль.

Я передал участок фельдшеру, попрощался и, провожаемый трогательной грустью деревенских друзей, сам растроганный их чувствами ко мне и своими к ним, покатил в Одессу.

Едва я увидел красивые станционные буфеты, плюшевые диваны, лакеев во фраках, женщин, пахнущих духами, а не хлевом, едва я услышал другие интонации, иную речь, даже смех не такой, какой недавно слыхал, — едва я все это услышал и увидел, как во мне проснулся горожанин, «культурный человек». Слаб «культурный человек!» Ему вдруг сделалось жаль молодости, убитой на проселках, жаль лучших лет, изжитых под соломенными кровлями, когда пушной хлеб драл ему пищевод, когда он слышал, как бабы кричат песни, и видел, как пьют мужики в кабаке после помола... Словом, он, этот Усольцев, вдруг стал сочувствовать самому себе, постаревшему, измаявшемуся в работе, которую, выражаясь по-крестьянски, иначе и не назовешь, как сибирной, непосильной.

И от всего этого предстоящее казалось спасительным и прекрасным не только для *всех*, кто стекался к Н. И. Ашинову, но и лично для него, Н. Н. Усольцева. Ведь нас *всех* — мужиков, мастеровых, интеллигентов — ожидала другая по смыслу работа: во имя великой, святой цели, ради самых заветных, вековых чаяний!

В Одессе я отыскал Пантелеймоновское подворье, сборный пункт, указанный в письме, благодаря которому я и устремился в Одессу.

Неподалеку от подворья, на пустыре, я увидел сотню или более бородачей, одетых как ни попало и марширующих с той радостной старательностью на лицах, с какой никогда не маршируют новобранцы. Между тем то были именно новобранцы; однако не рекруты, забритые в солдатчину, а новобранцы, добровольно, своей волей пришедшие к Н. И. Ашинову. Военными упражнениями на плацу дирижировал человек, судя по сюртуку, отставной военный, а судя по физиономии, довольно-таки казарменный тип. Скоро я узнал, что этот Нестеров действительно отставной военный, армейский капитан.

С волнением ожидал я встречи с моим «соблазнителем». Мы были дружны во времена московские, студентские, года полтора-два нанимали комнатенку на Козихе, хотя и не были однокурсниками (Миша изучал юриспруденцию). Потом я уехал, но из виду мы не потерялись, переписывались даже тогда, когда он угодил в ссылку за Байкал из-за «переводчиков»*.

---

* Очевидно, друг автора «Записок» был членом «Общества переводчиков и издателей» — нелегальной организации, существовавшей в Москве в 1883—1884 годах. Участников общества отличали поиски революционной теории, характерные колебаниями между народовольчеством и марксизмом. Их практическая деятельность выражалась и в пропаганде и в издании социалистической литературы.

Отбыв ссылку, он получил разрешение поселиться в Европейской России, исключая столицы. Я ожидал очередного письма с его новым адресом, а вместо того получил письмо, которое заставило меня переменить адрес.

И вот я увидел Мишу. Михаила Пансофьевича Федоровского! Мы обнялись, расцеловались. Я ожидал, что он сильно переменился, сильно постарел; оказалось, нет, тот же Миша — не велик размерами, крепкий, жилистый, со своим великорусским «картофельным» носом и костромским оканьем. И все же он переменился; чуялось глубокое, затаенное страдание, какое-то, я бы сказал, спокойное страдание, постоянное; не умею определить, что именно подтверждало мое мгновенное наблюдение, но я не ошибался...

Как и все, принятые Ашиновым, он поместился в ожидании отъезда в Пантелеймоновском подворье, занял что-то вроде келейки или гостиничного номера самого дешевого пошиба. Во всех здешних строениях стоял опрятный запах, очень похожий на тот, что устанавливается к осени в зажиточной избе, запах укропа, сухого гороха, солений. Мы сели пить чай с баранками и разговаривать.

Мы с ним сочувствовали, сомыслили: ничего подобного ашиновскому предприятию доселе не случалось; то есть были всяческие благие пожелания, утопии и прожекты, и только, а не практические рельсы; суть заключалась, понятно, не в «африканском варианте», он мог быть австралийским или новозеландским, все равно.

Разумеется, мы много толковали о нашем предводителе, с которым мне предстояло назавтра увидеться и познакомиться. По ходу моей хроники мне не однажды придется упоминать о Н. И. Ашинове; теперь я лишь означу некоторые моменты его биографии, и означу так, как узнал о них не столько в Одессе, сколько уже в Новой Москве; правда, многое и поныне остается для меня неясным или не совсем ясным, а то и вовсе таинственным.

Молодым человеком он участвовал в войне с турками на Кавказском театре военных действий; Шавкуц Джайранов утверждал, что Николай Иванович был отчаянным джигитом. Потом судьба занесла Ашинова далеко. Он оказался в Африке. Впоследствии, гостем обокского губернатора, я узнал, что итальянцы действительно назначали за голову Ашинова солидное вознаграждение.

В Абиссинии казак-рыцарь очень пришелся ко двору, хотя Кантемир утверждал обратное. Во всяком случае, Ашинов серьезно интересовался страной черных христиан, я видел «Абиссинскую азбуку» и «Начальный русско-абиссинский словарь», составленные им самим.

Лет за пять до нашего знакомства Н. И. Ашинов учредил поселение Николаевское, близ Ольгинской, что в Сухумской округе. Как-то, вспомнив про Николаевское, он назвал это дело «репетицией», потому что дальше «репетиции» ничего не вышло. И вот теперь Н. И. Ашинов приступил к решительному делу, ради которого мы и собирались «под его руку»...

Ну а покамест мы сидели в келейке милого моего друга Михаила Пан. (да будет ему земля пухом!), пили чай с баранками и говорили, говорили. Оказывается, Михаил Пан. занимал при Ашинове как бы должность главного интенданта и усиленно хлопотал по разным делам, для решения которых как раз и требовался такой подвижной темперамент. Я зондировал (признаюсь, не без задней мысли), будет ли Михаил Пан. в той же должности, когда мы все приедем *туда,* то есть в Новую Москву. Он возразил, горячо, серьезно:

— Ни я, ни ты, ни другой, ни третий! Понимаешь, никто из нашего брата, «культурного человека», никто не возьмет на себя ни-че-го! Слышишь, ни-че-го! Народ — сам. Все сам! Понимаешь, довольно советовать, он сам. Это, брат, как вода — она всегда найдет путь. И наилучший. А наши советы, наше вмешательство — это та же регламентация... — Он прибавил испытующе: — А ты как же это себе полагаешь?

Я улыбнулся:

— А так же. Вот так и я располагаю. Почему? Очень просто: потому что не следует обращаться в правителей. А из советчиков непременно правители вырабатываются.

Конечно, ни Михаил Пан., ни я и никто из «культурных», с которыми я еще не был знаком, но за которых в этом смысле ручался мой друг, никто не желал быть доктринером, «ученым меньшинством», кандидатом в диктаторы. Мы шли с народом, за народом, вместе с народом, чтобы по мере своих сил оплатить наш долг, то есть делать, скажем, то, что я делал в земском врачебном участке. Но огромная и определяющая разница заключалась именно в том, что и народ и мы, как его часть, будем делать свое дело при народном всевластии.

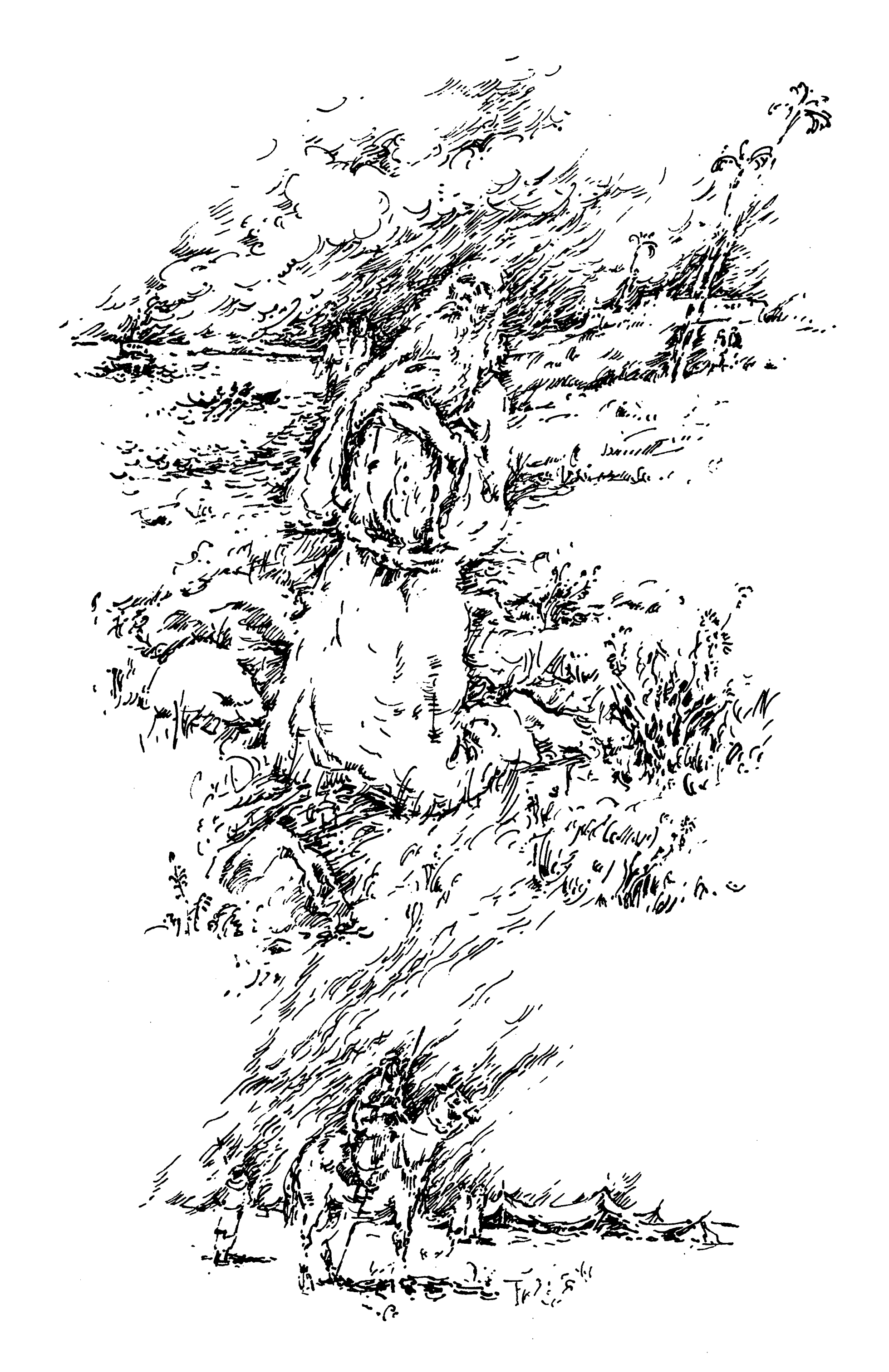
Чем дальше мы говорили, тем сильнее охватывало нас чувство какого-то полета. Короче, мы были по-настоящему счастливы, как никогда не были прежде. Вдруг у меня мелькнула мысль об Ашинове. Ведь, повторяю, все предприятие было в его руках. Но что ж это за руки?

Михаил Пан. отвечал коротко: «Он — рядчик. Он как рядчик. Понимаешь?»

Господи, как было не понять? И как же это я не подумал об артельном работнике, берущем на себя дополнительное бремя?

— Я с ним не первый день, присмотрелся, — говорил Федоровский. — Натура электрическая. И богатырь. Таких может рождать только наша земля, да и то раз в столетие. Ей-богу, не чаще! Не-ет, брат, это удивительный человек, сам увидишь!

Оказывается, Михаил Пан. вместе с Н. И. Ашиновым объезжали города, рассказывали про Новую Москву и собирали пожертвования. Здесь, в Одессе, им удалось заполучить шанцевый инструмент, ружья, палатки и даже, к моей радости, госпитальное оборудование. В Крыму Н. И. Ашинов закупил тысячи саженцев винограда и вязок плодовых деревьев. О, будущие цветущие сады Новой Москвы!



— И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками! — торжественно заключил Михаил Пан.

Я, помню, ночь не спал, мысли шли сбивчиво, я будто видел наше поселение, счастливое, трудовое, трезвое, радостное, а потом возвращался в Одессу и с волнением, как гимназист, думал о завтрашней встрече с Н. И. Ашиновым.

Атаман вольных казаков... Тут надо объяснить. Дело в том, что Николай Иванович всех своих добровольцев называл вольными казаками. Очевидно, для того, чтобы пробудить ассоциацию с удалой казачьей вольницей, с мужиками-витязями, одухотворенными Свободою. Ну а где есть казаки, там должен быть и атаман. Мне нравилось, что его так называли, атаман! В самом слове чуялось что-то разинское, что-то от великих народных движений.

Так вот, атаман вольных казаков Николай Иванович Ашинов жил в Крымской гостинице.

Я пришел утром и в коридоре столкнулся с весьма импозантной фигурой в диковинной... не знаю, что это такое было... не то блуза, не то военный сюртук, что-то, словом, среднее и трудно вообразимое, увешанное к тому же какими-то знаками, блестящими и непонятными, то ли медалями, то ли орденами, однако и не русскими, и не европейскими. Эта фигура, плотная, с выпяченной грудью, кудлатая, похожая на Ноздрева, выкатилась, негодующе пыхтя, сверкая белками и как-то очень уж сильно, на манер локомотива, работая локтями. Потом я узнал, что это был Б-в, который просился в Новую Москву и которому Н. И. Ашинов добродушно отказал: «Больно буен!»*

Ашинов был огромен, в окладистой рыжеватой бороде, в черкеске с газырями, смотрел внимательно, чуть щуря глаз. Черт знает почему, но он еще ни слова не молвил, а я уж чувствовал к нему и симпатию и доверие. Объяснялось ли это давешним разговором с Михаилом Пан.? И да, и нет. Во всем облике атамана так и было: добрый русский молодец! Добрый молодец был умен, это я сразу решил. Он спросил, каковы мои намерения в Новой Москве? Но, спросив, тотчас прибавил, что он про меня знает от Михаила Пан., что он очень рад и что я, Усольцев, несомненно, буду нужен «для народного здравия». Однако, заметив все это с самой дружеской улыбкой, Н. И. все же повторил свой вопрос.

Я понял — то был вопрос, так сказать, теоретический. Я, почему-то испытывая некоторую неловкость, какую-то конфузливость за самого себя, отвечал в том смысле, что общество погрязло во зле, а я, то есть мне подобные, слишком слабы, чтобы изменить общество, а посему ощущаем настоятельную необходимость выделиться из него. Однако выделиться не ради черствого эгоизма, не ради самоуслаждения, а для упорной работы как умственной, так и физической. Я отвечал, что ищу в Новой Москве не спасения *своей* души, как монастырские послушники, не *своей*

* Не настаивая на догадке, полагаем, что Н. Н. Усольцев видел В. Н. Бестужева, личность столь же фантастическую, сколь и загадочную. Впоследствии, уже в начале нынешнего столетия, он обретался почему-то на Сахалине.

лишь духовной свободы, как буддисты, а развития тех сторон и свойств, которые могли бы оказывать влияние на других, что надеюсь не только врачевать и обрабатывать свой клочок земли, но и приложить силы, пусть скромные, для достижения дружбы и единства всех и каждого, для достижения гармонии.

Он слушал молча, с одобрительной и понимающей улыбкой, но мне вдруг почудилось, что в глазах его улыбки не было. Впрочем, Н. И. Ашинов отвечал, что понимает и разделяет мои мысли, что в Новой Москве, несомненно, восторжествует братское единство, ибо там соберутся лишь люди труда, «аще кто не трудится да не яст», что работники (на земле или в мастерской — это все равно) в высшей степени наделены инстинктом справедливости, равенства, добра.

Он взглянул на часы, сказал, что его ждут, что мы еще, конечно, будем иметь время для бесед, так как мы теперь «люди неразлучные», и с этими дружескими словами пригласил меня на Пантелеймоновское подворье.

Хотя запись в вольные казаки уже прекратилась, но желающие все прибывали, и Ашинов находил возможным принять еще несколько десятков добровольцев.

Они уже были на дворе и, завидев атамана, поспешно сняли шапки. Он стал здороваться за руку с теми, кто был поближе. Мужики эти, как и большинство принятых в вольные казаки, были из тех, про которых в народе говорят: «Эти — ослабли, в разор разорились».

Я наблюдал Ашинова. Он держался без развязного высокомерия, свойственного чиновникам, и без того привкуса виновности перед меньшой братией, каким подчас отличаются интеллигенты, чувствующие себя «из господ». Нет, Ашинов держался большаком — главой большого крестьянского семейства, и это тотчас поняли и этому обрадовались пришлые, потому что ведь кто ж из крестьян не понимает необходимости повиноваться большаку, который не тиранствует, а делает так, как ему велят условия работы и мать-природа.

Говорил Ашинов отрывисто и медленно:

— Дело прямое, честное. Легкой жизни не будет, это знайте. Никаких молочных рек и кисельных берегов. Дело тяжкое. Мы *там* все сами. Оружие есть, потребуется — отобьемся. Но не в этом корень. А главное, ребята, землицы вволю, солнышка вволю. Паши, сей, жни. Только силу не прячь от самого себя.

«Ослабшие» жадно слушали. Я видел их муку: они хотели верить и почти верили, и страшно было и сладко, и они мяли шапки, бормоча свое «известно».

Они были бы не прочь «поспрошать» еще и еще, нешуточное ведь дело, коренной перелом (крестьянская, горемычная осмотрительность), но тут Н. И. Ашинову подали телеграмму.

(Невольно скосив глаза, я прочел: кто-то сообщал, что везет «первосортный балык», но «пути нет» — и спрашивал: «Как быть?»)

Атаман, сунув телеграмму в карман, прибавил, обращаясь к

добровольцам, чтобы они не горячились, не бросались очертя голову, а наперед все бы хорошенько взвесили, ибо потом, ибо *там* поздно будет нюнить. Проговорив это, атаман круто, по-военному повернулся и ушел с видом человека, у которого ни минуты.

Да и вправду сборы заканчивались.

Вскоре мы отплыли из Одессы. Без всяких приключений мы доплыли до Константинополя; об этом я уже писал.

Теперь продолжаю мысленное путешествие, совершенное наяву несколько лет назад.

3

Из Константинополя мы уехали с «прибавлением» — полсотни, а то и более богомолок отправились ко святым местам. Это были простолюдинки, болгарки и гречанки, все, как на подбор, молодые, бойкие, крепкие, белозубые.

Серьезная атмосфера нашего общества, которое, несмотря уже на какую-то обиходность с ее занавесочками и чайниками, все же испытывало крутость перемены, атмосфера эта несколько переменилась. Среди вольных казаков преобладали люди холостые, и теперь они очень быстро, как-то совершенно просто и естественно «распределились» среди хорошеньких пилигримок.

Все это очень не нравилось Софье Ивановне. По собственному ее выражению, она, конечно, признавала «жизнь как таковую», «свободу выбора» и «безыскуственность отношений мужчины и женщины», и все же быстрота и легкость, с какой наши «распределились», ее шокировали. Почему же? А потому что у людей, идущих к великой, всепоглощающей цели, этого быть не должно.

Я ей признался, что и меня как будто оцарапало это временное сожительство, мне оно тоже показалось в некоем несоответствии с настроением, каковое должно владеть будущими гражданами Новой Москвы. Но притом я так возражал Софье Ивановне: во-первых, и Новая Москва не будет, надо полагать, новым монастырем; во-вторых, поглощенность великой и светлой целью не предполагает непременного ригоризма; в третьих, русские деревенские отношения отнюдь в этом смысле не строги. Жительствуя в деревнях, наблюдаешь как раз простоту отношений. Возьмите хотя бы батраков и батрачек, когда они по весне сходятся — из разных совсем, заметьте, мест! — «кабалиться» у помещика, у землевладельца. И двух недель не минет, как все уж разобрались парами да и зажили семейно, чтобы осенью разойтись, и все это знают, разойтись без трагедий. Не говорю, что это хорошо, и не говорю, что это плохо, а говорю, как оно есть. Примечательна полная свобода брачных отношений. Женщина, как и мужчина, могут оставить друг друга. Однако, и это еще примечательнее, до тех пор, пока не оставили, живут прочно. И если женщина «занята» — охальник не подходи, ему несдобровать, он отведает кулаков своих же товарищей.

Софья Ивановна с живостью заметила, что в Новой Москве

батракам не бывать, ибо каждый получит возможность существовать безбедно, а следовательно... Я согласился, хотя и резервировал возможность «разводных писем», предусмотренных, мол, еще в библейские времена.

Потом мы, кажется, заговорили о прелести морских пейзажей. Она живала в Париже, оттуда ездила в Нормандию, к океану, который, по ее словам, был «слишком груб» в сравнении со Средиземным морем...

На острове Хиосе и в Смирне, куда заходил пароход, были приобретены десятки кадок с лимонными и апельсинными деревцами. Наша земледельческая публика щупала, мяла, нюхала землю в кадках, с сомнением покачивала головой, а когда разглядывала деревца, то на лицах было что-то похожее на то, что я видел в деревенской школе, где была устроена рождественская елка.

В Порт-Саиде мы оставили русский пароход и должны были дожидаться другого, который повезет нас дальше, по Красному морю. В ожидании этого парохода мы разбили наш табор позади складских помещений внутренней гавани.

В детстве я часто простужался и много дней проводил в постели, укутанный, в шерстяных носках, с грудью, натертой гусиным жиром. Мой добрый отец, учитель географии в частной гимназии, приносил мне «путешествия». Книги были обстоятельные и, правду сказать, скучные, но любопытно, что они-то мне и нравились как раз потому, что были такими; их обстоятельность и скучность навевали на меня какое-то уютное настроение и словно бы сливались со снегопадом за серым окном. Я бы сейчас отдал им дань, если бы пустился в описание Порт-Саида, но мои записки не записки путешественника, хотя от этого они и не приобретают особенной увлекательности.

Как-то ночью я вышел из палатки, мне не спалось. Я увидел весь наш утихший табор, гаснущие костры. Я слышал, как вдалеке гудит какой-то пароход, он даже будто б подвывал, как в дом просился, смотрел и слушал и вдруг ощутил то, чего никогда прежде не ощущал со столь пронзительной силой. То было мгновенное и пронзительное сострадание ко всем живущим на земле вот сейчас, вот в эту минуту, ко всем живущим *одновременно* со мною. То была такая близость со всеми, когда не остается ни грана «я», а есть только «мы»: «мы», сущие одновременно и кратковременно, плохие или хорошие, но сущие вместе под этими звездами и на этой земле, «мы», которые так скоро уйдут и «приложатся» к поколениям наших мертвых братьев, не решивших своих задач, своих вопросов. То была минута сострадания и близости, но не жалости, нет, а чувства общности. Мне и потом, уже в Новой Москве, случалось переживать такое же напряженное просветление, однако очень редко, и не столь полно, как тогда, в Порт-Саиде...

Накануне рождества мы отплыли в Красное море на австрийском пароходе «Амфитрита» и там, в Красном море, еще раз убедились в правоте Н. И. Ашинова относительно европейских недругов нашего великого дела.

В Одессе я видел вольное казачество in pleno* и как бы на одно лицо; пароход дал досуг для знакомства и разговоров. Нам с Михаилом Пан. хотелось уяснить представление собеседников о будущей Новой Москве. Мыслей своих на этот счет никто, пожалуй, не излагал полнее одного старика, которого звали Ананий Сергеевич Басов, крестьянина Орловской губернии, примечательнейшей личности.

Молодым парнем был он сдан в солдаты, «отломал» (его выражение) Крымскую кампанию, воевал в Севастополе, потом опять крестьянствовал, промышлял извозом и столярничал. Однако где б он ни был, что б он ни делал, Ананий Сергеевич был поглощен поисками правды, поисками ответа на вопрос: как жить свято?

Подобные искатели встречаются на Руси, но Басов был особенный, потому что «много пережил мыслью» и свои взгляды, или, если хотите, учение, привел в систему, которую излагал охотно, лишь бы слушали. Излагал он медленным, плавным голосом, плавно поднимая кверху руки с раскрытыми большими ладонями и устремив в пространство свои задумчивые глаза.

Капитальная его мысль была такая: земледельческий труд есть главный и священный. Земледельца ставил он превыше всех прочих, ибо земледелец всех кормит. Кто с этим не согласен, советовал Басов не без иронии, тот пусть прежде дня два не ест, а после и рассудит. Было что-то величественное в его гордости, в его сознании полного и совершенного превосходства пахаря.

Далее, спрашивал он, отчего это крестьянин унижается перед «высшими», которые недостойны ног его лобзать, а он молчит и поклоны бьет, сняв шапку? Потому, отвечает Басов, что мужик неграмотен, темен, а «белоручки», уклонившиеся от заповеди «в поте лица своего снеси хлеб свой», скрывают от мужика свет грамоты.

Мир, говорил Басов, не излечится от своих ран, от греховности своей, доколе законом не установится *всеобщий* труд, и не просто труд, а именно «*хлебный труд*». Я знаю, говорил Ананий Сергеевич, тут меня одернут: ежели, мол, все на землю сядут, то фабрики-заводы встанут и все в запустение придет. Отвечаю: сколь праздников в году празднуют в разные месяцы, общим-то счетом сколь? Восемьдесят! И ничего, в запустение-то не приходят! А тут и надобны лишь тридцать дён, тоже в разное время года, чтобы один человек одну десятину обработал. Потом эти фабрики-заводы, говорил Басов, надобно заводить между деревнями, в простонародных местах. Для чего? А для того, чтоб люди менялись. Это значит — нынче я на земле, а ты на фабрике, завтра ты на поле, а я на фабрике.

Хлеб цены не имеет, говорил Басов, нельзя его ни продавать, ни покупать, а можно лишь своим трудом добывать. «И подумай только, каков сладок будет сей кусок! Ладно, говорят мне, а как, к примеру, царь-государь будет? Царь-государь, отвечаю, к высшим

---

* В полном комплекте (*лат.*).

не принадлежит, вот возьми пчелиный рой, разве матка не нужна, чтоб за порядком глядеть?.. Именно хлебный труд во главу угла поставить надо, как основной закон жизни по-божецки, тогда только снизойдет на землю рай, утраченный вместе с Адамовым грехом...»

Я думаю, Ананий Сергеевич Басов, «много живший мыслью», полнее других выразил идеал народной души. Конечно, образованной части общества многое в его рассуждениях покажется наивным, несогласным с прогрессом. И конечно, большинство этого общества, даже признавая правду Басова, не кинется в объятья Марьи Андреевны, как мужик называет соху. Но, во-первых, если тут наивность, то наивность художническая, вовсе не равнозначная глупости; во-вторых, еще большой вопрос, что понимать под прогрессом; в-третьих, одно лишь осознание правды, высказанной Басовым (в ее обретении вся будущность русского народа, указующего путь другим народам), даст нравственную опору образованному меньшинству, у которого хоть что-то впереди высветлится.

Что же до самого старика Басова, то он прямо-таки умолил Н. И. Ашинова взять его в Новую Москву: «Дозволь, батюшка, хоть краем глаза глянуть!» Надо отдать должное Николаю Ивановичу, он внял просьбе, хотя старика сильно поизъянило времечко, он уже, так сказать, ходячий «земляной доход»*...

Итак, мы ехали на большом океанском пароходе. Кроме нас, на этой «Амфитрите» было много пассажиров, следующих в разные порты Красного моря.

Наверное, в душе каждого, впервые выбравшегося за кордон, струится наивное удивление пред разнообразием мира и людей. Англичане, французы, итальянцы, арабы, негры — все, занятые своим делом, преследующие свои цели, возбуждали любопытство. Но и мы, русские, возбуждали любопытство, не всегда, увы, доброжелательное.

Дело в том, что из Порт-Саида с нами ехали пятеро итальянцев. Они составляли одну компанию, хотя старательно подчеркивали, что каждый из них сам по себе. Старшим у них был красивый господин с идеальным пробором и военной осанкой, который значился в списках пассажиров майором Сан-Миниателли. Вскоре обнаружилась подозрительная закономерность: г-н майор появлялся на верхней палубе, едва там появлялся Н. И. Ашинов. Больше того, один из осетинов однажды приметил в руках у Сан-Миниателли фотографический портрет нашего атамана...

Тут мне надо сказать о Шавкуце Джайранове, потому что ему принадлежит выдающаяся роль в истории Новой Москвы.

Я упоминал раньше о странной телеграмме, полученной Н. И. Ашиновым в Одессе: везу, мол, «первосортный балык...». Так вот, телеграмму прислал Шавкуц Джайранов. Он был давним кунаком и, можно сказать, сподвижником Н. И. Ашинова по войне с турками.

---

* *«Земляной доход»* — поповский прибыток от погребения усопших.

После войны они потеряли друг друга из виду, но Н. И. Ашинов знал, что Джайранов живет в терской станице. Отправляясь за моря, задумав создание Новой Москвы, Н. И. Ашинов пригласил Джайранова как испытанного товарища, человека храброго и удалого, и пригласил не одного, а советовал приехать вместе с кунаками; Джайранов кликнул с собою дюжину земляков и поехал*. В Новороссийске их задержал шторм; боясь опоздать в Одессу, Джайранов дал атаману условленную телеграмму.

Когда я увидел команду Джайранова, то, право, залюбовался: народ и впрямь был «первосортный», бравый, видный, красивый, черноволосый и светлоглазый, все в черкесках, с кинжалами в серебре, с пистолетами. Сам Джайранов был человек с очень широкой грудной клеткой, глаза у него были быстрые, приметливые, холодные, так они и посверкивали из-под густых, твердо очерченных и почти сросшихся бровей, очень картинный человек.

И в Одессе, на подворье, и на пароходе наши осетины держались особняком. Ничего удивительного: исключая своего вожака, они худо разумели по-русски, а мы, русские, и вовсе не знали поосетински. Однако в их обособленности чуялось какое-то высокомерие, какая-то подчеркнутая любовь к своему племени.

Нет, конечно, ничего худого в любви к своему народу, к своей народности или племени. Позорно другое. Позорно, когда этим благим чувством пользуются во имя ненависти к другому народу, к другому племени. По-моему, любовь к *своей* матери отнюдь не предполагает ненависти к *чужой* матери. Даже напротив!

Наблюдая наших осетинов, я полагал, что с течением времени там, на берегах Таджурского залива, возникнет единение, не вытравляющее национальной соли и чуждое нивелировки, но единение. Разумеется, думалось мне, оно не возникнет тотчас, по-щучьему велению, однако непременно возникнет.

Когда мы обсуждали сей сюжет с Михаилом Пан., он припомнил замечательное изречение одного древнего грека, кажется, афинского ритора. Смысл был тот, что эллинами вправе называться скорее те, кто участвует в созидании эллинской культуры, нежели те, кто имеет с эллинами общее происхождение.

Возвращаюсь к нашим осетинам.

Один из джайрановцев выследил майора-итальянца, когда тот исподтишка сличал фотографический портрет Н. И. Ашинова с внешностью Н. И. Ашинова. Так вот, никто из нас не придал значения тому, что выследил-то именно джайрановец; нет, наше внимание поглотил сам факт. Выходило, стало быть, что Н. И. Ашинов прав в своих опасениях относительно вмешательства европейцев в дело русской свободы. И подтверждения тому, еще более грозные, не замедлили.

«Амфитрита» заходила в порт Суакин для сдачи каких-то грузов, а мы там раздобылись ворохом свежих газет, из которых узнали про самих себя такое, что ахнули. Оказывается, наш

* По другим сведениям — десять.

Н. И. Ашинов — «полковник», а наши вольные казаки — «переодетые гвардейцы», и вся цель наша не что иное, как завоевание если не колонии, то опорного пункта, станции; Ашинова называли «варварским авантюристом», нас тоже «авантюристами» или «несчастными людьми, не ведающими, что творят».

В конце концов можно было бы махнуть рукой на измышления невежественных писак, но события принимали дурной оборот.

Началось с того, что красавец Миниателли перебрался на канонерку «Аугусто Барбариго», дымившую в здешнем заливе, и перебрался, как мы вскоре догадались, чтобы сообщить о нашей экспедиции командиру этого итальянского военного корабля.

Последний, повстречав на берегу капитана «Амфитриты», имел честь объявить, что не допустит высадки русских в Таджурском заливе.

Капитан, вернувшись на пароход, сказал об этом Н. И. Ашинову. Николай Иванович отвечал, что итальянцы грубо нарушают международное право, а капитан обронил что-то в том смысле, что пушки канонерки убедительнее международного права.

Мы собрались в каюте Н. И. Ашинова обсудить положение.

Я опять должен на минуту отвлечься. Всех участников нашего предприятия, всех вольных казаков я полагал равными, имеющими равные голос и вес при обсуждении общего дела экспедиции. Между тем практика с самого начала сложилась несколько иная: вокруг Н. И. Ашинова как бы сама собою стеснилась особая кучка, которую составляли Софья Ивановна, штабс-капитан Нестеров, Джайранов да я с Михаилом Пан. Я уже не говорю о том, что мы ехали в каютах и столовались в салоне, а все остальные в общих помещениях; это мне представлялось хоть и нарушением равноправия, но временным, дорожным, так сказать. Но вот встал вопрос иной, его следовало бы обсудить соборно, а не келейно. Конечно, все для народа, но ведь именно посредством народа — вот где суть. Мы так и сказали (то есть Михаил Пан. и я) Н. И. Ашинову. Он не возражал, однако, подумав, заметил, что в срочных случаях нет ничего худого, ежели и келейно. «Ведь мы-то с вами ничем иным не озабочены, как только наилучшим решением для всего нашего народа, у нас-то, «келейных», никаких интересов, помимо народа, нет, а посему...» Я покривил бы душою, сказав, что доводы Н. И. Ашинова вполне меня убедили, однако, думал я, Н. И., практик и реалист, тоже имеет свои резоны.

Итак, мы стали обсуждать, что делать, как быть.

До нашей земли обетованной было еще неблизко, но, разумеется, канонерка могла преодолеть это расстояние, не отставая от «Амфитриты». Капитан Нестеров, наш военный человек, высказался так: под огнем неприятеля высадка невозможна, однако вместе с тем невозможно и уступить наглым притязаниям итальянцев. Не очень-то, правда, логично, но в общем-то верно. Заговорила потом Софья Ивановна, лицо и шея у нее покрылись пунцовыми пятнами волнения, она предлагала воззвать к европейскому общественному мнению, которое не может не сочувствовать делу русской

свободы. Ее проект был бы хорош, если бы мы не находились у африканских берегов и если бы капитан «Амфитриты» согласился торчать в Суакине до тех пор, пока Европа отзовется. Шавкуц Джайранов стоя (характерная особенность: Джайранов и осетины, подчеркивая старшинство Н. И. Ашинова, никогда не садились в его присутствии) вдруг предположил, что итальянец, может быть, и не собирается нападать, а только стращает. Николай Иванович, хмуро, но вместе и по обыкновению ласково улыбнувшись джигиту, отверг его догадку, ссылаясь на свое знание повадок европейских хищников. Мы с Михаилом Пан. опять было завели речь о том, что настоящий вопрос не может решаться узким кругом, а должен решаться на миру, на общем сходе... Н. И. Ашинов слушал без возражений, похаживая по своей всегдашней привычке из угла в угол: он всегда расхаживал как-то очень плавно и мягко, в его походке чуялось мне что-то... Тогда, правда, я еще не мог определить, что же именно... Н. И. Ашинов ничего нам не ответил, а вдруг предложил всем подождать его, не расходиться — и вышел из каюты. Мы остались и ждали его в молчаливом недоумении. Опять-таки замечу в скобках: все, кроме Джайранова, который тотчас неслышно снялся с места и тенью последовал за атаманом, а мы переглянулись с полуулыбкой — эта преданность горца казалась умилительной.

Дело заключалось в том, что Н. И. Ашинов пошел к капитану парохода, который, нужно сказать, сильно симпатизировал нашему вольному казачеству, как, впрочем, и вся его команда: «Амфитрита» принадлежала австрийскому Ллойду, и ее экипаж составляли наши соплеменники — славяне. Минувшая война с турками оживила давние симпатии славянства к русским, и вот мы пользовались родственным дружелюбием. И хотя капитан парохода сознавал преимущества пушек перед международным правом, он все же обещал что-то придумать.

Едва упала ночь, да такая, что ни зги, «Амфитрита» стала выходить из порта. На канонерке как будто бы не угадывалось никакого движения. План капитана был в том, чтобы улизнуть от итальянцев, потому-то мы и снялись с якоря на сутки раньше срока.

В открытом море тоже было очень темно, луну скрывали густые тучи. Качало изрядно, дул сильный ветер, короче, все было так, словно сговорилось нам помочь. Но сердце все же екало.

Минул час, другой, третий — и ничего, только волны гремели да свистел ветер. Мы уж стали было разбредаться с палубы, как вдруг какой-то ужасно яркий и вместе мертвенный свет толстым снопом ударил в наш пароход и тотчас разлился вокруг, словно желая ослепить и утопить нас. До сих пор помню страх, пронизавший меня.

«Электрическое солнце!» — молвил кто-то. И точно, это светил необычайно сильный фонарь с канонерки. Н. И. Ашинов в ту же минуту принял меры: велел выставить караулы. Много спустя я понял, сколь бессмысленна, если рассуждать по-военному, была

эта мера: ведь не намеревались же брать нас на абордаж на манер старинных пиратов. Однако эта мера имела, так сказать, психологический смысл, потому что на первый случай важнее всего решительно распорядиться, заняв людей действием и не оставляя места панике. (Вообще, опыт не раз показывал магическое влияние решительных распоряжений. Тут суть не в логике, а в том, чтобы отдать команду так, будто у тебя ни грана сомнения в немедленном, машинальном повиновении.)

Всю ночь мы бодрствовали, потому что канонерка неотступно следовала за нами, то зажигая свое мертвенное «электрическое солнце», то гася его. Никогда я так не ждал утра: ах, лишь бы оно поскорее наступило, чтобы не было этого проклятого «электрического солнца», когда испытываешь унизительную беспомощность, точно голый.

Я зори, восходы, утра люблю. (Деревенская привычка подниматься с петухами не оставила меня поныне.) А с парохода я любил смотреть на цвет воды. В Средиземном море он был сильной, даже, пожалуй, грубоватой синевы; в Суэцком канале — нежный, как у незабудок; в Красном море — изумрудный, потом менялся и к полудню делался зеленым... Но в то утро я, конечно, не любовался морем, а боязливо поглядывал на канонерку, которая ехала так близко, что были видны ее расчехленные пушки. А наша «Амфитрита» будто вхолостую бултыхала винтами. И хотя уж светило настоящее, а не электрическое солнце, опять мы ежились от унизительной беспомощности.

Вечером горизонт озарился зарницами, и капитан объявил, что надвигается шквал; в голосе капитана звучала не только озабоченность, но и надежда улизнуть от преследователя, меняя курсы.

Часам к десяти-одиннадцати мы имели настоящую бурю, равно сокрушительную как для нас, так и для канонерки. Но, к счастью, нас она пощадила, а «Барбариго» исчезла.

Это приключилось на рождество. Новый год мы встретили в салоне. При свечах поднимали тосты за ту землю, где «солнце будет светить для нас», как неожиданно красноречиво выразился Н. И. Ашинов. Всех нас обнимало чувство братства; мы были полны надеждами, которые вот-вот непременно примут реальные черты. Софья Ивановна села за фортепьяно, играла очень хорошо и была очень хороша. Пела прекрасно, чисто, пела малороссийские, родные ей песни. (Тут я узнал, что она — урожденная Ханенко, дочь довольно богатого помещика Черниговской губернии.)

Близился конец плавания. Нетерпение владело всеми, каждым. Н. И. Ашинов показывал нам английскую карту Таджурского залива, испещренную пометками глубин и блеклыми чертами берегов нашей обетованной земли.

«Амфитрита» плыла медленно, потому что в заливе было много рифов, вода вокруг них была бледной. Берег был горист и лесист. И вот уж показалась укромная бухта саженей около ста в попереч-

нике. Вход в бухту как бы сторожили две высокие скалы. А дальше, в узкой веселой долине, лепились шалаши Таджуры*.

4

Как ни был я готов к собственному явлению в Африку, но ужасно волновался, ступив на берег. Полагаю, причиной моего волнения была не сама по себе Африка — здесь, в Таджуре, мало было экзотического, во всяком случае, я не увидел роскошной растительности, пленявшей детское воображение. Нет, причина волнения определялась тем, что вот наконец-то я там, где возникнет лучезарное поселение*.

Впрочем, если говорить точнее, наша земля находилась в нескольких верстах, а в Таджуре мы разбили временный лагерь.

Таджуру составляли полтысячи, может и больше, шалашей, похожих на наши южные курени. Туземцы-данакильцы наделены весьма приятными чертами, близкими к южноевропейским, хорошо сложены, однако не геркулесы. Правит ими царек, или султан, Магомет-Сабех, с которым мы тотчас познакомились, как и с оравой голых мальчуганов, хватавших нас за рукава и кричавших: «Бакшиш! Бакшиш!»

Мы прожили в Таджуре недели полторы. Было нежарко, градусов пятнадцать по R, сухо, спокойно, луна вылазила из-за гор очень большая, непривычного размера, было слышно, как хлопает прибой. Почти месячное плавание (26 дней) на пароходах утомило людей; они устали от лежанья в трюме и «кейфа» на палубе, устали от качки и, теперь устраиваясь на живую нитку, делали это с той необычайной способностью приладиться под каким угодно временным кровом, которая так свойственна русскому крестьянину-переселенцу.

Впоследствии французы говорили, что на Таджурском берегу европеец редко чем раздобудется у данакильцев даже за деньги, а у наших вольных казаков отношения с туземцами как-то очень скоро и очень просто сложились запанибрата; они, то есть туземцы, даром потчевали нас бараниной и плодами.

В отношениях вольных казаков с туземцами рельефно глянула черта, достойная пристального рассмотрения, и я вправе поделиться своими наблюдениями и соображениями, оговорившись,

---

* В «Записках» Н. Н. Усольцева не упомянуто, что почти за год до прибытия «Амфитриты» в Таджурский залив там уже побывали Н. И. и С. И. Ашиновы. Тогда-то Ашинов и приглядел место будущего поселения. Об этом мы узнаем из донесения лейтенанта Ивановского, командира парохода «Кострома». (Центр. гос. архив Военно-Морского Флота, ф. 417, оп. 1, д. 5577.)

Кроме того, «Одесский вестник» и «Газета А. Гатцука» опубликовали в свое время рассказ Степана Никитовича Самусеева. Уроженец Черниговщины, отставной фельдфебель С. Н. Самусеев был «правой рукой» Ашинова в дни его первого посещения Таджуры.

** Лет десять с лишним спустя эти же места увидел известный польский романист Генрих Сенкевич. На него они произвели удручающее впечатление: «Что за такая страна, как бы предназначенная быть местом изгнания? И чего искал здесь пылкий Ашинов?»

однако, что они принадлежат не только мне, но и моему покойному другу Михаилу Пан.

Первое, что бросалось в глаза, так это философическое восприятие нашим мужиком местной своеобычливости, столь непохожей на его собственные житейские опыты и миросозерцание. Нельзя не поразиться умению русского человека понять (и оправдать!) обычаи местных насельников. Тут явственно сказывается глубочайший здравый смысл, чуждый горделивому помешательству наших чрезмерных славянофилов; тут сказывается присутствие глубокого чувства равенства со всем живущим, уважения к жизни, какой бы чудно́й она на первый взгляд не представилась.

И вот что примечательно: простому русскому человеку нет дела до племенного равенства! Помедлите с возражениями. Я не теоретизирую, а делюсь личными заметами... Так вот, отчего и зачем гуманисты пылко, искренне, благородно рассуждают о равенстве племен, наций, рас? Очевидно, оттого и затем, чтобы опрокидывать и отрицать «юридическое право» сильных унижать (и даже, увы, уничтожать) слабых. Теперь вглядитесь пристальнее и ближе. Допустим, вы — человек умный и сильный, а рядом — человек не шибко умный и не ахти сильный. Разве ваше превосходство дает вам *право* оскорблять или уничтожать соседа? Вряд ли кто-либо счел возможным отстаивать эдакую точку зрения. И не сквозит ли в рассуждениях о племенном равенстве — повторяю, благородных и необходимых — не сквозит ли в них все-таки как раз недостаток чувства подлинного равенства со всеми живущими под солнцем? Разве мало того, что люди просто имеют дело с людьми? Разве для того, чтобы не унижать, а тем паче уничтожать, разве для этого надобно непременно закрывать глаза на племенные различия?

И на берегах Таджурского залива, и потом в Абиссинии, когда туда прибыли русские, повсюду и неоднократно я убеждался в том, что нашему мужику вовсе нет нужды в подобных рассуждениях. Больше того, он отлично замечает племенные различия, «необщее» выражение замечает, но суть-то в том, что раньше всего и прежде всего он видит перед собою *человека*. Этого вполне достаточно, ибо для нашего мужика, как для бога, нет душ черных, все души белые.

И еще одно. Мужик, что называется, себе на уме. Очутившись в обстоятельствах непривычных, неизвестных, незнакомых, он покладист, терпим, приметлив — ему необходимо многое перенять, многому научиться у того и от того, кто возрос именно здесь, в этой вот конкретной среде.

Практическую гибкость выказывал и Н. И. Ашинов. В Таджуре, например, любопытно было наблюдать его как бы в роли канцлера, ведущего переговоры с султаном Магометом-Сабехом. Они располагались под пальмою: громоздкий, бородатый и голубоглазый Ашинов в белой полотняной рубахе и шароварах, заправленных в сапоги, и безбородый, жилистый, рябоватый царек, задрапированный тогой, в белой чалме и сандалиях красного сафьяна. Приглашался переводчиком молодой абиссинец, кажется, учившийся в России, а теперь почему-то угнездившийся в Таджуре.

Сабех находился в зависимости от французов, он был у них на жалованье, которое выплачивалось не только деньгами, но и лимонадом, страстно любимым султаном. Н. И. Ашинов опасался противодействия французов, а платить соседу Сабеху ему было вовсе нежелательно*. Н. И. Ашинов обещал дружбу. И он сумел так преподнести свои обещания, что султан его же и одарил — мы получили в свое владение коров и кур, что для нас отнюдь не было лишним.

Больше того, султан не открыл наших намерений чиновнику, присланному из Обока мосье Лагардом, о котором я еще буду говорить. Чиновник, не выведав ничего от Сабеха, принялся стращать нас россказнями о жестокостях дикарей: они, мол, совсем недавно зарезали десятерых европейцев, рискнувших удалиться в глубь страны. Мы вежливо слушали, а сами как раз и занимались подготовкой к уходу в глубь страны.

Ничейная территория, избранная для Новой Москвы, находилась почти в сорока верстах от Таджуры. Вели туда козьи тропы, так что нечего было и думать о переноске тяжелых грузов. Их решили отправить морем, для чего и взялись строить большую плоскодонную посудину и плотить плот. Надо сказать, работали споро, как на общем покосе: каждому уж очень хотелось поскорее «сесть на землю».

Еще до выхода всей партии вперед отправился разведывательный отряд: шестеро вольных казаков, осетины во главе с Шавкуцем Джайрановым, а впереди — Н. И. Ашинов. Я присоединился, чтобы заранее определить тамошние условия с гигиенической точки зрения, в первую голову — качество воды, памятуя заветы нашего праотца Гиппократа, замечания которого о воздухе, воде и местностях не утратили своего значения, особенно в жарком климате.

Итак, мы двинулись первыми. Тесной кучкой, иногда взявшись за руки, мы шли обрывистым путем, шли в неизвестное, которое мы, однако, как нам казалось, ясно провидели.

Не буду описывать тяжкий путь, а прямо скажу о той местности, что была предназначена для «счастливого царства». Как всякая новина, оно возникло не на пустом месте, а на месте старого. Прежде всего, здесь был форт, старинное запустелое крепостное строение. Форт назывался *Сагалло*, но вольные казаки тотчас окрестили его кремлем; таким образом, Новая Москва с самого начала располагала своим центром. Там было несколько покоев, стены с амбразурами, внутренний двор, башня с флагштоком, все окружал ров, прерывавшийся воротами.

В стороне виднелись три каменных строения, изрядно порушенные. Впрочем, горный лес мог обеспечить колонистов строительным материалом, хотя его заготовка требовала значительных усилий.

---

* Примечание Н. Н. Усольцева на полях рукописи: «Опасения Н. И. Ашинова не были напрасными. Мы очень скоро узнали, что два лазутчика прекрасной Франции сыпали золото среди туземцев, подбивая их истребить русских».

Море плескалось рядом, горы, отступив от берега, открывали пространство, достаточное для земледелия. Прибавьте колодцы с превосходной водою (по пути попадалась лишь солоноватая), и уже можно заключить, что мать-природа позаботилась о нашем процветании.

Надо было видеть молитвенные лица вольных казаков, когда они наконец добрались до места поселения! То был миг почти экстаза, великой решимости возвести Дом Счастья, в котором заживешь надолго и который оставишь детям и внукам.

В особенности потряс нас с Михаилом Пан. тот самый старик Ананий Сергеевич Басов, что «много жил мыслью» и проповедовал спасительный всеобщий труд. В недели пароходного путешествия Ананий Сергеевич изнурился донельзя, в Таджуре он уж дышал на ладан и лишь усилием воли одолел последний крутой перевал, чтобы спуститься в обетованную долину. Никогда не забуду, как он пал на колена и медленно-медленно, выставляя вперед руки, приник к земле, коснулся земли лбом. Увы, не разогнулся он, не поднялся; я констатировал паралич сердца... Анания Сергеевича погребли у изножья гор, в тени тамарисков... Потом я часто думал о счастье предтеч, провозвестников; и еще я думал — потом, спустя время — о том, что, вероятно, всякая ложь произрастает из какой-то части правды... Но это, повторяю, все потом, спустя время. А тогда над могилой нашего первого покойника быстро сомкнулись волны забвения, потому что мы пылали энтузиазмом устройства, созидания.

Нетрудно, конечно, вообразить размах, сложность, перипетии этой деятельности. Мы вышли из России наследниками нищеты, отсталости, и Новая Москва располагала лишь minimum'ом, ну, хоть бы малым запасом хлеба. Нам не на кого и не на что было рассчитывать. К тому же мы уже сознавали враждебность соседей-европейцев.

Буквально с первых шагов хлынула прорва потребностей, которые там, в России, удовлетворялись как бы сами собою, без усилий, неприметно, уж во всяком случае, без размышлений, откуда что берется. Ну, кто из нас прежде размышлял над тем, что починка сапог требует дратвы, шитье одежды — иголки, топор — точильного камня, посуда — лужения и т. д., и т. д., и т. д. А теперь, в Новой Москве, каждый едва ли не десять раз на день озирался: ах, этого нет! ах, где бы это достать? ах, как же тут быть?..

Но вот что решительно подчеркну, так это то, что подобные недостачи и затруднения не порождали уныния, а воспринимались с терпеливой улыбкой, как преходящие.

То было молодое, бодрое время. Вспоминая его, я и теперь будто молодею, хотя и понимаю... Ну, понимаю-то это я теперь... Но ведь и вправду был праздник, когда в кузне полыхнул первый горн и наши гефесты застучали молотками! Ведь и вправду был праздник, когда неподалеку обнаружился каменноугольный пласт и Н. И. Ашинов сказал, что мы будем сбывать каменный уголь

мимо идущим пароходам! Ведь и вправду, был праздник, когда начались первые новоселья!.. Нет, как хотите, то было время первых радостей, поймет их только тот, кто сам пережил!

Мои записки были б необъятны, вздумай я изображать, как драли землю, рубили лес, ставили избы (некоторые, впрочем, сочли за лучшее шалаши на манер данакильских), как мирской силой устроилась пекарня, амбар общественного имущества, столярная и оружейная мастерские, хранилище боевых припасов, как ремонтировалось старое строение, где я расположился со своим больничным хозяйством.

В ту пору рельефна была черта нашего труженика: он работает порывами, в рвущем жилы напряжении, обнаруживая чудовищную энергию, работает до изнеможения, когда, как говорит мужик, «на пойло бросает», но, повторяю, работает порывами, а не методично, как, скажем, немец.

5

Взглянешь на долину с крыши форта или с гор — и видишь возделанные поля и виноградники, бахчи и сады с уже принявшимися апельсинными и лимонными деревцами, видишь дома колонистов, поставленные правильным порядком, а посреди обширную поляну с четою роскошных пальм, поляну, служившую плацем и форумом вольных казаков.

Данакильцы, не оставлявшие нас своим вниманием, говорили, что «москов» сотворил чудо. И они были правы, если под чудом разуметь материальное устроение. Конечно, многого недоставало, главным образом из того, что приобретается на деньги, однако все уже были сыты, обуты, одеты, все под кровлями и почти все, каким бы ремеслом ни владели, занимались «хлебным трудом», так что, пожалуй, старик Басов мог спокойно спать в своей могиле. Да, кажется, и каждый из нас мог спать спокойно, потому что все мы ели хлеб от трудов своих.

Волей-неволей мне придется анатомировать жизнь колонии, рассказывать как бы об отдельных разделах ее, хотя, понятно, все эти части и разделы в реальности были взаимосвязаны и взаимозависимы, как это и бывает в любом живом организме.

Хотя я теперь и сознал бесплодность иссушающих ум размышлений о сущности власти, начну все же с форта Сагалло, средоточия власти. В Сагалло с самого начала расположились Ашиновы, Шавкуц Джайранов с другими осетинами, штабс-капитан Нестеров. Какое-то время там жили и семейные, но едва построились, как перебрались из-за крепостных стен в долину.

Все отдавали должное уму, энергии, распорядительности Ашинова. Он пользовался общим уважением; его репутация стояла высоко. Никто из вольных казаков не мог да и не хотел забыть, что́ сделал атаман для всего нашего дела еще до того, как мы добрались до Африки. Да и здесь на первых порах немалое удалось благодаря авторитету Н. И. Ашинова. Возьмите, например, тяжкий

процесс заготовки и доставки строевого леса за 6—8 верст сквозь густые чащи неподатливого кустарника. Нечего греха таить, некоторые, будучи сильнее и проворнее прочих, отказывались помогать слабым, рахманным, как говорят мужики: сказывалось извечное крестьянское, какое наблюдается даже в работе грабаров, уж на что артельной артели. Н. И. Ашинов настоял на необходимости взаимопомощи, и его послушались, повиновались. Было и еще несколько подобных случаев.

Не без пристального внимания Н. И. Ашинова установились соотношения натуральной оплаты в обмен на изделия кузни, столярной, слесарной, портняжной мастерских. Наконец, авторитета Н. И. Ашинова достало и на то, чтобы начать всеобщие воинские занятия.

Николай Иванович никогда не говорил о завоеваниях, но постоянно оттенял, что живем мы не на луне и европейцы могут выступить против нас либо сами, либо посредством дикарей, хотя с последними мы покамест в дружбе. По всему этому, указывал атаман, каждый из нас должен быть готов отстоять свободу и независимость... Резонно. К тому же, известно, крестьяне уважают людей военных, как много вытерпевших и много повидавших, а Н. И. был человеком военным, боевым.

Шагистикой и ружистикой занимался у нас капитан Нестеров. Конечно, все это производилось тем же манером, как и вообще в полках. Но отмечу и особенности: во-первых, без рукоприкладства, вольные казаки этим очень дорожили, даже гордились; во-вторых, наша «армия» являлась, в сущности, поголовно вооруженным народом, что тоже весьма импонировало новомосковцам; в-третьих, унтеры были ровней всем прочим, только разве отличались тем, что достигли «унтерства» во время своей прежней службы, как, например, бойкий и смышленый Кирилл Осипенко, бывший вахмистр драгунского полка. (Кстати сказать, я приметил его еще в Одессе. Помню, Н. И. Ашинов говорил новичкам, явившимся «для записи»: «Нужны люди решительные! Предупреждаю: возможны случайности и неудачи...» В конце речи, по обыкновению краткой и сильной, из толпы выступил усатый здоровяк и крикнул, обращаясь к товарищам: «Кто трус — не ходи! У меня мастерская, я все бросаю — иду!» Ему ответили дружным «ура!».)

Ополчение требовало строгой организации, и наш атаман ее создал, распределив вольных казаков по шести взводам. Однако как бы вдруг, совсем для нас неожиданно, образовался *личный конвой*. Личный конвой Н. И. Ашинова из осетинов! Взводы, учения, стрельба в цель, знаменщик, барабанщик, ну, наконец, даже ординарец или адьютант — все это было понятно и приемлемо! Но личный конвой, драбанты-телохранители?!

У нас вошло в обыкновение сходиться вечерами у Ашиновых. Я говорю про некоторых из «интеллигентного меньшинства», то есть о нас с Михаилом Пан., отставном поручике 14-го Олонецкого полка Павле Михолапове, капитане Нестерове, двух московских студентах, бросивших университет ради колонии, похожих друг на

друга, как близнецы, да и по фамилиям почти неразличимых — Ананьев и Ананьин. Вот такой компанией мы часто сумерничали у Ашиновых или прогуливались по морскому берегу, беседуя и поглядывая на звезды.

Возникновение личного конвоя сильно озадачило нашу компанию. Правда, не всю, исключая хотя бы капитана, каковой находил это вполне естественным, по штату полагающимся атаману. Михаил Пан., всегда чуждый политеса, да и не считавший, что политес нужен в отношениях равных с равным, Михаил Пан. напрямик высказал Н. И. Ашинову наше недоумение.

— А знаете ли вы, что за господин являлся недавно из Обока? — вопросом отвечал Н. И. Ашинов. Мы мельком видели негоцианта, он ненадолго заглядывал к нам. — А это был, — угрюмо усмехнулся Н. И. Ашинов, — шпион от французских властей!

Михаил Пан.: Гм, откуда известно?

Н. И. Ашинов: В Обоке есть верный человек.

Михаил Пан.: Допустим. Но тогда выходит, что вы ведете сношения с людьми, о которых знаете только вы?

Н. И. Ашинов: Что ж худого? Неужели жить, как слепым котятам?

Я: Вот как раз потому-то, что мы не желаем *так* жить, мы и не желаем, чтобы было нечто, известное вам одному и неизвестное никому из нас.

Н. И. Ашинов: Бывают тайны, необходимые для общего блага.

Михаил Пан.: Но где ж предел тайного и явного? Вы, ради бога, не думайте, не бабье любопытство, а принцип, на котором стоять Новой Москве.

Н. И. Ашинов: Ох, «принцип, принцип»! Позвольте попросту: принципы, знаю, очень хороши, да только всякому практическому деятелю приходится глядеть не под углом зрения принципов, а под углом зрения потребностей...

Разговор, и до того раздраженный, принял характер почти ожесточенный, ибо мы впервые столкнулись с откровенным высказыванием нашего атамана на тему морали и политики. Это высказывание, в сущности, укладывалось в формулу: мораль — вне политики, а политика — вне морали. Но в таком случае все, ради чего Новая Москва... Нет, в ту пору ни Михаил Пан., ни я еще не могли, не смели мыслить до конца. Это было непосильно, это было слишком ужасно, страшно.

Между тем Н. И. Ашинов распространился в том смысле, что нам, интеллигентам, свойственны шаткость и неустойчивость, что, мол, нашему брату, прочитавшему две-три лишние книжки, этого уже достаточно, чтобы претендовать на руководительство...

Удар пришелся чувствительный. Никто из нас не претендовал на власть, а желал участвовать в общей работе, и только.

«Но вот же вы спорите, горячитесь, друзья мои», — укорил нас Н. И. Ашинов. Михаил Пан. возразил общим местом: дескать, в спорах рождается истина. Н. И. Ашинов не остался в долгу: «А зачем, к чему нам споры по любому поводу? Нам они не нужны, а

если и нужны, то лишь такие, от которых плюс народному делу...» После этого вечерние собрания и приморские прогулки утратили прелесть непринужденности. И странно, мы, «шаткие интеллигенты», ловили себя на том, что испытываем какую-то неловкость перед Н. И. Ашиновым, нас же и обидевшим, если не оскорбившим. И когда он однажды вместе с Софьей Ивановной вдруг запросто и дружески посетил нас, мы очень обрадовались, почувствовали облегчение... Но прежде я расскажу...*.

Но прежде очерк «тонконогих» — так вольные казаки не без иронии окрестили «образованных», принявшихся «не за свое дело».

Когда-то я имел протоколы, они до некоторой степени отражали жизнь нашей общины; к сожалению, утрачены. Впрочем, может, и к лучшему: суть не в частностях; кстати сказать, как раз именно поэтому я не намерен называть имена.

В Сагалло, как упоминалось, были интеллигенты; их было немного, но они были, и почти все люди молодые**. Обретаясь в России, мы мучились неоплатностью долга перед народом: пот, кровь, труд народа обернулись для меньшинства университетскими познаниями. Были среди нас и такие, что подошли к роковому рубежу, с маниакальным постоянством задаваясь грозным вопросом: «Есмь я или нет меня?» Право на жизнь дает только работа, а у меня нет работы, то есть коли и есть, то как бы вне меня, помимо меня, а моей личности в ней нет, и потому-то и нет уважения к своей личности, и потому-то совестно существовать. Кроме того, постоянно пригнетало сознание необязательности собственного бытия, ощущение песчинки на ободьях колесницы «прогресса». Для подобных людей, а их среди нашей, новомосковской, интеллигенции было большинство, Новая Москва явилась последним средством поверки: отряхну скверну городской жизни, откажусь от разлагающего комфорта, от привычки плевать в потолок, называя это плевание «размышлениями», займусь тяжким физическим трудом, буду терпеть лишения, а тогда уж и выясню, есть ли у меня воля к настоящей жизни, есть ли во мне настоящая любовь к народу. (И не только *терпеть* лишения, а и *насладиться* лишениями. Вот какой мотив еще! Он не патологичен, он как у первых христиан.)

Отчетливее, полнее всех прочих обитание интеллигентов в Новой Москве рисовалось Федоровскому. Начать с того, что он умел хозяйствовать. Тюрьма, говаривал Михаил Пан., она, проклятая, в

* Строка не дописана. Рядом с нею, на полях, карандашом: «Из тогдашнего, памятного разговора с Н. И. Ашиновым выяснилось, что личный конвой нужен для охраны от наемных убийц. Нам казалось не совсем ловким убеждать Н. И. Ашинова в его безопасности; да, впрочем, кто бы взял на себя смелость поручиться за это?»

** Если верить тогдашней прессе, в экспедиции Н. И. Ашинова участвовало 30 интеллигентов («Правительственный вестн.», «Петербургская газета»). По архивным материалам нам удалось установить нескольких сотоварищей М. П. Федоровского и Н. Н. Усольцева. Ими были, например, народный учитель Вороновский, студент Беляев, исключенный из Харьковского ветеринарного института «за участие в бунте».

некотором смысле на пользу белоручкам: там и столярничают, и сапожничают, и огородничают; а уж поселение — и вовсе академия, где выучиваются и косить, и пахать, и «около скотины»...

(Вспоминая и вдумываясь в прожитое, я склоняюсь к мысли, которая, очевидно, показалась бы еретической моему покойному другу. Я теперь думаю, что идеал общежития, возникавший в сознании, а то и на деле, в реальности, в среде *ссыльнопоселенцев* никак не мог вкорениться без насилия в среду *вольных переселенцев*. Одно дело существовать некой общиной, когда она временная, когда некуда деться, когда она надиктована принудительными обстоятельствами, и совсем иное, когда совместное хозяйствование желают взбодрить на началах, независимых от принуждения. Но к этому я еще вернусь.)

Итак, Михаил Пан. Федоровский и его верный последователь, пищущий эти строки, были основателями интеллигентской общины. Мы не исповедовали правила скитского житья, а намеревались представить самих себя в делах своих. Надо наперед сказать, что вместе с тем мы хотели преподать вольным казакам наглядный пример совместного проживания, достойный человека. Пример, и только, отнюдь не какую-то вновь испеченную регламентацию. (Я и теперь, после всего пережитого, не думаю, что подобная задача достойна насмешливой улыбки. То есть результат-то, может, и достоин, но само устремление — нет.)

Н. И. Ашинов не только не возражал против нашего образа жизни, но, как и мы, видел в нем образец, достойный подражания. Тут наши вгляды были тождественны.

В русском земледельце, говорю без преувеличения, весьма развит поэтический элемент. Дело свое он знает отменно, но сверх того способен залюбоваться им. Прав был тот, кто писал, что истый пахарь не только аккуратно вспашет, но и тихо залюбуется своей пахотой. Есть такие, которым претит плуг, вытесняющий соху: плуг-де лишит пахаря, так сказать, артистичности работы. Вот так же старые портные, всю жизнь с одной иглою, недолюбливают швейную машину: ею, дескать, каждый может, а ты, брат, попробуй, как мы...

Второе. Русский земледелец не только поэт в душе, но и весьма сметливый хозяин. Тот, кто жил в деревне, а не читал про деревню, знает, как умно и толково взбадривает мужик свое дело. И нет для него худшей пагубы, как стороннее вмешательство в дело, регламентация дела. А между тем такое вмешательство, такая регламентация нет-нет да и налетали, как эпидемии. Года за полтора-два до моего приезда в N-скую губернию начальству, сидящему в городе, вздумалось назначить *точный,* строго непременный срок, когда сеять озимь: 10 августа, ни днем раньше, ни днем позже; а за ослушание — штраф. И ни одна-то бедовая головушка не призадумалась, что мужику-то виднее, что он себе не враг, что он сеет, когда земля дышит особым «посевным духом», когда она «посевна».

Но — кому же секрет? — большинство русских земледельцев

год от году «слабеет», «идет в разор»; мало земли — беда, много земли — опять беда, ибо «земля осиливает». Процесс мужицкого разорения не остановить химией, агрономией. Остановить может (как полагал не я один) только новый способ хозяйствования.

Путь, чаемый нами, представлялся своеобычным, нам предназначенным и, нечего скромничать, именно таким, какой решит вопрос не только для русских земледельцев... А главнее всего, то был способ, с которым не мог не согласиться умный крестьянин. Уж кто-кто, а он-то понимал и знал, что большая семья богата лишь тогда, когда действует совместно, и беднеет тогда, когда начинает дробиться, неизбежно дробя хозяйство.

Так за чем остановка? Отчего мужики, большие доки в своем деле, отчего они, эти рациональные мужики, не объединяются в союз, в артель и не принимаются добровольно за совместную обработку земли?

Нами усматривались по крайней мере две основные причины, а первая из них — косность. Мужику требуется продолжительное время, дабы он решился на новое дело; он долго приглядывается и долго примеривается, будучи не в силах отрешиться от векового наследства, от традиций поколений, от заветов предков.

А второе в том, что наш мужик отнюдь не пейзан, каким он подчас выглядит под пером тех народолюбцев, которые, хотя и невольно, выдают чаемое за действительное. Деревенский труженик в массе своей есть крайний индивидуалист, он не имеет ни малейшей охоты работать чужую работу, а что ему непременно придется работать ее за ленивца, дурака или слабосильного — в том он твердо уверен. Крестьянин не только крайний индивидуалист, но еще и в известной мере кулак, ибо ему свойственно стремление выжимать сок из ближнего; в таком стремлении он не усматривает ничего зазорного — дескать, чего там, охулки на руку не клади!

Итак, две основные причины. Однако важнее не вторая, а первая, то есть косность. Здесь-то и всплывала великая задача интеллигентного меньшинства. Не регламентация, не циркуляр, а пример! Лишь силою убеждения можно было бы сломить силу косности.

Нечего скрывать, многие из нас боялись физического труда не потому, что он труден, а потому, что этот мужицкий труд в хозяйстве вовсе не так прост, как порой представляется тем, кто оплешивел в канцеляриях. Работать на земле, и работать производительно, хорошо, может не тот, кто лишь силен мускульной силой, а тот, кто с малых лет постигал тайны древнего ремесла. Но это вовсе не означает, что оно для интеллигентного человека, выходца из гимназии, бурсы или кадетского корпуса, книга за семью печатями. Было бы желание и терпение. И доказательством тому наша небольшая община.

Первым делом мы, как и все вольные казаки, устроили свои жилища, а потом взялись за хозяйство. Потребности наши были урезаны до minimum'а. Поднимать пришлось девственную почву, дел навалилась прорва, но каждый старался изо всех сил, будучи

крепок духом, будучи увлечен высшей идеей настолько сильно, насколько могут быть увлечены люди молодые, бодрые.

День наш распределялся примерно так: поднимались с восходом солнца, в полдень обедали, потом — сон, а часов с четырех-пяти и уж до заката — опять в поле. Напряжение было жестокое, однако все мы чувствовали себя хорошо, больных не было.

Замечу, что местные условия облегчали физический труд. У нас, в средней России, полевые работы требуют трех месяцев, и в этот сжатый срок земледельцу приходится «вытянуть все жилы», а здесь полевые работы длились месяцев шесть, стало быть, приходилось вдвое легче.

В хозяйственном смысле наша община не отстала от прочих вольных казаков, которые работали по отдельности. Но этого было, конечно, недостаточно. Преимущества коллективности еще не выявились разительно. Однако уже наметилась тенденция, и в недалеком будущем можно было перейти от производительно-потребительного образа жизни к производительно-накопительному.

Но ведь пример коллективизма заключался не только в материальном благополучии, хотя мы его ставили высоко, и не только в обретении личного удовлетворения, хотя мы и весьма в нем нуждались. Нет, мы объединились не ради «единого хлеба», и теперь надо говорить о нашей нравственной жизни.

На одном из собраний, а мы собирались в период дождей, когда страда отходила, на одном из таких собраний Михаил Пан. предложил обсудить составленные им коренные положения товарищества. Кодекс, если кратко, заключался в братском доверии, в заботливости каждого о каждом, в отсутствии копеечного самолюбия, в обоюдной критике, критике публичной, открытой. Далее предлагались меры оживления и поддержания умственной жизни, так как наше товарищество не хотело, чтобы мускульный труд заглушил духовные потребности, чтобы члены общины утратили интеллигентность и животные свойства возобладали над нравственными. Здесь, по нашему мнению, также были необходимы коллективные формы, ибо отдельному сознанию не дана истина. Стало быть, нужны были общие суждения, общие рассмотрения накопившихся вопросов, возникающих мыслей.

Все это было принято с воодушевлением. Были у нас и коллективные чтения (книгами запасся каждый еще дома, в России), в которых участвовала и С. И. Ашинова, а иногда и сам Н. И. Ашинов. Были у нас и коллективные обсуждения нравственных свойств и недостатков имярек. Таким образом, возникала вроде бы гармония, которая была нам (особенно Михаилу Пан.) дороже всего.

Забегая вперед, как это постоянно выходит в моих записках, я должен с горечью признаться, что так было лишь поначалу. С течением времени энтузиазм остыл, явились раздражение, леность мысли, потребность, да-да, именно потребность, сперва даже как бы и не осознанная ясно, в уединении, в обособлении, какая-то усталость от постоянного, всегдашнего общежития. Явились, наконец, раздражение, соперничество, разобщенность.

Тяжело, горько было. Но мы, то есть Михаил Пан., я, грешный, и еще некоторые, не теряли надежды на возрождение гармонического настроения и нравственной солидарности. Мы верили, что идеал осуществился бы, когда бы не встали на пути обстоятельства, от нас не зависящие. К тому же нас до времени поддерживала мысль о постепенном переходе всех граждан Новой Москвы к коллективному хозяйствованию...

На первых порах наше товарищество вызывало насмешливую реакцию вольных казаков. Как бы хорошо они ни относились к нам, но мы, на их взгляд, принадлежали к «белой кости», а коли барин берется за мужицкий труд, проку не жди. Потом, заметив, что и у нас не все из рук вон, заметив, что мы уж не только производим и потребляем, но производим, потребляем и прикапливаем, вольные казаки насторожились. Но это еще не было настороженностью, смешанной с желанием перенять опыт. Нет, то было опасение, как бы из нас не выпестовались настоящие мужики, и в этой опаске угадывалось нежелание настоящих мужиков утратить свое значение в подлунном мире, значение кормильцев-земледельцев, коим каждый из них втайне гордился.

Помню, один из вольных казаков, Степан Емшанов, удивительный силач, придет, бывало, под вечер, обдернет рубаху, как-то весь огладится да и начнет: «И к чему это тебе, Миколаич, жилы вытягивать? А? Тебя, Миколаич, учили-учили, небось и пороли» и т. д.

Я отвечал, что докторское ремесло не похерил, что он, Степан, знает, что прием у меня в больничке каждый день, а на земле я работаю, потому что такую жизнь считаю правильной. Он возражал, что мужики между собою порешили, чтобы мой докторский труд оплачивать работой на моей земле... Я повторял мысли покойного старика Басова, прибавляя похвалы совместному способу ведения хозяйства... Емшанов отвечал неопределенными междометиями, но, уходя, ронял словечко «зря!», как бы перечеркивая все мое пропагаторство...

Я выше говорил о крестьянском индивидуализме и косности, осмотрительности, недоверчивости.

В первые годы по освобождению от крепостной зависимости крестьяне избегали отдавать детей в школы; школа представлялась какой-то повинностью, обременительной, как и прочие. В крестьянской семье «детенок», едва выбравшийся из люльки, уже работник, а при неурожае еще и незаменимый сборщик кусочков*... Однако с течением времени, особенно при усиливающемся отливе в город, крестьяне стали сознавать необходимость грамоты и заводить свои школы; любопытно, что к образованию потянулись даже взрослые парни, вечерами приходившие к учителю «понатореть в грамоте». У нас, в Новой Москве, главной деятельницей просвеще-

---

* Имеется в виду распространенное в царской России «хождение в кусочки», которое не было «профессиональным нищенством», а было как бы формою взаимопомощи. «В кусочки», собирать хлеб отправлялись зимою жители неурожайных деревень, чаще всего женщины и дети.

ния была Софья Ивановна Ашинова. Школа помещалась в особой избе на краю «форума»; в отличие от деревень России, где сельский учитель, нанятый самим обществом, кормится в очередь, по дворам, вольные казаки доставляли жене атамана «пропитание» в форт.

Признавая грамотность существенным фактором, мы все же, повторяю, видели нашу капитальную задачу не в преподавании азбуки, а в преподавании примера общего хозяйствования, выгоды которого через какое-то время выразумел бы и «серый» из «серых». В этом смысле уже блеснул первый луч.

Я еще ни разу не упоминал вольных казаков, приставших к нам на пути в Таджурский залив. Это были матросы с русского парохода, доставившего нас в Порт-Саид*. И теперь, в Новой Москве, эти разбитные парни составили тоже артель, правда маленькую. Правда и то, что в матросской артели хлебный труд не был определяющим — основной прибыток давало рыболовство. Они пользовались фелукой, подаренной нам таджурским султаном. Залив у Сагалло изобиловал крупной кефалью и другой рыбой; между прочим, в страшном количестве водились жирные угри, и наши вольные казачата, в часы отлива выворачивая камни, ловили их руками.

Так вот, бывшие матросы первыми последовали нашему примеру, и мы этому обстоятельству очень радовались. Но, повторяю, мы, пионеры и закоперщики, хотя лед и тронулся, не рассчитывали на скорый «ледоход» в сторону всеобщей, новомосковской корпоративности.

По-иному, оказалось, смотрел на дело Н. И. Ашинов, а вместе с ним и капитан Нестеров. Но прежде чем мы узнали об этом, случилось происшествие, имевшее печально-знаменательные последствия.

6

В один непрекрасный день разнеслась весть об исчезновении семерых вольных казаков, в их числе участника нашей артели Павла Михолапова, бывшего поручика.

Время стояло страдное, значит, никто из них не мог и помыслить об охоте в горах. Стали гадать: не преступление ли? По известной человеческой склонности подозревать в преступлениях иноплеменников кое-кто заподозрил «козни дикарей» или «ангелов», то есть французских агентов. Но ведь данакильцы запросто гостили у нас, неизменно выказывая нам дружественное расположение и мирно выменивая полотно на своих овец, коз, баранов; а французские «ангелы» давно уж не показывались, да и не имели резона похищать наших людей.

Н. И. Ашинов первым предположил побег. Это показалось мне нелепым. К моему удивлению, предположение атамана разделил Михаил Пан.

* Нам удалось установить фамилии двух из них: Степовой и Картамышев.

«У нас, за Байкалом, на поселении, — рассказал он, — был один старик, Иван, не помнящий родства, то есть бродяга. Он был хил, немощен и, разумеется, прекрасно знал, что уж невмоготу, как прежде, в молодости, бродить по тайге, переплывать реки, ночевать под звездами и прочее. Но вот наступала весна, раздавалось кукование кукушки, и старика охватывало какое-то странное томление, какое-то беспокойство. Он вздыхал: «Вишь, генерал Кукушкин зовет...» Так он мается, вздыхает, места себе не находит да вдруг, глядишь, — нету, ушел! Эх, понять его надо, вот что! Ведь для него-то не просто кукушка куковала: нет, для него в том голосе бился импульс молодости, волюшки, и вот он уходил куда глаза глядят... Одиссей, тот себя к мачте привязывал, когда сирены пели, а нашему Ивану разве что обратно в тюрьму проситься. И знаете ли, — продолжал Михаил Пан., — было что-то удивительно трогательное в этом неудержимом стремлении, хотя бедолага-то знал, что его ожидало. Так нет, не может устоять, не может противиться — уходит! Я, я думаю, — заключил Михаил Пан., — наших-то семерых тоже «генерал Кукушкин» позвал...»

Н. И. Ашинов нашел соображения моего друга интересными (он сказал: «забавными»), но недостаточно глубокими: «Этот случай — совсем иной. Вольные казаки осуществляют великое дело и не могут терпеть дезертирства!»

Так неожиданно и резко, торчком встал вопрос, которым никто из нас не задавался дома, в России, и который, казалось, никогда не будет дебатироваться у нас, — вопрос о праве на уход. По моему твердому разумению, тут и вопроса-то никакого быть не может, не должно быть. Где человеку прожить свою жизнь? Э, позвольте, вольному воля! А теперь-то у нас, на берегах Таджурского залива, оказывалось вона что: нельзя терпеть *дезертирства*.

Спасать «несмышленышей» (определение Н. И. Ашинова) вызвался Шавкуц Джайранов со своими удальцами. Атаман велел им отправиться тотчас.

(В часы, не занятые караульной службой в форту, личные конвоиры Н. И. Ашинова пробавлялись охотой на антилоп, фазанов, куропаток, зайцев, кабанов... Ну и понятно, осетины досконально изучили окрестности.)

Сутки минули, и беглецов доставили в Новую Москву. Это было ужасно: руки, заломленные за спину, связаны, идут цепочкой, друг за другом, на одной веревке — так, наверное, водили кавказских пленников. Но самыми ужасными были лица: не потому, что они были усталыми и запыленными, а потому, что не отображали ничего, кроме тупой покорности. Лишь нервное лицо Павла Михолапова, нашего сотоварища, гневно подергивалось.

А самым замечательным, если здесь позволительно это слово, самым замечательным было поведение вольных казаков, когда колокол собрал круг на поляне, на этом нашем форуме. Замечательным в их поведении было отсутствие всякого поведения. Собравшиеся, прости господи, казались стадом, ожидающим повеления пастыря.

Н. И. Ашинов вышел на середину «веча». Атаман был, как всегда, в просторной чистой белой рубахе с черкесским ремешком, в барашковой шапке, в мягких сапогах. Он снял шапку, поклонился и стал говорить. Говорил он как всегда, то есть медлительно, будто с трудом подбирая слова, со скупым, редким жестом, пряча в усах не то слабую улыбку, не то ухмылку. Короче, предстал всегдашним, неизменным. Я и теперь не берусь определить, было ли Н. И. Ашинову органически свойственно это поразительное спокойствие, или он умел показывать себя поразительно спокойным. Во всяком случае, цель достигалась: он оказывал на слушателей магическое, точно бы парализующее действие. Я думаю, аффектацией, красноречием, ораторскими жестами не достигалась бы и сотая доля.

Смысл речи заключался в следующем: в то самое время, когда совершается великое и святое дело, принося обществу все новые и новые успехи, в то самое время находятся дезертиры; европейцы в сопредельных странах утверждают свое могущество караулами и арестами, кандалами и кнутом; мы не хотим применять подобных средств, ибо мы утверждаем наше могущество на доброй воле; но подлинная свобода не есть неограниченная свобода личных действий, наносящая ущерб общему делу и т. д.

Едва он умолк, из толпы закричали: «Ура атаману!» — и все подхватили «ура». Я думал, дело кончится увещеванием, но следом вышел в круг Нестеров. Этот человек ревностно занимался обучением нашего вооруженного народа; особенной интеллекцией он не блистал, но был сообщителен, бодр, казался симпатичным, хотя было что-то неприятное в том, как близко и покорно держался он подле Н. И. Ашинова.

«Наш русский народ, — зычно и бодро заговорил капитан, — нуждается в крепкой, дисциплинированной организации. Как верно указывает наш атаман, свободой надо уметь пользоваться! Пока мы были в Одессе, где ухо поминутно тревожил свисток городового, а перед глазами сиял полицейский мундир, напоминая об участке, там каждый вел себя скромно. Теперь мы живем без свистков, участков, полицейских мундиров. И что же? Находятся люди, которые... (Здесь он повторил уже сказанное Н. И. Ашиновым, но, повторив, пошел, что называется, дальше.) Конечно, мы можем попросту изгнать дезертиров — скатертью дорожка! Однако каждый несет ответственность за каждого, у нас *новая* круговая порука. Мы, вольные казаки, идем первыми. Наш путь труден не только потому, что нам трудно, но еще и оттого, что на нас смотрит весь свет. Нет, мы не можем попросту изгнать нерадивых. Мы должны их исправить!»*

---

* Архивный документ подтверждает правильность изложения Н. Н. Усольцевым того, что происходило на «форуме». Автор «Записок», если верить тому же документу, ошибается лишь в одном: предложение «исправить» беглецов, используя их на «общественных работах», исходило от самого Н. И. Ашинова. (Архив Ин-та народов Азии АН СССР Ленингр. отд., разряд III, опись 3, д. 36/304. Бумаги капитана Н. Я. Нестерова.) В дальнейшем цитаты из этого источника приводятся без ссылок на архив.

Опять закричали: «Ура атаману!» Мы переглянулись с Михаилом Пан., его губы шептали: «Ну, довольно... Это уж...» — в чрезвычайном волнении он стал проталкиваться вперед. Он так и не совладал со своим волнением и негодованием, его голос пресекался, и то, что он говорил, понимали лишь немногие, а большинство недоумевало, не могло взять в толк, отчего Федоровский так «ломит». А говорил Михаил Пан. вот о чем: самоценную личность нельзя приносить в жертву общему делу, пусть и святому...

Н. И. Ашинов грозно хмурился, его лицевые мускулы напряглись и отвердели, но потом под усами его легла эта странная, загадочная не то улыбка, не то ухмылка. Он жестом придержал Нестерова, который, кажется, рвался оппонировать Михаилу Пан. Я думаю, Ашинов уловил равнодушие толпы к мудреным словам Михаила Пан. А тот умолк, и вид у него был потерянный, оглушенный.

Автономия личности! Самоценность жизни! Увы, наша доктрина была, очевидно, еще недоступна вольным казакам. Да и когда, где могли они проникнуться ею?

Между тем у Н. И. Ашинова, в отличие от нас с Федоровским, все, сдается, наперед было рассчитано; с завидною таки твердостью держал он кормило. Легонько, но властно отстранив бледного, взъерошенного Михаила Пан., Ашинов опять обратился к вольным казакам и сказал примерно следующее:

— Да, жизнь и счастье каждого человека, несомненно, дороги. Есть, однако, и более дорогое — жизнь и счастье общие, когда люди проживают как один человек, заботясь друг о друге и помогая друг другу. И как раз потому, что нам по сердцу благополучие каждого, мы не можем позволить отделяться, ибо человеку одному нельзя, он погибнет; община — важнее единицы.

Стыдно признаться, но, слушая Ашинова, я будто слышал бóльшую правду, нежели та, которую проповедовал мой друг. А когда Ашинов предложил учредить *выборный суд*, почувствовал, что примирился с ним. Ведь выборный суд — это уж не атаман, а глас народа.

Однако послышались крики: «Не надо! Не надо! Суди сам, батюшка!» Стороннему наблюдателю, не знающему русских крестьян, такой призыв — «Суди сам!» — представился бы высшим проявлением уважения и доверия к Н. И. Ашинову. И оно, конечно, было, но в данном случае мотив был иной.

Наш мужик ужасно не любит повинности, которые, как он выражается, надобно платить «натурой». К таковым он относит все, что требует его личного участия: например, волостной сход, куда посылают выборных, или, скажем, установку зимних дорожных вех; кстати, воинскую повинность крестьянин тоже относит к числу «натуральных». В особенности не любит он окружных судов. Мужики говорят: «*Пригнали* меня в присяжные...»

В этом отчуждении есть два момента. «Кому охота? — толкуют мужики. — Только от делов отрываешься да врагов наживаешь» — это первое. Засим второе: крестьянин лишен самых

элементарных юридических сведений, а потому, естественно, на судебном процессе чувствует себя худо, понимая, что всякий господин, скрипящий пером, объедет его на кривой, да так, что и моргнуть не поспеешь. Кроме того, в крестьянской среде, насколько мне известно, судейские пользуются самой дурной репутацией: «Судьи — народ неважный, ненадежный, большей частью пьяницы и кляузники, им бы только нас морочить да обирать...»

Иначе смотрит мужик на свой суд — «соседский»: обратись с иском к старосте, тот стариков позовет, они и рассудят. Для крестьянина вся юрисдикция основана на обычае. На обычаях основывает свои приговоры соседский суд, ведению которого подлежат одни наследственные вопросы. Вынося приговор, руководительствуются принципом: «Главное, чтоб никому обидно не было!»

Теперь, когда предстояло учредить наш выборный суд, «интеллигентное меньшинство» взглянуло на дело не так, как большинство. Мы увидели в этом суде рупор справедливости, народного мнения, а они усмотрели что-то схожее с волостным судом. Ну, хотя бы потому, что первый же вопрос, нуждающийся в разбирательстве, вовсе не укладывался в «обычай». И еще одно: как бы убедительно ни говорил атаман об общем деле и подлинной свободе, якобы несовместимой с индивидуальной, и как бы дружно ни кричали «ура!» атаману, но в душе вольных казаков, думаю, не было ясного сознания виновности семерых: ведь в конце концов их поступок не нанес миру никакого ущерба...

Как бы там ни было, приступили к выборам. Вольные казаки держались своего: из нас, мол, не надо никого выбирать, пусть судят сам Николай Иванович Ашинов с капитаном Нестеровым да еще кто-нибудь из грамотных.

Н. И. Ашинов сразу же отверг свою кандидатуру. Он явно предпочитал держаться за кулисами. Едва я приписал атаману именно этот мотив, как поймал себя на мысли, что за минуту до того примирился с ним.

Избирали судей наскоро; чувствовалось, что вольным казакам хочется поскорее воротиться к обыденным заботам. Вообще, я не раз подмечал это равнодушие ко всему, что не увязывалось напрямую с землей и хозяйством.

Избрали Степана Емшанова, избрали еще одного человека, склонного к гульбе и не очень-то склонного к «хлебному труду», и, наконец, меня — «грамотей», мол.

На другой день в одном из помещений форта состоялось «судоговорение». Забыл отметить, что «подсудимых» держали там же под охраной джайрановских кунаков.

Неожиданно для меня, а в еще большей степени неожиданно для Михолапова «судья» Емшанов обвинил последнего в краже! Михолапов, дескать, накануне побега украл свечи и пудру, принадлежавшие С. И. Ашиновой! Это было нелепо, но это, увы, не было глупо, как могло бы показаться. Я не ожидал от Ашинова столь примитивного и грубого маневра, а в том, что маневр измыслил атаман, ни я, ни Михолапов не сомневались. Тут все было

задумано для того, чтобы погубить репутацию Михолапова. Не было даже нужды доказывать виновность Михолапова, надо было лишь пустить слух, а он был пущен: вор-де этот Михолапов. «Судьи», то есть Емшанов и этот второй (фамилия совершенно вылетела из головы), даже и не настаивали на своем обвинении, а когда я потребовал вызова «потерпевшей», отвечали с наивностью, достойной лучшего применения: нечего, дескать, попусту беспокоить почтеннейшую Софью Ивановну!

Михолапов был подавлен. Я выразил ему искреннее сочувствие, чего, очевидно, делать не стоило, ибо его как передернуло.

Потом я спросил о причинах побега. Павел Михолапов, несколько овладев собою, отвечал: «Я намеревался вывести своих друзей на широкую дорогу и дать им средства к свободной жизни». Объяснение показалось мне несколько туманным. Скользнуло, каюсь, нехорошее подозрение: а не хотел ли поручик оказаться, так сказать, первым в деревне, не хотел ли он сделаться «маленьким Ашиновым»? Впрочем, я не высказался вслух... Что же до остальных беглецов, то они в один голос твердили: нас-де подбил Михолапов.

Емшанов и этот второй «судья» решили наказать всех... розгами. Я, конечно, решительно протестовал, не пускаясь в полет высоких рассуждений, тщету которых доказал печальный опыт Михаила Пан., я привел известную крестьянскую сентенцию: розгами плохого человека не исправишь, а хорошего, пожалуй, испортишь.

Примечательно, что «подсудимые» приняли «приговор» не только спокойно, но даже как бы с радостью. Они, вероятно, страшились чего-то небывалого, а тут выходило нечто весьма привычное.

(В практике волостных судов стародедовская лоза гуляла вовсю. Напротив, наказание «общественными работами», насколько я знаю, почти не применялось, как «неудобоисполнимое», требующее надзора.)

Но мы были вольными казаками, и вот у нас-то окажутся возможными принудительные «общественные работы?» Оба «судьи», встретив мое сопротивление, отправились к атаману. Тот розги отверг, а вменил в наказание — исправлять земляной вал у крепости под присмотром все тех же джайрановцев.

Павел Михолапов тогда же на «суде» объявил, что ежели его осмелятся бить розгами, то он наложит на себя руки, «но прихватит на тот свет и еще кое-кого». От «общественных работ» он наотрез отказался. По приказу Н. И. Ашинова его заперли в одном из закоулков форта — «покамест не одумается» (слова Н. И. Ашинова).

И сам этот «судебный процесс», и то, что Н. И. Ашинов взял на себя роль окончательного арбитра, и этот «приговор» — все это ни порознь, ни вкупе не произвело ни малейшего действия на вольных казаков. Они жили так, словно бы ничего не произошло, ничего не переменилось.

Ну а в нашем маленьком интеллигентном братстве? С одной стороны, мы, если хотели оставаться верными принципу «народ

все сам», не должны были вмешиваться; с другой стороны, мы, если хотели оставаться верными принципу самоценности свободной личности, должны были протестовать.

Михаил Пан. сделался угрюм и молчалив. Все мы замкнулись в себе, будто чего-то ожидая.

А теперь, годы спустя, написав эти строки, могу прибавить: громадная, определяющая все последующее разница между людьми типа Ашинова и людьми типа, скажем, Федоровского состоит в том, что Ашиновы бестрепетно указывают: вот что следует делать! А Федоровские мягко советуют: живите и работайте так, чтобы не мешать друг другу, еще лучше — так, чтобы помогать друг другу. Указание Ашиновых — приказ повиноваться; совет Федоровских — призыв к свободе. Но люди охотнее, скорее и легче (да, да, легче) повинуются Ашиновым, нежели принимают советы Федоровских, ибо последнее требует не только «шевеления мозгами», но и личной ответственности.

7

Некоторое время спустя после осуждения семерых беглецов я получил неожиданное приглашение к Ашиновым на чашку чаю. Говорю — неожиданное, потому что отношения наши с Николаем Ивановичем установились весьма холодные, если не сказать враждебные. Кроме того, в прежние дни мы «сумерничали» пусть и тесным, маленьким, но обществом, а тут приглашение персональное. Однако ведь не отказываться ж было, и я отправился.

У ворот форта стоял караульщик-джайрановец. Я уже давно не посещал крепость и взглянул вокруг как бы новыми глазами. Все на дворе было по-прежнему, если не считать множества цветов, разведенных Софьей Ивановной и самим Ашиновым, который очень любил цветы.

Ашиновы встретили меня более чем радушно. «Ведь вот, Николай Николаевич, старых друзей стали забывать», — попенял, улыбаясь, Ашинов. Он обладал удивительным обаянием, умел расположить в свою пользу, и притом не прибегая ни к лести, ни к заискиванию, нет, оставаясь таким, как всегда, разве что в голосе, несколько глуховатом, с хрипотцою курильщика, начинали звучать доверительные интонации.

В тот вечер он был особенно обаятелен, и я ощутил себя почти подвластным этому человеку, к которому, повторяю, только что питал совсем не дружеское чувство. Может быть, сказывалось присутствие Софьи Ивановны?

Тот вечер был тихий, звездный, с шелестом близкого моря, с ровным пламенем свечей. О недавнем, о беглецах не было речи; я был в гостях и не считал удобным говорить о том, что нас разделяло, хотя принципы требовали говорить именно об этом. Мы беседовали о хозяйственных делах как всей колонии, так и нашего отдельного товарищества, и беседа была «приятной во всех отношениях», так как время выдалось очень удачное, урожайное,

благополучное. Наше товарищество Н. И. Ашинов хвалил, замечая, что наш пример *уже* оказывает благое и «заразительное» действие на вольных казаков; сознаюсь, я чего-либо подобного от вольных казаков не слыхал (исключая рассуждений о том, что вот, мол, у «тонконогих» нет сильных раздоров), но мне хотелось верить Ашинову.

Все это оказалось присказкой. А «сказка» была неожиданной: Ашинов предложил мне... отправиться в Обок!

Мы, объяснял Ашинов, живем, к сожалению, не на острове, а в окружении соседей-врагов; французские власти весьма недовольны возникновением русской вольницы. Он подчеркнул, что есть Франция и Франция: немало французов сочувствует нашему делу, но, увы, приходится считаться с официальными кругами*.

Мысль его была в следующем: надо убедить г-на Лагарда, что мы заняты лишь своим мирным делом, ни о каких завоеваниях и не думаем, готовы к обоюдной выгодной торговле и т. д.

«И хорошо было бы получать газеты и книги, — прибавила Софья Ивановна. — Ведь у них там, в Обоке, регулярное сообщение с Европой». (Ах, милая Софья Ивановна со своей мечтой завести обширную новомосковскую библиотеку!)

Все это было резонно. Я лишь сомневался в собственных познаниях во французском. Н. И. Ашинов добродушно усмехнулся: «У, моя Софья Ивановна — отличный репетитор».

Две недели спустя я был в пути. Мы плыли на восток, не теряя из виду берегов, как аргонавты. Меня везли на фелуке наши артельщики-матросы.

Погода выдалась чудесная. «Под ним струя светлей лазури». Но бури я не искал, а, напротив, нес пальмовую ветвь; кроме этой фигуральной ветви, я располагал чем-то вроде верительной грамоты или рекомендательного письма, скрепленного подписями Ашинова и Нестерова. (Подпись Нестерова несколько раздражала. Если верховенство Ашинова признавалось еще с одесских времен, то капитан Нестеров, хоть и командир войска, не занимал второго места в Новой Москве. Конечно, следом за Ашиновым «грамоту» следовало бы подписать, скажем, Михаилу Пан. Федоровскому; мы, однако, не спорили, совестясь «боярской» брани из-за места.)

Несмотря на то что предстоящее в Обоке заботило, даже тревожило, я был настроен радостно. В этом отрыве от повседневности было обновление, какая-то легкость и окрыленность. Хорошо, всей грудью дышалось на просторе, под скрип мачты.

Плавание было непродолжительным: мы отчалили на зорьке и в тот же день, но уже в темноте, увидели свет маяка на мысу, что рядом с Обоком — административным центром французской колонии и пароходной станции для судов, следующих из Красного моря в Индийский океан.

---

* В бумагах капитана Н. Я. Нестерова отмечено, что Н. И. Ашинов бывал в Париже, где открыто развивал свои планы устройства русской колонии на берегу Таджурского залива.

Мы вышли на пристань. Нас остановил какой-то человек, судя по мундиру и сабле, военный, но в каком чине, не знаю. Я просил отвести меня к губернатору. Нецеремонно осветив фонарем мое лицо, он согласился, и мы двинулись вдвоем, а мои мореходы остались ночевать на фелуке, чтобы с восходом солнца отплыть восвояси.

Было тихо и безлюдно, огней почти не было, шаги наши раздавались отчетливо. Наверное, с полчаса мы поднимались в гору, пока не заблестел огнями губернаторский дом и не послышался лай собак. Я застал мсье Лагарда на веранде в одиночестве. Он сидел в плетеном кресле, рядом с ним стоял столик, на котором горела лампа, освещавшая бокал с вином.

Губернатор, казалось, обрадовался мне. Я видел, что ему хотелось приступить к беседе, но он справедливо счел меня чрезмерно усталым и любезно отпустил.

Меня поместили в его доме, который показался мне роскошным, хотя, правду сказать, был весьма посредственным, в два этажа кубическим строением; у главного входа красовались четверка махоньких медных пушечек да две пальмочки, но не вольно, не в земле, а в кадках, как в каком-нибудь вокзальном буфете.

С первого взгляда мсье Лагард укладывался в понятие «типичный француз», то есть в одно из тех ходячих понятий, в которых обычно мало смысла. Ему, думаю, было тогда немногим за сорок; отеки под глазами изобличали нарушение функций печени, вместе с тем он сохранял живость движений, а глаза его светились умом.

Что такое Обок? Боже милостивый, до чего же неприглядное, унылое место! В сравнении с ним местоположение Новой Москвы прелестно. Но тут все дело в близости генерального морского пути, в то время как наше поселение вдали от него.

Обок — это дощатые казармы и несколько греческих лавок с горячительными напитками, табаком и экскрементами парижского шика; это кафе и бордель, весьма схожие с уездными заведениями подобного сорта. Почему-то изобилуют суданцы — полицейские во всем белом и с ржавыми тесаками; они сидят на корточках и, как наши осетины, флегматично, а может, философически подстругивают ножичками деревянные палочки. Обок — это духота, несколько спадающая вечером, это тонкая и вместе тяжелая пыль, скрадывающая окрестности, это дурная вода, не пресная, а опресненная морская, которую по всей фактории развозят в вагонетках арестанты. На окраине Обока, за скалами, в каменных, раскаленных солнцем казематах содержат каторжных. Как я узнал, сюда из других тюрем прекрасной Франции присылают «неисправимых» заключенных. Чем и как может «исправить» этот Обок этих несчастных — не понимаю. Да, видно, власти и не озабочены исправлением, а смотрят на Обок как на место, где каторжного настигнет умопомешательство или смерть.

Население Обока небольшое, в основном нефранцузское, смешанное — суданцы, индийцы, греки, армяне, даже китайцы;

французов, полагаю, около сотни, не считая каторжных, число которых мне неизвестно. С заходом пароходов Обок словно просыпается от летаргии; впрочем, коммерческие суда весьма редки, а военные несут здесь поочередно стационарную караульную службу; в первые дни моей тамошней жизни в бухте стояла канонерская лодка «Метеор», которой командовал виконт Бугенвиль, человек необщительный, брюзгливый.

Я намеревался взять быка за рога, но губернатор, надо отдать ему должное, ловко менял тему. Сперва я думал, что он предпочитает получить информацию о внутреннем положении русской колонии, но вскоре понял, что он и без того располагает некоторыми сведениями. Из замечаний, как бы брошенных вскользь, явствовало, что Лагард, например, знал о побеге семерых, о суде над ними, об аресте поручика Михолапова. Нетрудно было заключить, что в Новой Москве находится какой-то лазутчик; действительно ли он был, кто он был — этого я и теперь не знаю... Итак, я смекнул, что мой хозяин не столько желает что-либо вызнать, сколько желает выяснить мою точку зрения.

Должен признаться, что в Обоке, беседуя с Лагардом, я стал испытывать чувство, так сказать, новомосковского патриотизма и хотя в глубине души со многим соглашался, но вслух не мог и не хотел признать. А соглашаться в глубине души приходилось с теми суждениями моего оппонента, которые были близки нам, то есть Михаилу Пан. и мне. Ну, во-первых, с тем, что роль Н. И. Ашинова на поверку оказывалась не совсем идиллической; во-вторых, с тем, что арест Михолапова есть акт несправедливости; в-третьих, с тем, что возникновение института личной охраны до некоторой степени указывает на ашиновский бонапартизм; в-четвертых... Тут я услышал нечто мне неизвестное, но, кажется, сумел сохранить внешнюю невозмутимость, будто не услышал ничего неожиданного.

Дело-то было в том, что из Обока к нам приезжал некий негоциант с товаром (рис, табак, ткани) и хотел завести прямую торговлю с вольными казаками; Ашинов самолично, ни с кем не советуясь, отказал, но отказал-то не напрочь, нет, а выкупил купецкий товар, рассчитывая производить торговлю без посредников, что, в сущности, означало монополию на внешнюю торговлю. Теперь, когда составляю эти записки, я думаю, что суть была не столько в стремлении Н. И. Ашинова к личной наживе, хотя и это не исключено, сколько в том, чтобы заполучить еще одно орудие власти, ибо понятно ведь, что оно такое, монополия внешней торговли*.

Возражая, я кривил душой, как истый патриот, не принимающий сердцем даже справедливую критику, ежели она от иностранца. Я отвечал так, как отвечал бы, наверное, сам Ашинов, а то и капитан Нестеров с его казарменными представлениями о порядке.

* Капитан Н. Я. Нестеров, подтверждая факт, сообщенный автором «Записок», толкует его иначе: Н. И. Ашинов «не желал отдавать в кабалу чужестранцам жителей Новой Москвы».

Я хорошо помню вечера, проведенные на веранде, откуда было видно, как солнце садится в море. Этот закат, этот морской простор, это быстро надвигающийся вечер, когдя тянет бриз и когда созвездия уже теплятся, но еще не сверкают, придавали нашим беседам течение спокойное, так сказать, академическое.

Будто позабыв о Новой Москве, мой оппонент развивал некоторые свои общие соображения о коммуне. Нет, не о той, что намечалась и уже, как я тогда полагал, нарождалась на берегу Таджурского залива, а о той, что недолго существовала в Париже и захлебнулась в крови.

Разумеется, г-н Лагард был решительным противником Парижской коммуны: «социальные бредни»; «пример дикого деспотизма, до которого доходят под знаменем свободы»; «Декарт прав: лучше пользоваться старыми, пусть избитыми, дорогами, нежели карабкаться прямиком через горы и опускаться на дно пропастей». (Я, конечно, говорил, что думал, то есть совершенно обратное!)

Не составляло особого труда догадаться, куда он клонит, что он имеет в виду, рассматривая отношения Версаля и версальцев (старый мир) с Парижем коммунаров (новый мир). В этом сопоставлении главными были не ложь и клевета, а та мысль, что коммуна, несомненно, погибла бы и без пушек версальцев, погибла бы в силу внутренней разнузданности, злобы и мести, каковые в ней олицетворялись. Все бы кончилось, невозмутимо пророчествовал губернатор, военным переворотом («военным пронунсиаменто», как он выразился). «Неужели вы думаете, — тонко улыбался г-н Лагард, — неужели полагаете, что тот, кто вчера был в оппозиции к власти, не меняется в самом существе своем, взяв власть? О, сударь, на такую неизменность позволительно надеяться лишь младенцам, не знающим ни человеческой природы, ни опыта, накопленного человечеством».

Вот-вот, как раз этот-то опыт, отвечал я, и не даст нам, новомосковцам, повторить ошибки минувших времен; у нас немыслим этот самый «пронунсиаменто», ибо вольные казаки *уже* вкусили от древа Свободы.

Г-н Лагард возражал улыбками и междометиями. Сдается, у него не было охоты скрещивать шпаги. Да, признаться, и у меня тоже. Поддаваясь чарам вечера, моря, прохлады, сменившей зной, блеклых созвездий, поддаваясь всему гармоническому настроению природы, мы (он, думаю, тоже) ощущали себя мыслителями, независимыми от сегодняшнего, свободными от злобы дня.

И губернатор продолжал, по-прежнему не произнося ни «Обок», ни «Новая Москва», продолжал в том смысле, что вот, мол, удержись на ногах Парижская коммуна — и она бы, мол, ринулась на Версаль. Почему? Какая причина? Та же, что развязала «оргии» внутри Парижа, то есть злоба и месть, якобы присущие низшим слоям.

— Чувства, которые, пожалуй, понятны, — снисходительно молвил г-н Лагард. И тотчас спросил: — Вы думаете, низшие слои

никак не могли бы устроиться рядом с высшими? Вы думаете, есть фатальное?

Я отвечал, что эдак «устроиться» нельзя.

— О нет, сударь, можно. И смею заверить, высшие слои в конце концов обнаружили бы достаточно разума и решимости для компромисса. Однако, мой милый, вся штука в том, что низшие попросту не хотят устраиваться на существующей исторической почве. Наступает известный момент, когда нравственное подчинение делается тяжелее физического. Вот этого-то нравственного подчинения, всего, что хотя бы напоминает нечто высшее, вот этого-то и не хотят выносить низшие. И отсюда яростное желание истребления.

— Нравственный авторитет, — отвечал я, — на стороне тех, кто трудится... И вы, сударь, не станете отрицать, что не Париж двинулся на Версаль, а Версаль — на Париж.

— В первые дни коммуны раздавалось множество призывов идти на Версаль.

— Однако коммунары не пошли?

— Потому что были заняты тем, что они называли социальными переменами, — ухмыльнулся губернатор. — Но потом, укрепившись...

— И тогда бы Версаль пал?

— И тогда была бы Версальская коммуна.

— Превосходно, мсье Лагард, превосходно! Итак, победа коммунаров, грядущих коммунаров неизбежна?

Он меня озадачил, сказав: «А разве я спорю?» Помедлил и добавил:

— Но не потому, что они обещают наибольшее благополучие, это слова, и только...

Я перебил его:

— Понимаю, понимаю. Вы победу полагаете неизбежной, ибо суд народной Немезиды обладает гигантской силой. Вы опять, вы все время исходите из того, что социализм коммунаров не есть спасение и обновление, а есть месть и месть.

— Именно так, именно так, — подтвердил он спокойно и твердо.

— Именно не так, именно не так, — возразил я.

Но главный, хотя и скрытый, нерв этого отвлеченного, теоретического разговора крылся не в проблемах минувшего и не в проблемах будущего. Главный-то нерв, как я позже сообразил, был в том, что Версалям необходимо действовать первыми, сколь бы ни были иные версальцы убеждены в собственном поражении.

И мне теперь сдается, что губернатор как бы намекал, что интересы *его* страны *уже* понуждают действовать. И в самом деле, на рейде Обока рядом с канонерской лодкой «Метеор» вдруг появились и другие военные корабли. Но я не придал должного значения их появлению. Может быть, потому не придал, что как раз в это время произошли события, которые оглушили меня, как внезапный удар грома.

8

Я все еще жил в Обоке, пользуясь неизменной любезностью г-на Лагарда. У нас с Ашиновым был уговор, чтобы я не трогался с места, не обменявшись с ним письмами; в моем — отчет «дипломатической миссии»; в его — ответ на мой диалог с Лагардом и, возможно, дополнительные инструкции. Курьерами должны были служить наши матросы с фелуки, я дожидался их, но они почему-то запаздывали, и я уже тревожился за их судьбу — ведь с морем не шутят. Но в истекшее время море шуток не выкидывало. Тогда я стал думать, не случилось ли столкновение вольных казаков с данакильцами. Но, во-первых, об этом, несомненно, было бы известно в Обоке, а во-вторых, резонов к подобному предположению не оказывалось, так как наши отношения с туземцами никакими тучами не заволакивались. Моя тревога росла, я терялся в догадках. Кроме того, от меня, сколь ни был я наивен и прекраснодушен, не ускользнуло появление в Обоке чрезмерного числа французских военных моряков; впрочем, если честно, — последнее не осознавалось мною с достаточной степенью серьезности.

Курьерской фелуки я так и не дождался. Вместо нее в один далеко не прекрасный день в Обок явились Бесов, Баланюк и Орлов, хорошо мне знакомые.

Разговор мой с беглецами из нашего града Китежа был как в горячке, то кружил, то несся вскачь, передавать его вышло бы и длинно и путано, но вот что удалось вылущить.

Перво-наперво Н. И. Ашинов изъял у вольных казаков боевое оружие, исключая личный конвой и еще одну категорию, о которой я позже узнал. Было заявлено, что колонисты каждый раз будут получать из крепости свои ружья системы Баранова и Бердана № 2 для учений; ну и, конечно, получат при первых звуках боевой трубы, то есть на случай военной тревоги. А так, в обыденности, пусть-де они, ружья, вкупе с боевыми припасами лежат в крепостном каземате, под замком — «для лучшей сохранности». Нужно заметить, что наши вольные казаки легко расстались с оружием, потому что у них оставались (правда, далеко не у всех) охотничьи, а с боевыми, дескать, одна морока — чисть, смазывай да еще и берегись нагоняев капитана Нестерова...

Хорошо, это б еще и не беда, кажется. Что же дальше? Тут мои собеседники с каким-то страхом, едва ли не суеверным, выговорили: *«Попечительное хозяйство»*. Оказывается, именно так определил Н. И. Ашинов новую эпоху в деятельности нашей колонии. Но ведь попечительность предполагает наличие попечителей и подопечных, не так ли? Оказывается, так, именно так. И отсюда завидный ранжир вылупился: Комитет — Хозяева — Помощники!

Теперь разъясню. Комитет — это *они*, то есть сам Ашинов, капитан Нестеров и Шавкуц Джайранов. Хозяева — это ротные и взводные, то есть бывшие унтеры, знатоки фрунта и, надо признать, неплохие, я бы сказал, крепкие мужики, я-то ведь их всех знал. Ну-с, и, наконец, помощники — это уж все остальные, все

вольные казаки, отряженные примерно в равном числе к отдельным хозяевам.

Выходило, в сущности, некое искусственное, но всепроникающее распространение армейского, войскового принципа. Хватало поверхностного знания русской истории, чтобы усмотреть здесь сколок приснопамятных военных поселений!

Меня как оглушило. Я не хотел верить. Я хотел отогнать видение костлявой аракчеевщины. Увы... Начать с того, что сей комитет брал на себя бремя *общих* забот, то есть *надзор* за всей жизнью колонистов. А частный, вседневный, если не сказать ежечасный надзор осуществлялся (уже осуществлялся!) джайрановцами. Они спозаранку обходили дом за домом, наблюдая, все ли отправились в поле, на полевые работы, нет ли где опасного — в пожарном смысле — огня, все ли в домах прибрано и т. д. Вечером — опять обход, опять все ль на местах, не отлучился ль кто-нибудь куда-нибудь без дозволения хозяина, то есть ротного или взводного. Таким вот образом Джайранов со своими кунаками окончательно выпестовался в полицию. (Как я узнал впоследствии, то была не только полиция явная, но и тайная*.)

Машисто и ровно косила ашиновская коса, но «бугры» оставляла. Я выше упомянул о категории людей, оставшихся при оружии, эти же люди не стали и помощниками при хозяевах, то есть не были они включены в корпорацию земледельцев, которых теперь и не назовешь вольными казаками. Кто же именно? Мастеровые и углекопы, уже принявшиеся за каменноугольный пласт. Оторванные от «хлебного труда» и, как, очевидно, им самим казалось, от этого «хлебного труда» независимые, они, обладая оружием и уже тем одним вроде бы поставленные выше пахарей (что само по себе тешило), были опорою Н. И. Ашинова. Может быть, впрочем, не столь надежной, как джайрановцы, но все же опорой.

Разумеется, при таком положении вещей Н. И. Ашинов, и раньше обладавший влиянием, обретал значение и вес чрезвычайные. Я, однако, остерегался тогда (да и теперь не очень-то к тому склонен) подозревать его в личных видах. Думаю, жизнь вообще и многие судьбы в частности сложнее подобных подозрений. Как тут не вспомнишь тех, кто оставил вечный след? Ну, скажем, доктора Мартина Лютера, например. Разве он не будил в народе мощную жажду Свободы? И разве, разбудив ее, не сделался обскурантом? И разве сам от этого же не мучился, не терзался, не чувствовал когтей дьявола? Впрочем, вряд ли все-таки наш Н. И. Ашинов терзался. Напротив, он, сдается, был уверен, что колония очень скоро восчувствует выгоды и удобства «попечительного хозяйства».

Однако начало полевых работ на новых основаниях ознамено-

---

* «Воспоминания» Н. Я. Нестерова объясняют и подтверждают это замечание Н. Н. Усольцева. Капитан Нестеров приводит, в частности, следующий факт. Когда поручик Михолапов задумал повторить побег из колонии и уже нашел соумышленников, «Джайранов подслушал их планы и донес Ашинову. Ашинов приказал всех арестовать и учредить строгий надзор».

валось чудовищной бестолковщиной, вялостью, поэзия земледельческого труда, видимо, испарялась, словно эфир с блюдечка*. Но атаман был не из тех, кто отступает. Он говорил, что Москва не сразу строилась. Ашиновцы, то есть Джайранов с кунаками и мастеровые с углекопами, поддерживали уверенность атамана, грозя пулей каждому, кто дерзнет на «измену», на «дезертирство». Те трое, что улизнули в Обок, приговаривали, мелко крестясь: «Бог помог...»

Горько, оглушительно, ужасно все это было слышать, узнавать и сознавать. Но совершенно и вконец сокрушили меня слова, тихо и невзначай оброненные одним из беглецов — кажется, Никитой Орловым.

Молчаливый, задумчивый, один из тех двужильных работников, которые своротят горы, будто и не примечая, что свернул гору, он, стеснительно вздыхая и отводя глаза, высказался в том смысле, что «распочали все эдакое» мы, то есть наша, значит, интеллигентная артель, по мужицкому определению — «тонконогие».

Меня будто расплавленным свинцом взбрызнули: ты с ума сошел! При чем здесь «тонконогие»? Где, в чем вина наша?! Едва я его за грудки не ухватил, а товарищ вступился, косо плечо выставил да и отрезал сумрачно:

— А как же иначе? Понятное дело, вы. А то с чего бы господин атаман на вашу-то артель кивал?!

Вот уж когда настоящий-то гром прогремел; вот уж когда меня, мою голову молния поразила и под ногами земля разверзлась!

Надо расшифровать, хотя, кажется, уже расшифровывал, но все равно надо, если и не для читателя (хотя втайне надеюсь на того, который не потяготится моей скорописью), то, по крайней мере, для себя самого.

Ведь, послушайте, что же такое получилось? Ведь если вдуматься (я это повторяю), то мы, интеллигентное меньшинство, съединяясь в товарищество, съединялись не только и не столько ради личного спасения и воскресения, но и ради того, чтобы явить благой пример человеческого проживания. И вот мы с той дозой славянофильства, которая все-таки сидит в крови почти каждого русского образованного человека, мы ведь так полагали: именно нам, русским, суждено додуматься и ввести совершенно новый способ хозяйствования, и вот здесь-то, а не в чем-то ином, мистическом, что ли, здесь она, наша миссия, оригинальность и самобытность наши!

Аграрная проблема — самая капитальная в русской жизни и в жизни русского. Не оттого, что отрицаю фабрику, железную дорогу, машину, науку. Полноте! Отрицать бессмысленно, глупо отри-

---

* Мысль эта, посетившая Н. Н. Усольцева в Обоке (если только она именно там его посетила), делает честь проницательности автора «Записок». Вот что по этому поводу сказано в «Воспоминаниях» Н. Я. Нестерова: «Порядок тяжело прививался. Наступила апатия, нелюбовь к делу и охлаждение к колонии. И наоборот, увеличилась страсть к бесшабашной, разнузданной жизни».

цать. Я говорю только, что при самом высоком и самом полном развитии индустриального начала аграрная проблема коренится в духовных глубинах русской жизни, искажение которой чревато неисчислимыми и трудно предугадываемыми бедами.

Ашинов, обращаясь к вольным казакам, сослался на пример нашей артели. Он умолчал о неладах, о том, что гармонии мы не добились, да, наверное, вольные казаки эту сторону пропустили бы мимо ушей, а может, и сам Ашинов ее пропустил, не в том суть. А суть в том, что он нас примером выставил, и таким, коему заставил следовать, ничуть не заботясь, что начисто извращает основу нашего замысла. И выходило с неотвратимостью, что корень чудовищных перемен вольные казаки могли теперь усматривать именно в нас, «тонконогих», взявшихся не за свой гуж.

Я выше писал, как Емшанов Степан (тот, что сделался «ревностным судьей») в свое время скептически прищуривался на нашу артель, ронял, как сплевывал: «Зря!» Но выше я не упомянул характерное его возражение на мой вывод, что наша артель делает доброе дело, — это раз, и что в нашей артели каждому жить легче, — это два. «Легче, — бросал Емшанов, — оно, может, и легче. А старые-то старики, Миколаич, толкуют, что антихрист завсегда начинает с доброго да с облегчениев. Тут, глядишь, бедноте пособит, там, глядишь, еще чего... Он, антихрист (то не я, это старые старики, Миколаич, толкуют), он так и подползает, шурх-шурх, манит-манит, оно бы вроде и добрее и легче, а после-то — ам! — и вонзился, и давай валтузить, и давай обдирать, и давай заглатывать...»

Выставив примером, и примером, так сказать, принудительным, ашиновцы перенесли вину с себя на интеллигентов, и теперь вольные казаки были вправе гневно бросить: «Ибо вывели вы нас в пустыню эту...»

Не утверждаю, что так отчетливо я мыслил, когда там, в Обоке, слушал, расспрашивал, переспрашивал и опять слушал трех беглецов.

Первый отчаянный порыв был отрясти прах, проклясть и сгинуть. А вместе — чувство жгучего, непереносимого стыда. Однако душа, не только чужая, но и своя душа, — потемки, а в потемках рядом со стыдом и ужасом ощущалась эдакая подленькая радостишка: все ж таки в эту страшную костоломную пору ты не был в Сагалло, а был здесь, в Обоке...

Я ушел к себе и заперся, не зажигая огня; Лагард меня не звал, не беспокоил; я лежал в темноте, в окне звезда горела, очень яркая и крупная, а рядом, у стены что-то ползало и шуршало.

Первый порыв утих; я стал думать о том, что не вправе отрясти прах, а должен выпить чашу до дна, не вправе уйти, а должен обличить ашиновщину — «обличи ближнего твоего и не понесешь за него грехи...». И все же чувствовал, что не дано мне снять грех, свой, личный грех. Да, ни я, никто из моих коллег ничего не навязывал вольным казакам, не наносил прямого им удара, но косвенно, косвенно-то, черт побери...

В последние дни моего пребывания в Обоке губернатор Лагард, казалось, избегал меня. Я по-прежнему пользовался его кровом и столом, но мы уж не сиживали вечерами на веранде.

Мой любезный хозяин был озабочен. К нему ежедневно наведывались морские чины — и некий адмирал Олри, и виконт Бугенвиль, и Верон, капитан крейсера, очень почтенный, с эспаньолкой и блескучей черной шевелюрой; этот Верон сказал мне несколько лестных слов о русских семьях, с которыми он свел дружбу, будучи не однажды во Владивостоке; бывал у губернатора и командир корабля, называемого почему-то банковским, бухгалтерским термином — «авизо»*.

Немного времени минуло, и понял я, зачем, для чего они сходились у г-на Лагарда. Но в те дни, захваченный мыслями о том, что я предприму, едва вернусь, в те дни я ничего вокруг как бы и не примечал.

Я уже догадывался о главной и тайной причине моего командирования в Обок. Н. И. Ашинову, разумеется, не были секретом мои взгляды на принципы жизни нашей колонии. К тому же мое имя, скажу без ложной скромности, кое-что значило для вольных казаков. Спровадив меня в Обок, к Лагарду, Н. И. Ашинов избавлялся от помехи. Но есть одно обстоятельство, ставящее меня в тупик. Ведь оставался Михаил Пан. Федоровский, взгляды которого, тождественные моим, тоже не были секретом атаману; больше того, Михаил Пан. в силу особенностей темперамента, несомненно, должен был казаться помехой значительно крупнее моей персоны. И однако, в Обок был послан я, а не Михаил Пан. Причина? Не знал тогда, как не знаю и теперь, а лишь предполагаю ашиновское желание сохранить *доктора* Усольцева, к помощи которого прибегали весьма часто, а Михаил Пан. не представлял, если так позволительно выразиться, утилитарной, практической ценности. Повторяю, это лишь предположение.

Не лгать возможно, это известно; говорить правду подчас невозможно. Даже теперь, спустя значительное время, нужно усилие, чтобы признаться, как ужасно я трусил предстоящего возвращения в колонию, хотя ничего еще не знал об участи Федоровского. Да, трусил, позорно трусил.

Любовь к народу, которую я никогда не утрачивал, не зачеркивала нелюбви к толпе, которую я всегда испытывал. А вольные казаки как бы перестали быть для меня народом, они почему-то чудились мне толпой, готовой на всякие эксцессы. Второе — я страшился Н. И. Ашинова. Он тоже уже представлялся мне другим, совсем другим, нежели прежде. Разрозненные черточки, отрывочные наблюдения — все, что казалось случайным или преходящим, вдруг собралось, сгрудилось, да и глянуло на меня, эдак пронзительно глянуло, как нечто из времен Батыевых; даже

* *Авизо* — термин и банковский и морской. Сохранившийся только во французском флоте, он применяется для обозначения военного корабля, несущего разведывательную и посыльную службу.

его неторопливая походка, его ухмылка, глуховатый голос, его умение обворожить — все-все чудилось каким-то тигриным, притаившимся до времени. Я сопротивлялся самому себе: воспаленное воображение, бред, потеря равновесия, мнительность и т. д.

Сопротивляясь, лукавил: ну что я могу? Все мои будущие действия — это ль не «шумим, братцы, шумим...», и только, ничего полезного, ничего спасительного. Но голос совести звучал настойчиво, требовательно, он гнал меня из Обока.

Когда я просил Лагарда содействовать моему возвращению в Сагалло, губернатор качал головой, как взрослый человек при виде капризного ребенка. Он не мог взять в толк, какая сила гонит меня туда, где совершается нечто, противное моим убеждениям. Как я мог объяснить ему? Я не нашел ничего лучшего, как выразить свою солидарность с... Н. И. Ашиновым. С новым приливом фальшивого патриотизма я пустился в рассуждения на тему о том, что дело не в желаниях Ашинова, не в том, что ему хочется делать то, что он делает, а в том, что таковы, мол, обстоятельства. Я даже стал утверждать, что нарушение чьих-то прав есть право социального реформатора. Он возразил, что подобное «право» если и существует, то не у реформаторов, а у революционеров. Пусть так, воскликнул я, тем лучше, пусть так!..

Не берусь судить, понял ли француз этот мой русский надрыв; понял или не понял — какая разница. Расстались мы холодно, и я тотчас покинул его резиденцию и направился, куда ноги понесли.

Коль скоро губернаторский дом находился на горе, то ноги, естественно, понесли меня под гору, к бухте. На полдороге послышались торопливые шаги, меня догнал почтенный капитан Верон. Некоторое время мы шли, не произнося ни слова, я был благодарен моряку за его деликатность. Потом все-таки разговорились.

О, если б я тогда же сознал все значение его слов! Нет, не слов, произнесенных явственно, а то, что крылось как бы в тени его слов. А я, глупец, слышал лишь сострадание капитана ко мне, возвращающемуся в Новую Москву, где, как он подчеркнул голосом, меня ждут очень серьезные испытания. Он говорил обо мне, лично обо мне, но я смутно (черт возьми, слишком смутно!) улавливал что-то большее, что-то еще и другое...

Капитан Верон помог мне добраться до Новой Москвы, отрядив со своего крейсера баркас; божусь, капитан это сделал ради меня, а не ради каких-то разведочных целей.

Последними, с кем я простился в Обоке, были трое беглецов, ускользнувших из нашей колонии. Они уже ободрились, они уже улыбались: «А вот, Миколаич, закабалились: двое при гошпитале, один, значит, при трактире. Малость прикопим на дорогу чтобы, и айда домой, в Расею».

Это «айда домой, в Расею», было сказано со щемящей мечтательностью. Господи, горько подумалось мне, господи, боже ты мой, да как же так, а? Ведь что же такое обнаруживалось, что ж такое обнажалось? А самое простое обнаруживалось: насильно мил не будешь.

Но, прощаясь с ними, я внутренне как бы обиженно насупился. Заметьте, то была обида не за них, не за этих вот троих, которые обманулись и которых обманули; нет, я вроде бы обиделся на них самих: нехорошо, очень нехорошо, мои милые, покидать своих братий. Однако я не чувствовал в себе ни права, ни правоты, чтоб судить и осудить... «Айда домой, в Расею...» — тут было над чем поразмыслить...

9

Об этом застенке я не имел никакого представления, хотя мне и казалось, что я знаю всю нашу небольшую крепость на берегу залива.

Не окно, а щель-бойница, расположенная чуть не у потолка, служила единственным доступом воздуха и света. Я не мог сказать, что очутился за решеткой, но имел все основания утверждать, что очутился под замком.

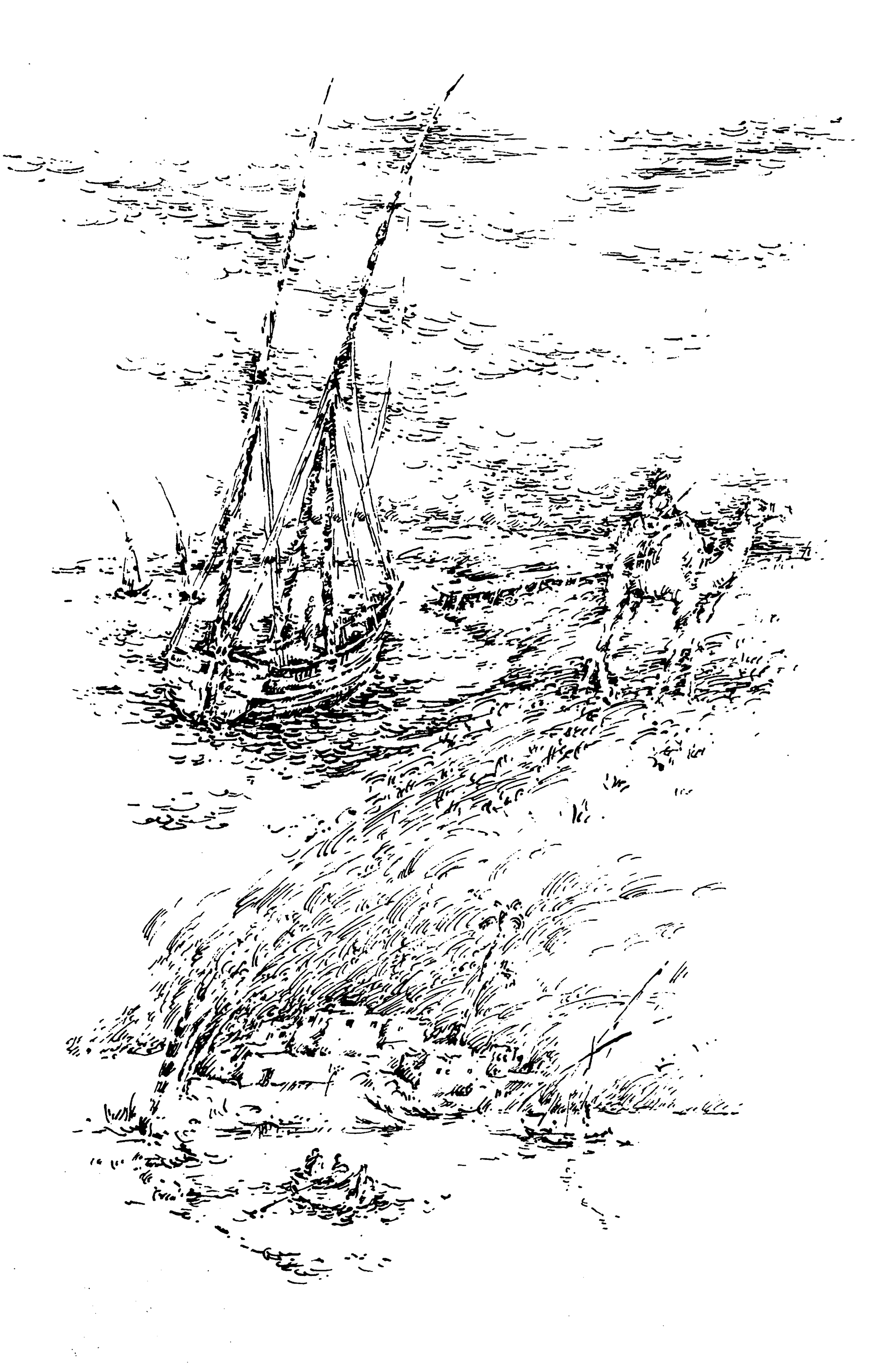
Едва баркас пристал к пристани, едва я сошел на берег, как Шавкуц Джайранов, показывая в улыбке ровные, белые зубы, пригласил следовать за ним. Я ж намеревался прежде всего свидеться с Михаилом Пан., но Джайранов, улыбаясь, заверил, что задержусь недолго, очень уж жаждет меня видеть Н. И. Ашинов, прямотаки ждет не дождется.

До форта было рукой подать, никто дорогой нам не встретился; я, не скрывая тревоги, спросил Джайранова, что да как в колонии, он отвечал охотно, весело и успокоительно. По его словам, царили мир, тишина, благоденствие; да-да, было «немножечко нехорошо», люди не сразу поняли, что им делают добро, а потом, слава аллаху, поняли; Михаил Пан., уверял Джайранов, слава аллаху, во здравии и теперь, должно быть, в поле. Короче, на земле мир, во человецах благоволение...

На дворе форта мне бросилась в глаза пушка-картечница; прежде она стояла в укрытии, подле восточной стены — и вот она посреди двора, будто готовая к действию.

Вид машины для истребления ближних решительно опровергал Джайранова. Я было приостановился, но тут, как из-под земли, вывернулись двое личных конвойных атамана и мгновенно обратились в личных конвойных Усольцева! А Шавкуц Джайранов, все так же улыбаясь, приложил руку к газырям, приглашая меня не шуметь, а следовать куда следует. И, господи боже ты мой, я подчинился. Подчинился! И не то чтобы я понимал, а как бы не желал понимать, допускать мысли, что со мною собираются вытворить, а вернее, что уже надо мною вытворяли.

Каталажку, или, как говорят крестьяне, «карец», то есть карцер, я отведывал, но давно, студентом, в России, ergo — обыкновенная история. А тут, а теперь... Но самый факт заарестования свободного гражданина свободного поселения, не повинного ни в чем уголовном, сам по себе факт, говорю, не вызвал во мне поначалу какихлибо размышлений, а вызвал голую ярость, хоть головой об стену.



Но я тут же, с нелогичностью, свойственной таким минутам, подумал, что этот прохвост Джайранов действовал без ведома Н. И. Ашинова, я, помню, так и подумал: «Без ведома Николая Ивановича» — младенческая склонность к так называемым спасительным иллюзиям!..

Что было силы я забарабанил в глухую дверь. Ответом было продолжительное молчание; потом послышался гортанный голос, показавшийся мне знакомым: «Чего тебе?» Ах, черт — «чего тебе»! Я потребовал немедленного свидания с Ашиновым, немедленно, тотчас.

— Какой тебе — Ашинов? Говори: господин атаман. А я тебе: нету господин атаман.

— Слушай! Ты меня знаешь?

— Хорошо знаешь. И ты хорошо знаешь Бицко Калоев.

Еще бы нам не знать друг друга! Бицко Калоев такой славный малый, я ему и сломанную большую берцовую исправил, я его и от лихорадки пользовал. Так вот, значит, кто моим тюремщиком оказался. Почему-то это меня несколько успокоило.

— Бицко, — говорю, — послушай, братец, что ж такое, а?

— А что такое, а?

— Да что же это делается?

— Хорошо делается. Сказано — стой, я стою. Сказано — сиди, ты сиди.

— Чер-рт...

— Зачем ругаешь? Господин атаман сказано — сиди, ты сиди. Ай-ай-ай, плохо ругаешь.

— Так ты мне, Бицко, господина атамана позови. Он мне очень нужен. Понимаешь?

— Понимаешь, хорошо понимаешь. А нельзя. Шавкуц можно, господин атаман нельзя.

С этим личным конвоем наш господин атаман, надобно признать, отменно измыслил. Он много говорил о дружбе колонистов— великороссов, малороссов, осетин, но под сурдинку потрудился совсем в ином направлении. Он сумел поставить джайрановцев особняком. Конечно, этому споспешествовало, что они были иной, нежели прочие, веры, что они не пожелали заняться «хлебным трудом», а предпочли охотничий промысел, и то, что обычаями, жизненными навыками разнились от всех остальных. И все же, думаю, не здесь зарыта собака. Никто из нас как бы и не замечал в свое время, как атаман привораживает джайрановцев, как оттеняет их превосходство над всеми иными. Ну, какая нам, например, была забота, когда атаман производил джайрановцев в офицерские чины и, к великой их гордости и радости, надевал им наплечные золотые галуны? А ведь Ашинов, отлично зная психологию своих давних знакомцев, потрафлял честолюбию и самолюбию, искусно внушая, что вы, дескать, кунаки мои, не ровня всем иным-прочим. А уж когда всех этих иных-прочих обезоружили, кроме, стало быть, личного конвоя, уж тогда-то они вовсе уверо-

вали в собственное превосходство. Джайрановцы и прежде держались отчужденно и замкнуто, но и тут никто из нас, из этих-то прочих, всерьез не призадумался, а все чиликали — наступит, мол, времечко, все перемелется.

Вольных казаков порою возмущали бесцеремонное поведение джайрановцев, сильнее всего наглость с женщинами, которых они, кажется, считали своими наложницами, нимало не принимая в расчет семейное положение и разражаясь безудержным гневом в случае отказа; по сему поводу помню несколько жестоких драк; случалось... всякое случалось, говоря по правде. И, несмотря на все это, вольные казаки не питали коренной ненависти к джайрановцам. Однако при введении единой корпорации они сослужили Н. И. Ашинову такую «яркую» службу, что отношение к ардонцам разительно переменилось*. Удивительно и симпатично то, что даже и тогда вольные казаки находили некоторое оправдание джайрановцам: и вера у них другая, «ненашенская», и обиженные они, «потому как покорились» — вольные казаки, что называется, делали скидку на ущемленность горцев петербургскими генералами.

Столь же разительно, нет, круче переменилось отношение к мастеровым, углекопам, матросам — уж эти-то были и «одного бога», и «одной земли», и «одного обычая», а «изголялись, что твой нехристь», то есть грозились истребить каждого, кто пойдет против атамана.

Меня не оставляла надежда, что «господин атаман» не знает о моем арестовании. Как цепко хватаешься за иллюзию! Здравый смысл убеждал, что Джайранов и пальцем не шевельнет без указки Ашинова, а вот поди ж ты...

Поскольку мой стражник наотрез, даже с каким-то суеверным страхом отказывался позвать «господина атамана», я просил известить о моем положении Михаила Пан. Федоровского. Мне почудилось, что Бицко Калоев растерялся (говорю — почудилось, потому что мы толковали через дверь, прислонившись к запертой двери); я приписал его растерянность нежеланию нарушить караульную службу и принялся усовещивать бывшего пациента, напоминая, как я усердно, заботливо лечил его. Бицко не то вздыхал, не то отдувался. С раздражением, почти с гневом я стал корить его в бессердечии, заметив, что если они, осетины, считают непозволительным и позорным выказывать сочувствие женщине (а это действительно так у них заведено), то совсем другое дело мужчина-пленник, захваченный не в честном бою, а врасплох... И мой аргус сдался. Он приотворил дверь и зашептал... Помню, я закричал, будто меня ударили ножом, а Бицко, отпрянув, грохнул дверью.

Мгновенно и ослепительно я понял, что мой друг не убился, сорвавшись с кручи, а *убит*, подло убит, исподтишка, злодейски!

---

* Примечание Н. Н. Усольцева: «Ш. Джайранов и его кунаки были родом из станицы Ардон, что в Терской области».

У меня не было никаких доказательств, но я словно бы воочию видел, как его, подкравшись, сталкивают в пропасть.

И что же? Вот еще пример неискоренимой склонности к иллюзиям, или, если хотите, душевной робости: я не хотел, не мог до конца принять мысль о виновности Н. И. Ашинова в умерщвлении Михаила Пан. Федоровского.

Эту мысль я отгонял, даже получив записку от товарищей, участников нашей маленькой общины. (Тут помог мой недреманный страж Бицко Калоев. Он долго недоумевал: «Ты — добрый, атаман — умный. Зачем у вас нехорошо получается?..» Видимо, поразмыслив, милый Бицко признал превосходство «доброты» над «умом». Сперва Калоев втихомолку открыл моим друзьям мое заключение, а потом и записку принес.)

Так вот, в том письме говорилось, что Михаил Пан. решительно восстал, что он обратился к вольным казакам с призывом воспротивиться разоружению и что Федоровский погиб как раз после своего открытого обличения атамана. Правда, авторы письма ни словом не обмолвились о том, что Н. И. Ашинов, именно он, а не кто-либо другой, был в первую голову заинтересован в устранении Федоровского.

Письмо ошеломляло не общей посылкой, а неспособностью нашего интеллигентного меньшинства выступить дружно и сплоченно. И что самое-то ужасное? Не то даже, что заговорило чувство самосохранения, не то даже, что выказалась постыдная, но, прямо сказать, естественная и ординарная трусость; нет, не это самое ужасное, а то, что тотчас нашлись среди нас, которые пустились в рассуждения о необходимости жертв и утрат, неизбежных на крутых перевалах.

Я далек от того, чтобы каждого, кто рассуждал подобным образом, подозревать в элементарной трусости. (Повторяю, это-то как раз и не было бы столь ужасным.) Выходило, что интеллигентное меньшинство, хотя и не все, но почти все, подтверждало мысль Н. И. Ашинова, высказанную некогда вскользь, — о дряблости, шаткости нашего брата.

Но ведь (и тут у меня тупик, тут для меня круг замыкается!), согласно доктрине, мы не должны были ничего навязывать народу после того, как он обосновался и устроился по-своему. Это ведь там, в старой России, народолюбец обязан был всем жертвовать, поднимая задавленного мужика, а тут была не старая Россия, и вот этот самый пахарь и сеятель не поднялся стеной — отдельное и разобщенное не в счет — не выступил, так что же было делать интеллигентному меньшинству?

(Сознаю, что пишу темно, но яснее не получается; к тому же, как у меня постоянно выходит, трудно положить на разные полки тогдашние мысли и чувства и теперешние, когда прошедшее давно прошло).

Я уже говорил, что потребовал свидания с Ашиновым в первый же день заточения. Отчего атаман не принял меня сразу по возвращении из Обока? Конечно, он прекрасно понимал, что я отнюдь

не равнодушен к его «коренным переменам», и поэтому, может быть, хотел подавить и устрашить меня казематом. А может, ему надо было какое-то время, чтобы «поладить» с нашей маленькой общиной, не позволив мне влиять на товарищей? Или он желал поставить меня перед фактом «умиротворения» интеллигентного меньшинства, когда я очутился бы в положении того прапорщика, идущего не в ногу, в то время, когда вся рота идет в ногу?

Этого я не знаю, а знаю только, что отсрочка свидания была мне на руку, потому хотя бы, что само по себе длительное содержание под стражей без предъявления обвинения было теперь еще одним аргументом для доказательства тирании атамана. (Чудак, наивный чудак, мысливший какими-то допотопными категориями, я все еще полагал, что Н. И. Ашинов нуждается в каких-то моих доказательствах!)

Но вот настал день, вернее, поздний вечер, когда меня повели через двор в покой, занятый атаманом.

Примечательно: Н. И. Ашинов жил скромно. «Культурное меньшинство» Новой Москвы видело в этом демократизм рахметовского толка, а вольные казаки — близость к народу: «ничего барского». Характерно, что, восхищаясь скромностью атаманского обихода, мужики вместе с тем испытывали удивление, в котором слышится рабское, крепостное представление о том, как должно жить «наибольшему начальнику». По мне ж «простота» Ашинова не была демократической; атаман, подобно одному пушкинскому герою, находил особую сладость во внутреннем сознании своего могущества, а не во внешних его атрибутах. Атрибутами атаман предпочитал наделять личных конвойных, барабанщика, знаменщика и т. п.

Покой, куда меня сейчас привели под стражей и где прежде я появлялся запросто, озаряли свечи; дело, говорю, происходило поздним вечером, ближе к полуночи. Я увидел за столом Н. И. Ашинова и капитана Нестерова; Шавкуц Джайранов стоял у окна: как обычно, он в присутствии атамана не садился.

Ашинов был, что называется, застегнут на все пуговицы; никогда я не видел его столь официально замкнутым. Я пожелал говорить с глазу на глаз. Ашинов, задавая тон, не возразил, а отчитал меня: у него, атамана, нет секретов от Нестерова и Джайранова, как и вообще от тех, кто всецело предан нашей колонии. То был даже и не намек, а прямое заявление: есть, мол, и такие, которые не преданы. Мне удалось сохранить равновесие; мною овладело спокойствие холодного бешенства.

Казалось бы, Ашинову следовало первым делом поинтересоваться, удалась ли поездка в Обок. Он, однако, молчал; я понял его молчание как вызов и высказался именно так, как задумал в Обоке. Насильственная метода, заключил я, погубила начала альтруизма, что всегда и везде приводило к разложению и гниению; естественный ход вещей непоправимо нарушен; наконец, мастеровые, участвуя в ашиновских сатурналиях, сильно уронили себя в глазах вольных казаков, отныне мужик возненавидел мастерового,

а здесь-то и конец единству, солидарности, без которых... Впрочем, сказал я, вдруг чувствуя, как закипает кровь, впрочем, господин атаман, очевидно, вовсе не озабочен единством, ибо принцип, старый как мир принцип «разделяй и властвуй»...

До сих слов Ашинов невозмутимо расхаживал, будто внимательно вслушиваясь в то, что я говорю, но тут он вдруг резко остановился, и я не то чтобы заметил, а скорее почувствовал, как он страшно напрягся и как это напряжение мгновенно передалось Джайранову. В ту минуту мне стало по-настоящему жутко. Ашинов медленно раскурил сигару и медленно произнес:

— Шавкуц, не расскажешь ли нам, Шавкуц, как этот господин тайно встречался с врагом вольных казаков?

Я опешил. Шавкуц переступил с ноги на ногу.

— Чистую правду, господин атаман.

И рассказал правду, что хуже всякой лжи. Он рассказал, как ко мне, когда пароход стоял у Константинополя, приходил доктор Кантемир и как этот враг вольных казаков поносил господина атамана, называя его «дурными словами».

— Не так ли, доктор Усольцев? — справился Нестеров. Он, кажется, даже порозовел, старательно изображая «оскорбленность в лучших чувствах».

Я, разумеется, подтвердил, но едва раскрыл рот, чтобы объяснить, почему мы с Федоровским решили ничего не сообщать Ашинову, как Нестеров меня оборвал:

— Причины нас не интересуют, нас интересуют факты. Итак, вы, доктор Усольцев, не только встретились с врагом нашего святого дела, не только не отвергли его грязную клевету, но и постарались скрыть эту встречу. И конечно, — он повысил голос, — и конечно, не случись там господина Джайранова, скрыли бы. Так или не так? Отвечайте без долгих слов, к коим вы весьма наклонны.

— Но послушайте, господа, ведь это же нелепость!

— Отвечайте, дело чрезвычайное, отвечайте.

— Я отвечаю, капитан. Не извольте перебивать!

— Пусть отвечает, — будто б равнодушно вставил Ашинов.

— Чудовищная нелепость, господа! Сами посудите: ну какой олух будет секретничать в присутствии третьего? Ведь он-то был в каюте! — Я кивнул на Джайранова.

— Согласен, — усмехнулся Нестеров. — Однако вы полагали, что господин Джайранов спит. Вы и беседовали-то вполголоса.

— Еле-еле, — поддакнул Джайранов.

— Да, полагал и потому был негромок, — согласился я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. — Но это вовсе ничего не значит.

— «Ничего не значит», — повторил Ашинов и коротко рассмеялся.

— Допустим, — докторально продолжал Нестеров, — вы не желали огорчать господина атамана грязными клеветами, поверим вам на минуту. Но отчего же, скажите, никогда, ни разу во все

наше новомосковское время не удосужились рассказать господину атаману об этом происшествии?

— Да потому что, черт возьми, не придавал ему ровным счетом никакого значения. Никакого! Да, наконец, и позабыл попросту!

— «Позабыл попросту», — опять повторил Ашинов и опять коротко рассмеялся.

Нестеров припечатал ладонь к столу и, вскинув голову, изрек сентенциозно:

— Никаких сомнений. Перехожу к следующему. Скажите, доктор Усольцев, как было условлено относительно вашего возвращения из Обока?

— Не понимаю...

— Чего ж не понимать? Кажется, яснее ясного. Как было условлено?..

— А, хорошо. Да, было условлено — за мною приедет фелука.

— А вы воротились самовольно?

— Да, не дождался, милейший капитан, не дождался.

— Почему же, доктор Усольцев? Прошу без насмешек.

— А потому, милейший, что трое беглецов... Короче, узнав, что происходит здесь, у нас, не мог, не счел возможным дольше отсутствовать. Вы это можете понять? Когда видишь, что гибнет дело, ради которого... (Я хотел сказать: «...ради которого готов на все», но не сказал: вечная боязнь громких слов!)

— Так на чем же вы приехали, доктор Усольцев?

— Вам известно не хуже, чем мне.

— И все же?

— На баркасе.

— На чьем баркасе, доктор Усольцев?

И тут я понял, куда они клонят! Я всего ждал, но только не обвинения в шпионстве! Это было так оскорбительно, так гнусно, чудовищно, подло, так глупо, что во мне поднялась буря. Я был в состоянии аффекта, я кричал, даже ногами топал, а эти трое, озаренные свечами, ничего не отвечали.

Я им кричал, что они инквизиторы, что это процесс над ведьмами, что они честный диспут подменяют фальшивкой, ибо нет у них силы убеждения, а есть застенок. Они молчали.

Наконец Ашинов невозмутимо произнес банальности о Юпитере, который сердится... Я чуть было не задохнулся: эта его невозмутимость, с какой он произносит банальности! Я грубо парировал в том смысле, что его, Ашинова, максимы рассчитаны на таких недоумков, как Нестеров и Джайранов.

Я и теперь не могу вспомнить эту сцену без омерзения. Стыжусь не того, что потерял контроль, не аффекта стыжусь, а того, что в самом этом аффекте была все-таки надежда что-то пробудить в этих негодяях. Господи, я и тогда, сдается, надеялся, что говорю с людьми — с людьми, а не с уголовными, захватившими власть.

Был и еще один позорный для меня момент. Клянусь, действовал не страх физической расправы, его в ту минуту не было, нет,

не страх, а отвращение от того, чтобы пользоваться его же, Ашинова, средствами. Объясню.

Сразу же вслед за обвинением в преступных сношениях с французами (в «строку» поставили и такое «лыко», как пребывание в доме губернатора Лагарда), сразу ж после того, когда я еще пылал и дрожал, Ашинов спросил: не полагает ли доктор Усольцев, что он, Ашинов, причастен к гибели Михаила Пан. Федоровского? Господин атаман смотрел на меня в упор и очень ясно, слишком ясно... А я... отвел глаза.

Я не посмел ответить вот так же бестрепетно и прямо, как он бестрепетно и прямо спрашивал. Я только слышал, как словно бы углубилась тишина, чувствовал, как теперь уж напрягся не только Джайранов, но и Нестеров, и я понял, что и Нестеров связан круговой порукой в «деле» Федоровского. Но почему же я, я-то почему промолчал? Страх разделить участь друга пришел потом, а тогда не было. Ну так почему ж? Да потому, что у меня были лишь предположения, а не доказательства, и я не то чтобы не хотел, а не нашел сил поступить на ашиновский манер, то есть выдать предположение за сущее. И все ж, повторяю, то был позорный момент. Следовало хотя и предположения, а в открытую выставить. Но я смолчал*.

10

Я сидел в застенке, судьба моя оставалась нерешенной; конечно, Ашинов с присными вольны были прикончить меня, и я корявo солгал бы, утверждая, что пребывал равнодушен к своей участи. Но я опять-таки, хотя и тоньше, солгал бы, утверждая, что Ашинов казался мне человеком, который безусловно и бесповоротно решился умертвить меня.

Ей-богу, есть что-то идиотическое, прекраснодушное до невозможности и вместе жалкое в этом неискоренимом желании усматривать даже в субъектах ашиновского типа дозу гуманности и толику порядочности.

Скажите на милость, какие остатки человечности можно было подозревать в Ашинове после гибели Михаила Пан.? Да ровно никаких! Так почему же я допускал, что меня-то не уничтожат, как уничтожили Федоровского? Тут было не одно жалкое прекраснодушие, о котором я выше, но и то, как у графа Льва Толстого одному из его героев мелькало: нет, *меня* убить не могут; как же это *меня*-то убивать?

И все же мысль, так сказать, о летальном исходе была цепкой, мучительной. Однако по свойствам человеческой натуры не могла она держаться постоянно, не могла, хотя б ненадолго, не отходить в сторонку, в тень. И тогда я пытался — о, эти порывы «к высшей справедливости» — пытался рассматривать происшедшее со мною

* Небезынтересно, что в тогдашней русской прессе сообщалось: «беглый каторжник» (именно так!) Федоровский «без вести пропал в Африке».

холодно, издали, как бы и не со мною случившееся. Но вместе и со мною, именно со мною, потому что в противном случае, то есть случись это с кем-либо другим, я бы сам лишил себя возможности глядеть холодно, издали.

Вот так, двоясь, что ли, я и стал рассуждать о логике борьбы, которая словно бы и помимо воли Ашинова диктует ашиновское поведение; о праве реформатора нарушать право; о том, что мир уж так устроен, что вопросы власти не решаются этическими средствами; о необходимости особого мужества тем, кто имеет мужество реформировать жизнь... Словом, полезли смутные (вопреки их кажущейся ясности), клочками нахватанные отовсюду и порознь «постулаты», которые сперва замутняют, а потом и подменяют изначальную правду.

В какой-то угрюмый, сумрачный час я даже до таких пределов дошел, что усомнился в справедливости сопротивления ашиновщине. А что, ежели Ашинов прав, мерцало в голове, прав, отвергая «гомеопатию», прав, не дожидаясь, когда возникнет племя настолько свободных и смелых людей, что они единодушным почином и желанием съединятся в кооперативном труде и проживании? И ведь прекрасно притом знал, что насильно навязанное благодеяние — вопиющее самопротиворечие; что оно вообще-то ничем не отличается от «чистого», откровенного насилия. Знал все это, а вот же до каких пределов доходил или, лучше сказать, опускался.

Это был такой мрак, такая измена убеждениям, черт знает что, и, главное, я сознавал, что измена и мрак, а вот же хватался за химеры. Почему? Зачем? Не из потребности ли в покаянии? В покаянии не пред Ашиновым, а пред самим собой, это-то я знал твердо. Но тотчас следом вот что: но ежели пред собою, тогда почему ж и не пред Ашиновым? А тогда следом такое: но коли пред Ашиновым, то не змеиный ли извив, ценою которого ты втайне жаждешь избавиться от застенка и ужаса неизвестности?

Но выдавались и такие дни и ночи, когда я был один на один, лоб в лоб: я и нагая истина — с колонией покончено (не формально, а в сердцевине, в корне), эксперимент потерпел крах, занавес опускается.

Я думал о том, какое несчастье несет истина, похожая на электрическое солнце (вспоминал фонарь канонерки, что гналась за нами в Красном море). Сильный свет, но мертвенный, выхватывает клок из хаоса, беспощадно отграничивает, но дальше-то, в самый хаос, во тьму — ни единого лучика. У такой истины нет свойств путеводности. И вот жужжишь и бьешься, как муха на липучей бумаге, а вне социального я тогда ничего не различал.

Был только один человек, которого я жаждал видеть и слышать, — Софья Ивановна Ашинова. Я положил правилом не упоминать этого имени, но тут речь не о чувствах, прошу верить, а о том, что мне тогда почему-то все время воображалось, что она словно бы обладает каким-то магическим кристаллом, и вот стоит взглянуть сквозь него, как все определится и установится.

Мне даже порой чудилось, что Софья Ивановна ищет встречи

со мною, чудилось, что она придет, непременно придет, но она все не приходила. И все-таки мы встретились, ненароком и накоротке, а встретились.

Нужно сказать, Джайранов, этот ашиновский полицмейстер, дозволял мне прогулки. Недальние, в стенах форта, и всегда почти на рассвете.

Не знаю причины, по какой Софья Ивановна поднялась в тот день столь рано, а только она поднялась, и мы встретились, а мой зоркий страж не посмел остановить супругу господина атамана.

Было мгновение, было, когда она порывисто, безотчетно протянула ко мне руки, и в ее глазах всплеснуло сострадание.

Конвоир почтительно приотстал, мы могли говорить, и я что-то говорил, мучительно стараясь сосредоточиться. А она, кажется, шептала какие-то утешения. Но мне-то ведь нужны были не утешения, то есть нужны, конечно, ее утешения, очень нужны, но все ж не в них было капитальное.

Удивительно, в важную минуту, сотрясающую душу, вдруг теснится в голове неосновательное, пустое. Помню, я все ж успел спросить, отчего мы все не прежние, отчего словно бы потерялись, что же это такое с нами, у нас делается?

И вот тут-то я заметил на ее прекрасном лице (заметил как бы новым, внезапным зрением) тень еще не вполне отошедшего сладкого предутреннего сна. Оно было несколько заспанным, лицо ее, и я ощутил быструю, острую боль, а следом тотчас поднялось во мне пошлейшее чувство. «Кристалл», — вырвалось у меня насмешливо и почти с отвращением, но она не поняла, к чему это, она, наверное, все еще искала, как ответить; и ответила, смешавшись, как барышня: «...не знаю... ничего не понимаю». — И простонала: «Уехать... уехать...»

А я, я, который даже имя ее почти не решаюсь вносить в мои записки, я не сострадал ей ничуть, я вымученно улыбнулся и будто обрадовался, когда конвоир выразительно кашлянул.

Но там, в четырех стенах, меня как навзничь бросило: ах, «культурный человек», экая ты, однако, скотина! В минуту, важную и невозвратимую, в такую-то минуту оказаться во власти банальной ревности, вообразить скабрезнейшее! А что уж и вовсе было гадко, так это то, что первый ее безотчетный порыв вызвал во мне низкую гордость — стало быть, не нуль ты для нее. Я об этом пишу именно потому, что писать стыдно, и потому еще, конечно, что давно уж минуло.

11

По обыкновению не стремлюсь к подробностям, а стараюсь схватить главные черты заключительного акта трагедии Новой Москвы.

Дело было в пятницу. Солнце стояло в зените, когда к пристани, что близ форта, подошел баркас; говорили, будто б тот же, что доставил меня из Обока.

На баркасе, помимо французских гребцов, находился Сеид-Али, знакомый всем нам по Таджуре и довольно частому гостеванию в нашей колонии. Никто из нас ничего и никогда не имел к этому добродушному туземцу. Но теперь Сеид-Али прибыл курьером: он привез ультиматум, подписанный комендантом Обока г-ном Клошеттом.

Подписанный каким-то чиновником, ультиматум, однако, требовал именем Франции сложить на берегу оружие и очистить Новую Москву; в случае неисполнения «сим предупреждалось», что «принудят к тому силою».

Что же наш атаман?

То, что я сейчас скажу, я скажу без тени злорадства. Каково бы ни было мое личное отношение к Ашинову, но лишь законченный мерзавец мог бы злорадствовать в этом случае.

Итак, атаман получил ультиматум. Судьба колонии стояла на карте. Речь шла уже не о путях ее жизни, нет, о самой ее жизни. И вот человек, поражавший нас каким-то едва ль не сверхъестественным спокойствием, человек, который столько раз твердил о вероятности вражеского нашествия, столько раз предупреждал о бдительности, этот человек совершенно растерялся. До такой степени, что даже как бы и не верил в то, что было написано черным по белому. Казалось, его разбил нравственный паралич. (Этот первоначальный паралич потом как-то заслонился и как-то призабылся.)

Надобно и на себя оборотиться.

Да, я, Н. Н. Усольцев, находился в Обоке, когда там собрались военные корабли, а в доме г. Лагарда собирались их капитаны. Да, я это все видел, и я в этом ничего не увидел, хотя и смутно чувствовал неладное. Да, мне, Н. Н. Усольцеву, сделал некоторые, хотя и темные, намеки капитан Верон, а я не ухватил их сути. По словам Гиппократа, наилучший врач тот, кто обладает умением предвидения; очевидно, наилучший дипломат таков же. Правда, я дипломат наихудший из всех, какие были, есть и будут. Правда, наконец, и то, что, сообщи я даже своевременно о подготовке французов, мое сообщение наверняка приняли бы как сообщение agent-provocateur*. Но это не снимет с меня вины перед вольными или (теперь уж лучше так выразиться) невольными казаками.

Все так. Однако, замыкая собственный приговор, следует еще признаться в том, что приговор этот несколько принужденный, в нем натяжка, он — ab honers**. Винясь, я не ощущаю за собой вины подлинной или, по крайней мере, непростительной.

Но все это в сторону.

Итак, наши колонисты сбежались на берег и смотрели на вражеские корабли.

Эскадра между тем подошла и встала на якоря так, что было отчетливо все видно. На боевых судах были флаги республики, знаменитые трехцветные флаги, при виде которых в ушах звучит

---

* Агент-провокатор (*фр.*).

** Ради чести (*лат.*).

«Марсельеза», а на языке вертится: «Либерте, эгалите, фратерните».

Не прошло и минуты, они открыли орудийный огонь по берегу и форту. Толпа взвыла, шарахнулась, ударилась врассыпную. Никто и не подумал подобрать раненых. То было паническое, безоглядное бегство.

Я слышал грохот и вой; меня проняло ужасом, когда рухнула часть стены и в застенок хлынул ослепительный свет, у меня будто отнялись ноги. Я увидел своего стражника, Бицко Калоева, у него была снесена половина черепа и мозг обнажен, но я и тут не шевельнулся. Мне казалось, что я пробыл недвижным очень долго, но, вероятно, оцепенение длилось секунду, другую, и вдруг меня подхватило, подхватило и понесло, как сухой лист, гонимый бурей.

Не чуя ног, я мчался вслед за бегущими, мимо домов, огородов, садов, туда, на край Новой Москвы, к зарослям колючего кустарника, за которыми начинались горы. Я не оглядывался и будто б даже не слышал, как ухают и гремят пушки, но голова словно бы сама собою проваливалась в плечи, а спина сгибалась в три погибели.

Не помню, как, задыхаясь и обливаясь потом, очутился среди своих, уже остановившихся, но хорошо помню, что мое появление, если и было замечено, то не вызвало никакого удивления, точно я и не исчезал. Да я и сам не замечал перемены, со мною происшедшей, и нисколько не думал, что Ашинов «вправе» тотчас замкнуть меня на замок.

Впрочем, ему не до того было; он уже очнулся, прежняя энергия закипела в нем. Справедливости ради скажу, что еще раньше господина атамана взялись за ум капитан Нестеров и Шавкуц Джайранов. Несмотря на панику, они сумели сбить вокруг себя несколько десятков вольных казаков, успели отворить склад оружия и боевых припасов.

Но самая поразительная перемена произошла с Софьей Ивановной Ашиновой! Она преобразилась; ничего не осталось от давешней пригнетенности («Уехать... уехать...»), и я вдруг увидел не даму, не музыкантшу и не учительницу, нет, ту, которая «в горящую избу войдет».

Она была ранена осколком в предплечье, но, казалось, не замечала крови, не чувствовала боли. Простоволосая, в блузке с открытым воротом, она обходила вольных казаков энергическим шагом, быстро и гневно убеждая их встать за Новую Москву*.

Я сорвал свою рубаху, наложил жгут, перевязал ей руку. Она молча кусала губы, глаза ее были сухими и будто потемневшими. Она сказала, чтоб я немедля отправился в нашу больничку принимать раненых и что она сейчас явится мне помогать.

---

* В записях капитана Н. Я. Нестерова читаем: «Несмотря на рану и канонаду, г-жа Ашинова обнаружила столько спокойствия и присутствия духа, что нам стало совестно, и мы ободрились».

Другой очевидец в своих заметках, опубликованных впоследствии одной московской газетой, так отозвался о С. И. Ашиновой: «Умная, энергичная, образованная, чрезвычайно добрая женщина, она оказала нашему отряду много услуг. Людям нашего отряда она помогала постоянно, в особенности больным и детям».

Годы спустя я слышал пушки Адуа, но в те дни я был еще, так сказать, необстрелянный воробей. Конечно, как медик, я видывал и кровь и смерть, но это были, если так выразиться, мирная кровь и мирная смерть. А главное-то, коли анализировать, главное-то, как бы я ни сострадал пациенту, кровь и смерть были его кровью или его смертью, а тут, под огнем французского флота, они могли быть моими!

Но как поразительно воздействие чужой воли или, лучше сказать, не чужой, а именно того, кто тебе безмерно дорог. О, разумеется, я и без того занялся бы ранеными, прибежал в больничку и т. д., но все же именно она, Софья Ивановна...*

Пока я готовился к приему раненых, канонада утихла. Может быть, французы, почти уж разрушив форт, выжидали нашей капитуляции? У меня не было времени размышлять, как теперь следует поступать Н. И. Ашинову, у меня было дело, не терпящее отлагательства: первое же бомбардирование нанесло нам ужасный урон.

Никогда не забуду Варю Мартынову, милую, пригожую молодую женщину, мать двоих дитятей; один едва народился, а другому было шесть от роду; большой мой приятель, белоголовенький, он эдак важно называл себя: «Роман»; я у него, бывало, нарочно все переспрашивал: «Тебя как звать?» — и он каждый раз с важностью отвечал: «Роман» — и Варя, и новорожденный, и мой Роман — все трое были убиты наповал осколками, так и полегли в обнимку. Много я потом видел убитых, сраженных, искалеченных железом, но при слове «война» всегда вижу эту женщину и ее дитятей, особенно белоголовенького, на личике которого сквозь гримасу ужаса все ж проглядывало что-то ласковое, невыразимо трогательное.

Помню Марченко, здоровенного малороссиянина, помню его глаза без мысли, остановившиеся, а на руках у него дочка, дочерна обожженная порохом, и она уже не кричала, в грудочке у нее что-то тихохонько взбулькивало. Сам Марченко был совершенно неподвижен, но вместе было видно, как он быстро и мелко трепещет каким-то внутренним трепетом.

Помню, как из-под камней доставали трупы и раненых. И этого Шевченку до ужаса отчетливо вижу. Ему ногу оторвало, кровь из бедра хлестала с такой силой, что мне тогда мелькнула подбитая лошадь. И еще мне запомнилось, как эту кровь с какой-то торопливой жадностью поглощала земля.

Многие жаловались на нестерпимую боль в ушах, на страшный шум в голове, но мне и моим помощникам было не до контуженых: не успели еще подобрать всех раненых, как бомбардирование возобновилось.

Корабли вновь изрыгали огонь, но снаряды свистели и выли поверх Новой Москвы, неслись в сторону горного леса. Оказывается, оттуда, с гор, к нам на помощь валили туземцы. Их было не меньше полутысячи, во главе с Абдуллой.

---

* Строка не дописана.

Я еще не говорил про Абдуллу. То был веселый, храбрый, смышленый малый. Он был вождем данакильского племени. Н. И. Ашинов сумел сдружиться с Абдуллой. Тот повторял: «Вы, москов, — сидите у моря, а я — в горах, и мы не дадимся френджам», то есть иностранцам, французам.

Вот теперь этот верный союзник спешил на выручку Новой Москвы, хотя хорошо понимал, что ему не выстоять против пушек. И точно. Французские наблюдатели, сидя на мачтах, обнаружили движение туземцев, корабельная артиллерия открыла огонь по ним, и данакильцы, вооруженные в большинстве копьями, остановились и залегли.

И опять утихло. Занятый в больничке, я не видел, как прибыл французский парламент. Атаман уклонился от встречи с ним; говорили, по причине «сильного возбуждения». Впрочем, переговоров-то, собственно, не произошло. Софья Ивановна подвела парламентера к трупам детей, сняла простыню и молча взглянула на офицера. Француз, сдернув кепи, бледный, не произнося ни слова, постоял минуту и резко поворотил к шлюпке.

Вечером прибыл другой парламентер. Это был морской офицер. Он заверил, что моряки весьма сожалеют, что им навязали столь отталкивающее поручение, но, мол, г-н Лагард настроен очень воинственно, как и официальная власть в Париже, с которой губернатор Обока все согласовал. Засим парламентер уведомил, что французы идут на короткое перемирие, оставляя, однако, в силе прежние ультимативные требования.

В нашем распоряжении была ночь.

Прерывая на минуту изложение событий, остановлюсь на одном явлении, в котором, по мне, есть некая парадоксальность. Оно, явление это, право, заслуживает размышлений, но скажу наперед, что и теперь остерегусь утверждать, будто нашел отгадку. Я лишь выскажу сбивчивое суждение, без претензий.

Вражеское нападение, повторяю, ошеломило, вызвало панику. Но это продолжалось недолго, уступив место решимости, единодушию, которые ярко, даже бурно, выказались в ночь перемирия, когда колонисты, можно сказать, поклялись «защищать знамя до конца».

Тут-то и кроется удивительное; говорю «удивительное», потому что усматриваю алогичное. Нетрудно понять решимость ашиновцев — личного конвоя, матросов и мастеровых. Эти не пострадали от ашиновского произвола, они выиграли, хотя бы в том смысле, что удовлетворяли жажду «командовать», быть грозою, ту жажду, которая, должно быть, гнездится в большинстве сердец.

Ну хорошо, эта публика была последовательна в своей решимости. Как, однако, понять вольных казаков, совсем недавно обращенных в подневольных? Ведь они *уже* были обездолены! Пусть в мирных буднях им, что называется, некуда было податься, пусть действовала инерция подчинения, пусть, наконец, следует принять в расчет, что вольные казаки утратили оружие. Да ведь теперь-то был опять вооруженный народ! И что ж, черт поде-

ри? А то, что вольные казаки совершенно добровольно (Ашинов и ашиновцы в тот момент были бессильны понудить, бессильны заставить) решились «защищать знамя»!

Да, среди наших мужиков слышалось под сурдинку упование на то, что *после*, когда, значит, отобьемся от нашествия, одолеем врага, *после*, дескать, все образуется. Да, такая надежда жила и звучала, как жила она и звучала и в 1812-м, и в годину Крымской войны, и во время последней, турецкой.

Но старый-то ополченец никогда не знал свободы, а наши вольные казаки успели подышать ее воздухом. Успели, и утратили, и опять тешились надеждой — непостижимо. Теперь далее. Допустим, тут действовал жертвенный героизм, укоренившийся в поколениях, но одно дело, когда он действует, и это можно понять, в солдатском строю, где сцепленная масса, а совсем иное, когда он возникает в среде обманутых и униженных. Какая пружина движет ими? Опять непостижимо.

Теперь еще далее. Наше интеллигентное меньшинство, наши просвещенные зачинатели артельного хозяйствования, вот уж кто задавался святой целью, вот уж кто мечтал о поселении, созидающемся на радость и счастье. Да разве ж господь ослепил их? Разве ж не видели они, как рухнули принципы? И что же они-то? О, выразили в ту последнюю ночь самое искреннее, самое пылкое, самое неподдельное намерение погибать не сдаваясь.

Неужели они тоже надеялись на это магическое «после»? Пожалуй, так. Но была и экстатическая готовность искупить грех за то, что «вывели в пустыню эту». В несчастье, постигшем колонию, наш брат как бы находил какое-то свое «счастье»: едкое и терпкое «счастье» людей, которые теперь, под бомбами и пулями, могли доказать, что и «тонконогие» не совсем уж тонконогие. Я тоже ловил в себе это жгучее, настоятельное желание.

Немного об Н. И. Ашинове, каким он мне запомнился в ту ночь. Почти общая решимость «стоять за знамя» была Н. И. Ашинову, смею полагать, неожиданностью. Слишком реалист, он вряд ли рассчитывал на подобный идеализм. И доказательством то, что он ведь поначалу-то даже и не призывал «стоять за знамя», препоручив сие Нестерову и Джайранову.

Но едва единодушие обнаружилось, как господин атаман, искусно скрыв давешнюю растерянность, объявил, что наглые французы будут разбиты, однако победу можно купить лишь очень дорогой ценою.

И опять непостижимое! Человек, отнявший у вольных казаков радость «хлебного труда», человек, которого втихомолку кляли сами вольные казаки, именно этот человек внезапно возбудил прилив любви и преданности: «Мы все с тобою, батюшка!»

Я был потрясен; я почувствовал себя отщепенцем, почти изменником. И когда мы с ним столкнулись, буквально на минуту, в течение этой ночи, когда вольные казаки, установив окрест караулы, перетаскивали в глубь долины боевые припасы и продовольственные, когда мы с ним столкнулись и он протянул мне руку,

я... я пожал эту руку. А он проговорил: «Эх, Николай Николаевич, вы уж не обижайтесь, всякое бывает. Кто старое вспомянет», — только это он и проговорил, а я... почувствовал облегчение, будто меня простили.

Сознаю, ничего не объяснил, лишь вопросы выставил. Уж лучше держаться за нить событий, хотя и она прерывистая, потому что с рассветом наступил ад кромешный, вижу все в обрывках, лоскутами.

Еще до рассвета гонцы, посланные Абдуллой, сообщили, что французы высаживают наемников-туземцев верстах в трех от нас, в пальмовом лесу. А едва рассвело, эскадра еще приблизилась к нашему берегу и бросила якоря. Было видно, как открываются ставни* на бортах кораблей и оттуда глядят жерла.

Нестеров со своей сотней занял оборонительную позицию. Он бы ударил в штыки, и наемники вряд ли бы выдержали удалую русскую атаку. Но замысел французов состоял в двойном ударе, в ударе с суши и с моря, а морскому шквальному пушечному огню нам противиться было нечем.

Не прошло и получаса, как все занялось огнем.

---

* Н. Н. Усольцев употребляет «сухопутный» термин вместо морского — «пушечный порт»: отверстие в корабельном корпусе для артиллерийской стрельбы с нижней палубы.

И ПЕРЕД ВЗОРОМ ТВОИМ...



Вот человек, вот проза!
К. Батюшков

Предисловие

Простившись с Успенским и уже сворачивая на старинный тракт литературы путешествий, я вспомнил сироту Алифана. Алифана с Растеряевой улицы, нравы которой изобразил Глеб Иванович.

Завидев сироту, бабы причитали: «Ах ты, батюшки, угораздило же его — Кук!» Извозчики и лавочники науськивали дворняжек, а мальчишки дразнили, приплясывая: «Кук! Кук! Кук!»

Алифан читал, перечитывал, рассказывал, пересказывал книгу знаменитого мореплавателя Джемса Кука. Алифан плавал вместе с Куком в Великом, или Тихом. Растеряева улица недоумевала и злилась. Неподвижность мысли и места обитания представлялись растеряевцам гарантией твердости почвы и крепости корней. А сама по себе мечта увидеть мир — подозрительной, почти бесовской.

Явление Алифанов не зависело ни от среды, ни от времени, ни от географических координат. Об одном из своих персонажей Роллан писал: «Его томила непонятная тоска по далеким краям — те мечты об океане, которые нередко обуревают юных обитателей французских захолустий». Гончаров, называя книги, читанные в детстве, прибавляет: «...и — к счастью — путешествия в Африку, Сибирь и другие».

Не каждый, зачарованный музой странствий, отправлялся в странствия. Из тех, кто отправлялся, немало было подобных некоему С. из «Заметок о жизни» Доде — этот С., воротившись, отвечал на все расспросы — вопросом: «Угадайте, почем там картофель?»

Предлагая опыт биографии В. М. Головнина, подчеркиваю, что он мог бы повторить сказанное Сент-Экзюпери: «Прежде, чем писать, я должен жить». Это «прежде» было палубным. Лишь завершив путь, измеренный милями, он начинал путь, измеряемый страницами.

Талантливый мореход был ли и талантливым писателем?

Его современник, тоже навигатор, скромно заметил: «Моряки пишут худо, зато искренне». На мой взгляд, искренность не столько искупает недостатки профессионально писательские, сколько отменяет их. Об одном историке говаривали — он-де очень талантлив, но органически не умеет произнести хотя бы слово правды. В этом смысле Головнин был совершенно не талантлив.

Вряд ли Василий Михайлович задумывался над тем, участвует ли он в литературном процессе или не участвует. Он излагал свои наблюдения и свои размышления. А его прозе выставили высокий балл другие. То были Константин Батюшков и Вильгельм Кюхельбекер.

Особая, редкостная доля выпала его книге о пребывании в плену у японцев. Пленив взрослого читателя, она позже вошла в круг юношеского чтения. Давно сказано: человечество, старея, отдает лучшие книги юношеству. То есть Алифанам, где бы они ни жили, на Растеряевой улице или во французском захолустье.

Глава первая

1

Купель готова. Нынче сельскому попу крестить барского первенца. Мужчина явился в мир. И пребудет, пока не зазвонит по нем колокол.

Мальчонку несут к купели. Мир для младенца беззвучен, невидим. Но ведь это уже его мир. И на дворе этого мира стоит весна. Весна тысяча семьсот семьдесят шестого года.

Из дальних далей доносится топот повстанцев. Довольно дебатов, спор решит оружие. Мятежники воюют не по правилам? Тем хуже для солдат английского короля Георга III. Тем хуже для бостонского гарнизона.

Пушечный гул вместе с гулом Атлантики катится из Нового Света: Америка отламывается от британской короны.

А здесь, поближе — в Старом Свете?

Вешнее солнце 1776 года заглядывает в Фернейский замок. Вешний луч ловят морщинистые руки «короля республики наук и искусств». Ему восемьдесят два. Беззубый рот провален. Но он очень зубаст, зубаст, как щука, этот старый господин Вольтер.

Лужи на мостовых Парижа. Парижанин глазеет на мятежного чудака Жан-Жака. В кафе «De la Régence» моют окна. Светлые блики падают на шахматный столик. Наверное, вечерком придет Дени Дидро. О-о, мсье отлично играет в шахматы. Но самые лучшие партии разыграл Дидро в огромном круге Знания.

Весна не избавляет от государственных забот. Шестнадцатый Людовик собирается поохотиться в окрестностях Фонтенбло. Умный интриган маркиз Помбаль что-то нашептывает своему повелителю, кретину Хозе I португальскому. Карл III испанский милостиво дозволяет первому министру графу Флорида-Бланко набивать королевскую мошну. В Потсдаме, во дворце Сан-Суси, размышляет о прусском могуществе серьезный и трезвый Фридрих II.

Европеец шлет в океаны корабли. Капитан Джемс Кук вновь склоняется над картами Великого, или Тихого. Менее отважные, но куда более оборотистые капитаны навастривают «гвинейцев». Кили

этих кораблей чертят знаменитый треугольник; Европа — Африка — Америка — Европа. Ветры и течения работают на барышников. Барыш верный, почти стопроцентный. Грузовой поток не иссякает. Из Европы в Африку: металлические бруски, мануфактура, бренди. Из Африки в Америку: рабы, рабы, рабы. Из Америки в Европу: табак, хлопок, сахар, ром. Вперед, «гвинейцы», вперед к Золотому берегу!

Золотой берег не только в Африке. И пахнет он не только пронзительным, как горе, потом черных невольников. Он пахнет и пряностями Индонезии. Он алеет бенгальским маком, дающим молочно-белый сок. Белый сок, густея, меняется в цвете: желто-красный, медно-красный... Ныне, в 1776 году, опять и опять будут действовать рычаги великой контрабанды, той, что доставляет в Китай опиум. «Шуми, шуми, послушное ветрило...»

Ветрила шумели в океанах, а над огромной северной державой мало-помалу поднимался зеленый шум. Медленно сбросив тяжелый тулуп, держава ворочалась и покряхтывала. Сходили снега, талые воды лежали на пожарищах недавней пугачевской войны. Голубело небо, а под ним все еще означались виселицы.

Начинался потемкинский режим. Подполковник Преображенского полка, еще не граф и не князь, уже заграбастал власть, о которой не смел мечтать ни один европейский министр.

Только что попали в руки императрицы черноморские порты; она будет «пускать кораблики» на юге, как Петр пускал на северо-западе. Только что приказала долго жить буйная Запорожская Сечь. Только что началось преобразование провинциального управления.

Изящные конспекты «Духа законов» Монтескье заброшены Екатериной в угол. Вельможная псарня получает жирные куски в Белоруссии. Чиновничий гнус сосет казну сотнями хоботков, а полные чувственные губы государыни улыбаются: «Меня обворовывают точно так же, как и других, но это хороший знак и показывает, что есть что воровать...» В прошениях на имя императрицы слово «раб» велено заменить словом «верноподданный». От этого, наверное, прошения перестали быть прошениями, рабы — рабами.

Четвертовав «изверга» на Болотной площади, «мать отечества» продолжает царствовать. И от всего дворянского сердца повторяются чьи-то мольбы о том, что ей подобает титул больший: матери народов. («Позднее, — отмечает один проницательный историк, — подобные фразы стали стереотипными, заменявшими чувство».)

«Дети», то бишь российские дворяне, не меньше «матери» напугались Емельки-самозванца. Наконец, слава богу, его останки разнесли во все четыре стороны и сожгли. И вот во всех четырех сторонах, где только ни угнездилось русское барство, нынче, весною 1776 года, во второй уж раз покойно, весело, отрадно празднуют благовещенье.

Праздновали и в Гулынках. Празднуя, не забывали о весеннем севе, творя молитву не только во храме, но и в закромах: «Мати божия, Гавриил-архангел, благовестите, благоволите, нас

урожаем благословите: овсом да рожью, ячменем, пшеницей и всякого жита сторицей».

Отошел великий праздник, пришел великий труд. Каким он будет, урожай семьдесят шестого года? А в помещичьем дому уже «урожай»: барыня Александра Ивановна разрешилась первенцем.

Младенцу мужского пола достаточно одного восприемника. Кто им был, я не доискивался. Существеннее другое — черты «малой родины». Ведь, по словам историка Соловьева, еще лётописцы московские дивились храбрости и речистости рязанцев. А литератор Елпатьевский, изъездивший всю страну во времена сравнительно нам близкие, утверждал, что он нигде не встречал таких красивых, нередко изящных крестьянских лиц, как в Рязанской губернии.

2

Село упоминается в рязанских писцовых книгах еще в начале XVII века. Когда Василий Головнин родился, Гулынкам было никак не меньше полутораста лет. Долгое время принадлежали они Вердеревским. Вердеревские происходили, как пишет Головнин, «от татарского князя Сала Хамира, крестившегося при Олеге и женившегося на его родственнице. Князь сей, получив обширные владения в Скопине и поселившись на реке Верде, стал называться Вердеревским».

С Вердеревской Александрой Ивановной повенчался коллежский асессор Михайло Васильевич Головнин. Он тоже мог похвалиться древностью фамилии, значившейся в шестой части родословной книги. «Древо» Головниных и описание герба хранится в одном из ленинградских архивов.

Василий Головнин был первым у отца с матерью, но не последним. Впрочем, трое его младших братьев не оставили заметных следов на жизненных дорогах. Правда, в Гулынках все они четверо отнюдь не помышляли о карьере. Их «поприщем» был обжитой господский дом, сад да рощи, Истья да пруды. И еще лес за барским полем, куда посылали девок по грибы, по ягоды.

При слове «усадьба» видишь белые колонны, сквозящую листву лип, дорогу, обсаженную рослыми березами, цветники, разбитые заботливо и любовно. Видение необманчиво, все так и было. И старые нянюшки были, и моськи, и часы, сипло отбивающие «Коль славен», и малашки, чешущие бариновы пятки, и мебеля красного дерева, и развалистые диваны, и длинные трубки. Трубок без счета, хоть полк закуривай.

Гулынки, конечно, не чета «версалям», что возникли под крылами екатерининских орлов. Рязанское это село было просто-напросто старым поместьем, где сизой зимою жарко топились изразцовые печи, а красным летом густо жужжали черные мухи. Были Гулынки старым поместьем с залой, с низенькими антресолями «для детей» и тесной людскою, кладовыми и подклетями,

бисерными вышивками и шелковыми ширмами. Старое гнездо, пахнущее яблоками, вареньем, хлебом. Старое гнездо, набитое платьем, посудой, зеркалами, утварью, всем, что оплатили поколения рабов и накопили поколения господ.

«Положение этого класса в обществе, — писал Ключевский, — покоилось на политической несправедливости и венчалось общественным бездельем; с рук дьячка-учителя человек этого класса переходил на руки к французу-гувернеру, довершал свое образование в Итальянском театре или французском ресторане, применял приобретенные понятия в столичных гостиных и доканчивал свои дни в московском или деревенском кабинете с Вольтером в руках».

Черты верные, но беглые, общие, самим историком не раз дополненные. Головнина ждал иной путь. Положение его, конечно, «покоилось на политической несправедливости», однако не «венчалось общественным бездельем». Он был прямым наследником служилых дворян петровской выделки. А духовно, подобно многим современникам, пристал к вольнодумцам вольтеровской закваски.

Коллежский асессор Михайло Васильевич, сам в молодости гвардеец, определил первенца в преображенцы. Васенька еще сливки попивал, когда уж был «написан» унтер-офицером гвардии. Все наперед расчислил батюшка: из сержантов гвардии пойдет Василий капитаном в армию, майором отставку получит да и обоснуется в Гулынках. Куда как славно!

В казарму преображенцев он не попал. В армию тоже. И не до пехотного майора дослужился. И в Гулынках бывал наездами, а не сиднем сидел[1]. Не по отцовым наметкам судьба сложилась.

3

Ехали на перекладных. Дожидаясь подставы, ругали смотрителей и опоражнивали самоварчик-братину. Астраханским трактом ехали, гулынцам знакомым. Пошли уж города московской артели: Зарайск, Коломна, Бронницы.

Совсем по-иному рассудили родственники-опекуны. Какая-де гвардия, коли состояние у сироты недостаточное? Батюшка умер, матушка умерла. А Васю и не спрашивали — недоросль. И рассудили родственники-опекуны: быть ему в морской службе. Отчего такая мысль явилась? Никто, кажется, из Головниных на морях не качался. И никто из Вердеревских. На кораблях не отыщет Вася родного человечка. Без родной души кто в службе порадеет? Ну ладно, бог не оставит сироту.

В Москве не задерживались. В Москве каждый день влетает в копеечку. Снегу в снегопад не выпросишь, за все втридорога дерут. И опять гремят бубенцы. Теперь уж на Петербургском тракте.

Тогдашний Петербург еще не был Северной Пальмирой. Ансамблей, памятных каждому либо зрительно, либо книжно, еще

не возвели блистательные зодчие. «Строгий, стройный вид» лишь возникал. Торцовых мостовых и в помине не было. Дворцовую площадь не Главный штаб объял, а строения, отдаленно напоминавшие парижский Пале-Рояль: лавки, трактиры, маскарадные залы, театр немецких лицедеев. На углу Невского и Владимирского вонял Обжорный ряд. Мальчишки играли в бабки. Бродили стаи голодных псов. И хотя посверкивал адмиралтейский шпиц, но еще и самому Андрияну Захарову не мерещилось захаровское Адмиралтейство. А тогдашнее было неказистое, неоштукатуренное. Европою, по мнению современника, можно было счесть Зимний, прекрасные набережные, две Морские и две Миллионные, Невский до Аничкова моста.

Впрочем, гулынский мальчонка не задержался в Питере. Уж несколько лет, как на здешнем Васильевском острове сгорел Морской кадетский корпус. На другом острове помещался теперь корпус — на Котлине, где город и крепость Кронштадт.

Вася ехал туда зимней дорогой, среди перекатных сугробов Финского залива. А жаль... То ли дело летом, водою! На переходе из Невского устья в Кронштадт возникает отрадное широкое и светлое впечатление; тихо и властно берет за душу, оставаясь в сердце навсегда. Невский город показывает грани свои и ракурсы, в море, по слову поэта, моются мысы, берег оторочен холкой лесов. И вот всплывает — как на бочках, как на понтонах — знаменитая крепость.

В звуке «Кронштадт» слышится что-то твердое, несокрушимое. Кулак, защищающий столицу. В его гаванях — корабли. Пункт «отшествия» и пункт «пришествия», говорят навигаторы. Уходят в море, нередко и на смерть; возвращаются с моря, бывает, и за наградой. Нельзя разъять Кронштадт и флот. Их общность определяет тысячи судеб: матросов и офицеров, плотников, пушкарей, парусников. Кронштадт не балует своих служителей. У него медвежья повадка, каменные скулы, натруженные руки. Кронштадт не терпит неженок. В будни он работает не разгибаясь. От его праздников шибает сивухой.

При Петре итальянские мастера возвели для царского любимца князя Меншикова большой дом с крытыми галереями и бессчетными окнами, отражавшими облачное кронштадтское небо. Дворец назвали Итальянским. Когда светлейшего сослали, дворец достался казне, как и все богатства, нахапанные Данилычем.

Казенный глаз — не хозяйский глаз: Итальянский дворец ветшал. Ветра просвистели его насквозь. В ненастье дом будто постанывал. Он пропах мундирным сукном и амуницией. На бывшей «жилплощади» Меншикова квартировало пять рот, без малого шестьсот молодцов. В январе 1788 года к ним прибавился еще один.

«...Батюшка сам отвез меня в корпус, прямо к майору Голостенному, они скоро познакомились и скоро подгуляли. Тогда было время такое: без хмельного ничего не делалось. Распростившись меж собою, батюшка садился в сани, я целовал его руку, он, перекрестя меня, сказал: «Прости, Митюха».

Я цитирую записки вице-адмирала Сенявина. (Имя, кажется, известное). Митюха попал в корпус много раньше Васи. Но и много спустя «без хмельного ничего не делалось». А уж если родимый батюшка напутствовал сыночка столь куцо, хотя и по-суворовски выразительно, то сироту, надо полагать, еще поспешнее сплавили богу на руки.

Примечательно, однако, отцовское «прости». Сенявин-отец был офицером, сознавал, значит, что закрытое военное учебное заведение не малинник.

Начать с того, что кадет обирали каптенармусы и кастеляны. Барчата кормились, как в худом монастыре. Но барчата не хотели играть роль послушников и грабили окрестные огороды. Обыватели плакались начальству. Начальство держалось нейтралитета: не пойман — не тать. Изловить же голодного волчонка было хлопотно. Да и боязно, ибо однобрашники мстили «шарапом». Ночь вдруг оглашалась воем: «На шара-а-а-ап!»

Нравы военных учебных заведений не отличались мягкостью. «Будешь воином суровым...» Современник Головнина свидетельствовал о том выразительно.

«Воспитание кадет, — писал он, — состояло в истинном тиранстве. Капитаны, казалось, хвастались друг перед другом, кто из них бесчеловечнее и безжалостнее сечет кадет. Каждую субботу в дежурной комнате вопль не прекращался. Между кадетами замечательна была вообще грубость; кадеты пили вино, посылали за ним в кабаки и пр.; зимою в комнатах кадетских стекла были во многих выбиты, дров отпускали мало, и, чтоб избавиться от холода, кадеты по ночам лазали через заборы в Адмиралтейство и оттуда крали бревна, дрова или что попадалось... Была еще одна особенность в нашем корпусе — это господство гардемаринов* и особенно старших в камерах над кадетами; первые употребляли последних в услугу, как сущих своих дворовых людей; я сам, бывши кадетом, подавал старшему умываться, снимал сапоги, чистил платье, перестилал постель и помыкался на посылках с записочками, иногда в зимнюю ночь босиком по галерее бежишь и не оглядываешься. Боже избави ослушаться! — прибьют до полусмерти. Зато какая радость, какое счастье, когда произведут, бывало, в гардемарины; тогда из крепостных становишься сам барином...»

Словом, «спартанство». Прежде чем повелевать, научись повиноваться. Вот и учились. Впрочем, не только в дежурной

---

* Воспитанники старших классов.

комнате, под розгами, но и в классах: с семи утра до одиннадцати — теоретические предметы, с двух пополудни до шести — упражнения.

Тот же очевидец, будущий декабрист Штейнгель, уничижителен: «Учителя все кой-какие, бедняки и частью пьяницы, к которым кадеты не могли питать иного чувства, кроме презрения». Сказать правду, следовало бы вывести за скобки несколько тогдашних светочей.

Головнина восхищал математик Василий Никитович Никитин, магистр Эдинбургского университета. Профессор был соавтором известного учебника тригонометрии; учебник еще пахнул типографией в год поступления Головнина в корпус.

Был еще Курганов. Своеобычливая фигура, достойная внимания.

Курганову колыбелью была сумеречная Сухарева башня. Башня вплывала в московские улочки, как адмиральский корабль в шхеры. В Сухаревой башне мужали первые водители русских фрегатов. Разночинец Николай Курганов хлебал с ними из одного котла.

Строя, фрунта солдатский сын не отведал: он слишком хорошо «ведал астрономию». Он умел втискивать астрономические познания в самые крутые мозги.

Говорят, Николай Гаврилович не боялся хмельного. Ну, по мерке ему и пословица: пьян да умен — два угодья в нем. Второе угодье обширным было. Курганов работал, как пахарь. В чинах, однако, не успел: хвостом не вилял, слыл «лапотным грубияном». А воспитанники души в нем не чаяли. Он был усмешлив, ироничен, не выносил дутой учености. Он был участлив, сердечен, прост в обращении. Короче, отличный человек.

Преподавание, литература поглощали его до макушки. Знатоку трех языков были доступны европейские тиснения. Он уподоблялся лоцману. И не просто переводил, но дополнял и уточнял.

Благодаря Курганову разжился Морской корпус сочинениями Бугера, Буде де Вильгюэ, Саверьена, техническим пособием «Морской инженер», сборником мореходных таблиц, «Повестью о корабельной архитектуре», излагающей историю судостроения.

Сказать: «Курганов — добрый гений русского морского образования» — не значит бросить слова на ветер. Но это еще не все. Он был автором «Письмовника». Полное наименование книги такое: «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русского языка, с седьмью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещей».

То было явление русской письменности. Оно выдержало восемнадцать изданий! Грамматика излагалась ясно, что не так-то уж и просто. Потом следовали в алфавите пословицы. Потом «Краткие замысловатые повести». Не десяток, не дюжина — триста двадцать одна. Они были навеяны чужестранными источниками. Курганов не перелагал. Он переделывал. И еще: «Стихотворная хрестоматия», «Всеобщий чертеж наук и художеств»,

толковый словарь иностранных слов и слов славянских. Кургановскую энциклопедию знала вся читающая Россия[2].

Тактику, как на море воевать, долбили кадеты по Госту. Еще в конце XVII века достопочтенный тулонский профессор Поль Гост издал трактат «Искусство военных флотов». В середине XVIII века не менее достопочтенный директор Морского корпуса Голенищев-Кутузов перевел трактат на русский[3]. Гостова классика старела. Уже выпускник корпуса Федор Ушаков воевал на море отнюдь не по правилам тулонца, и воевал превосходно. Но кадеты все еще зубрили «Искусство военных флотов».

Главной наукой считалась математика. Она тут княжила, в этом Итальянском дворце. Корабли давно стали самой поэзией, но корабельщики давно «алгеброй поверяли гармонию». Паруса, тоже древний предмет поэзии, требовали закройщика-геометра. В красоте оснащенных кораблей воплощалась красота математических формул.

Урания, муза астрономии, несла гардемаринам небесный глобус. На крыше Итальянского дворца была обсерватория. Будущие офицеры припадали к телескопу. «Бездна, звезд полна», горела для плавающих и путешествующих. Молодые люди постигали «звездную книгу», чтобы плавать и путешествовать.

Обсерватория была окном во владении Урании. Из окон второго и третьего этажей виднелись владения Нептуна. Кронштадтские гавани возникали отчетливо, словно на ландкарте. Корабли с убранными парусами казались изящно-легкими, как на маринах. Корабли с поставленными парусами казались окрыленными. Гавани жили приманчивой для кадет жизнью.

Веснами начинались кампании, практические плавания Балтийского флота. Кадеты захлопывали учебники. Каптенармусы раздавали столовые приборы, кастеляны — белье. Кадеты глядели именинниками. Итальянский дворец утихал. Кронштадт тоже. В так называемых губернских домах (их строили при Петре за счет губерний) пустели офицерские квартиры. Из Морского собрания, заведенного совсем недавно, не доносилась музыка. Гремела «музыка» пушечных салютов.

Практика не была прогулкой. На вахте не вздремнешь, как случалось на уроке. И не угреешься на палубе, как в спальном покое. На ходу и на якоре все зимнее, книжное оборачивалось явью. Явь поражала новизною. Одни пугались будущего, другие ему радовались. Тем и другим приходилось солоно.

5

Императрица всероссийская была двоюродной сестрой короля шведского. Коронованные родственники враждуют чаще некоронованных.

Екатерина II и Густав III обменивались любезными письмами и подарками, устраивали свидания. Заглазно оба не скупились на брань. «Этот король такой же деспот, как мой сосед — сул-

тан», — язвила царица. Густав отплачивал намеками на альковные утехи и успехи сестры; недостачи «фактического материала» король не испытывал.

О словесной пикировке монархов не жаль бы и умолчать, но за нею крылись серьезные обстоятельства, отнюдь не словесные.

Густав III, полагает шведский историк, «хотел блистать подобно героям французских классических трагедий». Тень Карла XII бродила в почти квадратном королевском замке. Она взывала к отмщению. Изо всех, кто занимал престол после Карла XII, Густав был единственным рожденным в Скандинавии. Между ним и Карлом протянулась нить.

Французы расщедрились на субсидии. Флот умножился, оснастился. Но король выжидал. Выжидая, дурачил сестрицу: «Я люблю мир и не начну войны». Пылкое миролюбие зачастую признак военного зуда. Зуд сделался несносен, когда Россия и Турция схватились.

В Константинополе ухаживали за шведским послом. Султан напоминал северному коллеге про старинный оборонительный союз, умащивал денежными ссудами. Король согласно кивал.

Из Петербурга шведский посланник Нолькен бодрил его величество пространными депешами о хилости морских и сухопутных войск, дислоцированных близ невской столицы.

Пора было сыграть классическую трагедию. Занавес поднялся с тихим шелестом: то был шелест форштевней — флот покидал свою главную базу Карлскрону. На линейном корабле «Густав III» вился флаг генерал-адмирала герцога Карла Зюдерманладского, брата государя. Капитанам вручили запечатанные пакеты с секретными инструкциями. Экипажи были в неведении. Как обычно, тот, кто платит кровью, оплачивает чужие счета.

К походу готовились тайно. Но посол граф Разумовский не дремал в Стокгольме, а русский рубль был весом. И петербургский двор узнал, что швед сулит дамам пышный праздник в Петергофе, что на Фальконетовом монументе будет выбито имя короля-победителя, а в Зимнем дворце униженная царица дрожащим пером подпишет мирные артикулы, согласно которым Балтийское море опять станет шведским озером, прибалтийские земли — шведским владением.

Венценосцы занимались и литературой. Густав писал историко-романтические драмы, Екатерина среди прочего сочинила комедию «Горе-богатырь». В «Горе-богатыре» угадали стокгольмского рыцаря. Зрители в Эрмитажном театре рукоплескали.

Однако под ложечкой екало. Подступы к столице лежали почти нагими. Екатерина трусила. Ее статс-секретарь записывал в дневнике: «Не веселы». Другой очевидец утверждает, что матушка императрица «плакали».

Екатерина сетовала на Петра: слишком-де «близко расположил столицу». Отныне надёжей были эскадры парусные и гребные. Спокойный храбрец, герой Чесмы адмирал Грейг полу-

чил указ: «Следовать с божию помощью вперед, искать флота неприятельского и оный атаковать».

Замечают, что французская трагедия основывалась на правилах Аристотеля, дурно понятых Корнелем. Густав III дурно понял правила стратегических драм. Как многие недруги «северного медведя», король думал овладеть им в собственной его берлоге.

Трагедия, в которой Густав играл не очень-то блистательно, была в трех действиях: семьсот восемьдесят восьмой год, восемьдесят девятый, девяностый. Сценой служила Финляндия и Финский залив. Главное происходило на море. Столкновения флотов определяли развитие сюжета. Если, по выражению одного немца, «море — только дорога», то Балтийское море — дорога, политая кровью русских и шведов.

Патриотизм не в отвержении чужих подвигов. Русский солдат и матрос, шведский солдат и матрос умели воздавать должное мужеству неприятеля. Лжепатриотизм цветет на верхах иерархии. Реляции, публиковавшиеся в Петербурге, как и реляции, публиковавшиеся в Стокгольме, звучали фанфарами.

Всматриваясь в боевую летопись, замечаешь обоюдные удачи и неудачи при отсутствии решительного перевеса. Все напоминает старинное флотское состязание — перетягивание каната. Обе стороны упираются ногами в палубу, напруживают бицепсы, кряхтят и вскрикивают, подаваясь то вперед, то назад.

Но именно потому, что дело не увенчалось в первое же лето, именно поэтому оно означало крушение планов Густава III. Он не одолел «северного медведя». Тот рычал, взмахивая лапами.

Кронштадт жил тревожной готовностью. Корпус спешно выпускал гардемаринов — «за мичманов». И уже были потери: шведы пленили два русских фрегата. На борту фрегатов находились Васины однокашники.

Его черед нюхать порох настал в девяностом году. А коль скоро гардемарин Василий Головнин вступает под сень парусов, должно пристальнее вглядеться в панораму.

Переменчивой зимой 1789/90 года на верфях Карлскроны усердствуют плотники. Все кипит и на верфях шведской части Финляндии: в Свеаборге, Або, Гельсингфорсе. Густав берет под свою царственную длань галерный флот. Герцог Карл, салютуя себе клубами трубочного дыма, твердо верит, что корабельным флотом командует именно он, брат государя, а не его адмиралы.

Соглядатаи доносят: Екатерина намерена сломать, наконец, шею «полоумному» (ее диагноз) родственнику. Объявлен новый рекрутский набор. Бреют лоб пятерым из пятисот, а не одному, как раньше. Осмотрительно-медлительного Мусина-Пушкина устраняют. Ему на смену едут двое: русский сановник «благородного» корня граф Салтыков и барон Игельстрем, отпрыск немецких рыцарей, пылкий и хитрый.

Моряки к этому времени лишились Грейга. Флотовождь умер. Его сменил Чичагов. Царица не без опаски спрашивала, сумеет

ли адмирал выстоять противу шведа. Чичагов отвечал: «Бог милостив, матушка: не проглотят!»

Итак, стратегический план Густава III прежний: армия и флот, сблизившись в районе Выборга, соединенно насядут на Петербург. Но в отличие от прошлых кампаний его величество не намерен изнывать в осаде русских укреплений. К черту! Обойти, оставить в тылу. И пусть пухнут с голоду.

«Я утверждаю, — пишет Густав своему приближенному, — что теперь главным образом нужно действовать не столько осторожно, сколько смело... Будьте генералом Карла XII. Бывают случаи, когда смелость есть истинное благоразумие».

Это верно. Но в данном случае был не тот «случай». И королю недолго ждать тяжеловесных и внушительных доказательств «от противного».

Впрочем, начин был удачным.

Еще март стоял, еще ноздреватый лед-багренец колыхался, когда шведский десант обрушился на эстонский берег. Из Ревеля прискакал в Зимний взмыленный курьер. Статс-секретарь императрицы отметил в дневнике: «Во все утро переполох».

В Ревеле спешно готовили эскадру. Выходу из гавани мешал лед. А шведы гуляли в открытом море. Шкиперы купеческих судов видели их южнее острова Эланд. Минули недели, и теперь уж с русских кораблей усматривали чужой флаг: прямой желтый крест на синем поле.

Тем временем Кронштадт напрягся. Главный командир порта Петр Иванович Пущин, человек неуступчивый, но притом и неуемно деятельный, сколачивал ту ударную силу, которой скоро доведется выказать огневую мощь.

Тысячи бритых лбов расписывали по кораблям, обряжали и обучали наскоро. Из складов (по-тогдашнему — магазинов) везли судовое вооружение, боевые припасы. Обнаруживались прорехи именно там, где не ждали. Пущин гневался, сокрушался, строчил слезные бумаги в Петербург. И, не дожидаясь помощи, изворачивался собственной сметкой.

Особенное неудовольствие навлек на свою голову Петр Иванович повальным изъятием офицерской и адмиральской прислуги. «Прислугой за все» подвизались матросы. Матросов ждали корабли, и командир порта опустошил господские дома. Отечество отечеством, да ведь надобно кому-то топить печь, ставить самовар, колоть дрова, бегать в лавку? Пущина кляли почем зря.

Но тут-то Петр Иванович еще успевал отругиваться. А вот что было делать, коли с фортов сняли солдат, да и марш в Финляндию? Что было делать, если до комплекта недоставало ста шестидесяти мичманов, а Итальянский дворец выставил меньше половины? И что было делать, когда флагманы хворали и отсиживались дома, на печи? Правда, вице-адмирал Круз казался, несмотря на старые раны, здоровехоньким. Да уж лучше б, прости господи, Александр Иванович лежал в горячке: спасу нет от его желчных требований.

Круза легко понять. Начальник кронштадтской эскадры понаторел в походах, не из устава знал, каково в бою. Вот он и клевал коршуном содержателей «магазейнов». Упаси бог сказать: «нельзя» иль «нет». Да и молодые офицеры и гардемарины, в Круза влюбленные, брали казну приступом, быть может, вспоминая кадетский «шарап».

Гардемарина Головнина назначили на эскадру Круза. Гардемарин ликовал. Вице-адмирал считался одним из лучших флагманов. Отец его был земляком Гамлета, сам Круз — уроженцем Москвы. Моряк чуть не с молочных зубов, он посивел на русской палубе. Даже среди отчаянных храбрецов Первой архипелажской экспедиции, уничтожившей турецкий флот в Средиземном море, Круз выдавался личной храбростью. В сражении у острова Хиос он прошел на своем линейном корабле «Евстафий» вдоль всей неприятельской эскадры, прошел буквально с музыкой (гремел корабельный оркестр), сблизился на картечный выстрел с султанским адмиралом и завязал бой. Когда дошло до рукопашной, Круз ринулся на борт «Реал-Мустафы». Вражеский адмиральский корабль был захвачен. Но и «Евстафий» взлетел на воздух. Обожженный, израненный Круз очутился в воде. Он вынырнул, ухватился за обломок мачты, увидел своего артиллерийского офицера. Тот, отфыркиваясь, закричал: «Каково я палил, а?» Подошла шлюпка. Утопающих стали подбирать. И тогда-то Круза наградили ударом весла по голове. Награда, полагать надо, заслуженная: храбрец, как большинство «отцов командиров», был скор на расправу с нижними чинами.

Не знаю, утих ли Александр Иванович, получив таковое назидание, или сделался еще ретивее. Мужества у него, впрочем, не убавилось. Он по-прежнему не кланялся ядрам, умел под обстрелом чаевничать, боялся лишь одного: не пушечного грома, а небесного, грозы боялся.

Круз держал флаг на корабле «Чесма». Не будучи полным адмиралом (предмет его воздыханий), Александр Иванович поднял флаг не на грот-стеньге, а на фор-стеньге. И не белый с андреевским крестом у древка, а синий с таким же крестом.

Линейным 66-пушечным командует англичанин Джемс Тревенен. Он недавно под русским флагом. Но уже заслужил репутацию храбреца, человека просвещенного, нрава «сообщительного». Немало на флоте иностранных едоков русского хлеба; Тревенен, однако, не из захребетников.

Здесь, на линейном корабле, уже покинувшем Кронштадт в составе Крузовой эскадры, получит Головнин то, что называется боевым крещением. Но пока маловетрие. Приходится лавировать или лежать в дрейфе в пяти милях от Толбухина маяка и глазеть на робко зеленеющий сестрорецкий берег.

До боя считанные дни.

За сердце не хватают холсты с изображением морских баталий. Живописцы академически передают эффекты моря, дыма, огня. И дотошно вырисовывают построение в линию, пушки, па-

руса. Это дотошность гроссбуха. Правды нет: нет пота и упоения боя.

Рапорты о сражениях пишутся в адрес высшего начальства. Тут зачастую и совестливый теряет остойчивость. Правая рука вдруг левшит... Спустя годы архивную пыль отрясают официальные историки. Они редко удостаивают вниманием чужеземные источники. Разве что для подкрепления своей точки зрения. Да и то сказать, чужеземные документы тоже не твердой рукой начертаны. Что ж до мемуаров, то моряки-ветераны в отличие от сухопутных почему-то тяготились марать бумагу.

Но в архивных хранилищах есть шханечные журналы, предки вахтенных. Их авторы не успевали лукавить, хотя бы потому, что заносили на плотные, шероховатые страницы происшествия часовой давности. Широты и долготы, галсы и румбы, начало атаки или конец атаки, сигналы флагмана, распоряжения командира. Все правда. И однако, не вся правда. Движения корабля даны точно. Движения людских душ никак не даны. А бой слагался не из одних эволюций, артиллерийских дуэлей или абордажных схваток.

За поход девяностого года гардемарин-отрок удостоился боевой медали. В своей биографической записке Головнин об этом не упоминает. Вот уж точно, красноречивое умолчание. Награду не выклянчил какой-нибудь радетель. («Не имел он и мичмана своим покровителем», — замечает Головнин о себе самом.) Значит, не схоронился в уголке паренек, а если и дрогнул, то подавил робость, держался молодецки. И притом не однажды, не минутами, потому что всем кораблям досталась ломовая, страдная работа.

Круз и герцог Карл сошлись 23 мая 1790 года в двенадцати милях к северо-западу от Красной Горки. Швед перевешивал четырьмя линейными кораблями. Перевешивал личным составом: 15 000 против 11 000. Перевешивал артиллерией: 2000 стволов против 1400. Прибавьте гребную эскадру, повисшую на правом фланге кронштадтцев.

Суть, понятно, не только в арифметике. Воюют не числом, а умением — афоризм летучий. Шведы давно были в море. Наплавались. Сплотились. Как говорится, уже чувствовали свои корабли. А Круз получил от Пущина рекрутов, собрал народ там и сям, включая и арестантов.

Вице-адмирал, сознавая преимущества врага, ждал подмоги ревельцев. Чичагов, однако, на горизонте не означался. Отступать же было некуда: позади Петербург. Братьям Густаву и Карлу стоило прогнать старика Круза, запихать в Кронштадт — и шлагбаум поднят: свози десанты в Ораниенбаум, в устье Сестры-реки, а там уж двигайся марш-бросками к русской столице. Заслон у двоюродной Катрин пустячный: обыватели, горожане.

В третьем часу пробрезжило. Море как выцвело. Ветер тянул слабо. Вдалеке, над Питером, струилось розовое. Был лучший час в сутках майской Балтики.

Моряк-созерцатель кочует в поэмах. В морях кочует моряк-

практик. Практик использует силы природы, а не умиляется. Не богиню Аврору приветствуют пушечные залпы, нет, это приказ: «Преследовать неприятеля». И сердитые повторы: «Исправить линию», «Прибавить парусов». Увеличить парусность — значит увеличить ход. Прибавить парусов — значит лезть к брамселям и бом-брамселям.

Эскадра сближается с противником. Такие минуты для тугих нервов. В такие минуты слух обострен. И — странно — будто глохнешь.

Гром грянул: стреляли шведы. А Круз молчал. Круз держал сигнал: «Атаковать неприятеля на ружейный выстрел». У Круза нервы не провиснут слабиной, как пеньковые тросы. Только б выдержали пушки... Черт знает, каково литье... Только б выдержали пушки... Русские молчат. Синий прямоугольник вице-адмиральского флага трепещет на фор-стеньге. Сын Круза на эскадре. Сына могут убить. На все воля божья. Вот и на то его воля, что в авангарде у шведа контр-адмирал Модей, добрый приятель. Двадцать лет назад сдружились. Двадцать лет спустя подерутся. Есть долг дружбы, но есть и долг службы...

Однако не пора ль?

Русская артиллерия подает голос. Море вскипает. Ничего не видно. Дым, дым, дым. Грохот. Тяжелый, слитный, чудовищный грохот слышен в затаившемся Петербурге.

Но в Петербурге не различают тех звуков, которых так опасался старый вице-адмирал. Орудия не выдерживают. Разворотило пушку на корабле «Америка», да еще рядом с крюйт-камерой, чудом не подняло на воздух всю эту «Америку». И на «Сысое Великом» разворотило. Где одиннадцать вышло из строя, где — семь. И в деке «Не тронь меня» тоже. Были убитые, были раненые.

Не различают в Петербурге ни предсмертного хрипа, ни хруста костей и рангоута, ни матерного захлеба. Город гудит и дрожит. Так утверждают шведские источники. Царицыному статс-секретарю, очевидно, не до своих тетрадей. Храповицкий лишь помечает: «Ужасная канонада слышна с зари почти во весь день».

Сражение дважды изнемогало и дважды возгоралось. На эскадрах воняло паленым, было склизко от крови. Лекари в кожаных фартуках пилили, как столяры, шили, как парусники. И на обеих эскадрах не видели солнца.

Солнце садилось. Натекал сумрак, море будто густело. Ветер дул западный, слабый, как и утрешний. Пальба стихала, дым нехотя опадал. Шведы медленно удалялись, русские не шибко преследовали.

Наступил час реляций. Русский курьер готовился в путь как вестник победы. Шведский курьер готовился в путь как вестник победы. Пусть одни мундирные историки доказывают: победитель остается на поле битвы; пусть другие доказывают: отступить с поля битвы — не значит проиграть.

А в блеклом небе проступают блеклые звезды. Мир прекрасен, хорошо жить. Но шведы хоронят в море шведов, но русские хоронят в море русских. И кто-то не дождется своих в Швеции, кто-то не дождется своих в России.

Ночь стояла в мерном ропоте моря. Вице-адмирал объезжал корабли. Он видел изодранные паруса, перебитый рангоут, слышал возню матросов, занятых ремонтом, чуял запах остывающих, как жаровни, пушек.

Старик тяжело поднимался по трапам. Хотел знать, что да как. Быть может, ему попался мальчик, прикорнувший на артиллерийской палубе? Отрадно бы изобразить старого морского волка, склонившегося над юным воином. Как адмирал, сострадательно улыбаясь, тихо касается сухими губами воспаленного лба героя-гардемарина. Черта с два! Александр Иванович с мальчишества грыз корабельные сухари, вот и зачерствел. Оставим беллетристам ласковых, как феи, военачальников. У командующего заутра бой, командующему думать за всех, обо всех.

Гардемарин спит. Он закопчен порохом, как бедуин зноем. Где-то в закоулке его сотрясенной души струится: не оплошал, не шмякнулся мордой в грязь. Ах, эти кадетские присловья: «Смерть — копейка», «Ухо режь — кровь не капнет»! Ну, спи, Василий Михайлович, почивай. И тебе завтра в бой.

Когда развиднелось, берега все еще скрадывал дым минувшего сражения. Но на море, над эскадрами, занимался светлый погожий день. И ветер убрался, совсем заштилело. Словно бы для того, чтобы эскадры не могли сблизиться.

Они бездействовали до полудня. Потом разведка донесла герцогу Зюдерманландскому о приближении адмирала Чичагова. Того самого, что успокаивал Екатерину: «Бог милостив, не проглотят!» Теперь уж герцогу Карлу следовало бы опасаться, как бы не «проглотили». А Крузова задача была в том, чтобы устоять до встречи с Чичаговым.

Королевская эскадра открыла огонь по авангарду Круза, второе Красногорское сражение началось. Тотчас у русских вышла досадная заминка: задние корабли сбились кучей. Потребовалась молниеносная работа на реях. Опасность подстегнула худо обученные экипажи. Пренебрежение к опасности — на миру и смерть красна! — позволило управиться вовремя. И едва управились, как ответили на огонь неприятеля. Дуэль длилась несколько часов. Шведы щедро били по адмиральскому кораблю, в каюте у Круза уже зияли пробоины.

В каюте у герцога пробоин не было. Герцог в пекло не лез. Он торчал за линией своей эскадры, на фрегате «Улла-Ферзен». И оттуда вроде бы дирижировал пушечным оркестром. Но тут вдруг набежало разведывательное судно с пренеприятнейшим известием: на горизонте Чичагов. Герцог Карл велел отступать.

Вице-адмирал Круз преследовал противника. У старика отлегло от сердца. Он стащил парик, платком, огромным, как кливер, отер мокрую седую голову.

Вскоре близ острова Сеспар Круз салютовал Чичагову одиннадцатью выстрелами: «Вступаю в ваше распоряжение». Отныне главные силы нашего флота насчитывали 27 линейных кораблей и 18 фрегатов; главные силы королевского — 21 линейный корабль и 8 фрегатов. Разница существенная.

А тут еще Карл допустил промах столь же крупный, сколь и непонятный. Герцог не укрылся в родных шведских шхерах, нет, он бросился опрометью в Выборгский залив. К заливу подтянулись корабли Чичагова и закупорили неприятеля, как в бутылке.

Выборгский залив вырублен в граните. Гул древних ледников затаился в буром, в багровом. При тихой погоде нескончаем диалог сосен и волн. А какое молчанье в студеную пору! Будто молчание всех ушедших времен. Прекрасен Выборгский залив... Но лишь для того, кто свободен. Офицерам и матросам герцога Карла залив был тюрьмой. Они были блокированы, им некуда было деться.

Стратегические и тактические подвиги в кабинетах и штабах — это одно; стратегические и тактические подвиги под открытым небом — другое. Ни король, ни герцог не предусматривали бегства на Выборгскую позицию. Но коль скоро конфуз приключился, оба заверяли, что отступали по плану, со строгим расчетом, в полном спокойствии и т. д.

А с уха на ухо король цедил, что обманулся в военных дарованиях герцога. Надо прибавить, что Карл отплатил Густаву тем же. В общем-то они были квиты. Но было ль от того легче шведам?

Вот они теперь, в июне девяностого года, стеснились всей эскадрой в проклятой ловушке. У них недоставало снарядов. Недоставало провизии, пресной воды. Да так, что граф Салтыков, державший Выборг, делал красивые жесты: кормил неприятельского командующего. Взамен же получал незапечатанные письма герцога с покорнейшей просьбой доставить в Стокгольм, его величеству.

Судьба шведского флота повисла на шкертеке, как называют моряки тонкий трос. Но минула неделя, минула вторая, а герцог Карл все еще курил свою трубку, и его шпага все еще была при нем, а не в руках победителей.

Иной раз поболтаться на якоре и недурно. Однако большинство русских моряков предпочло бы выбрать якоря, прихлопнуть «надменного соседа», да вместе и всю эту войну. Общую пылкость разделял Головнин. Уже крещенный траекторией шведских снарядов, четырнадцатилетний витязь мысленно прорывался в залив Выборгский, громил герцога Зюдерманландского.

Гардемарин вострил уши, слушая рассуждения старших. Офицеры бранились: упустили время, дали-таки шведу оглядеться. Офицеры вспоминали случаи из минувших морских баталий. Прав был лорд Гаук! Хоть и потерял на мелях несколько судов, но истребил вчистую флот француза Конфлана. Вот она, рядом, вся честь и слава. Так нет, разрази гром, адмирал Чичагов мед-

лит. Медлит, медлит... И Круз Александр Иванович жалуется государыне, что эти проволочки «весьма чувствительны».

«Чувствителен» к ним был и Джемс Тревенен, командир нашего гардемарина. Капитан первого ранга не таил своих мыслей. Их знали, понимали, разделяли на борту «Не тронь меня».

Письма Тревенена отчетливо передают атмосферу нетерпения и досады, которой жили в те июньские бесполезные недели на корабле «Не тронь меня».

«Шведский флот наш сполна, — писал Тревенен. — И очень скоро о нем должно остаться одно воспоминание. Но взяться за дело необходимо с большой энергией и употребить все средства... На войне бывает множество таких непредвиденных случаев, которые изменяют всевозможные обстоятельства, если ими не воспользоваться в первый же момент».

Экипажи ждали решительного финала. Ждали и на 66-пушечном «Не тронь меня». Ждал и гардемарин, разглядывая в подзорную трубу островитый берег. А на адмиральском «Ростиславе» будто вымерли. Гардемарин насупливал брови. Ох и доставалось от Василия Головнина тезке его, Василию Чичагову.

Потомки-«прокуроры» порицали Чичагова. Русские — гневно, шведы — усмешливо. Чичагова обвиняли в малодушии. Клеймо нелестное, особенно военачальнику. Но собак вешать невелик труд. Важнее другое: современники и сослуживцы настаивали — действовать, действовать, действовать. А Василий Яковлевич так упрямо отмалчивался, что горячие головы подумывали об измене.

У старого адмирала были свои резоны. Не слишком весомые, но были. Он не хотел трясти яблоню, надеясь, что яблоки упадут сами. И потом: стесненная шведская эскадра обратилась в огромную артиллерийскую батарею, войти в залив значило пролить ушаты крови.

Чичагову недоставало темперамента. Он «замерз» в полярных плаваниях. И не сказывались ли годы? Салтыков, сухопутный командующий, сидючи в Выборге, брюзжал на «водяного» командующего: «Лета старые сопряжены с лишнею осторожностью. Оно для себя не худо; но для дела вообще — неуспешно». Годы, конечно, «фактор». Однако Круз, ровесник Чичагова, жаждал боя, наступления, атаки.

Между тем его величество король держал совет с высшими офицерами. Поговаривали, что герцог Карл, сникнув, рекомендовал капитуляцию. Это, конечно, противоречило законам классических трагедий. Густав, драматург, топнул ногою. Он решился на бегство. Надо признать: на героическое бегство. Ничего доброго не сулил отчаянный рывок под огнем русского флота.

Шведы смотрели на флюгарки и вымпелы. Бог обязан послать ветер! И непременно северный или восточный. О, ветер, движитель кораблей, постоянный в своем непостоянстве, веселый и злой, сладостный и горький...

В ночь на 22 июня ветер удружил шведам. Было облачно,

луна светила робко. В такие ночи Выборгский залив прелестен. Идешь на шлюпке, острова означаются, как замки, хвоей пахнет и остывающим камнем, летучие тени облаков, как тени фрегатов.

Не тени фрегатов, не тени кораблей — они сами двинулись по наморщенной солоноватой серой воде. Позади за кормою туманно всходило солнце.

Шведы шли кильватерной колонной, друг за другом. Они не знали учения о слабом звене в цепи, но избрали для прорыва именно слабое звено: северный проход, закрытый лишь отрядом контр-адмирала Повалишина.

В том отряде занимал свое место и «Не тронь меня». И вот уж Василий, гардемарин, в гуще яростного сражения. В нем шведская ярость играла ва-банк; в нем русская ярость тех, у кого победа и добыча буквально уплывают из-под носа.

Отряд Повалишина вывесил огненный заслон. Первым наткнулся на него 74-пушечный «Дристикхетен». Он шел несколько в стороне от «Не тронь меня». Изо всей мочи бомбардировали его «Петр» и «Всеслав». Жарко приходилось капитану Пуке. Да ведь недаром определили капитана Пуке передним мателотом, недаром первым пустили: он идет, идет так близко, что хоть из пистолета пали. И прорывается. Прорывается и отстреливается. Отстреливается и уходит. И остальные близенько, гуськом, бегут за счастливцем.

Где-то вдалеке, на адмиральском «Ростиславе», еще мешкают, а тут, где Головнин, все уж кипит, как в котле со смолою. И гардемарин уж не слышит командных возгласов, захваченный азартом бешеной свалки. Лишь на мгновение его словно окатывает ледяной водой: смертельно ранен Джемс Тревенен. Но сражение не ждет, сквозь огонь и грохот проскакивают шведы, и нельзя думать о смерти, а надо думать об убийстве.

Налетают на мели, как сослепу, какие-то фрегаты, какие-то транспортные суда, какие-то галеры. Но шведский хвост упорно вытягивается из выборгского капкана. Швед уходит, невидимый, как и русский, в густом, темном, едком пороховом дыму. А концевой корабль «Эникхетен» пылает прощальным факелом, горит и трещит, как старый дом...

Многое еще будет. Чичаговская погоня, успешное для Густава столкновение с гребной эскадрой Екатерины. Подсчеты потерь и споры. Будут и награды. За воинские победы расплачиваются мертвыми душами. Русский мужик сверх того и живыми душами. Чичагову, например, достанется 2417 крепостных. Деревнями и землями одарит царица своих адмиралов.

Многое еще будет. Умолкнут пушки, заговорят дипломаты. Мирный трактат не прибавит и не убавит ни Российской империи, ни королевству шведскому. Последует обмен новыми любезностями между двоюродным братом и двоюродной сестрой...

А пока распогодилось.

На кораблях отпевают убитых.

Кто был в морских учебных заведениях, знает чувство горделивого превосходства, возмужания, с каким возвращаешься после палубной службы «под сень наук». И весело и неохота втискиваться в прежние рамки, как в куртку, когда раздался в плечах. От воспитателей требуется некоторое волевое напряжение, дабы прибрать к рукам безусое воинство, мнящее себя «смолеными шкурами».

Гардемарины снисходительно улыбались кадетикам. Кадетики наперебой рассказывали, как в Кронштадте с часу на час ждали вражеского десанта. Дали ружья! Выводили строем на вал! Да, да, хоть у кого спросите! Эх, канальство, то-то вздули бы шведа!

Кадет действительно выводили на утлые кронштадтские укрепления: пусть неприятель поглядит в подзорные трубы на грозную рать. И действительно дали ружья. Да только... без курков. Но неприятель этого не разглядел бы и в дюжину труб.

Гардемарины снисходительно усмехались. Потом вздыхали: «То ли дело на море! Подойдешь на пистолетный выстрел, на адмиральском — сигнал: «Атаковать противника!» В душе, однако, гардемарины радовались Итальянскому дворцу: уж очень устали, намыкались, натерпелись страхов. И наконец-то можно спокойно спать ночь напролет.

Что гардемарины! Господа офицеры рады-радешеньки: жену приголубишь, учинишь «шумство», то бишь попойку, или, прости господи, завернешь в «пансион без древних языков», как окрестили шутники здешние публичные дома.

Вот они, «командеры», прогуливаются в славном граде. Форма для них не формула, ходи, как они говаривают, «по вольности дворянства». И ходят: в белых мундирах с цветными жилетами, с длинными золотыми цепочками, на которых побрякивают сердоликовые и халцедоновые печатки; кто в башмаках с пряжками, а кто в козловых скрипучих сапожках; у одного шейный платок алый, у другого голубой, а у третьего такой, что в глазах рябит. Позади, держа дистанцию, выступает денщик-вестовой, шпагу несет с золотым темляком (или без темляка, ежели золотая, «за храбрость») и еще непременно несет белый плащ тоже, знаете ли, с золотыми кистями.

Все-то у них на свой лад, чтоб корабельщиной отдавало: коляска — «баркас»; дрожки — «шлюпка»; ставни затворить — «порты задраить»; в пенковую трубку добрую понюшку сунуть — «мушкетон зарядить».

Живописно, а? Да вот морды бить горазды эти самые «отцы милостивцы». Ничего, коли какой-нибудь болван из носу юшку пустит, на пользу! Заметим, кстати, и десятилетия спустя тоже исповедовалось, что без линька и таски простолюдин ни к дьяволу не годен. Полистайте герценовский «Колокол» — волосы дыбом. И какие имена: Лазарев, Корнилов, Нахимов, Истомин!..

Кулаки у «отцов» частенько сжимались. Но и разжимались нередко: в казенный карман «способно» было запустить загребущую длань. Продовольственные и прочие корабельные суммы оборачивались домом, мызою, жениными колечками. Тут уж не «Колокол», тут сам его высокопревосходительство Феодосий Федорович Веселаго, историограф морского ведомства, кавалер многих российских и иностранных орденов, подтверждает. А был он не только генералом и не только усердным кропотливым историком, но и цензором. Уж куда, кажется, благонамеренный господин.

Итак, гардемарины корпят в классах, офицеры вкушают отдых, а морские чудо-богатыри тоже не зря на свете живут. Вон они по колено в холодной воде, под холодным осенним дождем хозяйственные работы работают, в доках ремонтом заняты, а у которых, смотришь, на губах иной холод — иконки (мрут в госпитале от разных болезней, больше всего от горячки).

И по-прежнему каждый день спозаранку отворяются ворота каторжного двора: гремя кандалами, шагают клейменые на самые что ни на есть тяжкие «гаванские работы». Среди тех каторжан — сподвижники Пугачева. Не видал Василий Головнин пугачевцев в своих Гулынках, увидел здесь, в Кронштадте. Одного из них, бородатого великана, прозванного есаулом, весь город знал: умел он свистать да гикать так, что всех боцманов собери — не пересвищут. Другой был племянником Шелудякова, казака, у которого на Яике еще до восстания Емельян Иванович батрачил. Племянник этот, грамотей, когда крестьянская война огнем взялась, служил в походной канцелярии Пугачева, а теперь вот волочил проклятые железы по кронштадтской слякоти.

Осень в Кронштадт не приходит: вламывается со всех румбов, Может, ни в какое другое время года первый по значению порт империи не смотрел таким захолустьем, как осенней порой.

При Петре что сделали, то еще, худо-бедно держалось, а так-то... Пушки изъедены ржой, деревянные станки трухлявые. Гарнизонные солдатики — тощие, унылые, в дырявых мундирчиках болотного цвета. У крепостных ворот, в ветхой будочке какой уж год все один и тот же служивый; пропитанье свое добывал он продажей табачка-деруна. Да и в других караулах стояли по неделям. И то сказать, зачем главного-то командира трудить разнарядкой на всякий день? Подмахнул ее субботним вечерком — да с колокольни долой. И говорили про некоего бессменного заплесневевшего стража: «А Прохору Лежневу быть по-прежнему».

В окна казарм дождь бьет, окна не слезятся — там и сям вместо стекол вощеная бумага. На улицах, как на проселке, чмокает. Над крышами сизый дым изорван в клочья. Со второго и третьего этажей Итальянского дворца скучно глядеть на опустевшие, исчерканные грязным барашком кронштадтские рейды.

Головнин в ученье не только успевал, но и преуспевал. Во всем его жизненном деле, как и во внешнем облике, усматриваешь кряжистую основательность. Один как перст. И надежда лишь на се-

бя. Все это глушило отраду отрочества. Но и лепило натуру твердую, устойчивую.

В девяносто втором состоялся очередной выпуск из корпуса. По числу баллов Головнин занял второе место. По числу годов — последнее: ему еще и семнадцати не стукнуло. Однокашники надели мичманские мундиры. Василию «за малолетством» в мундире отказали. Самолюбие его страдало.

Нет худа без добра — пословица для несчастливцев. И все-таки «добро» отыскалось. Не потому, что сделали унтер-офицером и тем повысили годовое жалованье вчетверо, до двадцати четырех рублей серебром. Нет, в другом.

Корпусный профессор Никитин взялся (помимо математики) учить доброхотов английскому языку. О пользе знания иностранных языков произнес Никитин речь «сильную и убедительную», как отмечает Головнин. Василий зажегся. Терпения у него достало бы и на полроты. Обнаружились и лингвистические способности. Он быстро продвигался в шхерах грамматик и лексиконов.

И тогда же, в последний год, прожитый под кровлей Меншикова дворца, завладела Василием страсть к путешествиям. Эта душевная потребность никогда уж не угаснет в нем. Будет постоянной. Как пассаты. Как глубинные течения.

Есть стихотворение в прозе «Гавань», напоминающее приморский осенний закат. Шарль Бодлер воспел аристократическое наслаждение усталого человека. Человек этот созерцает ритм и красоту гавани, вечное движение волн и кораблей, вечное движение отплывающих и приплывающих. Лирический герой Бодлера невраждебно противостоит тем, «в ком еще сохранилась воля жить, стремление путешествовать или обогащаться».

«Воля жить» сопрягалась у Головнина со «стремлением путешествовать». Обогащение исключалось, коммерческих удач он не искал. Говоря романтически, ветер странствий полнил паруса его судьбы. И дунул сильным порывом после святок 1793 года: 19 января Адмиралтейская коллегия приказала сержанта Василия Головнина, «выключа из корпуса, произвесть в мичманы».

Уже облаченный в белый мундир, он снимал круглую шляпу в адмиральских прихожих, и, по тогдашнему обыкновению, смиренно благодарил начальство, обещая служить по долгу чести и присяги.

Глава вторая

1

В тот же январский день, когда Адмиралтейская коллегия решила участь Головнина, Конвент решил участь Людовика XVI. А в тот январский день, когда мичман отвешивал начальству благодарственные поклоны, бывший король Франции склонился на эшафоте.

Имеет каждый век полосы штилевые и полосы штормовые. Головнин начал офицерскую службу в конце XVIII века. Конец XVIII века начался ураганно.

Расширенный зрачок мира вперился во Францию. Можно было ненавидеть ее, можно было восторгаться ею. Невозможно было не замечать ее. Стратегические движения на континенте, будь то движение мысли или полков, определялись Францией, соотносились с Францией.

Все вдруг словно бы пустилось в чудовищный круговорот. Basили пушки. Возникали и распадались коалиции. Согласно правилу — соседи враги злобные — соседка Франции, там, за Ла-Маншем, подкупала одних, пугала других, уговаривала третьих. Четвертых она покупала, пугала и уговаривала.

Марс улыбался французам, Нептун — англичанам. По слову Меринга, то была борьба льва с акулой. Но от этой схватки зависела жизнь сотен тысяч вовсе не помышлявших ни о величии Франции, ни о могуществе Англии. Борьба была столь же долгой, сколь и жестокой. История — цирюльник: она умеет «отворять кровь».

Короткий удар гильотины по Людовику XVI отозвался длинной и мучительной судорогой — от престола к престолу. Молодящаяся петербургская мадам «слегла в постель и больна и печальна». Вскоре младший брат казненного граф д'Артуа получил от государыни шпагу. На ней сияло: «С богом за короля», в рукоятке переливался крупный бриллиант. Еще крупнее была сумма наличными — миллион золотом. Императрица заверяла родственников Людовика: «Я намерена содействовать успеху ваших дел».

Однако эмоции, как и интимности, Екатерина не смешивала с политикой. Успеху «ваших» дел она всегда предпочитала успех «наших» дел. А «наши» дела вершились не на Сене, а на Висле. Три венценосца — австрийский, прусский, российский — делили несчастную Польшу. Хилый человек с железным характером пошел на Варшаву; он взял Варшаву, генерал-аншеф Суворов стал генерал-фельдмаршалом... Озабоченная дележкой польского пирога, «матушка» придержала сухопутную армию близ собственных границ. Зато на море она пособила «акуле».

Головнин уже сделал две кампании, побывал в Стокгольме (теперь дружественном), перезимовал в Кронштадте, когда настал и его черед участвовать в большом европейском кровопускании.

В Англию отрядили эскадру вице-адмирала Ханыкова. Петр Иванович, отменный мореход, имел репутацию сметливого дипломата. На Ханыкова, надо думать, выбор пал не без умысла: когда играешь в паре с Альбионом, гляди в оба, как бы не объегорил.

Перед отплытием эскадру посетили царицыны внуки, Александр и Константин. Высочайшие особы поглазели, как матросики взбегают на ванты и кричат «ура», да и отбыли, провожаемые салютом и вздохами облегчения.

Мичман Головнин часть похода совершил на фрегате «Рафаил», часть — на «Пимене». Там же, на «Пимене», обретался и его

корпусный приятель Петр Рикорд. Еще не раз, не два доведется нам встречать Рикорда об руку с Головниным. А сейчас, летом 1795 года, мичманы, как десятки их сверстников и погодков, выполняют свои не очень-то громкие обязанности.

А капитаны продолжают «патриархальное» бытие. Уже упомянутые записки Сенявина, живые, бойкие, усмешливые, запечатлели и облик командира корабля екатерининской поры.

«Время проводил он каждый день почти одинаково. Поутру вставал в 6 час., пил две чашки чаю, а третью с прибавлением рома или несколько лимона (что называлось тогда «адвокат»), потом, причесавши голову и завивши из своих волос длинную косу, надевал колпак, на шею повязывал розовый платок, потом надевал форменный белый сюртук, и всегда почти в туфлях, вышитых золотом торжковой работы. В 8 час. в этом наряде выходил на шканцы и очень скоро опять возвращался в каюту. В 10 час. всегда был на молитве, после полудня тотчас обедал, а после обеда раздевался до рубашки и ложился спать. (Это называлось не спать, а отдыхать.) Чтоб скорее и приятнее заснуть, старики имели странную на то привычку: заставляли искать себе в голове или рассказывать сказки... Соснувши час, другой, а иногда и третий — вставал, одевался снова точно так, как был одет поутру, только на место сюртука надевал белый байковый халат с подпояскою, пил кофе, потом чай таким же манером, как поутру. Около 6 час. приходил в кают-компанию, сядет за стол и сделает банк рубль медных денег. Тут мы, мичмана, пустимся рвать, если один банк не устоит — князь делает другой и третий, а потом оставляет играть, говоря: «несчастие»; а когда выигрывает, то играет до 8 и 9 час., потом перестает, уходит в свою каюту ужинать и в 10 час. ложится спать. Во время сна его никто не смей разбудить, что бы такое ни случилось».

Ото всего этого шафранно веет Афанасием Ивановичем. Недостает только Пульхерии Ивановны. Разумеется, Сенявин описывает будни мирного похода. Однако же похода, а не якорной стоянки. Трудно вообразить меньшую ревность к службе и большую халатность. Следует, очевидно, думать, что дело держалось на офицерах и матросах. На офицерах, стремившихся поскорее стать капитанами. И на матросах, стремившихся не стать предметом экзекуции.

Впрочем, командиры ханыковской эскадры не так уж часто видели золотые сны или зеленое сукно. Нелегкое плавание досталось им.

И вот почему.

На исходе июля русские вымпелы вились под небом Англии. Ханыков расположился на рейде Доусона, близ эскадры адмирала Дункана. Тот командовал флотом Северного моря. Задача заключалась в блокаде острова Тексель, где базировался союзный французам голландский флот. Русское Адмиралтейство обещало решить эту задачу совместно с английским Адмиралтейством.

Все ясно как день. Но день не был ясен. Северное море не погодами славится, а погодливостью. Балтика уже изрядно потрепа-

ла русских, море Северное дурило еще хлеще. Редкий из кораблей Ханыкова был обшит медью. Они обросли «бородами» из водорослей. С эдакой шевелюрой скверный ты ходок! А сэр Дункан гнет свое: господин вице-адмирал Ханыков должен лечь курсом на Тексель.

В крейсерстве эскадра находилась ровно месяц. И ровно месяц экипажи не знали роздыха. Толчея и зыбь, шквалы и штормы обнаружили в ханыковских кораблях такое «обстоятельство», на которое согласно жаловались и офицеры и дипломаты.

«Чуть буря — полвахты у помп; все скрипит, все расходится. Бывало, весь корабль, чтобы, так сказать, не развалился, стянут найтовами* и, отливая воду во все помпы, все-таки держатся в крейсерстве до срока, тянутся за гордыми британцами. Когда после того чинились в доках, то их моряки не могли надивиться смелости русских».

Об этом и сорок лет спустя помнил соратник Головнина. Горькую правду поведал он в журнале «Маяк». Его поддерживают и другие свидетели. Хотя бы вот русский посол в Лондоне граф Воронцов:

«Все здешние адмиралы и офицеры удивляются храбрости и решимости наших офицеров за смелость, с каковою они плавают по морю в самые жесточайшие бури на судах толь худого состояния, и клянутся, что ни один из них не отважился бы взять на себя командовать толь гнилыми и рассыпающимися кораблями... Болты, употребляемые для скрепления, вместо того чтобы проходить насквозь, доходят только до половины брусьев, и потом как-то их залаживают так, что с первого взгляда кажется, все сделано по-надлежащему, но во время качки таковые крепления ни к чему не служат».

«Как-то их залаживают так...» — знакомый, право, звук! Черт возьми, показуха-то, оказывается, не вчера родилась.

Бедовали моряки и в портах. Принимая русских, Англия не принимала никаких обязательств, кроме чисто военных. Дороговизна и низкий курс рубля были причиною «крайней нужды» эскадры. Во всеподданнейшем донесении Ханыков сетует, что офицеры «имеют весьма недостаточные порционные деньги, а именно: 8 руб. 25 коп. в месяц». Офицеры! О матросах ни полсловечка.

Матросов на эскадре числилось около десяти тысяч. Колоссальным напряжением физических и душевных сил калужских, тамбовских, рязанских, новгородских, московских мужиков корабли ее величества блокировали остров Тексель, пугая голландцев и французов. Именно они-то, мужики эти, чуть ли не голодали.

Петр когда-то повелел доставлять провизию в бочонках. Подрядчики-купцы доставляли ее в рогожных кулях. Рогожа прела, крупа и мука гнили. Солонина воняла, треска тоже не ласкала обоняние. Прибавьте крыс и тех насекомых, которых один современник не без юмора именовал «беспокойными».

---

* Найтовить — связывать, укреплять тросом несколько предметов. Трос при таком способе вязки называют «найтов».

Мне не попадались списки больных и умерших. Известно, однако, что на кораблях дальнего плавания их считали десятками. Лекари искусством не блистали. Хворые жили среди здоровых, распространяя заразу. Когда Ханыков завершил первую кампанию, первое крейсерство, пришлось назначить специальный фрегат («Рафаил», где нес свой крест мичман Головнин) для доставки больных на английское госпитальное судно.

Словом, попала эскадра в «рай». Люди не чаяли, как поскорее унести ноги. В Кронштадте тоже не розы? Верно. А все ж дома и стены помогают. Но англичане не торопились распрощаться с балтийцами.

Стояли бурые лохматые дни, дождливые и непроглядные. Те дни и ночи как на зуб пробовали каждого служителя моря. Тяжелая, однообразная, будничная работа. Командные возгласы, свистки боцмана. Скрип и стоны корабля, сломанные реи, изорванный парус. Сшибок с неприятелем не было, голландцы отсиживались на Текселе. Не было ни азарта, ни хмеля сражений. Были крейсерство, сторожевая служба, тяжелая, будничная, однообразная работа.

К тому же район действий отличался капризной своеобычливостью: прибрежья в отмелях, течения переменчивые, неправильные, приливы и отливы сильные, гневливые. Астрономически определяться было затруднительно. Приходилось часто бросать лот, брать грунт — по глубинам и качеству грунта угадывать местоположение. Отгадчиками были лоцманы, выросшие на рыбачьих шхунах. Ни одно английское судно без них не обходилось; не обошлись и русские.

И так несколько лет кряду. Так на «Пимене», на «Рафаиле», на «Елизавете». Так на каждом корабле, где служил Головнин и его товарищи, вчерашние гардемарины.

2

Эскадру, как и телегу, готовят зимой. Зимней порой корабли Ханыкова чинили в доках. Исправляли самое необходимое, «очевидную худость»: британская корона не щедротного нрава.

От скаредных хозяев русские моряки получали русскую парусину и русский строевой лес, русский поташ и русский деготь. Здесь, за границей, все это оказывалось отличного качества. Дома поставщики зачастую сбывали лежалый товарец: свой брат, известно, и гнильцо слопает. А импорт — иная статья. Тут изволь-ка, чтоб и комар носа не подточил. Архангельск, Рига, Петербург отгружали за море прекрасные дубовые брусья, доски обшивные без сучка и задоринки, парусину из первосортного льна.

Англичанин, современник Головнина, признавался: «Импорт из России совершенно необходим для строительства и оснащения английского флота... Наши суда снабжены отличными парусами и канатами из русской пеньки... Наши лучшие в мире якоря изготовлены из русского металла...»

Однако коль скоро дело касалось не британских кораблей, а русских, союзных, то адмирал Ханыков не слишком-то полагался на добрую совесть местных мастеров. Нужен был «свой глаз». Из Петербурга прислали Амосова.

Амосовы издавна гнездились близ студеной Северной Двины. Некогда ладили ладьи, некогда шили шитики. Потом спускали на воду многопушечные громады.

Когда Васю Головнина определили в Морской корпус, Ваню Амосова определили в ученье к англичанам. Когда Василия Головнина произвели в мичманы, Ивана Амосова определили в корабельные подмастерья. И вот теперь, двадцатичетырехлетним мастером, он вновь явился в Англию — помогать соотечественникам.

Зимою можно было присмотреться к Англии. Головнин увидел Ширнесс и Диль, Нор и Литт. Увидел и Лондон. Вот они, плоды морской походной службы: горизонт ширится, новизна предстает на ощупь, разность с домашностью задает работу уму. Особенно в стране, повитой не только тривиальным туманом, но и острым угольным дымом.

Интересно бы разобрать соотношение общественных сил в Англии конца XVIII века, да боязно сбиться с «главного фарватера» повествования. Однако как же не помянуть о том, что происходило бок о бок с Головниным?

Взрывы судовых мятежей метят анналы британского флота; гроздья бунтовщиков, раскачивающихся на реях, — «пейзаж» для него нередкий. Но Головнин наблюдал нечто совершенно необычное: высокий и мощный мятежный вал, всплеск красных флагов. Восстали оба флота — флот Ла-Манша (адмирал Бридпорт) и флот Северного моря (адмирал Дункан).

Тут надо вот что отметить. Российская рекрутчина никому, конечно, не казалась медом. Рекрутов оплакивали, как покойников. Оплакивая, полагали рекрутчину неизбывной, как прочие повинности. Англия рекрутчины не знала. Она знала кое-что похлеще. Адмиралтейство объявляло вербовку во флот; исполнительная власть вербовку осуществляла. Рослые констебли прочесывали городские трущобы. «Гордых бриттов» волокли волоком, и добрая старая Англия получала новую порцию защитников. И притом пожизненных. (В 1835 году срок службы сократили до пяти лет.)

Галера и каторга — синонимы, матрос и раб — тоже. Английский флот походил на огромную плавучую тюрьму. На глазах Головнина плавучая тюрьма решительно и быстро обратилась в плавучую республику. Ее осеняли красные стяги. Ее населяли предтечи потемкинцев.

Восставшие требовали смягчения варварских наказаний, изгнания офицеров-иродов, регулярности увольнения на берег, увеличения нищенского содержания. На кораблях возникли матросские комитеты; делегаты — по двое от каждой боевой единицы — обсуждали свои действия. В Ширнессе матросы устроили уличные шествия, братались с солдатами. Правительство первым делом лишило бунтовщиков продовольствия. Восставшим, понятно, не

хотелось пухнуть с голоду, они блокировали Темзу, опустошали суда, следующие в Лондон или из Лондона.

Темза была закупорена, восточное побережье — оголено. Де Винтеру, голландскому адмиралу, ничего не стоило оставить постылый Тексель и грянуть десантом. Такую же возможность получили и французы.

Правительство сознавало отчаянность ситуации. Лорды унизились до переговоров с мятежниками, молили Петербург не забирать русскую эскадру и тем оказать «Англии самую крупную из услуг, которые она когда-либо получала от какого-нибудь народа и государства».

Иваны оказались свидетелями восстания Джонов. Однако свидетелями безмолвными. Какие чувства владели русскими матросами? Недоумения или затаенного восторга? Недоброжелательства или товарищества, хотя бы и скрытого? Глухая стена, ни единого луча. Но еще Бакуниным подмеченная «потребность бунта», несомненно, очнулась, не могла не очнуться при виде матросской вольницы, при виде народных толп, взыскующих хлеба и мира, при повсеместных толках об улучшениях и послаблениях. К тому же английские матросы клялись, что они не королю противники, а плохим лордам Адмиралтейства, плохим командирам. Этот «наивный монархизм» был по сердцу русскому матросу.

Ну, а Головнин, другие офицеры? Можно наслаждаться Вольтером, читать и чтить энциклопедистов, можно, наконец, пожалеть простолюдина, но мятеж, но красный флаг, но свист и хохот черни — помилуй бог!..

Русские выручили адмирала Дункана. Тот остался у Текселя лишь с двумя «верными» кораблями. Сэр Адам схитрил: крейсируя на виду у неприятеля, палил из сигнальной пушки и поднимал соответствующие сигналы, будто бы командуя эскадрой, которая вот-вот обрисуется на мглистом горизонте. Уловка удалась: голландцы сидели тише мышей, хотя кот все еще не показывался.

«Котом» была эскадра контр-адмирала Макарова, младшего флагмана вице-адмирала Ханыкова. А у младшего флагмана в 1798—1800 годах флаг-офицером был мичман Василий Головнин.

Флаг-офицер — это вам не ютовый или баковый мичман. Это уже персона, должность нешуточная. И почетная. Тут редко без протекции обходилось. Головнин, помните, протекций не имел. Сам Михаил Кондратьевич Макаров приметил его и приветил. В старых наставлениях подчеркивается: флаг-офицер должен обладать «полными и точными сведениями по всем частям корабельного управления и мореплавания», ибо он «прямой помощник адмирала». Головнин сверх того владел английским. Корпусный профессор Никитин недаром зажег в нем лингвистическую страсть. А пребывание в Англии дало практику.

Впрочем, не только языковую. И не только Головнину.

Прямых столкновений с неприятелем в Северном море не произошло. Сомневаюсь, чтоб об этом кто-нибудь особенно сожалел.

Если швед грозил Петербургу, то голландец и не помышлял грозить. И дело здесь не в боевой практике, а в мореходной.

«...Соединение наше с англичанами, — признавал Ханыков, — было нам полезно, ибо люди наши, ревнуя проворству и расторопности англичан и стараясь не уступать им... столько изощрялись, что то, что у нас прежде делалось в 10 или 12 минут, ныне делают они в 3 или 4 минуты».

Признание адмирала подпирает сослуживец Головнина, автор мемуарного очерка «Старина морская и заморская»:

«Любимая команда вахтенного, «лихого» лейтенанта, при навертывании шпиля была: «Шуми, ребята, шуми!» И нечего сказать, шумели всем миром преусердно. Тогда только, как побывали в Англии, узнали истинную прелесть — сняться и чтоб «ни гугу». Изредка нептунно-державный голос лейтенанта и дудочка боцмана; а при шпиле — барабан и флейточка. Переняли тотчас, за этим у нас не станет».

Какое откровение, бесхитростное осознание способности перенять, позаимствовать! Отчего же и нет, если здóрово или здорóво?

Пока балтийцы крейсировали невдалеке от дюн, мельниц и фортов острова Тексель, в Петербурге приказала долго жить Екатерина. Павел Первый ринулся царствовать, как любовник, заждавшийся обожаемой дамы. Но он сознавал — время упущено: сорок два от роду. Павла лихорадило. Он был порывист. А в политике, как и в любви, торопливость никого по-настоящему не удовлетворяет.

Павел взялся и за флот. Новшества были «крупного» калибра: все эти шлафроки и козловые полусапожки объявлены преступлением; изменились кое-какие флаги; коротенькая отлучка из Кронштадта требовала высочайшего «да»; лебедино-белый мундир уступил место мундиру болотного цвета, золотой темляк на шпагах — темляку серебряному...

И наконец — «Устав военного флота». (Прежний, петровский сдавался в архив.) Справедливости ради нечего хаять от корки до корки. Просвещенный Голенищев пользовался давним расположением государя. Должно быть, именно Голенищеву удалось склонить императора, не склонного к наукам, утвердить должности историографа флота, профессора астрономии и навигации, рисовального мастера... И все-таки нигде, кажется, павловская мания всеобщей и оглушительной регламентации не выказалась с такой подавляющей мрачной силой, как в «Уставе...».

Петр — «и мореплаватель и плотник» — знал корабельную службу. Павловцы высидели «Устав...» в кабинете. Их заботила не стройная совокупность дела, называвшегося военно-морским, а желание предусмотреть все и всяческие случайности, которых так много и которые так разнообразны на море. И они предусматривали, предусматривали, предусматривали...

Разбойника Прокруста убил Тесей. «Устав...» убила флотская обыденщина. Он действовал недолго, как и Павел. От него отделались под сурдинку, как и от Павла. И продолжали служить по заветам основателя регулярного флота.

Но это случилось потом.

Теперь же, когда Головнин видел июньское небо и слышал отрывистые вскрики голубоватых чаек Северного моря, теперь «Устав военного флота» был испечен, теперь надобно было шить темно-зеленый мундир и перекрашивать борта кораблей из желтого цвета в серый.

Впрочем, на портных и маляров времени недостало: царь повелел «следовать в Финский залив».

Да и Головнину давно прискучило Северное море. Домой он явился лейтенантом. И обрадовался нерадостному Кронштадту.

3

Восьмерых лейтенантов и четырех мичманов назначили волонтерами. Волонтер, назначенный в волонтеры? Курьезно, как недобровольный доброволец. Но все двенадцать смотрели весело. Им завидовали кронштадтцы. Головнин, Рикорд, Миницкий, Бутаков, Давыдов, Коростовцев и другие, входившие в число «дальневояжных», собрались в путь-дорогу...

Прошлой весной заговорщики заткнули сиплую глотку Павла, и многие в России перевели дух. Ныне, в восемьсот втором, Амьенский договор заткнул жерла пушек, и народы Европы перевели дух. Наступила тишина. Обманчивая и краткая, но это узнают год спустя. Сейчас всем хочется верить в длительность мира, в общее благоденствие.

Верили и волонтеры, направляясь в Англию. Не воевать — мир, мир! — совершенствовать морские познания, увидеть в дальних походах божий свет.

Без приключений, торной дорогой, Головнин, пассажир коммерческого судна, добрался до Лондона. Теперь уж не залетным мичманом-торопыгой мог он приглядеться к бурной жизни города-великана.

Передо мною семнадцать писем. Безымянный автор рисует «картину лондонских нравов» той поры, когда Головнин очутился на берегах Темзы. Письма приперчены сарказмом, стиль их тяжеловесен. Однако в самой этой тяжеловесности есть старомодная прелесть.

«Нет, статься может, в целом свете места, где бы все, служащее к выгоде жизненной и роскоши, столь легко иметь можно было, как здесь, ибо пространная торговля англичан делает город сей средоточием, к которому сокровища природы и искусства, разным странам света свойственные, стекаются.

Все, чего только утонченное сластолюбие пожелать может, найдет здесь за деньги; но, несмотря на сие, можно, думаю я, утвердить, что нет в Европе другого большого города, где бы меньше здешнего известно было истинное наслаждение жизнию. Всем жертвуется здесь самой грубой чувственности, и разум по большей части остается тощ при всяком празднике нынешних лондонских жителей».

«Нигде в свете не говорят более здешнего о свободе, но опыт научает, что нигде нет лживее понятия о сей попечительнице устройства наук, художеств и вообще человечества.

Здесь злотворец может удобнее укрываться под сенью законов; сильный или коварный — ненаказанно угнетать слабого, но честного, а богач обращает законы по своему желанию.

С тех пор как заведена здесь своя Бастилия для всех дерзающих употреблять собственный здравый разум, не один из граждан, воспротивившийся пожертвовать своими правилами видам властей, томится несколько лет в сем аде. Сие тиранство в рассуждении честных людей тем жесточе, что они переданы тут на произвол злобного и корыстолюбивого пристава.

Столько же опасно всякому, кто не подкреплен сильным родством или знатным богатством, в Лондоне, усеянном шпионами, обнаруживать мнение свое о предметах веры и законодательства, хотя бы чинено сие было с крайним благорассуждением и скромностию.

Всякое негодование противу мер министерства, не на правоте и дельности основанных, возбуждает подозрение в якобинизме. Никакие свободные мнения не остаются здесь без наказания, а строгость в суждении о поступках вельмож почитается второй статьи преступлением.

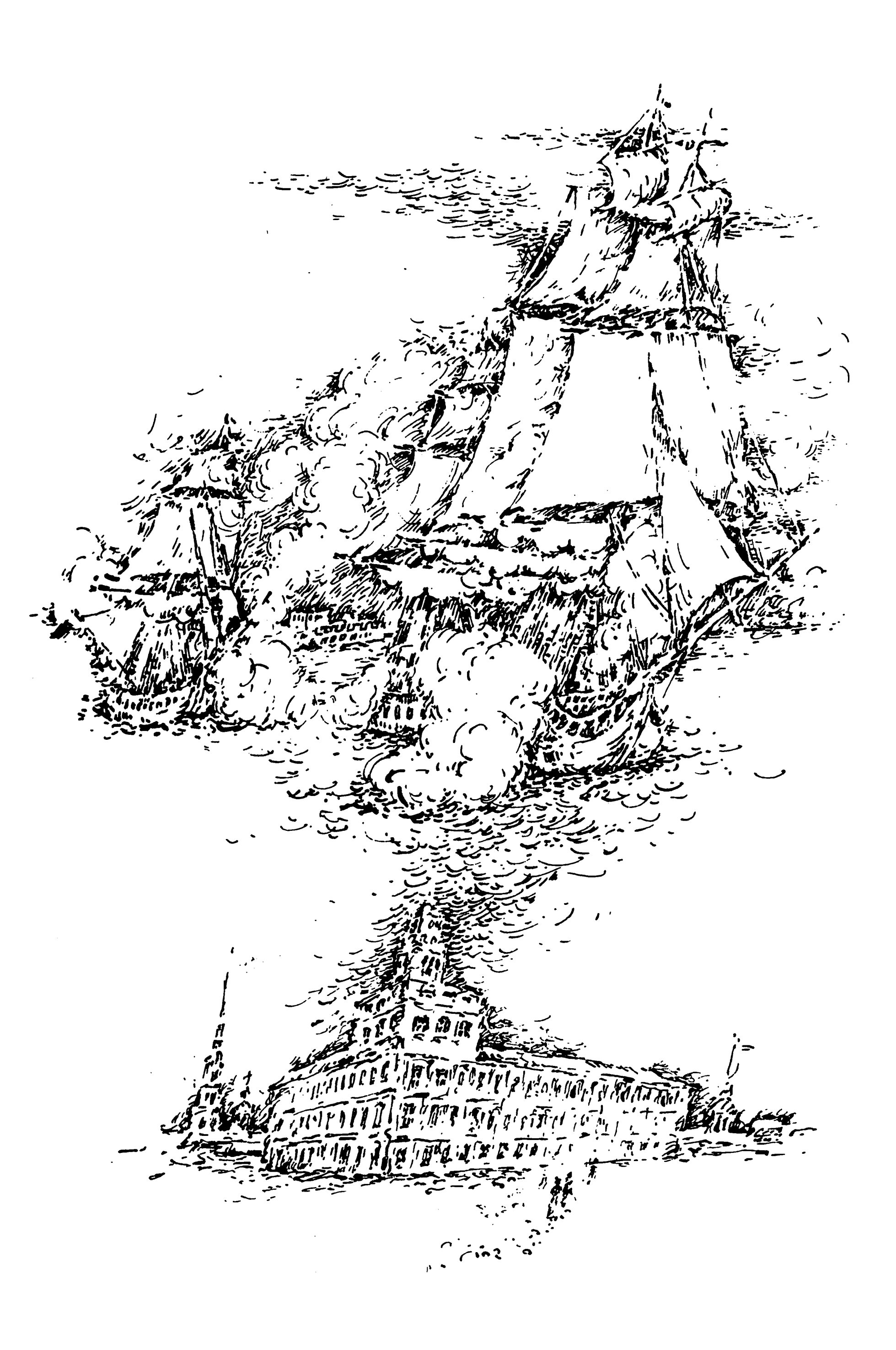
Напоследок скажите, можно ли утверждать о свободе подданных под таким правлением, которое наказывает с крайнею суровостью прежде, нежели виновный изобличен и даже выслушан будет? Это случается здесь почти завсегда, паче же в Лондоне, где тысячи подзорщиков каждый шаг простодушного человека, не боящегося суждений, наблюдают.

Англичане по свойству своему суть подлинно народ добрый, деятельный и великодушный. Но тщание здешних властей клонится к тому, чтобы изгладить последние изящные черты в характере сего народа.

Нижний и верхний парламент наполняются людьми, которые без зазрения совести жертвуют благом избирателей частным своим выгодам и присягу, учиненную ими при приеме в сословие, готовы нарушить столько раз, сколько потребуют того планы министерства».

Это уж прямое политическое ниспровержение. Правда, безымянный автор стреляет «правым бортом»: он роялист, как явствует из прочих писем, ему не по вкусу возвышение «аршинников». Пусть так. Важно сейчас другое: нос не оседлан розовыми очками. Не усматривая за деревьями большого исторического леса, он верно и точно различает деревья. Различал и Головнин. Нет у него ни единой строки в духе безудержных англоманов, нередких среди русского морского офицерства.

Недавно видел Головнин восставший флот, теперь Англию, бурлившую забастовками. Право, как-то чудно вообразить выкормыша помещичьего гнезда, офицера, дышавшего «мрачностью» павловского царствования, чудно представить его в стране, где беспре-



пятственно спорят о каких-то тред-юнионах, о каких-то правах булочников и докеров, портных и ткачей. А тут еще заговор полковника Деспарда. Удивительный заговор! Совершенно не похожий на тот, что увенчался успехом в Михайловском замке.

Про Деспарда узнал Головнин в конце 1802 года. Узнал из газет, услышал в апартаментах русского посольства, где волонтеры бывали часто. Деспард, республиканец, демократ, готовил заговор два года. В тайном сообществе соединились рабочие и ремесленники, солдаты и матросы. Деспард намеревался ворваться в Тауэр и перебить королевскую семью. Процесс Деспарда взбудоражил лондонцев. Присяжные признали подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения. Снисхождения не было. Было восхождение: на эшафот. С помоста осужденный крикнул затаившей дыхание толпе, что его казнят как друга всех бедных, всех угнетенных, что он умирает с надеждой на скорое торжество свободы, гуманности, справедливости. Вместе с полковником умертвили шестерых его товарищей — плотников, бывших солдат, сапожника.

Лейтенант Головнин мог одобрять домашний заговор против курносого деспота. Тайное общество «черни» одобрять он не мог. Ведь и на Сенатской площади мятежных дворян испугали каменщики и штукатуры, строители Исаакиевского собора.

Во время процесса Деспарда обитатели лондонских и иных трущоб опасались не только за участь подсудимых, но и за свою собственную: готовилась новая насильственная вербовка во флот. Из-за Ла-Манша грозились, это так. Но в первую очередь, пожалуй, правительству хотелось выпустить из жил народа горячую крамольную кровь.

В начале мая 1802 года король Георг III заявил, что Франция угрожает чести и безопасности Англии. Первый консул, без пяти минут император французов, заявил, что Англия угрожает чести и безопасности Франции. Будучи красноречивее выжившего из ума Георга, Наполеон картинно избоченился:

— Англия не уважает договоров! Ну что же, завесим их черным покрывалом!

Еще не замолк стук кареты, увозившей из Парижа английского посла, как на британских эскадрах взвился «Синий Питер», сигнал немедленной съемки с якоря.

4

Есть в Эрмитаже акварель Уистлера «Морской смотр»: прохлада белесо-зеленых волн; высокое, в розовеющих облаках небо; дальняя, сумеречная береговая полоса; корабли не выписаны, они означены.

Морской смотр... Просторно, зябко, поднимается ветер... Так, думаю, было и в то майское утро, когда русский моряк вручил адмиралтейский пакет британскому капитану. И с этого утра судьба волонтера связалась морским узлом с судьбою английских экипажей.

«Руководство для офицеров всякого звания на судах его королевского величества» открывается наставлениями волонтеру: завтракать не иначе как по окончании туалета; при входе на шканцы* непременно приподымать фуражку, уважая место, где читаются королевские указы; в такие-то и такие-то часы — занятия математикой и навигацией; участие во всех матросских работах, ибо морской человек с первого взгляда разгадает, морской ли офицер ему приказывает; аккуратно вести поденный журнал; обедая по приглашению в командирской каюте или в кают-компании, выказывать «манеры натуральные, соединенные со вниманием и уважением к старшим» и т. д. и т. п.

Это своеобразное «Юности честное зерцало» и недурно и полезно, да только адресовано мальчикам 13—15 лет. А русские волонтеры были сами с усами, не со школьного порога шагнули на британские палубы. И хотя многому учились там, держались отнюдь не робкими увальнями.

В автобиографии Головнин досадно краток: служил, мол, на разных английских кораблях и в разных морях до 1805 года. Шабаш. Никаких подробностей. Волей-неволей ворошишь заметки и письма его приятелей Петра Рикорда, Григория Коростовцева.

Последний находился на борту фрегата «Ла Бланч», когда стало известно о разрыве с Францией. Коростовцев рассказывает:

«Сигнал: требуют лейтенанта. Поехал лейт. Брайт. Мы сидим за столом, завтракаем. Лейтенант Брайт возвращается. Я позабыл сказать, что он всегда входит и выходит из кают-компании с песнею. Слышим песню: знаем, кто идет. Отворяются двери, и Брайт со следующими словами обращается к первому лейтенанту: «Ты будешь капитаном через шесть месяцев: война!» — «Браво!» — закричали все. «Война!» — отозвалось во всех углах судна. Не прошло одной минуты, как застучали, загремели... Везде война: на шканцах, на палубе, на баке... Лекарь чистит инструменты... Итак, с сего времени мы уже на военной ноге — всегда готовы к сражению; днем попадаем ядрами в цель, а на ночь все готово, все по пушкам перекликаются и ядра кладут близ пушек».

Однако волонтеры не орали «браво!». Невелика была радость околеть под ножом лекаря, «чистившего инструменты», не улыбалось получить карачун за честь и достоинство короля Георга. «Вчерашний день, — сообщает Рикорд Коростовцеву, — читал газету о проклятой войне, которая, я думаю, и тебя много расстроила в мыслях...»

За четыре военных года лейтенант Головнин побывал на семи военных кораблях. Перед ним возникла вереница капитанов и офицеров. Немногие нравственно выдавались из общего ряда. Многие выдавались профессиональной деятельностью.

Василий Головнин плавал под флагами Уильяма Корнваллиса,

---

* Шканцы — часть палубы, считавшаяся почетной. Там объявляли официальные распоряжения. На шканцах запрещалось курить и сидеть всем, кроме командира корабля и флагмана.

Кодберта Коллингвуда и Горацио Нельсона. Имя Нельсона известно. Герцен клеймил его «дурным человеком». Дурной человек может быть неустрашимым флотоводцем. Нельсон был великим военачальником, но не великим человеком, как и Наполеон.

Герой Абукира и Трафальгара лестно отзывался о русском лейтенанте. Учитывая английский «военно-морской шовинизм», надо думать, что мужество волонтера Головнина оказалось высокой марки. Кодберт Коллингвуд, интимный друг и боевой соратник Нельсона, подтверждает эту похвальную аттестацию. Девяносто девять из ста офицеров размахивали бы ею, как знаменем. Головнин (в автобиографии) промолчал.

Волонтер пересек экватор, перервал невидимую нить, опоясывающую Землю. Но не финишировал. Ему еще предстоял долгий марафонский бег. И не с английским вымпелом в руке.

Экватор пересек волонтер. Его, как водится, окатили забортной атлантической водою, посвятив в рыцари ордена «Смоленых Шкур».

В глаза, привычные к северной хмури, брызнул блеск Карибского моря. Давний пиратский садок отражал солнце Вест-Индии, зарницы артиллерийских залпов. Море нежных полуденных дождей знавало такие жестокие схватки, что нападение акул кажется игрой в салочки.

Что там творилось, в этом Карибском море? Нет, Англия еще не воевала с Испанией. Но союз Карла IV и Наполеона был предрешен. И потому: настигни испанского купца, схвати за горло, вытряхни мошну. Англия прежде всего, права она или не права. Призовые деньги — на кон!

Один из русских волонтеров недурно рассказал, как это происходило.

«Подойти, остановить и осмотреть испанца было делом двух, трех часов. Лейтенант, посланный для осмотра приза, по возвращении на фрегат был встречен толпою офицеров и матросов, с нетерпением ожидавших его.

— Ну что? — воскликнули несколько голосов.

— Главный груз — полмиллиона испанских талеров, кроме индиго, кошенили, которыми набит трюм!

Тогда все офицеры схватили карандаши и бумагу и, бросившись к шпилю, дрожащими от радости руками стали высчитывать, кому сколько придется на долю, и я помню, что капитану досталось семь тысяч, на каждого лейтенанта по две тысячи фунтов стерлингов чистыми деньгами, не считая того, что каждый из них получит за индиго, кошениль и за самое судно.

Вместе с лейтенантом приехал и испанский шкипер. Он не знал по-английски, но говорил по-итальянски и так как, кроме меня, никто на фрегате не понимал этого языка, то и просили меня быть переводчиком. Вместе с шкипером вошел я в капитанскую каюту. Долгое время не мог он произнести ни слова, наконец, очнувшись, произнес:

— Где же тут законность?.. Вы захватываете испанские суда, когда еще не прерваны дипломатические сношения!

В ответ на это капитан сделал знак удалиться, и, когда мы вышли из его каюты, испанец, узнав, что я русский, стал изливать передо мною все свое бешенство.

— Это разбой, пиратство! — говорил он. — Не объявляя войны, захватывают врасплох! Если б я знал это, то принял бы средства избежать встречи с этими пиратами, а то, напротив, спешил увидеть военный флаг, чтоб поверить свое счисление*. Злодеи! Грабители!

Напрасно стараясь утешить бедного шкипера, я должен был наконец предоставить его собственному отчаянию и принять участие в общей деятельности, поднявшейся на фрегате. Из опасения, чтобы ночью не поднялась буря и не погибнул бы драгоценный приз, приказано было выгрузить с него на фрегат ящики с талерами. Началась восторженная, кипучая работа, продолжавшаяся всю ночь.

Обычно все призы отсылались в английский порт, где и продавались особыми агентами, которые получали за это известный процент с вырученной суммы. Но теперь дело обошлось и без комиссионерства.

— Приз денежный, разделим и без агента! — сказал капитан, и все единогласно приняли это предложение.

Начался дележ. Звонкая монета из ящиков пересыпалась в фитильные кадки, в которых через люк опускалась в капитанскую каюту и там сортировалась по ценности: золотые дублоны и империалы покрывали весь круглый обеденный стол и блеском своим затмевали талеры, скромно лежавшие на полу. В совершенном порядке, по старшинству, каждый получал свою звонкую долю золотом и серебром и, насыпав ее в мешок, уходил в свою каюту и с удовольствием Гарпагона принимался пересчитывать и любоваться ею. Несколько дней в палубе, где жили матросы, только и слышно было: чик... чик... чик... Приятный звон новых, блестящих, только что отчеканенных в Мексике талеров!.. Каждый матрос получил по 500 талеров, и я, по званию волонтера, то же самое».

Карибское море конфигурацией похоже лишь на одно море — Средиземное. Ревущие ураганы Антильских островов похожи на быстрые, неожиданные «ветропады» у берегов Испании. Оба моря качали некогда бесшабашную пиратскую вольницу. Теперь в Средиземном действовали регулярные военные флоты: Англии, Франции, Испании.

Волонтер Головнин участвовал в блокаде Тулона и Кадиса. Кадис — это Испания. Тулон — это Франция. Испания и Франция — противники Англии.

Подобно Кронштадту, Кадис лежал на прибрежном острове. Как и Кронштадт, Кадис был морской крепостью. В отличие от Кронштадта, Кадис много выигрывал от высоких утесов, они хра-

* Счисление — графическое изображение пути судна на карте.

нили его надежнее редутов. Блокировать крепость значило замкнуть купеческую и военные гавани.

Британские пушки держали под угрозой не только торговые суда, вывозившие херес и финики, оливковое масло и соль, — они грозили городу, блещущему чистотой, грозили холстам Мурильо, башне Торре-де-Вегиа, откуда открывалась такая поразительная панорама, что ее не могли испакостить даже вражеские корабли.

С борта тех кораблей Головнин увидел Гибралтар. Потом зеленые с прожелтью воды Гибралтарского пролива сменились лазурью — эскадра бежала на северо-восток, к Южной Франции.

Не столь давно британцы гуляли в Тулоне победителями: роялисты, противники революции, сдали форты и эскадру, интервентов выкурил из Тулона капитан Бонапарт. Теперь его звали императором Наполеоном. Английскому адмиралу не приходилось рассчитывать на роялистов. Взять город он не мог, он держал его в блокаде, но лишь со стороны моря.

Реестр боев, происшедших меж берегами Европы и Африки, потребовал бы, наверное, кибернетической машины. Во времена Головнина там тоже не скучали. После очередного боя, после абордажной схватки, капитан фрегата «Фисгард» писал, что русский волонтер Головнин «дрался с необыкновенной отвагой и был так счастлив, что остался невредим».

Глава третья

1

Но соль судьбы — в испытании судьбы.

А испытание ждало долгое. Тут подавай не вспышку, не горячечную храбрость. Тут подавай мужество, холодное и терпеливое, в отличие от металла чуждое усталости.

Ему же было нехорошо:

«Из четырех случаев моего отправления из Европы в дальние моря я никогда не оставлял ее берегов с такими чувствами горести и душевного прискорбия, как в сей раз. Даже когда я отправлялся в Западную Индию, в известный пагубный, смертоносный климат, и тогда никакие мысли, никакая опасность и никакой страх меня нимало не беспокоили. Может быть, внутренние, нами непостижимые предчувствия были причиной такой унылости духа; а может статься, продолжительное время, в течение коего мы должны были находиться вне Европы и в отсутствии родственников и друзей и необходимо должны неоднократно встречать опасности и быть близко гибели, рождало отдаленным, неприметным образом такие мысли при взгляде на оставляемый берег».

«Оставляемый берег» — окраинные скалы Южной Англии. Но это лишь географически. А мысленно покидали они Россию. Их — шестьдесят. Шестьдесят душ, экипаж «Дианы».

Как все шлюпы, «Диана» нечто среднее между фрегатом и кор-

ветом. Ее «срединность» определялась и водоизмещением, и парусностью, и артиллерийским вооружением. Она несла четырнадцать пушек; пушки были медные, легче чугунных на пятнадцать пудов. Плюс на верхней палубе четыре похожие на бульдогов карронады для стрельбы с короткой дистанции и четыре фальконета, небольшие, чугунные, малого калибра.

Однако шлюп не намеревался драться. Морские сражения осточертели Головнину. Ему минул тридцать один. Половина жизни прошла в огне. Он остался невредим. Зачем? Вить береговое гнездышко? Увольте! Пробил час заветной мечты, родившейся в Итальянском дворце.

Крузенштерн и Лисянский — тоже питомцы Морского корпуса, тоже «крещенные» в балтийских боях, тоже волонтеры, — Крузенштерн и Лисянский вернулись в Россию, как и Головнин, в 1806 году. Но вернулись-то не из Средиземного или Карибского морей, а завершив первый русский кругосветный поход.

Успех был громкий. И заслуженный. Головнин увидел паруса отважных, паруса «Надежды» и «Невы». Он знал виновников торжества, долговязого, сероглазого добряка Ивана Федоровича Крузенштерна, кудлатого, с орлиным взором, порывистого Юрия Федоровича Лисянского.

Пример был подан, начиналась эпоха российских кругосветных путешествий.

Торить кругосветную дорогу рвались почти все морские офицеры. Наградой была не награда, а слава. «Званых много, избранных мало». Адмиралтейство избрало лейтенанта Василия Михайловича Головнина. В этом избрании было признание.

Император Александр, вняв ходатайству министра, жаловал лейтенанта перстнем и деньгами за составление «Военных морских сигналов» (ими пользовались четверть века). Кроме того, бывший волонтер привез не лондонские сувениры, а «Сравнительные замечания о состоянии английского и русского флотов». Его практические познания не вызывали сомнений. Похвалы Нельсона и Коллингвуда придавали ему большой вес. И вот — назначение на «Диану».

«Надежду» и «Неву» купили в Англии. «Диану» сработали в России. И украсили, как повелось издревле, деревянной резной скульптурой: девственница в коротком хитоне, колчан за спиною, летящие по ветру волосы — Диана. Героиня многих мифов была влюблена лишь однажды — в спящего красавца Эндимиона. Диане, установленной на «Диане», суждено было полюбить бессонное море.

Главная цель была исследовательская: «Опись малоизвестных земель, лежащих на Восточном океане* и сопредельных российским владениям в восточном крае Азии и на северо-западном берегу Америки». К главному «предмету» добавили «попутный»: транспортировку громоздких тяжестей в Охотский порт.

---

* Тихом океане.

Размещение грузов в трюмах — почти такое же искусство, как и вождение корабля. Весною 1807 года Головнин был стивидором, то есть специалистом по погрузке. Он принимал, распределял, укладывал: железо и якоря, парусину и канаты, провиант, бочки с пресной водой и древесный уголь, платье, обувь, порох, ядра, инструмент, гвозди и т. д. и т. п.

Он управился отлично: «В продолжение путешествия опыт мне показал, что при укладке груза... никакой ошибки не сделано». Не часто услышишь подобное. А тому, кто иронически усмехнется (эва, хитрость), остается лишь попробовать, каково на деле.

Новизну и важность экспедиции сознавали в Петербурге. Снаряжением «Дианы» занимались адмиралы и мастеровые казенного завода, министерские чиновники и кронштадтские боцманы.

Крузенштерн, человек большой душевной щедрости, не один час провел с лейтенантом. Иван Федорович еще не мог вручить ему свою книгу о плавании «Надежды», но, как писал Головнин, «добровольно позволил мне взять из типографии самые нужные для меня карты и планы, выгравированные для его путешествия, прежде нежели оно было обнародовано, чего не позволят другие издатели путешествий. За таковую его благосклонность ко мне я не менее признаю себя ему обязанным, как и за советы, которые он мне дал по моей просьбе, касательно моего плавания... Признательность моя к сему почтенному мореходцу заставляет меня сказать, что, кроме позволения пользоваться картами его трудов, он сам лично просил г-д членов Адмиралтейского департамента приказать директору типографии поспешить окончанием его карт прежде моего отправления. При сем случае г-н капитан-командор и член помянутого департамента, Платон Яковлевич Гамалея, принял на себя попечение о скорейшем окончании оных. В департаменте не было формального о сем повеления, но ему угодно было принять на себя сей труд единственно по отличному своему ко мне благорасположению и по желанию успеха нашей экспедиции. Все готовые карты перед отправлением я имел честь получить из его рук»[4].

Матросы не пришли на шлюп по канцелярской цидуле. Крузенштерн, Лисянский, Головнин положили за правило набирать добровольцев. Из шестидесяти человек Головнин обманулся лишь в мичмане Федоре Муре. Все ж другие оказались под стать командиру. А своему помощнику, лейтенанту Петру Рикорду, он был обязан жизнью.

У прежних моряков, ходивших «вкруг света», водилось прекрасное обыкновение: в отчетах помещали они поименные списки всех участников экспедиции. Так воздавалось должное каждому матросу. К сожалению, капитаны ограничивались лишь именами и фамилиями. Если об офицерах можно разжиться некоторыми подробностями, то формуляры «нижних чинов» — редкость. Но и на том спасибо, что они названы, эти крестьяне, исхлестанные ветрами Океании, Аляски, Антарктиды.

Дальность плавания предполагала происшествия, предусмот-

реть которые не сумели бы и сочинители павловского устава. Инструкции дозволяли Головнину многое. Он распоряжался полновластно — «первый после бога». «Диана» была военным кораблем; встречным русским коммерческим судам командир имел право отдавать приказания, какие он счел бы полезными «для службы его величества». Собственным распоряжением Головнин мог награждать деньгами усердных матросов. Наконец, ему, и только ему, следовало избрать генеральный курс — в обход ли мыса Горн, в обход ли мыса Доброй Надежды.

25 июля 1807 года «Диана» окрылилась парусами. С этого часа началось для Головнина «сживание» с кораблем, обретение того особенного «чувства корабля», без которого нет настоящего водителя парусного судна. Командир и корабль вверяются друг другу, как наездник и аргамак. Им обоим вверяются десятки людей.

На старинных картах рисовали щекастых здоровяков: напряженно вытянув губы, они извергали тугие вихри. Молодцы эти, боги ветров, с медвежьей грацией ухаживали за «Дианой»: пихались, норовили затолкать обратно в Кронштадт. Потом нанесли тяжкие тучи. Ночью ударила гроза. И такая, какой Головнин не видывал и в Средиземном. В пронзительном блеске молний, в раскатистом салюте громов «Диана», как говаривали моряки, «брала отшествие от берегов отечества».

Балтика буйствовала. На курсе «Дианы» покорно тонуло судно, покинутое командой. В ночных ненастьях тускло светили бельмистые маяки. У датских берегов качался сильный английский флот. Жители Копенгагена живо помнили сравнительно недавний налет Нельсона. Сейчас британцы вновь нависли над маленьким королевством.

Головнин почуял перемену политической ситуации. Догадку укрепили газетные известия. Едва шлюп положил якорь в Портсмуте, Головнин прочел о назревающем англо-русском конфликте. Уж кто-кто, а бывший волонтер хорошо знал «призовое право». Первой его мыслью было получить от английского правительства надежный охранный документ.

Головнин поехал в Лондон. Скрипучие дилижансы (англичане окрестили их морским чином — «комодоры») не отличались торопливостью. Лейтенант раскошелился и полетел на почтовых. Каждые восемь миль ждала подстава. Возница трубил в рожок; красные колеса стучали по ровной дороге.

Головнин думал обернуться в неделю. Оно бы так и вышло, когда б не проволочки в коммерческом ведомстве: «Диане» следовало получить добавочный провиант.

Капитан Лисянский хватил лиха от английских мздоимцев. «Всяк, кому токмо было время, брал с нас без совести», — вздыхает он в своем рукописном дневнике. Головнин резче Лисянского: «Все знают, что подлее, бесчестнее, наглее, корыстолюбивее и бесчеловечнее английских таможенных служителей нет класса людей в целом свете».

Командир «Дианы» застрял в Лондоне на три недели. Впрочем,

задержка принесла ему и некоторое успокоение. Газетные пугающие сообщения оказывались, судя по некоторым признакам, напраслиной. Англия ожидала из Средиземного моря дружественную эскадру Сенявина. В Портсмуте уютно отстаивался фрегат «Спешный» с деньгами для Сенявина — ни много ни мало, а два миллиона золотом и серебром. Вот уж завидный приз! А «Спешный» не спешил вон из Англии. Стало быть, нечего дуть на воду. Есть ли нужда в «паспорте» для шлюпа? Однако береженого бог бережет. Головнин исхлопотал «охранную грамоту». Увы, впоследствии она обернулась филькиной грамотой.

Выход из Ла-Манша и ныне не считается прогулкой. Суда, идущие в Атлантику, берут лоцманов. Головнин лоцмана не взял. Самонадеянность? Быть может. Но и отличное знание, благоприобретенный опыт.

Скалами мыса Лизард обрывалась Англия. Европа исчезла за кормой. «Нельзя было не приметить, — рассказывает Головнин, — изображения печали или некоторого рода уныния и задумчивости на лицах тех, которые пристально смотрели на отдаляющийся от нас и скрывающийся в горизонте берег».

«Диана» вышла в Атлантический океан.

Стоял ноябрь 1807 года.

2

Стихотворец Вяземский побывал однажды на русском военном корабле. Язвительный князь пропел вдруг такой дифирамб:

«Я был в восхищении и сердечно жалел, что не посвятил себя морской службе. Вот поэзия в мундире! Военное сухопутное ремесло возвышается в военное время; гражданский мундир — не лакейская ливрея в тех только государствах, где царствуют законы и свободы; должность моряка имеет во всякое время много поэзии, то есть смелости и благородства. Он завсегда имеет перед собою сильных врагов (лучше бы: могущих): небо и море. С ними честному человеку весело ладить и бороться».

Много верного! В самом деле, уж служить, так не в лакейской ливрее. Море и небо распрямляют плечи. Они создают иллюзию избавления от ярма «земного тяготения». Но поэт Вяземский был пассажиром, он не заметил «безмундирной прозы», требующейся от «поэзии в мундире»: тяжелой физической работы, привычки к смерти, от которой отделяют лишь дюймы корабельной обшивки.

В бурях есть азарт. Обоюдный азарт человека и стихии: рукопашная, как в абордажном бою. Но существует и сплин штилей, шелестящая голубая тишина. Иногда она длится день за днем.

Океан переменчив и неизменен. Возникает ощущение круга, и ты в этом круге. И потом чувство оторванности, затерянности. Современным человеком оно утрачено. Жалеть нечего. Надо лишь вообразить, каково было тем, кто восхитил князя Петра Андреевича.

Два с лишним месяца шлюп пересекал Атлантику. Она удру-

чала шквалами, проливными дождями. Опасность внезапных порывов ветра держала в напряжении и вахтенных и подвахтенных. Грозы, казалось, сотрясали не только небо, но и глухие глубины океана. Крупная зыбь валяла корабль. Зыбь эту звали толчеей. Даже задубелые марсофлоты кляли ее на все корки.

Во второй половине декабря «Диану» подхватил юго-восточный пассат. Наступили ясные погоды. «Можно сказать, — облегченно заметил Головнин, — что мы получили новую жизнь со дня встречи пассатных ветров».

В ноябре 1807 года «Диана» потеряла из виду мыс Лизард — последний клочок Европы; в январе 1808 года «Диане» открылся остров Екатерины — первый клочок Южной Америки.

В слове «остров» слышится нечто романтическое и романическое. К островам стремились мечтою: остров Утопия.

Ах, где те острова,
Где растет трын-трава...

Шлюп положил якорь. Все смолкло. И донесся... шум работ. Как на верфях. Стучат, стучат. А то вдруг будто псы взлаивают. А то вдруг в колотушку колотят. Потом уж, на берегу, поняли моряки: все эти звуки неутомимо издавали увесистые бразильские лягушки.

Начались ремонты, рубка дров, завоз пресной воды, проверка астрономических инструментов, пополнение съестных припасов. Словом, все та же нелегкая, повторяющаяся изо дня в день работа. И однако, незнакомая гавань — незнакомая жизнь. Мореход жадно впитывает новизну. Как ты ни предан морю, обручен с ним, подобно венецианскому дожу, но ты сын земли. Берег, домашнее, устойчивое, пусть чужое, пусть неизвестное, рождают в душе отрадный покой. И это спокойствие, эта тихая радость притягательны именно потому, что кратки.

Остров принадлежал Португалии. Колониальное захолустье. Изумрудная духота в чащах; на тропах ядовитые змеи; в черных ночах бессчетные светляки. Солнце раскаляло крепостные стены. В крепостях ржавели пушки. Крепости и городок носили звучные, как кастаньеты, имена.

Переход Атлантикой был пудом соли, который надо съесть, чтобы познать человека. В океане Головнин познал «сущность» своего корабля: хорошо одолевает волну, крепок, остойчив, послушен. К сожалению, не блещет скоростью. И посему раньше марта не достичь мыса Горн.

История, по слову древних, «живая память». Живая память мореплавания хранила множество печальных попыток миновать мыс Горн в марте или в апреле, то бишь в осенние месяцы. Сверкал, однако, пример недавний — Крузенштерна и Лисянского: они пробились.

Головнин колебался. Попытка, говорят, не пытка. Вопреки пословице Головнину предстояло последнее. Но и отступать уж было поздно. От неудачи лейтенант не зарекался. На сей случай

он задумал ретираду к мысу Доброй Надежды. С юга Южной Америки к югу Африки быстро и безопасно домчат его западные ветры, «господствующие в больших южных широтах». И уж оттуда, от берегов Африки, возьмет он курс через Индийский океан в Тихий.

Жажда скорости стара, как и само передвижение. Нынешние скорости привели к представлению о малости земного шара. Головнину он был огромен. Огромность явственно возникала в океане.

Бег к югу приносил холод. Люди натянули фуфайки. За горизонтом, с правого борта, незримо качался континент. Ночью при сильном волнении волны точно бы блестели. Этот таинственный блеск озарял передние паруса.

В феврале 1808 года русские приметили несколько пузатых судов со спущенными брам-стеньгами. Суда шустро меняли курс. «Диана» приблизилась. Брюхастые не обращали на нее никакого внимания: они били китов. «Такая сцена, — пишет Головнин, — была еще для всех нас новой, и мы с большим любопытством смотрели на проворство и неустрашимость этих людей». Кто знает, не торчал ли на палубе одного из американских китобоев неистовый капитан Ахав, герой «Моби Дика»?

Миражи водных пустынь похожи на миражи песчаных: наваждение дьявола, вестник несчастий. А несчастья не похожи на счастье: они не медлят, у них ворота настежь — заезжай. «Диана» вбежала в пролив Дрейка.

Не нрав, а норов у пролива Дрейка, под стать самому Френсису Дрейку, пирату и душегубу. «Мыс Горн — настоящий мыс бурь», — определил один французский географ. Но с ним не согласен такой практик, как Лисянский, командир «Невы»: то, что приключается у мыса Горн, можно испытать и в Ла-Манше. «Я уверен, что, справившись в журналах судов Американских Соединенных Штатов, корабли которых плавают этим путем к северо-западным берегам Америки, можно обнаружить гораздо больше успехов, чем неудач».

Упомянутый географ беспристрастности ради признает положительное «качество» пролива Дрейка: тамошние сумасшедшие ветры отгоняют айсберги. Лисянский, очевидно, тоже ради справедливости признает отрицательное «качество» пролива Дрейка: величайшую удаленность от населенных пунктов, где мореход получил бы помощь.

В Южном океане громыхал шторм, а в узкости пролива была такая круговерть, что шлюп подчас волокло боком. Существует сравнение: «Корабль носило словно скорлупку». Скорлупке не страшны скалы и рифы, ее не расшибет вдребезги. Корабль в несколько сот тонн, увы, не скорлупка.

Совершая повороты, Головнин наддавал ходу, «пришпоривал коня», убегая от валов. Еще на острове Екатерины Головнин законопатил и залил смолою пушечные порты. Но герметичность не была полной. Нижнюю палубу, прибежище команды, офицер-

ские каюты захлестывало. Матросы, вымокшие до нитки, выносили воду ведрами. Океан и ведра! Прибавьте град, снег, рев, свист, скрип — вот шабаш, врагу не пожелаешь.

В отчете о плавании «Дианы» Головнин сослался на неудачников, обломавших зубы в проливе Дрейка. Он начал с Джорджа Ансона, атамана нескольких каперских экспедиций середины XVIII века. Помянул испанский галион «Св. Михаил»: за сорок лет до «Дианы» испанец мыкался у мыса Горн полтора месяца и скормил рыбам десятки мертвецов. Назвал и капитана «Баунти» Уильяма Блая: этот мерзавец четыре недели пытался совладать с проливом Дрейка, да так и не совладал[5].

Но ведь были и Крузенштерн с Лисянским, были и другие. В обращении к истории не таится ль оправдание, адресованное Адмиралтейству? Пусть так. Подчеркнем другое: самолюбие не взяло верх над здравым смыслом. А здравый смысл диктовал отступление.

«Владычествующие в больших широтах западные ветры обещали нам скорый переход к мысу Доброй Надежды, где, исправя судно, дав время людям отдохнуть и запастись свежими провизиями и зеленью, я мог продолжать путь...»

Резонно. Но он не знал одного обстоятельства. Чрезвычайно важного. И обманулся.

3

Прыжок был великолепный — в девяносто три ходовых дня. Прыжок от рубежей Атлантического и Тихого к рубежам Атлантического и Индийского. Ни повреждений корпуса или рангоута, ни больных или увечных. Правда, свежего мяса достало лишь на пяток дён, а подстреленные альбатросы воняли водорослями.

В апреле 1808 года Головнин радостно переводит дух: «На рассвете 18-го числа, в 6 часов, вдруг открылся нам, прямо впереди у нас, берег мыса Доброй Надежды... Едва ли можно вообразить великолепнее картину, как вид сего берега, в каком он нам представился. Небо над ним было совершенно чисто, и ни на высокой Столовой горе, ни на других ее окружающих ни одного облака не было видно. Лучи восходящего из-за гор солнца, разливая красноватый цвет в воздухе, изображали или, лучше сказать, отливали отменно все покаты, крутизны и небольшие возвышения и неровности, находящиеся на вершинах гор. Столовая гора, названная так по фигуре своей, коей плоская и горизонтальная вершина изображает вид стола, редко, я думаю, открывается в таком величественном виде приходящим к мысу Доброй Надежды мореплавателям».

(Скоро уж сорок лет, как на сухое и твердое плато Столовой горы протянута канатная подвесная дорога. Минуты плавного подъема — и захлебнись турист редкостным зрелищем: на западе — серый с голубизной Атлантический, на востоке — прозелень Индийского.)

Вероломство ветров не только в силе, но и в слабости. Моряки парусных времен нередко испытывали почти ярость после плавания, вымотавшего душу, теряя сутки за сутками близ давно желанной стоянки. Бессилие, досада, ощущение наглой издевки. Три дня немощь ветра не позволяла «Диане» отдать якоря в заливе Фолс-Бей.

Тут было несколько заливов. Самый неудобный — Столовый. На его берегу голландец ван Рибак опрометчиво заложил Капштадт (Кейптаун); дело сделалось давно, в 1652 году. Города — «от человека», да заливы-то — «от бога». И Столовый, открытый и незащищенный, нередко заглатывал корабли. Особенно в пору жесточайших норд-вестов, с мая по октябрь. Капитаны предпочитали Фолс-Бей. Вернее, его продолжение, вдающееся в западный берег. В Симанской губе отлеживались на якорях десятки судов.

Сейчас в Фолс-Бее «квартировала» британская эскадра. Следовало условиться о салюте. Салютация — вопрос протокольный. Вопрос не столько офицерской вежливости, сколько державного престижа. Корабли, как посланники, представляют государство.

Лейтенант Рикорд отправился на флагманский «Резонабль». «Диана» спокойно дожидалась невдалеке от стационарных батарей и пушек эскадры.

И вот тут-то началось нечто странное.

С соседнего фрегата «Нереида» быстро приблизилась шлюпка. Головнин обрадовался: старый знакомец, капитан Корбет. Алло, сэр! Надеюсь, не позабыт фрегат «Сигорс»? Да-да, «Сигорс», где вы командовали, а я, Головнин, служил волонтером. Ба! Что такое? Корбет резко кладет право руля и уходит от «Дианы», словно от зачумленной. Головнин улыбается: педант Корбет не желает нарушать карантинные правила... Однако почему не возвращается Петр Иванович? Что с лейтенантом Рикордом? Гм, странно.

Не русский лейтенант припожаловал на «Диану», а британский. На лице — официальная льдистость. Англичанин процедил несколько слов, Головнина прошибло пóтом. О, проклятые зигзаги политики! О, проклятые перемены галсов, совершаемые во дворцах и министерствах!

«Диана» ушла из Кронштадта в июле 1807 года. В июле того же года император Александр и император Наполеон лобызались на неманском плоту. Произошло тильзитское свидание. Императоры очаровали друг друга. Еще больше очаровались оба перспективой «раздела мира». И оба предали союзников: Александр — Англию, Наполеон — Швецию и Турцию. Но пункты тильзитского сговора оставались пока в секрете.

В сентябре и октябре «Диана» шла европейскими морями.

В те же месяцы французская дипломатия, возглавляемая такой пантерой, как Талейран, усилила натиск на Петербург, добиваясь формального разрыва России с Англией.

В первый день ноября 1807 года «Диана» покинула Портсмут.

Неделю спустя последовала «громовая нота» из Петербурга в Лондон. Война была объявлена...

Фрегат Корбета приблизился к «Диане», с других кораблей прислали вооруженные баркасы. Сопротивление выглядело бы трагикомично. Громкое «Приз... Приз...» раздавалось в ушах Головнина. Черт возьми, он не раз это слышал. Да только не в свой адрес. Но есть же паспорт! Есть бумага с сургучной печатью! Бумага, разрешающая мирное исследовательское плавание. Вот, извольте взглянуть, сэр!

Наверное, и этот лейтенант был охотником до призовых кушей. Наверное, он мысленно послал на головы лондонских дурней все молнии Африки. Поступил он, однако, осторожно и благоразумно. Начальству решать, не ему.

Начальство обреталось в Капштадте. Эскадрой временно командовал капитан Корбет. Головнин, конечно, знал, что его бывшие соплаватели не так-то просто выпускают из своих лап призовые суда. И все ж Василий Михайлович надеялся на вразумляющую силу лондонского паспорта.

Корбет отпустил Рикорда. Петр Иванович привез такое известие: в Капштадт послан нарочный; Корбет просит русского коллегу не покушаться на побег. Просьбу эту с молчаливой солидностью подтверждали пушки фрегата. Всю ночь на фрегате не спали. Всю ночь вооруженные баркасы стерегли «Диану».

Отныне — и очень надолго — капитан Головнин как бы сменил офицерский мундир на дипломатический фрак. Головнина будто бы перечислили из ведомства морского министра Чичагова в ведомство канцлера Румянцева.

И Корбет, и командор Роулей, и вице-адмирал Барти уважали храброго моряка — аттестации Нельсона и Коллингвуда что-нибудь да значили. Но Головнин не полагался на личную благодарность вчерашних партнеров. Василий Михайлович ставил карту на лондонское Адмиралтейство.

Он писал письма, спокойные, доказательные. Письма возили с оказией. У англичан есть выражение — «мертвые письма», то есть недоставленные. Погибающие моряки закупоривали такие письма в бутылки. «Бутылочная почта», — говаривали они с горечью, но и не без упований. Письма Головнина не были «мертвыми», их доставляли. Однако ответом было мертвое молчание.

Писал он и в Петербург. Пакеты не запечатывал, так пишут из тюрьмы. В архиве сохранился черновик его рапорта морскому министру России. Документ датирован январем 1809 года. Пленение длилось почти уж девять месяцев. Срок достаточный для роженицы, но не для британского Адмиралтейства.

Адмиралы уподоблялись банкирам. Банкиры знают, что такое «депозит». Депозиты бывают срочные и бессрочные. Первые возвращаются в обусловленное время, вторые — по требованию вкладчика. Лорды Адмиралтейства «отложили» русский шлюп до греческих календ. Головнин силился установить хоть какую-то

«срочность». В Капштадте принимали его учтиво. Увы, комплиментами все и кончилось.

А на корабле заканчивались припасы. Капитан хотел продать что-либо с «Дианы», на вырученные деньги купить съестное. Законники-чинуши воспротивились: как можно! Ежели «Диану» сочтут призом, на ней должно сохранить и последний медный гвоздь.

«Я, — говорит Головнин, — прекратил выдавать порционы офицерам, довольствуясь с ними той же провизией, как и нижние чины». Какой же? Фунт морских сухарей на день, солонина. «Свежей провизии мы не имели ни куска, также и никакой зелени не было».

Пленных полагается кормить, «задержанных вплоть до правительственного указания» можно брать измором.

Головнин старался хранить невозмутимость. Сдерживаться было все труднее. Положение обязывало спасти корабль, спасти экипаж. Но он ведь дал честное слово не предпринимать попыток к бегству. Излишняя щепетильность? Как знать, не в ней ли один из заветов порядочности?

Настал такой день (или такая ночь), когда Василий Михайлович принял решение, неслыханное в летописях мореплавания: одинокому кораблю, затертому среди целой эскадры, кораблю, движения которого стеснены, зависят от капризов ветра, кораблю уйти из-под пушек береговых батарей, из-под огня судовой артиллерии. Уйти в пустынный океан. Навстречу свободе и... голоду. Голод был неизбежен: нельзя же закупать провизию на глазах у десятков соглядатаев. Но морскую, навигационную подготовку к дерзкому побегу Головнин провел тщательную.

«Я знал, — пишет капитан «Дианы», — что во всех гаванях и рейдах, лежащих при высоких гористых берегах, ветры очень часто дуют не те, какие в то же время бывают в открытом море, а потому я хотел точно узнать, какое здесь имеют отношение прибрежные ветры к морским. На сей конец я часто на шлюпке езжал в Фолс-Бей, брал с собой компас и замечал силу и направление ветра».

Пленники нуждались только в норд-вестах. «Мы их очень долго ждали», — говорит Головнин. Но, дождавшись, не обрадовались: либо в заливе лавировали вражеские фрегаты, либо желанный ветер, засвежев днем, угасал вместе с вечерней зарей.

Час пробил в мае 1809 года. Норд-вест дул надежный. Флагманский корабль дремал с отвязанными парусами, эскадра тоже была не «одета». Судя по сигналам берегового поста, на юго-востоке лавировала какая-то корабельная пара, словно бы разыгрывая вариант «военно-морской любви».

В сумерках на «Диане» началось поспешное и беззвучное движение. Якоря не выбирали, это было бы слишком долго и слишком шумно. Обрубили канаты. Поставили штормовые стаксели*. Мо-

* Косые паруса треугольной формы.

мент был роковой. Головнин описал его по обыкновению сдержанно: «Едва успели мы переменить место, как со стоявшего недалеко судна тотчас в рупор дали знать на вице-адмиральский корабль о нашем вступлении под паруса. Какие меры были приняты нас остановить, мне неизвестно[6]. На шлюпе все время была сохраняема глубокая тишина. Офицеры, гардемарины, унтер-офицеры и рядовые — все работали до одного на марсах и реях».

4

В старину «сухарничать» значило лакомиться, роскошествовать. Но морской сухарь не посмакуешь. Циркуляр о довольствии войск предупреждал: длительное употребление сухарей вредно.

На «Диане» остервенело крошили ржаные ломти. Но и тех недоставало, рацион был уменьшен на треть. Питьевая вода цвела, разила топью. Варили солонину, которую корабельщина звала соленой ворсой, то бишь пенькой, нащипанной из старых смоленых тросов. Благо еще булькал в бочонках ром, припасенный давно, в Портсмуте. Стол был общий, беда равняет всех. Порыв, воспламененный удачливым бегством, не гас. «День и ночь мы несли все возможные паруса; офицеры и нижние чины были неутомимы», — гордится Головнин.

Русские капитаны-«кругосветники» не разводили чернил эмоциями. Но едва ль сыщется хоть один отчет без громкого восторга в адрес матроса. И это не вспученная квасом похвальба. Даже англичане признавали, что «русские моряки обладают всеми данными для того, чтобы занять первое место среди моряков мира, — мужеством, стойкостью, терпением, выносливостью»![7] Что ж до Головнина, то он убеждался в этом постоянно. И не только на палубе, но и на суше, о чем расскажем позже, очутившись в Японии.

А теперь — Индийский океан. Натощак, говорят, ни в пляс, ни в работу. Океан понудит и плясать и работать. В шторм отхватишь трепака, в шквал потрудишься, как на молотьбе. Но ветер потакал беглецам. И это было главное. Кругло считая, шла «Диана» поболе сотни миль в сутки.

Чуть не в два месяца достигла она меридиана Тасмании. В Тасмании было английское поселение Хобарт. В Хобарте была провизия и пресная вода. Увы, Фолс-Бей не забудешь, от британцев как дресва во рту.

Шлюп огибал Австралию. Головнин правил к норд-осту. Ближайшим курсом держал он к Ново-Гебридскому архипелагу.

Незадолго до «Дианы» оставила Австралию «Нева». «Сей корабль, знаменитый в летописях российского мореплавания», вел преемник Лисянского — Леонтий Гагемейстер[8]. Он не был в крайности, и Новые Гебриды его не манили. Головнину архипелаг снился, как снился Южный материк несчастливцу Педро Фернандесу де Киросу.

Отыскивая Индию, Колумб набрел на Америку. Отыскивая

Австралию, Кирос набрел на Новые Гебриды. Ошибки странников вернее приводят к цели, нежели выкладки картографов в халатах и домашних туфлях.

Не Колумб нарек Америку Америкой. Не Кирос нарек Новые Гебриды Новыми Гебридами. Спустя сто шестьдесят восемь лет после Кироса явился Джеймс Кук. Ему-то, как утверждает известный историк и литератор Яков Свет, по праву принадлежит честь открытия всей этой островной «галактики». Гебриды омывал близ Шотландии Атлантический океан; Тихий океан омывал Новые Гебриды.

Южную часть архипелага, пишет Головнин, никто из «новейших мореплавателей», со времен Кука, не посещал, «да уповательно, что и прежде его один только Кирос их видел».

Итак, Кирос, Кук, Головнин. Матросы испанские, английские, русские — горемыки из Лимы, батраки Йоркшира, крепостные «Нееловой, Гореловой, Неурожайки тож».

Теперь капитан Головнин оказывался ровней любому из экипажа «Дианы»: никогда не был он на островах Тихого океана. Новыми Гебридами начиналась новая полоса жизни. Лейтмотив оставался прежним — страсть к познанию мира. Лучше однажды увидеть, нежели сто раз услышать. И познать, что видишь.

Аннатом... Тану... Эрроманго... Чуждые уху названия, певучие и странные... Когда-то царь Петр, возводя Толбухин маяк близ Кронштадта, приказывал иметь «по вся ночи огонь великой и высокой». На острове Тану вулкан действовал исправнее любого маяка... Тому, кто долго шел лесной ли глушью, большаком или стежкой, отраден дым очагов. Над островом Аннатом поднимались дымы... Когда живешь в тесноте, месяцами все с теми же, других людей встречаешь и остролюбопытно и в порыве братской общности. Вон они, островитяне, выбежали на берег, устремились в однодревках наперерез буруну...

Французский географ XVIII века Шарль де Бросс расчленил Океанию на Меланезию, Микронезию, Полинезию; трехчленная схема укоренилась в науке. Новые Гебриды приписаны к Меланезии.

Острова Меланезии отняли, пожалуй, две трети океанийской суши. Новая Гвинея, будущее прибежище Миклухо-Маклая, отняла, поди, семь восьмых Меланезии. Вулканической цепи длиною в девятьсот километров досталась малость. Однако Новые Гебриды казались морякам «Дианы» большими островами. И благодатными.

В сущности, изобилие было относительным. Не поборы душили земледельца — тропическое буйство зарослей. Да ведь после морского-то сухарика и затхлой жижицы чего лучше всеядной недели: что в среду, что в пятницу — трескай скоромное. Говядиной, правда, не раздобылись, но свежая свинина вкуснее солонины. И воды ключевой не пили, но озерная здешняя вода была ароматнее той, что густо всплескивала в осклизлых судовых бочках. И молочного поста не блюли: хочешь — козьим усладись, хочешь — кокосовым.

Новые Гебриды еще не пахли колониальными франками. На берегу кипело меновое торжище: товар на товар. Тут дело решалось не только «без долгих», но и вовсе без слов. А вот береговые работы, сбор этнографических сведений нуждались в общении. Нынешнего мима Марселя Марсо предвосхитил Федор Мур. Этот мичман, пишет Головнин, «имел удивительное искусство объясняться пантомимами».

Меланезийские острова запечатлены в дневниковых записях командира «Дианы». Лучшие тогдашние навигаторы ощущали в себе натуралистов и этнографов. Скудость специальных навыков искупалась точностью и правдивостью. Они исповедовали золотое пра́вило: «Пишем о том, что видим; чего не видим, о том не пишем». И потому доныне не обесценились наблюдения и коллекции, собранные пенителями морей.

Отличительная особенность записок Головнина — доброжелательность. Термины «дикие», «дикари» не звучат уничижительно, презрения к «цветным» не слышно.

Неверно утверждать, что лишь русские мореходы стремились к дружбе с туземцами. Многие европейские капитаны запрещали чинить обиды островитянам. Скорее из расчетливости, нежели из гуманности. Что ж до Головнина, то Василий Михайлович печатно высказал мысль эпохи Просвещения, высокую и благородную:

«Обширный ум и необыкновенные дарования достаются в удел всем смертным, где бы они ни родились, и если бы возможно было несколько сот детей из разных частей земного шара собрать вместе и воспитывать по нашим правилам, то, может быть, из числа их, с курчавыми волосами и черными лицами, более вышло бы великих людей, нежели из родившихся от европейцев. Между островитянами, без сомнения, есть люди, одаренные проницательным умом и необыкновенною твердостью духа. Такие люди хотя и считали европейцев при начальном свидании с ними существами выше человека, но скоро усмотрели в них такие же недостатки, какие и в самих себе находили, что они во всем равны. Между ними есть даже мудрецы, твердостью характера не уступающие древним философам, которых имена сохранила история».

Цитированное выше итожило многолетние наблюдения Головнина.

Но и на Новых Гебридах губы капитана «Дианы» не топырило презрение, глаза не мерцали надменно.

«Они нас встретили, как старых друзей, и помогали наливать воду и таскать дрова». «К счастию нашему, жители острова были к нам хорошо расположены». «Островитяне обходились с нами совершенно по-дружески. Они нам не сделали ни малейшего вреда и не причинили никакого беспокойства, но, напротив того, старались нам услужить, как умели». «Нам не удалось видеть ни одного человека, который имел бы хотя несколько злобную физиономию».

Джеймс Кук, сойдя на берег, тотчас прибег к устрашению: велел палить из ружей. Меланезийцы, понятно, струхнули. Правда, один из

них, напоминает Головнин, поворотясь к великому мореплавателю, красе и гордости Альбиона, спиною, «ударил себя ладонью несколько раз по заднице; это есть обыкновенный вызов к бою у всех народов Южного моря (Тихий океан)».

Капитан «Дианы» ни из ружей, ни из пушек не палил. Он не требовал, чтобы «дикие» положили копья. И не устраивал каре для охраны рубки леса и завоза пресной воды. Предосторожности, говорит Головнин, казались ему ненужностью. Да и лестно ли получить «обыкновенный вызов к бою»?..

Теперь предстояло плавание к Камчатке. Следовало опередить зиму, проскочить в Авачинский залив до ледостава. Но спешить надо было осторожно. Острова, мели и рифы Тихого океана положил на карты минувший, XVIII век; руки тогдашних открывателей сжимали несовершенные приборы, карты частенько привирали. Не отвергая риска, Головнин уповал на «расторопность и искусство экипажа». Даже ночью, когда ни зги, шлюп имел большой ход.

Корабельщики издавна накопили короб примет. Французы непременно зачисляли в судовой штат голосистого петуха. Гальский петенька приносил счастье. Чилийцы и перуанцы опасались звенеть посудой. Ее звон чудился им погребальным звоном по тонущему товарищу. Англичане не терпели, когда за борт падал какой-либо деревянный предмет. Датчан бросало в дрожь, ежели перед отплытием встречали они на улице хозяюшку в белом фартуке. У англичан и французов существовала шкала черных дней: второе февраля и тридцать первое декабря, первый понедельник апреля и второй понедельник августа. Женщина на корабле — это уж такой ужас, что и толковать нечего. Плевать за борт и сейчас опасное неприличие, как плевок в брадатый лик бога морей. Об альбатросах уже говорилось. Тринадцатое число пользовалось мрачной репутацией. Чертова дюжина! Но Головнин и альбатросов не запрещал стрелять, и теперь не опечалился, когда пересек экватор именно тринадцатого. Напротив, он радовался скорому продвижению шлюпа, хотя скорость эта держала его в постоянном напряжении.

В один месяц «Диана» одолела жаркий пояс. И словно бы прощальным знаком возник на саже полуночного неба огненный шар с огненным хвостом. Мгновенно и грозно посветлело. Послышался удар, почти пушечный. И опять стало темно. Лишь шелест, всплеск, гром волн, посвист вант.

Потом наплывами пошла хмара. Ветер доходил «до высочайшей степени жестокости». Падали резкие холодные дожди. Косой град лупил в парусину, как дробь. А лица моряков все чаще освещались улыбками. И наконец озарились бурной радостью.

Как не радоваться молчаливой сопке, этому мертвому вулкану? Как не радоваться угрюмым скалам, похожим на лагерь сатаны? Тут уж и Головнина покинула всегдашняя сдержанность: «В 12-м часу перед полуднем, ко всеобщей нашей радости, увидели мы камчатский берег. Берег, принадлежащий нашему отечеству!..

Радость, какую мы чувствовали при воззрении на сей грозный, дикий берег, представляющий природу в самом ужасном виде, могут только те понимать, кто бывал в подобном нашему положении или кто в состоянии себе вообразить оное живо».

5

Точка на географической карте — Петропавловск — ставила точку на пути, длиною в семьсот девяносто четыре дня. Из них триста двадцать шесть дней «Диана» несла паруса, четыреста шестьдесят восемь стояла на якоре. Самый долгий переход длился девяносто три дня: остров Екатерины — мыс Горн — мыс Доброй Надежды.

Прибытие в порт назначения не просто швартовка. Это праздник. И чудится, даже корабль ощущает разительность перемены. Он будто грустно задумывается. Как старый покинутый дом. А «жильцы» уже жадно, всей грудью дышат иной, береговой жизнью.

Им неприметна в первые дни печальная хмурость петропавловского бытия. Они пьют бесчисленные чашки крепкого чая. Они посещают «вечерки», попадья и дьячиха — первые дамы общества — потчуют их пирогами. Но куда приманчивее пирогов «русские молодые бабы и девки, которые часто собираются вместе, поют песни и пляшут». Головнин лукаво усмехается: на Камчатке «едва сыщется хоть одна Лукреция». Римлянку обесчестили, она закололась на глазах отца и мужа. Матросы «Дианы» не насильничали, петропавловские подружки рук на себя не налагали, а лишь старались не попадаться отцам и мужьям.

Со ссылкой на «академический календарь» Головнин говорит, что Петропавловск значится в списках городов Российской Империи. Вот уж истинно — «врут календари»! В Петропавловске не было ни единой улочки; острожком звали камчатские жители свое сиротское местоположение.

Урбанист бы отчаялся. Моряки не отчаивались. Бог послал удачливые охоты на куликов, на уток, удачливые рыбалки. В окрестностях Петропавловска обнимала людей, истомленных морем, власть земли. Для пахаря она подчас жестока, эта власть; морякам — сладостна.

Камчатская зимовка казалась почти беспредельной, а Головнин уже готовил шлюп к навигации 1810 года. Грузы, адресованные Охотску, обещался забрать транспорт «Павел». По весне, стало быть, «Диана» могла отправиться к северо-западным берегам Северной Америки.

Легла зима. Для здешних широт это мирное выражение вряд ли подходит. Не ложилась зима, как где-нибудь на Рязанщине, в Гулынках, — врывалась и бушевала. Да вдобавок ради пущего эффекта тряхнуло Петропавловск землетрясение. Оно, вспоминал Головнин, «было столь сильно, что многие из наших матросов, не видавшие прежде таких явлений и не постигая причины оного,

до того испугались, что выбежали из казармы, читая во все горло разные молитвы, хотя, впрочем, люди сии были привыкшие ко всем опасностям».

Инструкция Адмиралтейства не предписывала капитану Головнину обозрение Камчатки. Обозреть Камчатку предписывала страсть, родившаяся в Итальянском дворце. Жаркую светелку променял он на нарты; сытный обед — на вяленую рыбу и кипяток в юртах камчадалов; теплую постель — на ту, что стелет пурга.

Головнину сопутствовал Никандр Филатов, двадцатидвухлетний мичман.

Они оставили Петропавловскую гавань после святок, в середине января 1810 года. Вернулись в марте. Поездка не была увеселительной. Головнин, в сущности, выполнил ту же работу, какую много позже взвалил на себя Антон Павлович Чехов, посетивший каторжный Сахалин.

Камчадалы жили скудно. Скудость не однозначна со скупостью: путешественников встречали радушно. Селеньица гнездились друг от друга верстах в сорока — пятидесяти. Головнин с Филатовым добирались из одного острожка в другой. Вроде бы малый каботаж.

Страшных злоключений они не испытали. Испытали гнетущие морозы, бешеные ураганы, усталость, которую называют свинцовой. Они пересекали замерзшие реки, огибали сопки, углублялись в чащи, полные валежника, ехали тундрой, переваливали горный хребет.

Камчатские записи отличаются от новогебридских. На островах Головнин этнограф, и только. На полуострове он не только этнограф. В нем обнаруживается заботник, мыслящий государственно. Его патриотизм зряч. Он не Чаадаев, но и он «не научился любить свою родину... с запертыми устами».

Камчатка для Головнина часть России. Бедная, дикая, далекая, окраинная, но часть России. Камчадал для Головнина — житель России. Бедный, темный, опоенный сивухой, но житель России. И Головнин сперва пишет, а потом предает тиснению, выпускает в свет для всеобщего, публичного чтения:

«...Несчастные сии люди всякий год терпят по нескольку месяцев голод, что здесь называется голодовать. В это-то время и питаются они березовою толченою корою, примешивая к оной небольшое количество сушеной и толченой в порошок рыбы, заготовленной для собак, кои наравне с своими хозяевами также по нескольку дней сряду ничего не едят».

«Когда учредили в Камчатке областное правление и ввели туда батальон, то целая толпа поселилась там чиновников и офицеров. Батальон разместили по разным частям сего полуострова. Сие размещение подало разным чинам благовидную причину разъезжать по Камчатке под предлогом смотров, свидетельств

и пр., а в самом деле для того, чтобы иметь случай выменивать у камчадалов соболей и лисиц на вино... И все такие разъезды бывают на счет камчадалов, которые должны проезжающих доставлять на своих собаках от одного селения до другого. Мода путешествовать по Камчатке от чиновников распространилась даже на простых подьячих и солдат, которые просятся в отпуск, чтобы промыслить для себя и собак корму, но, купив вина, ездят по острожкам и обманывают камчадалов».

«Голодные чиновники, служащие в тех краях, не только что хотят быть сыты, но и богаты. Когда мы видим часто дерзких смельчаков, которые... обогащаются в самих столицах, грабя казну и ближнего, то чего же можно ожидать от подобных сим людей в странах, отдаленных от высшего правительства на многие тысячи верст, где они управляют народами, не имеющими почти никакого понятия о законах и даже не знающими грамоты? Справедливость заставляет сказать, что бывали там чиновники, которых одна честь побуждала служить, так сказать, на сем краю света, но весьма редко; и все такие были притеснены сверху за то, что нечем им было поделиться, а снизу оклеветаны и обруганы потому единственно, что ворам и грабителям не давали воли».

«Надобно знать, что всякий камчадал имеет между купцами своего кредитора, у которого во всякое время берет он в долг разные безделицы, не спрашивая о цене их, почему купец записывает в свою книгу за всякую вещь десятерную цену; так что иной камчадал по книгам должен ему рублей тысячу и более, в самом же деле и на сто не будет...»

Горестные заметки Головнин заключает трезвым балансом. Этот баланс сделал бы честь любому чиновнику министерства финансов. Правительству он, увы, чести не делал: расходы на содержание камчатского «аппарата» значительно превышали доходы от самой Камчатки. Область, по определению Головнина, оказывалась бесполезной.

Мысль его, однако, не сразу замирает на пессимистической ноте. Василий Михайлович усматривает «достоинства и весьма важные». Он не бредит заводами и фабриками, отлично сознавая, что и в центре отечества индустриальный дым не густ. Торговля мнится ему рычагом, который поднял бы Камчатку из нищеты и закоснелости. Торговля с Японией и Китаем, с Филиппинами, Гавайями, Калифорнией.

Моряк прикидывает с пером и картою в руках: даже слабый парусный ходок может достичь Кантона или Манилы за 60 дней, Нагасаки или Гавайских островов — за 40, Калифорнии — за 45 дней.

Засим Головнин указывает предметы экспорта и предметы импорта. Проект развивается логически: частным лицам даже с тугой мошной столь махинное дело не в подъем. Необходима торговая привилегированная компания.

Головнин раньше всего моряк. И все ж он то и дело рассуждает политико-экономически. Качество, присущее выдающимся путешественникам прежних времен. Ныне оно, сдается, утрачено. Специализация исследователей отняла возможность критического рассмотрения «общих проблем»? Быть может, так. Но лишь отчасти. «Общие проблемы» — удел иных лиц, должностных, официальных. Какой гидрограф, какой ботаник, какой геолог включит в свой отчет страницы, посвященные администрации, благосостоянию населения, торговле?

А моряк Головнин включал. Проектируя камчатскую компанию, он не следовал за теми, кто отводил внешней торговле роль второстепенную. Мысли о ее второстепенности высказывали и Радищев, и Чулков, идеолог российского купечества, и профессор Болугьянский, талантливый финансист, сподвижник Сперанского. Болугьянский совсем уж категоричен: «Внешняя торговля останется вечно постороннею целью России».

Капитан Головнин не «великий эконом», он не судит, «как государство богатеет», а прикидывает, как взбодрить одну лишь окраинную область державы. Здесь согласье с Радищевым: «Чем больше торговля будет расширяться, тем больше людей она обогатит».

«Я давно говорил, что Тихий океан — Средиземное море будущего». Не знаю, кому, где, когда говаривал так Александр Иванович Герцен, но писал об этом в «Былом и думах». Сдается, нечто подобное мерещилось и командиру «Дианы», размышлявшему о камчатском импорте-экспорте, а потом и при виде белой маячной башни Ново-Архангельска.

Задолго до Герцена и не очень задолго до Головнина «умные очи» Ломоносова были устремлены «с брегов вечерних на восток»; шаг за шагом «колумбы российские» открывали Америку, позвольте сказать, с другой стороны.

Старший современник Головнина, человек широкой сметки и коммерческого вдохновения, Шелихов уже осваивал северо-западные берега Северной Америки. А теперь, летом 1810 года, капитан коронного, правительственного шлюпа обменивался салютом с русским поселением на острове Ситха — высоком, сумрачном, гористом.

Колонизация, как всякое историческое событие, рождает и хулителей и хвалителей. Для одних она — делячество, для других — деяние. Для большинства хвалебщиков приемлема лишь колонизация «своя», осуществленная соплеменниками. А прочая — от лукавого.

По совести же следует признать, что «все хороши». Прогресс не спрашивается у сердца, действует, и баста. Где силком, а где тишком. Где звоном оружия, а где звоном золота. Иль вкрадчивым бульканьем спирта.

Легко, однако, решать, когда История уже решила. Пустячное дело — после драки кулаками махать. Попробуйте махать во время драки. Головнин пробовал. Для него много значило не

только — что совершается, но и как совершается. И в этом нравственном критерии — грань его духовного облика.

Островитое побережье, откуда летом 1810 года капитану «Дианы» весело блеснул маячный огонь, издавна «поднимали» русские промышленники и мореходы: пушнину, «мягкую рухлядь», жадно поглощали рынок китайский и рынок российский. В царствование Павла получила солидные привилегии так называемая Российско-Американская компания.

В ее анналах множество романтических происшествий, мореходного геройства и геройства одиноких подвижников. Ее анналы пахнут овчинами безвестных тружеников, дымом индейских и алеутских костров. Страницы ее в белесой соли морей, в траурной черни порохового дыма. А рядом — колонки цифири, свары акционеров, челобитные ободранных русских и нерусских «липок».

Головнину довелось близко, пристально разглядеть Российско-Американскую компанию. Он и корабли водил, он и ревизором являлся, он и документы в Петербурге листал. Но то уже было позже. А нынче, июньской ночью, держась под малыми парусами, командир «Дианы» услышал шум весел.

«...Мы приготовились на всякий случай встретить неприятеля, зная воинственный характер, мужество и отважность жителей северо-западного берега Америки, которые для приобретения добычи на всякую крайность покуситься готовы; и что нередко им удавалось, пользуясь оплошностью европейцев делать на них нечаянные нападения с совершенным успехом».

Заметьте: Василий Михайлович лишь констатирует возможность нападения; в отличие от многих и многих капитанов не разражается бранью, не поносит туземцев. Воинственность небеспричинная. «Где же сыщется такой народ, — подчеркивает Головнин, — который не покусился бы сбросить с себя чужеземное иго, коль скоро представится к тому случай!»

Не индейцами, а русскими оказались гребцы. Ну, к черту «меры»? О нет! Еще бабушка надвое сказала. И землякам велели оставить оружие в баркасе, по одному, неспешно всходить на шлюп. А на палубе никто не кинулся к ним с объятиями: команда сжимала ружья...

Рядовой колонист рекрутировался обычно из лапотных переселенцев. Переселенец старался ладить с местными «дикими». Ну-кося уживись, новосел, если ты забияка, несносный сосед! Тут действовал мужицкий здравый смысл, о котором с таким здравым смыслом говаривал Белинский.

Но «в стране рабов, стране господ» взыскивали града, мечтали о вольной сторонушке не только пахари или ремесленники. Клейменый, вчистую обездоленный «класс преступников» (выражение Головнина) обманно завлекали за океан, а там, за океаном, острожники обретали «жизнь худшую несравненно, нежели та, которую ведут ссылочные в Сибири». Не позволительно ли усомниться в благом влиянии этого «класса» на коренных жителей? И, даже не будучи поборником «Устава благочиния и полицей-

ского», можно думать, что переселенцы из этого «класса» не слишком ревностно поддерживали правопорядок на отдаленном берегу.

Головнин наслушался рассказов (а может, и россказней) о всяческих невеселых происшествиях. Если туземцы не упускали случая пощипать пришельцев, то и старые каторжники не упускали темной ноченьки, дабы грабить грабителей.

Капитан и впрямь увидел страшноватые лица, отмеченные тавром отечественной юрисдикции, отведавшие палаческих гостинцев. Однако они и не помышляли о насилии. Напротив, съежились, оробели.

Все объяснилось быстро: звероловы решили, что пленены чужеземцами. (Загадка: чего было трусить, чего было терять?) Успокоился и Головнин. Улыбаясь, сказал, «что теперь они могут обнять своих соотечественников и говорить с ними; и когда матросы, получа на сие разрешение, начали с ними разговаривать, то они, услышав со всех сторон русский язык, были вне себя от радости и признались, что они приехали, вооруженные саблями, пистолетами и ружьями. Но, подозревая, что мы англичане, на вопрос мой об оружии утаили, что они вооружены... После сей сцены один из промышленных, по имени Соколов, взялся быть нашим лоцманом; но не прежде рассвета взялся вести шлюп наш к гавани, по причине подводных каменьев, во входе лежащих».

Колонизация знает не только своих адвокатов и своих прокуроров, но и своих апостолов. Апостолы случались и такие и сякие. Но уж гуманисты среди них не водились. И водиться не могли. То была публика ухватистая, не щадящая ни других, ни себя.

Если б в чертогах русского царя расположилась не одна галерея генералов от инфантерии и генералов от кавалерии, но и генералов от капитала, генералов от торговли, то кисть Доу воссоздала бы немало умных, жестких ликов с прищуром проницательных глаз. Таким, думаю, был и коллежский советник Александр Андреевич Баранов.

Коллежский советник Баранов не отмечен даже в обстоятельной энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Но остров Баранова там указан. Так назвали Ситху в 1819 году, когда уж старика Баранова, зашитого в просмоленную парусину, приняло море[9].

До смертного часа еще (или только) девять лет. А нынче, в июне восемьсот десятого, главный правитель русских поселений в Америке «учтиво и ласково» встречает моряков «Дианы».

Резиденция правителя — прочная, из толстенных, не обхватишь, бревен, меблированная изделиями питерских и лондонских мастеров. В доме — весьма обширная библиотека. Коллежский советник невесело посмеивался: «Лучше бы, господа, наши директоры прислали к нам лекарей, ибо во всех компанейских колониях нет ни одного лекаря, ни подлекаря, ниже лекарского ученика».

Здешние берега Головнин хотел положить на точные карты. Гидрография района интересовала морское министерство. Офицерам и штурманам «Дианы» надлежало удовлетворить этот инте-



рес. Не ради науки только. В первую очередь ради компании — ведь она под «высочайшим покровительством».

Ситха плавала в туманах огромной медузой. Ее как бы накрывал гигантский запотевший колпак. Ртуть никогда не опускалась за нулевую риску. Стояла бессменная осень, лишенная очарованья бабьего лета.

Туман — недруг гидрографа. И все ж Головнин и его усердные штурманы Андрей Хлебников и Василий Средний кое-что спроворили бы за лето. Они успели бы, когда б не известие от Дашкова, «российского генерального консула, в республике Соединенных областей пребывающего».

Консул Дашков по должности держал ухо востро. Где-то и как-то он вызнал об английском корсаре. Корсар намеревался опустошить закрома Русской Америки. Коллежский асессор Баранов упросил Головнина оборонить Ситху. И «Диана» осталась близ Ново-Архангельска.

Корсар не явился. Время было упущено. «Обозрение» северо-западных берегов в то лето не осуществилось.

Осуществилась малость: знакомство с американскими корабельщиками. Не раз литература, посвященная освоению северо-западного берега, костыляет бостонских и нью-йоркских торгашей. Спору нет, скупщики-перекупщики уменьшали барыш акционеров. Но сам-то Баранов им потворствовал. Может статься, скрепя сердце. Баранов, как сказали бы теперь, был реальным политиком. А реальность крылась в том, что колонистам, простите, жрать было нечего: из России продовольственные запасы улитой ехали. Куда бойчее оборачивались американцы.

Капитан «Дианы» раскланялся со шкиперами. Все было очень мило: ели, пили, поднимали тосты за президента и государя императора, бахали из пушек. Посреди кейфа «нечаянный случай» позволил Василию Михайловичу сделать наблюдение, достойное разведывательной службы.

Очевидно, Джон Эббетс находился «под градусом»: шкипер «Энтерпрайза» ненароком показал капитану «Дианы» некий документ. Из него явствовало, что американцам «хотелось знать: сколь легко было бы для Соединенных областей переведаться силою с компаниею, если бы обстоятельства того потребовали...» Короче, прав Козьма Прутков: «Не для какой-нибудь Анюты из пушек делают салюты» — торговля, конечно, торговлей, но и шпионить не худо.

Однако покамест не приходилось гордо отвергать пособничество; Головнин честно признает, что русские добытчики пушнины временной своею сытостью (относительной, разумеется) обязаны «коммерческому духу и спекуляциям американцев, то есть тех самых торговцев, которых попечители компании хотели отдалить совершенно от северо-западных берегов Америки». И сами, значит, не кормили, и другим не давали. «Вот, — замыкает Головнин, — до какой степени простирается дальновидность Американской компании: не обеспечив всегдашнего продовольствия

своих колоний собственными средствами, настаивали они, чтоб и чужие народы не давали им пищи».

Итак, ожидание корсара-налетчика не позволило Головнину заняться гидрографией. Василий Михайлович занялся ею на другой год. И в других широтах.

6

Замечательный человек не всегда знаменит. Незамечательных знаменитостей легион. Это не парадокс, а факт обыкновенный. И сатана, говорят, в славе, да не по добру.

Мичманов и шкиперов, освоивших Дальний Восток, Чехов называл людьми замечательными; они работали «не пушками и не ружьями, а компасом и лотом».

Зимуя (после Америки) в сугробистом Петропавловске, Василий Михайлович составлял план описи Курильских островов. Чтобы видеть далеко, надо взобраться не только на мачту, но и на плечи предшественников.

Ровно за сотню лет до Головнина казаки-землепроходцы Анциферов и Козыревский переправлялись с Камчатки на северные Курилы. Геодезистов Евреинова и Лужина посылал царь Петр: «...до Камчатки и далее, куды вам указано...» Геодезисты достигли центральных Курил, четырнадцать островов обозначили. Много трудился сподвижник и земляк Беринга — Шпанберг Мартын. Этот и Японии достиг, да на беду карту составил, мягко выражаясь, не ахти точную[10].

Подробный отчет о Курилах сделал сотник Иван Черный: две зимы оттосковал на островах, два лета плавал среди островов. Айнов-курильцев привел под скипетр Екатерины, этнографическую коллекцию подарил Академии наук.

Вслед за одним Иваном подался другой: Антипин, сибиряк, служивший у купца Лебедева-Ласточкина. Сотоварищем Антипину был иркутянин Дмитрий Шабалин. Добавили они к отчету сотника и «натурную» коллекцию, и записи, и чертежи.

Бригантина «Наталия» (на ней плавал Антипин) погибла. Шлюп «Надежда» (на нем плавал Крузенштерн) едва не погиб среди мелких и острых скал, повитых туманом. Те скалы Крузенштерн окрестил метко — Каменные Ловушки.

Ловушек было множество. Посейчас мореходство на Курилах никто не сочтет легким. А каково доставалось без локаторов и эхолотов, без радио и маяков, пусть хоть масляных? Скольких скитальцев приняли километровые глубины Охотского моря, бездны Тихого океана? Сколько судов загубили сулоны, эти злобные всплески в Курильских проливах, короткие, сталкивающиеся волны, словно бы поставленные на попа? А сколько потерпевших крушение изныло у изножья вулканов?

В мае 1811 года командир «Дианы», уже произведенный в капитан-лейтенанты и награжденный орденом Святого Владимира 4-й степени, пошел к Курилам. Опись хотел он начать от пролива Надежды (меж 12-м и 13-м островами), продолжить ее к югу до

японского острова Хоккайдо. Оттуда Головнин намеревался подняться к северу вдоль восточного побережья Сахалина и закончить навигацию обозрением Шантарских островов.

План был четкий, разумный, исполнимый. Но, как в таких случаях вещали старинные романисты, судьба уготовила Головнину нечто ужасное. Однако до этого несчастья остается еще два с половиной месяца.

Итак, Головнин приступил к описи, к тому негромкому делу, которое не требовало ни пушек, ни ружей. Познавание предполагает любовь к познанию; самая любовь тоже род познания.

Нынешний гидрограф согласится: да, именно любовь. Прибавит: и терпение. И еще выносливость. И еще навыки. И еще... И еще... Не тот стремительный бег по волнам, что дает удивительную наполненность пространством, нет, валкое, неспешливое движение, ожидание прилива или отлива, бесконечная лавировка и бесконечное пеленгование, бесконечные измерения лотом, и эти чертовы «толкачики», как матросы прозвали сулон, и этот спуск и подъем гребного баркаса, когда свисток боцмана призывает всех наверх.

Топонимика занята родословием географических названий. Имена личные подчас обозначают не только личность, но и судьбу. Имена кораблей увековечивают экипаж, давно мертвый, как и корабль. Святые из святцев указывают на дату открытия. В именах, проставленных на морской карте, угадывается и этика капитанов-«крестных».

Желание обозначить собственное «я» на чертеже мира понятно. Головнин предпочитал, чтобы его «я» обозначили потомки. Или современники. Он не просчитался. Так сказать, самонаграждение претило Головнину. И уж вовсе был он чужд лизоблюдства, присущего, увы, многим уважаемым навигаторам. Тем, кто не только заливам, мысам и островам давал «фамилии князей и графов», но и на лысых одиноких скалах «рассаживал» «всех министров и всю знать». Примером, недостойным подражания, Головнин указывал Джорджа Ванкувера, хотя и ставил его, как профессионала, рядом с Куком. Ванкувер, иронизирует Василий Михайлович, «тысяче островов, мысов и пр., кои он видел, роздал имена всех знатных Англии и знакомых своих; напоследок, не зная, как остальные назвать, стал им давать имена иностранных посланников, в Лондоне тогда бывших».

Ванкувер сварил демьянову уху; в отличие от крыловского героя англичане хлебали ее, облизываясь. Нечего таить, русские мореплаватели, современные Головнину, грешили низкопоклонством, хоть и не столь густым, но «тех же щей, да пожиже влей». Крузенштерн, Лазарев с Беллинсгаузеном, Коцебу, Циволька, Пахтусов пользовались случаем «комплименты свои обнародовать всему свету» (упрек Головнина, адресованный «нынешнему мореплавателю»). Все они оставили на карте «мушиные следы» — государи и государыни, наследники и светлейшие князья, министры и начальники штабов.

Головнин не обращал мысленного взора в сторону петербургской Дворцовой площади, хотя и верил в добрые намерения «высшего правительства». Это уж много позже он скажет, что «не на всех тронах сидят Соломоны». Однако и теперь что-то удерживает капитан-лейтенанта от топонимической лести. Уж не гордость ли потомственного дворянина? Да ведь тут она уместна.

Суть, впрочем, глубже. Сколько атоллов именовали русским звуком русские мореплаватели? Множество. А сколько из них прижились и удержались? Единицы, верно. Ибо застревали в гортани туземца, забывались. Нередко, правда, с помощью европейских картографов. Но исчезали, и вся недолга.

Справедливость, утверждал Василий Михайлович, справедливость требует, чтобы населенные части земного шара назывались так, как они именуются жителями, а не так, как их «обзовет» первый попавшийся пришелец. Командир «Дианы», по свидетельству знатока курильской топонимики Ю. К. Ефремова, «тщательно учел географические сведения, которыми располагали местные жители — айны, уточнил айнские названия островов, их произношение и написание. Именно в том виде, как они записаны Головниным, теперь восстановлено большинство названий отдельных Курильских островов».

Острова. Проливы. Ломаный курс. Череда однообразных записей: широты и долготы, глубины и направление течений, характер гаваней и абрисы приметных пунктов. В записях чаще всего: «туман», «мрачность», «мокрота».

«Различные замечания, касательные плавания у Курильских островов», сделанные Головниным, содержат дюжину параграфов. Последний — в одну строку — гласит: «Скорое возвращение птиц глупышей к берегу означает приближение бури».

Глупыши не торопились. Но буря близилась. И нежданно рухнула на Головнина и его товарищей.

Глава начата цитатой: «Из четырех случаев много отправления из Европы в дальние моря я никогда не оставлял ее берегов с такими чувствами горести и душевного прискорбия, как в сей раз».

Глава заканчивается цитатой: «Хлебников, шедший за мною, сказал мне: «Василий Михайлович! Взгляните в последний раз на «Диану»! Яд разлился по всем моим жилам. «Боже мой, — думал я, — что значат эти слова? Взгляните в последний раз на Россию; взгляните в последний раз на Европу! Так. Мы теперь люди другого света. Не мы умерли, но для нас все умерло».

Глава четвертая

1

Поэт усмехался:

Я раньше думал «лейтенант»
звучит «налейте нам»...

Поэт пал на Великой Отечественной, познав сверх меры, что «война совсем не фейерверк, а просто трудная работа». В том, что мнилось прежде, в игристом созвучье веяла литературная реминисценция: гусарская поэзия, пушкинская проза и, может быть, мемуаристика.

«Налейте нам», удаль, забубенность и впрямь, как выражаются докладчики, имели место. Кипела кровь, кипел и пунш. Шалости, не всегда милые, прощались: быль, дескать, молодцу не укор. Толстой не заставлял Долохова пить вино, свесив ноги с третьего этажа: Долоховы так пивали. С воцарением Александра I хлопанье пробок заглушило павловские барабаны. (Аракчеевские еще молчали.)

Известный пакостник Фаддей Булгарин в юности щеголял уланом. Десятилетия спустя он вспоминал:

«Попировать, подраться на саблях, побушевать, где бы не следовало, это входило в состав нашей военной жизни в мирное время... Эта военно-кавалерийская молодежь не хотела покоряться никакой власти, кроме своей полковой, и беспрерывно противодействовала земской и городской полиции, фланкируя противу их чиновников. Буянство хотя и подвергалось наказанию, но не почиталось пороком и не помрачало чести офицера... Стрелялись чрезвычайно редко, только за кровавые обиды, за дело чести; но рубились за всякую мелочь, за что ныне и не поморщатся. После таких дуэлей наступала обыкновенно мировая, потом пир и дружба».

Поведав о сухопутных офицерах, Булгарин замечает:

«Во флоте было еще больше удальства... Вся гвардия и армия знала о дружбе и похождениях лейтенантов Давыдова и Хвостова, русских Ореста и Пилада, которые и жили, и страдали вместе, и дрались отчаянно, и вместе погибли»[11].

Головнин знавал обоих. Коля Хвостов был его ровесником и однокашником. Гаврила Давыдов застал в Морском корпусе унтер-офицера Головнина. Хвостов и Давыдов, как и Василий Михайлович, служили на эскадре, ходившей к берегам Англии.

Вскоре они расстались. И уж навсегда. Головнин волонтером отправился на Запад, Хвостов и Давыдов — на Восток. Тоже в некотором роде волонтерами: кошельки у приятелей не оттягивали карман, а Российско-Американская компания предложила хорошее жалованье. К тому же Америка, «дикари», риск, желание славы — все было магнитом.

Плавали они много, умело, удачно, храбро. А в тот год, когда «Диана» ушла в дальний вояж, явились в курильские воды —

Хвостов на вооруженном судне «Юнона», Давыдов на тендере «Авось». И явились отнюдь не тружениками гидрографии, но жрецами Марса.

Случилось же так вот почему.

Резанов — один из заправил Российско-Американской компании — участвовал в кругосветной экспедиции Крузенштерна. Камергеру поручили завязать дипломатические отношения со Страной восходящего солнца. В Японии, однако, ему указали на дверь.

Азиатская страна чуждалась грешного мира. Японцам настрого запрещалось любое знакомство с европейцами. Европейцам возбранялось проникновение в Японию. Но, как и всякая изоляция, японская изоляция была обречена. Вопрос времени, и только. Бьет час, государство-страус поневоле вытаскивает голову из песка.

Голландцы «просочились» в Японию. И тотчас начали опасаться прочих европейцев — конкуренция не входит в расчеты негоциантов. А японские власти полагали, что с них достаточно голландцев.

Изоляция продолжалась. Ни русские, ни англичане, ни американцы с нею не мирились. Когда японцы показали камергеру от ворот поворот, камергер обиделся. И за себя и за Россию.

Орудием мести избрал он лейтенантов Хвостова и Давыдова. Обида, известно, худший референт. Впрочем, Резанов личных чувствований не выказывал, напирал на то, что оскорблена Россия. До царя было далеко, а потому решай дело собственным разумением. Резанов и решил.

Он обладал дипломатическим пером — его инструкция туманна. Лейтенанты обладали офицерским молодечеством — они извлекли из нее вполне ясный смысл. И, не мешкая, ринулись жечь и громить.

А Петербург вовсе не помышлял о вооруженном столкновении с Японией. Не знаю, оправдался ли на небесах Резанов, умерший «от жестокой горячки», а на земле пришлось оправдываться исполнителям его воли. И оправдываться кровью. Покамест Адмиралтейств-коллегия рассматривала происшествие, обоих лейтенантов спровадили до суда в Финляндию, где «налейте нам» и познали, что «война совсем не фейерверк, а просто трудная работа». Оба не оплошали и в «трудной работе». Дрались отчаянно, их представили к отличию. Александр I ответил: «Не получение награждений в Финляндии послужит сим офицерам в наказание за своевольство противу японцев».

Огорчительно, но вместе и радостно: от суда моряки избавились. Обосновались они в столице «до востребования». Давыдова приютил вице-адмирал Шишков. Шишков понудил молодого человека перебелить путевые записки. Их издали в 1810 году. Ни автора, ни его закадычного друга уже не было в живых.

Погибли они так. Пили на Васильевском острове с капитаном Вулфом. (У этого американца Резанов некогда купил «Юнону».)

Насандалившись, потопали восвояси. Стояла осенняя ночь. Исаакиевский мост развели, пропуская баржу. «Э, где наша не пропадала!» — лейтенанты прыгнули на баржу, с баржи хотели сигануть на мост, на беду промахнулись. Больше их не видели.

Книгу «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова» внимательно, с карандашом читал Головнин.

Там, где Давыдов рассказывает, как русские чиновники научили малые народности Севера лгать и изворачиваться, Головнин пишет: «Да и как же быть сему иначе? Какой народ может говорить искренно со своими притеснителями?»

Там, где Давыдов рассказывает, как островитян заставляют присягать на верность русскому царю, Головнин пишет: «Присваивать вольный народ себе в собственность есть дело крайне несправедливое!»

Там, где Давыдов рассказывает о православных миссионерах, Головнин пишет: «Везде видны следы христиан, озаряющих светом истины народы непросвещенные... для пополнения своих карманов». И далее: «Поступки человека к человеку поневоле заставляют сомневаться в бытии божием»[12].

Однако с этим сочинением познакомился Головнин не в десятом году, а много позже. Теперь же ему пришлось платить за разбитые горшки.

2

К забывчивости склонны обидчики. Обиженные к забывчивости не склонны. Век спустя после похождений «Юноны» и «Авось» была в Иокогаме издана книга русского автора; упоминая Хвостова и Давыдова, он писал: «Память о них, изгладившаяся в России, живо сохраняется до сего времени в Японии, факт, с которым нам необходимо самым тщательным образом считаться, когда мы рассуждаем о психологии отношений японцев к русским». Это утверждалось в девятьсот девятом. Легко вообразить «психологию отношений» в восемьсот одиннадцатом.

«Кунашир» — по-айнски «черный остров». Леса ли чернят, вулканический ли пепел? Головнину же Кунашир и впрямь показался черным.

Головнин охотился за двумя зайцами: хотел пополнить трюмы провизией, дровами, пресной водою; хотел изучить неизвестный европейцам пролив между Кунаширом и Хоккайдо. Но едва «Диана» приблизилась к Черному острову, как хозяева послали ей ядерные гостинцы. Головнин вгорячах едва не ответил орудийным огнем. Хладнокровие победило. Головнин рассудил, что «без воли правительства начинать военные действия не годится».

Японцы избегали пришельцев. Торговали заочно: припасы оставлялись на виду, моряки, забирая их, на виду оставляли деньги. И дровишки матросы рубили, и воду наливали без помехи. Крепость молчала. Головнин радовался: японцы, кажется, убедились в миролюбии русских.

Потом было получено приглашение посетить «главного начальника». На берег отправились капитан, штурман Хлебников, мичман Мур, матросы Симонов, Макаров, Шкаев, Васильев и переводчик Алексей. Офицеры были при саблях; карманный пистолет штурмана годился лишь как сигнальный.

В крепости состоялась чайная церемония. Подали табак и трубки. Японский чиновник в шелковом халате и с железным жезлом в руках спрашивал то же, что спрашивают обычно островные губернаторы: назначение экспедиции, название корабля, в чем нужда мореходов. Головнин отвечал, курилец Алексей толмачил. Хозяин олицетворял ласковость. Аудиенция заканчивалась в «обстановке взаимопонимания». И вдруг все решительно переменилось.

Головнин описал роковое кунаширское свидание:

«...Начальник, говоривший дотоле тихо и приятно, вдруг переменил тон: стал говорить громко и с жаром, упоминая часто Резаното (Резанов) Николай Сандреич (Николай Александрович) *, и брался несколько раз за саблю. Таким образом сказал он предлинную речь. Из всей речи побледневший Алексей пересказал нам только следующее: «Начальник говорит, что если хоть одного из нас он выпустит из крепости, то ему самому брюхо разрежут». Ответ был короток и ясен: мы в ту же секунду бросились бежать из крепости, а японцы с чрезвычайным криком вскочили с своих мест, но напасть на нас не смели, а бросали нам под ноги весла и поленья, чтоб мы упали. Когда же мы вбежали в ворота, они выпалили по нас из нескольких ружей, но никого не убили и не ранили, хотя пули просвистали подле самой головы Хлебникова. Между тем японцы успели схватить Мура, матроса Макарова и Алексея в самой крепости, а мы, выскочив из ворот, побежали к шлюпке.

Тут с ужасом увидел я, что во время наших разговоров в крепости, продолжавшихся почти три часа, морской отлив оставил шлюпку совсем на суше, саженях в пяти от воды, а японцы, приметив, что мы стащить ее на воду не в силах, и высмотрев прежде, что в ней нет никакого оружия, сделались смелы и, выскочив с большими обнаженными саблями, которыми они действуют, держа в обеих руках, с ружьями и копьями, окружили нас у шлюпки...

В крепости ввели нас в ту же палатку, поставили на колени и начали вязать веревками в палец толщины, самым ужасным образом, а потом еще таким же образом связали тоненькими веревочками, гораздо мучительнее... Кругом груди и около шеи вздеты были петли, локти почти сходились, и кисти рук связаны были вместе; от них шла длинная веревка, за конец которой держал человек таким образом, что при малейшем покушении бежать, если б он дернул веревку, руки в локтях стали бы ломаться с ужасной болью, а петля около шеи совершенно бы ее затянула...

Я во всю мою жизнь не презирал столько смерть, как в этом случае, и желал от чистого сердца, чтобы они поскорее совершили над нами убийство... Наконец, они, сняв у нас с ног веревки, быв-

---

* Так звали лейтенанта Хвостова (*примеч. Головнина*).

шие под икрами, и ослабив те, которые были выше колен, для шагу, повели нас из крепости в поле и потом в лес.

Поднявшись на высокое место, увидели мы наш шлюп под парусами. Вид сей поразил мое сердце; но, когда Хлебников, шедший за мною, сказал мне: «Василий Михайлович! Взгляните в последний раз на «Диану», яд разлился по всем моим жилам. «Боже мой, — думал я, — что значат эти слова? Взгляните в последний раз на Россию; взгляните в последний раз на Европу! Так. Мы теперь люди другого света. Не мы умерли, но для нас все умерло».

Великодушные поступки Мура и Хлебникова при сем случае еще более терзали дух мой: они не только не упрекали меня в моей неосторожной доверенности к японцам, ввергнувшей их в погибель, но даже старались успокаивать меня и защищать, когда некоторые из матросов начинали роптать, приписывая гибель свою моей оплошности. Я признаюсь, что за упреки тех матросов ни теперь, ни тогда не имел против их ни малейшего неудовольствия: они были совершенно правы».

3

Ладно, матросы были правы по-своему. Но вправе ли историки на правоту «по-своему»?

Японские авторы единодушны: Хвостов с Давыдовым — пираты. Русские авторы единодушны: захват Головнина — вероломство.

Попытка встать «поверх барьеров» всегда рискованна. Не знаю, каково досталось Димитрию Позднееву, но он заглянул по обе стороны «баррикад»[13].

Позднеев выгораживает Хвостова и Давыдова: экипажи «Юноны» и «Авось» нанесли ущерб лишь военным объектам. Ядра и пули историк наделяет качеством историков: избирательностью. Однако Позднеев объясняет и акцию на острове Кунашир. Экспедиция Хвостова, говорит он, взбудоражила японцев, заставила «изучать своего врага».

Япония и Россия почти не знали друг друга. Интерес возник отнюдь не академический. Японские власти шлют сведущих чиновников на порубежные острова; поручают выбирать из голландских книг известия о России; осуществляют некоторые административные и военные меры. И выходит, что пленение русского офицера было не столько местью, сколько захватом важного информатора: японцы взяли «языка»...

Проводив Головнина к японскому начальнику, лейтенант Рикорд, старший офицер шлюпа, хлопотал в ожидании ответного визита вежливости. Усилия Петра Ивановича прервали выстрелы и крики. Потом наступила тишина. Ворота крепости наглухо затворились. Берег обезлюдел.

Страшные подозрения охватили Рикорда. Но Петр Иванович, подобно Головнину, прошел долгую боевую выучку — он начал действовать без промедления. Шлюп снялся с якоря и приблизил-

ся к берегу. Рикорд надеялся устрашить японцев; устрашив, завязать переговоры.

Японцы если и напугались, то не стали ждать парламентера, а дали слово береговой батарее. «Диана» подавила ее на стосемидесятом залпе. Однако, выиграв артиллерийскую дуэль, Рикорд, в сущности, ничего не выиграл: неприятель укрывался за крепостными валами.

Команда «Дианы» готова была броситься десантом. Рикорд мгновенно прикинул: пять десятков моряков и... Сколь их там, на этом Черном острове? Пусть десант и одержит победу, но что будет с опустевшей «Дианой»? Не сумеет ли недруг пустить корабль ко дну?

«С горестными чувствами, — признается Рикорд, — оставили мы залив Измены, по справедливости названный сим именем офицерами шлюпа «Диана», и пошли прямейшим трактом к Охотскому порту».

Плавание выдалось спокойное, но «душевное уныние и скорбь» тенью скользили по кораблю. Несчастье — реактив: оно явственно определяет человеческие отношения. Головнин был, как говорится, застегнут на все пуговицы. Его внешняя холодность устанавливала «дистанцию». Теперь его сдержанность никого не сдерживала, субординация не стопорила движения души. Можно уважать не любя. Можно, пожалуй, и любить не уважая. И любви и уважения удостаивался не каждый командир. Головнин удостоился.

Горше всех печалился Рикорд. Василий Михайлович был ему как побратим. Заметы Рикорда, впоследствии опубликованные, трогательно-минорны.

«Я жил в каюте, которую 5 лет занимал друг мой Головнин и в которой вещи оставались в том же порядке, как были положены им самим в самый день его отъезда на злополучный берег; все сие напоминало весьма живо о недавнем его присутствии. Офицеры, входившие ко мне с докладом, часто по привычке ошибались, называя меня именем-отчеством Головнина, и при сих ошибках возобновляли скорбь, извлекавшую у них и у меня слезы. Какое мучение терзало душу мою! Давно ли, думал я, разговаривал я с ним о представлявшейся возможности восстановить доброе с японцами согласие, которое было нарушено безрассудным поступком одного дерзкого человека, и в чаянии такого успеха мы вместе радовались и душевно торжествовали, что сделаемся полезными своему отечеству. Но какой жестокий оборот последовал вместо сего?.. Такие размышления доводили меня до отчаяния во всю дорогу»[14].

Начальником порта служил в Охотске капитан 2-го ранга Миницкий. Рикорд с ним обнялся: однокорытники, гардемарины, волонтеры. Выслушав Петра Ивановича, Миницкий поник. Умри Головнин в океане... Ну что ж, старый моряк сэр Гемфри Джилберт, дыша на ладан, молвил: «В море мы так же близки к небесам, как и на земле». Но попасть в лапы лютых ненавистников христиан? Худшего не придумаешь!

Рикорд с Миницким мужали на палубах. Палубы не место для

плакс. Рикорд с Миницким не хотели, как говорят на флоте, отопить реи, то есть наклонить их в знак траура. Головнин оставался в строю. Как корабль, гибель которого недостоверна.

Офицеры изготовили рапорты морскому министру и генерал-губернатору Сибири: доложив о происшествии, ходатайствовали о снаряжении поисковой экспедиции. Рапорты отправили с нарочным.

Ну, что еще? Сиди у моря и жди погоды? Но бумага, не секрет, зачастую ложится под сукно. К тому же Петром Ивановичем вдруг овладело беспокойство. Черт подери, не заключат ли там, под шпилем Адмиралтейства, что старший офицер «Дианы» оплошал и, мягко выражаясь, несколько преждевременно ретировался из залива Измены?

Рикорд оседлал коня.

Моряк верховой что кавалерист марсовой — не орел. А осенняя дороженька на Иркутск скатертью стелилась лишь варнакам, беглым каторжникам. В тогдашнем «Реестре генеральных трактов, пролегающих от Москвы до границ Российской Империи», она и не значилась. «Генеральные» и те были костоломками, чего ж сулила дорога без верстовых столбов?

«Я должен признаться, — жалуется Рикорд, — что сия сухопутная кампания была для меня самая труднейшая из всех совершенных мною: вертикальная тряска верховой езды для моряка, привыкшего носиться по плавным морским волнам, мучительнее всего на свете! Имея в виду поспешность, я иногда отваживался проезжать две большие в сутки станции, по 45 верст каждая; но тогда уже не оставалось во мне ни одного сустава без величайшего расслабления; самые даже челюсти отказывались исполнять свою должность».

Но вот наконец Иркутск. И что же? Лейтенанту отказали в подорожной: Санкт-Петербург не принимал Рикорда, царь повелел ему убираться в Охотск, морской министр «не удостоил разрешением содействовать» вызволению пленных.

Недосуг было «вышнему» начальству: надвигался вал Бонапартова нашествия. Какие еще там пленные?! Какие еще там японцы?! Ах, господа, господа, ну куда же вы сами-то смотрели? Нет-с, милостивые государи, теперь уж как хотите, как хотите... Словом, Петербург умыл руки. Хлопотать об освобождении верных подданных поручили сравнительно мелкой сошке — иркутскому гражданскому губернатору Трескину[15].

Для Рикорда губернатор был «посторонней властью». Как! Офицеру встать под начало берегового гражданского чиновника? Петр Иванович досадовал. Но именно «посторонняя власть», именно Трескин обнаружил к Головнину сердечное расположение, и Рикорд смирился.

Трескин хорошо понимал, что умолчание о спасательных мерах равно отказу от них. Но Трескин не хуже того понимал, что умолчание можно истолковать по-своему. Рикорд лукавил: надо, дескать, завершить опись южных Курил. Трескин смекнул: лейте-

нант рвется на Кунашир, в залив Измены, чтобы вступить в переговоры с японцами. Губернатор не перечил. Он вдобавок снабдил Рикорда письмом к японскому начальству. Понятно, послание губернатора не обладало весом министерского (не говоря уж царского), однако было официальным документом.

Живя у хлебосольного Трескина, Петр Иванович познакомился с «природным японцем Леонзаймо». Человек этот впоследствии досадил Рикорду. Правду сказать, Леонзаймо не стоит побивать каменьями. Ему-то ведь тоже досадили. И очень! Он был схвачен на острове Итуруп матросами хвостовской «Юноны», точно так же как японские солдаты схватили на Кунашире Головнина. Из сибирского плена Леонзаймо пытался бежать. Намерение опять-таки не злодейское. Его поймали, он едва выжил, затаился.

А наш-то Петр Иванович, ничтоже сумняшеся, возложил на пленника радужные надежды: и переводчиком-то он будет (Леонзаймо выучился русскому), и ходатаем за Головнина, и советчиком, и... И бог весть еще кем. Столь приятные упования баюкали Рикорда на обратном пути в Охотск, сливаясь с плавно-увалистым бегом зимней кибитки.

В Миницком Рикорд не обманулся: порт неустроен был и беден, но Михайла Иванович исхитрился снарядить «Диану» по первому разряду. Больше того, пополнил экипаж за счет местного гарнизона. И еще больше: отдал под команду Рикорда бриг «Зотик».

Тщательные приготовления завершились принятием на борт «Дианы» еще шестерых (кроме Леонзаймо) японцев-рыбаков, потерпевших крушение близ Камчатки. Рикорд ликовал: в Японии томятся семеро русских, в России нашлось семеро японцев. Баш на баш. Душа на душу — чем не размен пленными!..

В тот июльский день, когда «Диана» и «Зотик» выбрали якоря, Багратион начал отход к Смоленску. В тот августовский день, когда моряки увидели дым курильского вулкана, запылал Смоленск. А в тот день, когда «Диана» уже стояла в заливе Измены, грянул Бородинский бой.

Рикорд хранил письмо иркутского губернатора к начальнику острова Кунашир. Леонзаймо обязался перевести письмо на японский. У берегов Курил текст был изготовлен. Его размеры, к удивлению Рикорда, значительно превышали записку Трескина. Петр Иванович почувствовал, что в заливе Измены опять запахло изменой.

Правда, он не торопился оставлять Кунашир. Ведь на борту шлюпа находились шестеро японских рыбаков. Одного из них Рикорд послал на берег уверить в мирных целях «Дианы». Рыбак вернулся через несколько дней. Результат был горьким: кунаширское начальство не желало разговаривать с русскими.

Да и с японским гонцом обошлись на острове неласково. Не позволили ни отдохнуть, ни ночевать в селении, сторонились, как прокаженного, изъяснялись сквозь зубы. Дело-то в том, что согласно законам каждый японец, общавшийся с чужеземцами, не

считался благонадежным: иностранец — загодя инакомыслящий; подданный — загодя предатель; общение первого со вторым — подозрительно и предосудительно.

Наконец Рикорд, как ни опасался потерять единственного переводчика, решил послать в крепость Леонзаймо. Его сопровождал один из японцев-рыбаков, спасенных русскими близ Камчатки.

Парламентерам вручили три записки.

Первая гласила: «Капитан Головнин с прочими находятся на Кунашире».

Вторая гласила: «Капитан Головнин с прочими отвезены в город Матсмай, Эдо».

Третья гласила: «Капитан Головнин с прочими убиты».

Леонзаймо и рыбак уехали.

На «Диане» ждали ответа, страшась и надеясь.

Минул день. Другой минул. Еще один.

И ответ: капитан Головнин и прочие убиты.

4

Ровно за год до ужасного известия, полученного Рикордом в августе 1812 года, Головнина и других доставили с Кунашира на остров Хоккайдо.

У связанных пленников глаза не завязывали. Пленники видели селения и население. Японцы сбегались толпами. Еще бы! Вон они, эти неведомые северные варвары! Быть может, те, что разбойничали несколько лет назад?

Нет народа, признающего жестокость своей национальной чертой. Ею одаривают иноплеменников. Россказни о чужаках — кадило, раздуваемое с умыслом: ожесточая сердце, они размягчают мозг. «Азиатская злобность» — категория европейской выделки.

«Лютыми ненавистниками христиан» называл японцев Рикорд. «Вероломным народом» назвал японцев Головнин. (Правда, добавил, что назвал «в сердцах».) И вот он, его офицеры и матросы, вот они среди этих «лютых» и «вероломных».

Цитирую Головнина:

«Жители со всего селения собрались на берег смотреть нас; из числа их один, видом почтенный старик, просил позволения у наших конвойных попотчевать нас завтраком и саке, на что они и согласились. Старик во все время стоял подле наших лодок и смотрел, чтоб нас хорошо кормили. Выражение его лица показывало, что он жалел нас непритворно».

«Хозяин дома, молодой человек, сам нас потчевал обедом и саке. Он приготовил для нас постели и просил, чтоб нам позволили у него ночевать, так как мы сильно устали».

«При входе и выходе из каждого селения мы окружены были обоего пола и всякого возраста людьми, которые стекались из любопытства видеть нас. Но ни один человек не сделал нам ни-

какой обиды или насмешки, а все вообще смотрели на нас с соболезнованием и даже с видом непритворной жалости, особливо женщины; когда мы спрашивали пить, они наперерыв друг перед другом старались нам услужить. Многие просили позволения у наших конвойных чем-нибудь нас попотчевать, и коль скоро получали согласие, то приносили саке, конфет, плодов или другого чего-нибудь; начальники же неоднократно присылали нам хорошего чаю и сахара».

В записках Василия Михайловича Головнина не раз помянуты конвойные солдаты. Солдатчина не располагает к нежностям, караульная служба — к сердобольности. А между тем пленные моряки «Дианы» пользовались благорасположением своих бдительных стражей. Никогда ни один конвойный не мешал встречным мирволить русским. Японскому крестьянину были они теми же «несчастными», какими были нашему деревенскому жителю колодники Владимирки или Сибирского тракта.

Стражникам, полагаю, приказали доставить пленников так, чтоб и волос не пропал. Но навряд ли велели на каждом привале спрашивать, не голодны ль путники, навряд велели отгонять комаров да мух, обмывать вечерами натруженные ноги, как Христос обмывал Петру.

Арестованный еще не арестант. Арестантом делаешься, выслушав приговор. В отличие от арестанта арестованный всегда в приливах-отливах надежд и отчаяния. Головнин и его моряки не исключение. Переход с Кунашира до Хакодате был и переходом от одного душевного состояния к другому, полярному: то мерещилось скорое освобождение, то мерещилось бессрочное заточение. В Хакодате — на европейских картах: Мацмай — надежда оставила Головнина: сырая, узкая, темная клетка, какой-то звериный лаз.

«Долго я лежал, можно сказать, почти в беспамятстве, пока не обратил на себя моего внимания стоявший у окна человек, который делал мне знаки, чтобы я подошел к нему. Когда я исполнил его желание, он подал мне сквозь решетку два небольших сладких пирожка и показал знаками, чтобы я съел их поскорее, объясняя, что если другие это увидят, то ему будет дурно. Мне тогда всякая пища была противна, но, чтоб не огорчить его, я с некоторым усилием проглотил пирожки. Тогда он меня оставил с веселым видом, обещая, что и впредь будет приносить. Я благодарил его, как мог, удивляясь, что человек, по наружности бывший из последнего класса в обществе, имел столько добродушия, чтобы утешить несчастного иностранца, подвергая себя опасности быть наказанным».

Одиночеством русских недолго мытарили. Офицерам-пленным предложили выбрать соседом любого пленного матроса. И вот что примечательно: не ради самих офицеров, а ради «нижних чинов». Почему? Японцы объяснили: пусть старшие примером своим бодрят подчиненных.

В Хакодате начались допросы. Вел их чиновник, пожалованный (предположительно) Головниным в градоначальники. Переводил некто по имени Вехара Кумаджеро. Допросы длились часами. Пленников мутило от бесконечных повторов, от никчемностей, на которые следовало отвечать подробно, медленно, ничего не упуская.

Между тем пустячность вопросов была кажущейся. В самой дотошности крылся двойной расчет. Выше говорилось, что японцы располагали скудными сведениями о северной державе, опасную близость которой недавно ярко и яростно демонстрировали Хвостов с Давыдовым. Голландские источники не утолили жажды знания. Библиографический словарь указывает лишь несколько голландских сочинений о России, переведенных в ту пору на японский. Сочинения были слишком поверхностными, слишком общими, а информация японцев, ненароком занесенных к русским берегам, отрывочной 16—17.

Как тут не «потрошить» крупную птицу — капитана российского военного корабля? И офицеры тоже добыча. Да и матросы не грудные младенцы.

Другая сторона дела была в том, что хвостово-давыдовское нападение требовало и дознания и наказания. Головнин очень скоро с ужасом убедился, что моряков «Дианы» считают прямыми сообщниками моряков «Юноны» и «Авось», а гидрографические занятия в районе Курил равняют с разведывательными, шпионскими.

Головнин не только отмежевывался от Хвостова и Давыдова, но и отмежевывал этих лейтенантов от коронного флота, повторяя, что те состояли на частной, купеческой службе.

Однако у японцев была бумага, подписанная «Российского флота лейтенантом Хвостовым». Документ этот командир «Юноны» выдал старшине одного сахалинского селения как свидетельство принятия под скипетр русского государя. Разве частное лицо, рассуждали японцы, дерзнуло бы на такой поступок? И разве «частное лицо», на него дерзнувшее, не носило, по свидетельству очевидцев, таких нашивок на мундире, как и капитан «Дианы»?

Головнина спросили, сколькими кораблями располагают русские в Петропавловске. Василий Михайлович почему-то бухнул: «Семью кораблями». Ответ — «волею слепого случая» — прозвучал весьма некстати. Носился слух, что в точности семь кораблей намерены россияне послать к берегам Японии.

Камергеру Резанову совсем недавно было указано на дверь: убирайтесь, знать вас не желаем, никакой дипломатии! Ответ японского правительства не мог остаться тайной для русского правительства, даже если посол и помер на полдороге к Петербургу. Зачем же в таком случае посылали «Диану»? Ах вот оно что: шлюп покинул Кронштадт еще до того, как были получены известия от Резанова? Но ведь капитан Крузенштерн, как говорит сам господин Ховарин (так японцы произносили фамилию Василия Михайловича), успел к тому времени вернуться из кругосветного плава-

ния... Почему «Ховарин» посетил остров Кунашир? Нуждался в провизии и топливе? Понятно. Но кто ж ему позволил действовать без разрешения? Он оставил деньги на видном месте, расплатился сполна? А по закону должно погибнуть с голоду, не смея тронуть ни одного зернышка пшена без согласия хозяина. «Пусть всяк теперь, — пишет Головнин, — поставит себя на нашем месте и вообразит, в каком мы долженствовали быть положении... Все убеждало японцев, что мы их обманываем».

26 сентября 1811 года пленники сложили пожитки. Русских отправляли в «губернский» город Мацмай*. Пятьдесят тюремных дней, а теперь снова в путь.

Как странник я одет, готов к пути,
А путь в волнах безбрежных исчезает...
Когда вернусь?
Не знаю ничего,
Как белые те облака не знают...**

Возвращение, бегство, воля — мечта, мысль, общие всем пленникам. Отныне они владеют Головниным. И не только им. Но пока ни малейшей возможности ускользнуть.

Мацмай — многолюдный город, гораздо многолюднее Хакодате. Толпу удерживают протянутые веревки. Пленников ведут гуськом. День солнечный, ясный. В такие дни скрип тюремных ворот как скрип дыбы.

Пленников заперли в клетках. Маленький клочок далекого неба казался цветной бумажкой. Пахло свежим деревом, строительный мусор еще не убрали. Острог был новенький. Отсюда не выйдешь до гробовой доски.

И опять допросы, допросы. Допрашивал губернатор. Аррао Тадзимано Кано держался серьезно и просто. Он как бы мельком осведомился, где русские хотели бы обосноваться — здесь ли, в Мацмае или в Эдо?[18].

«У нас только два желания, — отвечали мы, — первое состоит в том, чтобы возвратиться в свое отечество, а если это невозможно, то желаем умереть; более же мы ни о чем не хотим просить японцев».

Воцарилась тишина. Потом губернатор заговорил. Речь его была длинной. Алексей Максимович, переводчик, курилец, не умел полностью изложить сказанное. Смысл, однако, передал: японцы такие же люди, как и все другие, у японцев тоже есть сердце, они не могут допустить, чтобы пленники умерли, пленники не должны унывать, дело рассмотрят; если правда, что Хвостов действовал самолично, а не по приказу русского правительства, капитан Ховарин со своими людьми уедет в Россию.

Впоследствии Василий Михайлович не раз подчеркивал, что мацмайский правитель не кривил душой. Он доказывал «высшим

---

* Город Фукуяма на крайнем юго-западе острова Хоккайдо, у входа в Сунгарский пролив со строны Японского моря.

** Неизвестный автор. Пер. с яп. А. Е. Глускиной.

сферам» невиновность моряков «Дианы». Но из Эдо отвечали одно: допрашивайте!

Сегун послал к пленникам Мамию Ринзоо. Сын бондаря, почти ровесник Головнина, он был из тех, о ком англичане говорят: «Этот сделал самого себя», то есть всего достиг своим умом, своей энергией. Ринзоо, даровитый математик и деловитый лесовод, много странствовал, у японцев именно он считался открывателем островного положения Сахалина. Во второй половине своей жизни Мамия Ринзоо променял астролябию и секстант на весьма почетную во всякой полицейской державе должность «сыщика центрального правительства». Шпионские обязанности отправлял он с блеском. Кто поручится, не было ли мацмайское посещение первым опытом?

Если и было, то не очень-то успешным. Головнин не стал миссионером от науки. Сидеть в тюрьме и обучать тюремщиков то языку, то навигации не имел он никакого желания. Мамия Ринзоо гневался. Характерец у него был не бархатный, но и у капитана Ховарина не восковой. Нашла коса на камень. И все же, как свидетельствует Василий Михайлович, «не всегда мы с ним спорили и ссорились, а иногда разговаривали дружески... Он утверждал, что японцы имеют основательную причину подозревать русских в дурных против них намерениях и что голландцы, сообщившие им о разных замыслах европейских дворов, не ошибаются».

Русский двор тогда еще не вынашивал антияпонских проектов. Ближе к истине оказался переводчик Теске. Этот ударял прямо по шляпке гвоздя: голландцы сознательно чернят русских вообще, Головнина в частности, ибо боятся коммерческого соперничества России.

Ринзоо не принимал никаких доводов желторотого юнца. Однако с отказом Головнина давать какие-либо научные консультации он вынужден был смириться. Благо выручил Мур: мичман охотно занимался с «японским землемером».

Моряки «Дианы» все с большей тревогой приглядывались к мичману Муру. В его настроении и поведении происходила странная и опасная перемена.

Федор Мур, воспитанник Морского корпуса, не дрогнув, разделил с товарищами и грозные битвы близ мыса Горн, и «задержание» на мысе Доброй Надежды, и безумный, дерзкий прыжок из-под пушек британской эскадры, и полуголодное существование в долгие дни плавания Индийским океаном. Натура у него была артистическая (мим и рисовальщик), нрав покладистый, веселый. На корабле его любили. Любили поначалу и в японской неволе. Но вот дунули весенние ветры, из «сфер» Эдо не доносилось ни звука, и Мур заметно увял. А когда доброжелательный переводчик Теске секретно шепнул пленникам, что их вопрос «в столице идет не особенно хорошо», он и вовсе поник.

«Мы часто говорили между собой, — пишет Василий Михайлович, — что и писатель романов едва ли мог бы прибрать и соединить столько приключений, несчастных для своих лиц, сколько в

самом деле над нами совершается; почему иногда шутили над Муром, который был моложе нас, а притом человек видный, статный и красивый собою, советуя ему постараться вскружить голову какой-нибудь знатной японке, чтобы посредством ее помощи уйти нам из Японии и ее склонить бежать с собою. Тогда наши приключения были бы совершенно уже романические; теперь же недостает только женских ролей».

Увы, не у знатной японки, а у самого мичмана, кажется, кружилась голова. Похоже было, что готовится другая роль в романической пьесе — роль отступника. И тут уж было не до шуточек.

Весною Василий Михайлович и его друзья твердо решились бежать. Не оставалось иной надежды получить «освобождение от японцев». Решение это, очевидно, подогревалось и вешним солнцем. Весною арестантскую душу пронизывает особенная, почти неодолимая тяга к свободе.

Стремление узников избавиться от решеток и запоров «реалисты»-караульщики понимают. И принимают не бесясь. Тюремные побеги при всей изобретательности беглецов однообразны. Они двух типов: вольные помогают заключенным, вольные не помогают заключенным. Понятно, второе сложнее: тут больше шансов на провал, чем на успех. У Головнина связь с «волей» не устанавливалась. Японское население сострадало «несчастным», но, конечно, не склонно было бы содействовать побегу.

Беглецы не на японцев рассчитывали, а на японские рыбачьи баркасы. Немало баркасов и шхун стояло на приколе у берега. А губернатор Мацмая простер свое благоволение до того, что дозволил пленникам (разумеется, под стражей) дальние прогулки. Уходить днем и, как говорится, «на рывок» было безумием. Однако осмотреться во время прогулок можно было бы и нужно. Бежать следовало ночью, из тюрьмы. Захватить суденышко, выскочить в море — поминай как звали... Гибель возможна? Да, очень возможна. Но, рассуждал капитан «Дианы», «гораздо лучше погибнуть в море, на той стихии, которой мы посвятили всю жизнь свою и где ежегодно погибает множество наших собратий, нежели вечно томиться в неволе и умереть в тюрьме».

План от своих не скрывали, обсуждая подробности, частности, и матросы были ровней офицерам в этих обсуждениях. Колебались, открыться ль айну-толмачу? Наконец и Алексея Максимовича пригласили участвовать в опасном предприятии. Курилец побелел. Собравшись с духом, ответил достойно:

— Я такой же русский, как и вы. У нас один бог, один государь. Худо ли, хорошо ли, но куда вы, туда и я. В море ли утонуть, или японцы убьют нас, вместе все хорошо. Спасибо, что вы меня не оставляете, а берете с собою.

Вот так сказал «дикий» островитянин. А мичман Мур отпраздновал труса. Нет, он не двинется с места, он и пальцем не шевельнет.

Отказ отказу рознь. Тяжелораненые остаются в расположении

врага, не желая быть в тягость своим. Мур не только оставался в расположении, но и в распоряжении врага. Во всяком случае, близко к тому. Он выказывал японцам подчеркнутую почтительность, граничащую с заискиванием. Напротив, с товарищами был раздражителен, подчас не просто груб, а вызывающе груб.

Головнин порывался взять с мичмана рыцарскую клятву хранить молчание о замыслах соотечественников. Матросы по своей мужицкой простоте воспротивились: их благородие наобещает с три короба, да после, глядишь, продаст, как Иуда. Василий Михайлович уступил. Не на шканцах, не перед строем — не то положение: «...невозможно повелевать, а должно уговаривать, соглашать и уважать мнение каждого». Стакнулись вот на чем: таиться от Мура, внушать ему — мы, мол, одумались, угомонились.

К досаде Головнина и штурмана Хлебникова, к негодованию матросов, мичман с каждым днем «прогрессировал». Он уже не только приветствовал японцев японским поклоном, но и перенял у японцев японскую подозрительность. Отступник стал соглядатаем. Правда, еще не извещал губернатора о побеге, но подбивал на донос курильца Алексея. И однажды признался ему, что намерен вступить в японскую службу переводчиком да и зажить припеваючи.

Готовить побег при «внутреннем» наблюдении все равно что готовить уху из кролика. Однако все помыслы пленников съединились на одном. В таком душевном накале перегрызешь и кандалы. А весна, нежная, акварельная весна, разгоралась, и горожане уже созерцали цветущие вишни.

Ах, вишни цвели не так, как в Гулынках! И небо голубело не так, как на Рязанщине. И мелодии речек были не те, что у Истьи, заливающей правобережные луга.

О, с какой тоской
Птица пленная следит
Бабочек полет*.

У человека, готовящегося к побегу, и без очков четыре глаза. Зорких, настороженных, соколиных. У него сноровистые руки, руки умельца. Его одежда и его тело внезапно приспосабливаются прятать почти любую ношу.

На прогулке нашли огниво. У солдат выкрали кремень. Из клочка рубахи сделали трут. Под мышками и на пояснице привязали мешочки с пшеном. В мураве тюремного двора обнаружили долото, под крыльцом — заступ. Пазы острога были обиты тонкой медью, клочок меди неприметно отодрали. Стальные иглы, медяшка да несколько листков бумаги, склеенной рисовым отваром, — и штурман Хлебников Андрей Ильич смастерил компас в бумажном футлярчике.

Матросы усомнились в твердости курильца. Уж больно часто Алексей шушукался с Муром! Не ровен час склонился на сторону

---

* Исса. Пер. с яп. В. Н. Марковой.

их благородия. Так иль не так, но уж коли гнетет сомнение... Не к теще на блины... Тут уж либо пан, либо пропал. Головнин с Хлебниковым приняли совет матросов и сказали Алексею, что отложили бегство до лета. Дурной поступок? Очень может быть.

В апреле, 23-го, они изготовились к побегу. А в России-то, дома-то, праздновали день великомученика Георгия Победоносца. И разносилось в церквах на утрене: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Помнили, нет ли Головнин с братией про святого Егория, но уж чего-чего, а разоблачения сокровенного страсть как не хотели.

«Вечером матросы наши взяли на кухне, скрытым образом, два ножа, а за полчаса до полуночи двое из них (Симонов и Шкаев) выползли на двор и спрятались под крыльцо, и, коль скоро пробила полночь и патруль обошел двор, они начали рыть прокоп под стену. Тогда и мы все (кроме Мура и Алексея) вышли один за другим и пролезли за наружную стену. При сем случае я, упираясь в землю ногой, скользнул и ударился коленом в небольшой кол, воткнутый в самом отверстии; удар был жестокий, но в ту же минуту я перестал чувствовать боль. Мы вышли на весьма узенькую тропинку между стеною и оврагом, так что с великим трудом могли добраться по ней до дороги, потом пошли скорым шагом...»

Блаженное мгновение, ни с чем не сравнимое: вдруг не ощущаешь конвоира, его дыхания, его сопения, его воли, пусть спокойной, пусть мирной, но всегда давящей. Ты еще не спасен, вот-вот обрыв, ты весь напряжение, но кровь уж ликует.

Поначалу все союзничает с беглецом: лесная чаща и бездорожье, крутизна речных берегов, не схваченная мостами, топкие луговины, не оставляющие следов... Но постепенно одолевает усталость. И тогда проступает молчаливая враждебность природы. Лесные коряги сбивают с ног, топь охватывает щиколотки, реки, как назло, попадаются небродливые. Все чрезмерно, все чересчур — и тепло и холод.

Годы спустя Василий Михайлович начал описание побега следующим замечанием: «Надобно знать, что весь обширный остров Мацмай покрыт кряжами высочайших гор». Современный комментатор его одернул: «Головнин неверно представлял себе рельеф Мацмая (Хоккайдо). Горы Хоккайдо невысоки (высшая точка — гора Асахи в центре острова, 2290 метров над уровнем моря), особенно по сравнению с хорошо известными Головнину горами Камчатки (Ключевская сопка— 4870 метров над уровнем моря)». Точность комментатора формальная, математическая. Точность Головнина психологическая. Горы камчатские озирал он по своей охоте, в горах японских за ним охотились. Кряжи Мацмая вставали страшным барьером на пути к свободе, к воле, к открытому морю. И потому это «высочайшие горы». Вот так и тайга: кому мать, а кому мачеха.

Головнин не объясняет, отчего беглецы взяли прямиком на север, через кряжи, а не бросились к ближнему берегу, к баркасам. Очевидно, этот вариант был забракован из-за осведомленности

Мура. Не полагаясь на немоту мичмана, беглецы рассчитывали направить погоню по ложному курсу.

Головнинский побег, головнинский плен примечательны сплоченностью, чувством локтя, артельностью, товариществом. Головнин не фальшивит, употребляя в своих записках: «товарищ наш», «мои товарищи».

На корабле цепенила строгая иерархия, плен равнял офицера с матросом. Больше того, давал матросу известную самостоятельность. Черт подери, можно было свести счеты! Когда тонул капитан Круз, его шмякнули веслом. Когда капитан Головнин не мог идти (мучило разбитое колено), матросы тащили капитана на себе.

Он совсем выбился из сил, «именем бога» просил бросить его. «Однако ж они просьбы моей не уважили, а говорили, что пока я жив, то не оставят меня».

Беглецы шли ночью. Днем прятались в бамбуковых зарослях, в ущельях, за валунами. И старались поспать, обогреться, поесть. Лишь старались! Сон не в сон на снегу: в горах еще лежал снег. Как обогреться, если дым костра привлечет погоню? Подкрепишься ли заплесневелым пшеном, черемшою, конским щавелем?

Хуже других доставалось Василию Михайловичу. Болела уже не нога — боль точила, грызла, вонзалась во все тело, во все кости. Он ковылял, ухватившись за кушак матроса.

«Отчаянное наше положение заставляло нас забывать все опасности или, лучше сказать, пренебрегать ими. Я только желал, чтоб, в случае если упаду, удар был решительный, дабы не мучиться нисколько от боли». И такой решительный, роковой удар едва-едва не сгубил Головнина. Был он не на волос от смерти, а на... руку. «Мне уже нельзя было держаться за кушак Макарова, иначе он не мог бы с такой тяжестью взлезть на вершину, и потому я, поставив пальцы здоровой ноги на небольшой камень, высунувшийся из утеса, а правую руку перекинув через молодое дерево, подле самой вершины его бывшее, которое так наклонилось, что было почти в горизонтальном положении, стал дожидаться, пока Макаров взлезет наверх и будет в состоянии мне пособить подняться; но, тащив меня за собою, Макаров, хотя, впрочем, весьма сильный, так устал, что лишь поднялся вверх, как в ту же минуту упал и протянулся как мертвый. В это самое время камень, на котором я стоял, отвалился от утеса и полетел вниз, а я повис на одной руке, не быв в состоянии ни на что опереться ногами, ибо в этом месте утес был весьма гладок. Недалеко от меня были все наши матросы, но от чрезмерной усталости они не могли мне подать никакой помощи. Макаров лежал почти без чувств, а Хлебников поднимался в другом месте. Пробыв в таком мучительном положении несколько минут, я начал чувствовать чрезмерную боль в руке, на которой висел, и хотел было уже опуститься в бывшую подо мною пропасть в глубину сажен с лишком на сто, чтоб в одну секунду кончилось мое мучение, но Макаров пришед в чувство

и увидев мое положение, употребил всю свою силу и вытащил меня наверх».

Быть может, теперь в горах на юго-западе полуострова Осима бродит прилежный рисовальщик, шепча изречение художника-титана Катсусика Хокусаи: «Ничто в природе не должно быть оставлено без внимания». Быть может, теперь, возвращаясь с тех хребтов, школьники-туристы вспоминают древнего поэта, его прощание с горами: «Неужели скроетесь навеки?» Да, быть может. И Головнину там, на вершинах, выдалась высокая минута. «Я никогда прежде не замечал, чтобы звезды так ярко блистали». Но... «Но это величественное зрелище мгновенно в мыслях моих исчезло. Мне представился вдруг весь ужас нашего состояния».

После мучительного странствия кому не отрадны запах очага, людские голоса, топот лошади, свет фонаря, лай собак? У беглецов к меду радости всегда примешан деготь страха.

Вот они, спускаясь с гор, видят дорогу, избитую копытами, придорожные поленницы, ямы с древесным углем, хижины видят и кобылку на выгоне. Где-то перебрехиваются деревенские псы, такие же Шарики да Жучки, как дома.

Несколько ночей кряду тенью скользят беглецы близ моря. В раскатах и плеске голос воли. Какая-то шхуна становится на якорь. А потом тишина. Удивительная тишина, наступающая с окончанием корабельных работ.

Несколько ночей кряду тенью, крадучись беглецы проникают в селения. Вдруг задрожавшими руками ощупывают они большие, тяжелые, грубые баркасы, пахнущие водорослями. Моряки знают, что суденышки японских рыбарей всегда снабжены харчами и пресной водой.

Несколько ночей кряду пытаются они завладеть баркасом. Им никто не мешает. Им мешает бессилье. Тщетно! Они не могут сдвинуть с места эти просмоленные суда. Нет сил. Море рядом. Оно плещет, зовет, оно совсем рядом. Нет сил. Все тщетно.

Как затравленные, прячась невдалеке от селений, беглецы «составляют новый план». Два десятка миль — и островок Ко-дзима. Там ни души, там бамбуковые заросли, там можно соорудить шалашик, развести костер, отдохнуть. И перебраться туда не велик труд, ибо малых шлюпок на берегу что песку морского. Да, да, да! Уйти на необитаемый островок Ко-дзима. Отдохнуть. А потом — прости господи прегрешения наши — отбить у того, кто зазевается, баркас, взять на плаву, как приз берут. А не сподобит господь, тогда уж, была не была, пуститься в поход хоть на малых шлюпках.

И в ту минуту, когда беглецы ободрились новым планом, в ту самую минуту штурман Хлебников заметил на холме женщину. Она подавала кому-то знаки: «Скорее! Скорее! Сюда! Сюда!»

Вот и настал черед «женской роли», которой не хватало романтической пьесе. О женщины Японии, прелестные, как Осама на цветной гравюре Утамаро, одна из вас сыграла эту роль.

Добро бы еще односельчан звала, так нет — вороньем слетелись солдаты: ружья, сабли, стрелы. И офицер загарцевал. Четверых пленили мгновенно. (Головнин со Шкаевым шарахнулись в сторону.) Сбежались крестьяне. Кричали, будто конокрадов настигли. Головнин и Шкаев, притаив дыхание, жердины сжали: у одного с ножом, у другого с долотом.

Штурмана и матросов повели в деревню. Двух оставшихся принялись искать. Головнин поднял рогатину. Бородатый, изможденный, ждал японцев. Губы у Шкаева задрожали. Убьешь японца, шепнул он Василию Михайловичу, японец убьет наших; отдайся ты им, скажи, что убегли по твоему приказу, страшась, что за ослушание накажут в России, сделай ты милость, убьет японец наших... Никак Головнин не пояснил потом, что думал, что пережил. Да и к чему? Зачем? Когда корабль гибнет, командир последним покидает палубу. Когда экипаж судят, командир отвечает первым... Головнин бросил рогатину, вышел из кустарника.

Российская практика ловли беглецов проста и зла — изловили, пеняй, братец, на себя. Мордой, хребтом, боками прими нещадные побои. Выместят караульные и досаду за хлопоты, отплатят за гнев начальства и еще нечто выместят, самим непонятное, как в пьяной драке.

А шестерых, пальцем не тронув, накормили[19]. Крестьяне, примолкнув, смотрели на них «с выражением жалости»; руки связали им «слабо», повели бережно, поддерживая, как больных. Правда, без отдыха вели, пешком, лошадей не дали. И была в этом шествии трагикомическая торжественность. Впереди огни раскладывали, солома схватилась жарко, светло взрывая темную майскую ночь. Церемониальное шествие! Можно было подумать, усмехается Головнин, что сопровождали тело знатного усопшего.

В Мацмай вступали совсем уж парадно. Разве что без музыки. Принарядившиеся солдаты тихохонько шли, как за катафалком. Верховой офицер надел «богатое шелковое платье» и «посматривал на народ, стоявший по обеим сторонам дороги, как гордый победитель, заслуживающий неизреченную благодарность своих соотечественников».

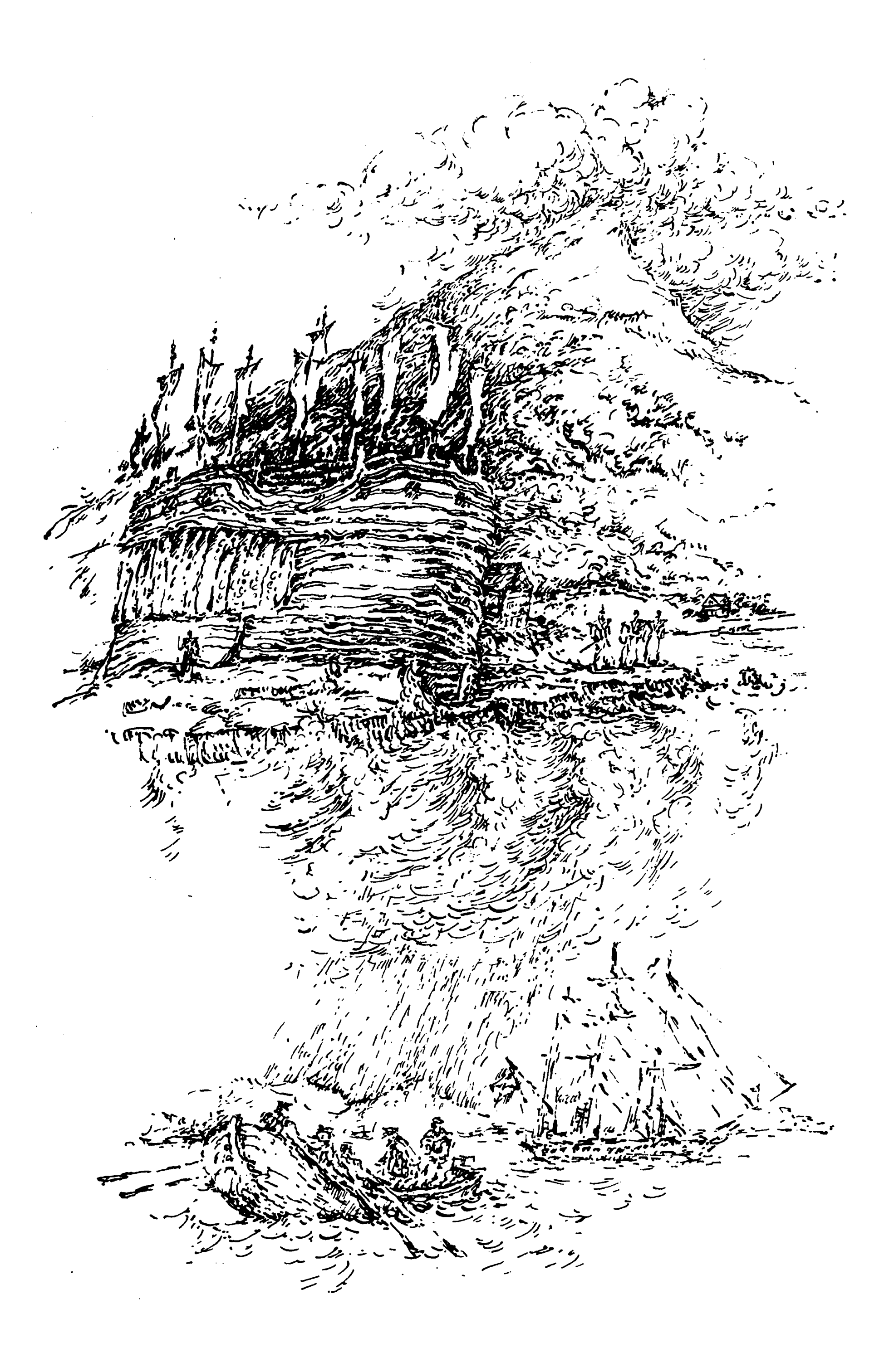
Может, солдаты берегли пленников для «губернского» возмездия? Кто-кто, а господин губернатор должен был гневаться. Уж он ли не потакал русским, уж он ли не выгораживал русских перед вельможами Эдо! Головнин, Хлебников, матросы ожидали жестокого наказания.

И что же?

«Когда все чиновники собрались и сели по своим местам, вышел и губернатор. На лице его не было ни малейшей перемены против прежнего: он так же казался весел, как и прежде, и не показывал никакого знака негодования за наш проступок».

И тогда же в канцелярии прозвучал следующий диалог:

Головнин: «Поступку нашему один я виною. Я принудил других уйти. Приказаний моих они опасались ослушаться. Посему прошу товарищам моим не делать зла, а лишить жизни меня».



Губернатор: «Если японцам нужно будет убить капитана Хоккарина, он будет убит и без его просьб. А если нет, то не будет убит, сколько б о том ни просил... Итак, зачем вы ушли?»

Головнин: «Мы не видели ни малейших признаков к нашему освобождению. Напротив, все показывало, что японцы нас не отпустят».

Губернатор: «Я никогда не упоминал о намерении нашем держать вас здесь вечно. Кто сказал вам это?»

Головнин: «Теске».

(Ответ непростительный. Бедный переводчик Теске, капитан «Дианы» выдал тебя с головою. Как! Теске доверительно сообщил, что дела пленников худо оборачиваются в Эдо, а Василий Михайлович, не сморгнув, открыл карты. Одно ему извинение, да и то слабое: волнуясь, проговорился. День-другой спустя он и его друзья всячески обеляли Теске, а также солдат, проворонивших уход их из тюрьмы. Но сейчас имя переводчика было произнесено. Губернатор, чиновники воззрились на Теске. Тот что-то мямлил, заикаясь и бледнея. Побледнеешь! Потом начальник Мацмая опять занялся русскими.)

Губернатор: «С какой целью вы ушли?»

Головнин: «Чтобы возвратиться в отечество».

Губернатор: «Какими средствами?»

Головнин: «Завладеть лодкой».

Губернатор: «Вы не подумали, что тотчас будут высланы караулы ко всем судам?»

Головнин: «Мы догадывались об этом. Но со временем караулы могли ослабеть, мы исполнили б свое намерение там, где нас не ожидали».

Губернатор: «Вас привели в Мацмай с Кунашира, вы совершали прогулки. Следовательно, для вас не было секретом, что остров покрыт высокими горами, а в горах далеко не уйдешь. По берегам же сплошь людные селения. Поступок ваш не походит ли на безрассудство? Или на ребячество?»

Головнин: «Пусть так. Однако ж мы шли неделю, никто нас не заметил. Поступок наш был отчаянный, он может казаться ребяческим или безрассудным. Вам, японцам, может казаться. Мы так не думаем. Наше положение нас извиняло: возвратиться в Россию или умереть в лесах, в море».

Губернатор: «Но зачем же ходить столь далеко? Вы и здесь могли лишить себя жизни».

Головнин: «Здесь была бы верная смерть да притом от собственных рук. А так мы могли бы с помощью божьей достичь отечества».

Губернатор: «Ну хорошо. В России что вы сказали бы о японцах?»

Головнин: «Все, что видели и слышали. Не прибавляя и не убавляя».

Губернатор: «А Мур? Вы вернулись бы без него. Что сказал бы ваш государь? Похвалил бы вас за то, что оставили товарища?»

Головнин: «Правда, если б Мур был болен и не мог нам сопутствовать, тогда поступок наш можно было назвать бесчеловечным. Но он добровольно пожелал остаться в Японии».

Губернатор: «Знали ли вы, что, если б вам удалось уйти, я и многие другие чиновники лишились бы жизни?»

Головнин: «Караульные, как в Европе, должны были б пострадать. Но мы не думали, что ваши законы столь жестоки».

Губернатор: «Есть ли в Европе закон, разрешающий бегство?»

Головнин: «Писаного закона нет, но, не дав честного слова, уходить позволительно».

Губернатор: «Если бы вы были японцами и ушли из-под караула, последствия для вас были б дурные. Но вы, иностранцы, не знаете наших законов. И ушли вы без намерения сделать вред японцам. Цель ваша была единственно достигнуть своего отечества. Отечество всякий человек должен любить более всего на свете. И потому я доброго мнения о вас не переменил. Впрочем, не знаю, как поступок ваш расценит правительство. Но обещаю стараться в вашу пользу. Так точно, как и прежде».

Старался ли? Это, вероятно, знают японские архивисты. Все же можно предположить, что губернатор не лгал. Головнин отмечает: он не боялся говорить правду высшему правительству. К тому же правитель Мацмая не принадлежал к рьяным поборникам «закрытых дверей». Политика эта вызывала у него саркастическую улыбку: «Солнце, луна и звезды, творение рук божьих, в течении своем непостоянны и подвержены переменам, а японцы хотят, чтобы их законы, составленные слабыми смертными, были вечны и непременны; такое желание есть желание смешное, безрассудное».

Губернатор радел русским пленникам, но один из них радел японцам. Мур ходил гоголем: он-де упреждал, что ничего путного не выйдет. Мичман, однако, не довольствовался злой радостью. Он шел кривой дорожкой. Позор свой Мур сознавал. Сознавая, испытывал тот надрыв, который поэт определил «упоением в позоре». На допросах он постоянно сбивал, путал Головнина, всячески ластясь к японцам. Больше того: нанес пленным чувствительный удар.

У Головнина еще на Кунашире отобрали карманную записную книжку. Записные книжки всегда вызывают повышенный интерес следствия. А в этой, головнинской, по какому-то пустячному поводу значились Хвостов и Давыдов. И Мур ткнул следователей в ненавистные имена: «Видите, вот они, приятели нашего капитана».

Как всякому изменнику, Муру не терпелось официально зачислиться на службу. Новые хозяева не торопились, ибо предавший раз, предаст не однажды. Проволочки бесили Мура. Он изыскивал доказательства своей верности. Сказавший «аз» говорит «буки», сказавший «буки» говорит «веди»...

Василий Михайлович и бровью не шевельнул бы, достигни Мур положения «первого вельможи Японии». Другое страшило капитана «Дианы»: а ну-ка сума переметная, стоя на задних лапках, вы-

клянчит разрешение воротиться в Европу? Мур, размышлял Головнин, «очернит и предаст вечному бесславию имена наши, когда никто и ни в какое время не найдется для опровержения его. Такая ужасная мысль доводила меня почти до отчаяния».

В конце июня 1812 года губернатор Мацмая получил повышение. Явился преемник. Сановники занялись административными делами. Один сдавал, другой принимал. Принял и пленников. Не будучи угрюм-бурчеевым, удостоверил: поскольку русские бежали ради возвращения на родину, не имея намерения вредить японцам, то он, не чиня им наказания, постарается, как и его предшественники, хлопотать о законном освобождении, а пока просит набраться терпения.

С пленников сняли веревки. Этим не ограничились. «Пищу нам стали давать гораздо лучше, нежели какую мы получали... Каждый день велено было давать нам по чайной чашке саке... Дали трубки, табачные кошельки и весьма хороший табак. Чай у нас был беспрестанно на очаге; сверх того дали нам гребенки, полотенцы и даже пологи от комаров, которых здесь было несметное множество... Дали чернильницу и бумаги. Пользуясь этим, вздумали мы сбирать японские слова, записывая их русскими буквами[20].

Сверх того вздумал я записать на лоскутках бумаги все случившиеся с нами происшествия. Писал я полусловами и знаками, мешая русские, английские и французские слова, так чтобы, кроме меня, никто не мог бы прочитать моих записок».

Сносное положение, не так ли? Но тюрьма остается тюрьмой, даже если стены бархатные, а замки золотые. Не жили пленники — изживали день за днем, неделю за неделей[21]. И не проникали к ним вести с земли. Они не знали ни о Наполеоновом нашествии, ни об отступлении русской армии, ни о том, что 6 сентября 1812 года, когда их вызвали в губернаторский замок, был канун Бородинской битвы.

Не гул полков, занимавших места согласно диспозиции, донесся к ним в резиденцию губернатора, а словно бы веселый раскат весеннего грома: письма Рикорда!

Первое письмо он адресовал кунаширскому начальнику, второе — Головнину.

В первом уведомлял, что привез семерых японцев, потерпевших крушение близ Камчатки, что русский император души не чает в императоре японском, что ему, Рикорду, хотелось бы либо забрать своих сослуживцев, либо по крайности узнать, где они и как они.

Второе письмо извещало Головнина, что старый однокашник, принявший командование «Дианой», со страхом и надеждой ждет сообщения об участи пленных, что, если японцы не позволят отвечать, пусть Василий Михайлович добьется, чтобы это письмо вернули ему, Рикорду, а он, Головнин, надорвет бумагу на слове «жив».

Головнин схватился за перо. Губернатор его остановил: без распоряжения из столицы нельзя.

5

В тот же день, 6 сентября 1812 года, Петр Иванович Рикорд занес в дневник: «Увидев в море, против залива, милях в шести, штилюющее японское судно и со вчерашнего числа решившись неприятельски действовать против японцев, я послал лейтенанта Рудакова и штурмана Среднего на вооруженных баркасах и катере овладеть без пролития крови японским судном».

Что за притча?

Мы оставили Рикорда с двумя кораблями — шлюпом «Дианой» и бригом «Зотик» — у берегов острова Кунашир, в заливе Измены. Японец Леонзаймо, привезенный вместе с шестью рыбаками, был послан на сушу с теми самыми письмами, которые неделю спустя прочел в Мацмае Василий Михайлович. Но Рикорд ответа не удостоился. Он повторил запрос о судьбе товарищей и получил записку, где значилось: «Капитан Головнин с прочими убиты».

Зачем же кунаширский начальник сокрушил Рикорда заведомой ложью? Оказывается (и это японское свидетельство), то была провокация. Кунаширский начальник ждал нападения русских, дабы отплатить за Хвостова и Давыдова, а своим показать, что японцы могут встречать неприятеля как патриоты и воины. Островной гарнизон разделял мнение островного вождя. Все поклялись умереть, но не дрогнуть, как дрогнули несколько лет назад под стремительными натисками «Юноны» и «Авось».

Известие об убийстве друга и его товарищей воспламенило Рикорда. Петр Иванович разъярился. Да так бурно, как могут гневаться лишь очень добрые и терпеливые люди.

Все же ярость не ослепила теперешнего капитана «Дианы», и японцы, доставленные из Охотска, не украсили реи трехмачтового шлюпа. Они, пишет Рикорд, «пришли ко мне в каюту и на коленях изъявляли свою признательность за то, что мы, невзирая на злодейское умерщвление наших соотечественников в Японии, отпускаем их на свободу и даем снабжение провизией». И далее: «Оказав должное благодеяние невинным японцам, стали готовиться с великим жаром поражать врагов-японцев, которые пролили невинную кровь наших пленных. Люди, знающие плотничью работу, оканчивали лафеты; другие, в устроенной для сего кузнице, сварили железо и оковывали им лафеты. Прочие шили картузы, исправляли свои орудия, точили тесаки — словом, никто не был празден, всякий готовился по действительным своим чувствам мстить злодеям».

В шестой день сентября Рикорд заметил «штилюющее японское судно». Увидел, атаковал, захватил. Японцы-матросы сиганули за борт. Трофей был копеечный. Да ведь лиха беда начало. Рикорд не остыл. Он намеревался обрушить на кунаширскую крепость каленые ядра, потом высадить десант.

Еще несколько часов, и кровь бы пролилась. Но тут в заливе Измены показалось японское торговое судно. Оно было захвачено. Приз взял штурман «Дианы», полный тезка Головнина Василий

Михайлович Средний. О, это уж был не давешний копеечный трофей! Небо ниспослало Такатая-Кахи!

Происшествия тех месяцев изложены Рикордом в книге и в интимном дневнике. Книгу напечатали «по высочайшему повелению», посвящена она «всепресветлейшему, державнейшему, великому» Александру Первому.

Цензор ли, статский советник и кавалер Яценко, «засушил» книгу, сам ли автор — не столь уж и важно. Дневник Петра Ивановича куда живее, непосредственнее, красочнее. Весело цитировать дневник, а не тиснение петербургской морской типографии.

Итак, японский «торгаш» был схвачен. Судовладелец и судоводитель Такатай-Кахи переступил комингс каюты, где жил некогда капитан Головнин, а теперь встречал пленника капитан Рикорд.

«Я взял его за руку, посадил подле себя на стул и сделал несколько приуготовительных вопросов по-японски. Он отвечал тихо, поясняя слова жестами. Я выразумел, что он из Нипонского города Осаки, для торгу ходит на судах, как штурман, в Итуруп и разные гавани в Матсмае, что когда наши люди, озлившиеся, как звери, с диким криком сделали из ружей выстрел, матросы его, испугавшись, предались отчаянию и начали бросаться за борт, и шестеро потонули. Потом, продолжал он, матросы ваши, войдя на мое судно, всех начали вязать, не исключая и меня; но, когда я объявил о себе, что я начальник судна, они меня оставили на воле. Я старался ему объяснить, для чего мы пришли в Кунашир. Японец вдруг сказал: «Капитан Муро в городе Матсмае» — и потом пальцами показал, что всех русских там находится шесть человек... Какой быстрый был переход из отчаянного в радостное положение! Провидение, послав нам японское судно, уничтожило отчаянное, безрассудное мое предприятие (нападение на Кунашир. — *Ю. Д.*), но душевные мои мучения не уменьшились; новая борьба взволновала мои чувства: я был виновником смерти шестерых японцев! Не имея способу свободно объяснить почтенному японскому начальнику судна о причинах, принудивших меня вооруженною рукой вступить на его судно, я опасался самых бедственных последствий для наших воскресших друзей».

Рикорд торопился на зимовку в Петропавловск.

Он и Кахи жили в одной каюте. Рикорд старался выведать у Кахи об участи Головнина. Кахи, вздыхая, отвечал грустно: «Я не знаю». Наконец Рикорд смекнул, что дело-то, должно быть, в произношении фамилии. И принялся «изворачивать» ее так и эдак, пока не произнес: «Споварин» — Кахи всплеснул руками: «Ховарин?! Да-да, Ховарин! Я слышал, что и он в Мацмае. Он серьезен, а Мур весел. Он не любит курить табак, а Мур любит курить трубку. Ховарин очень высокий»*...

---

* Головнин причислял себя к людям среднего роста, но японцам он казался «великаном». «Матросы же наши, — замечает Василий Михайлович, — и в гвардии его императорского величества были бы из первых. Итак, какими исполинами они должны были казаться японцам!»

...В начале октября 1812 года Рикорд отдал якорь в Петропавловской гавани. На сопках уже лежал снег.

Рикорда заботило здоровье южанина. Он оберегал Кахи от простуды, от печного угара, чуть не от сглазу. Вечерние беседы «распространяли в японском языке» Петра Ивановича.

Такатай-Кахи был, говоря нынешним языком, решительным сторонником мирного сосуществования. Он полагал, что торговля и мореплавание — занятия более достойные, нежели пальба из пушек и бряцание саблями. Словом, купец-мореход высказывал те простые и здравые мысли, которые трудно осуществить именно потому, что они просты и здравы.

Наступило рождество. Рикорд писал пространный рапорт морскому министру. Изложив ход минувшей экспедиции в Японию, Петр Иванович воздал должное своему благородному и почтенному пленнику. Рикорд заверял министра, что Такатай-Кахи послужит к прекращению распри. Он, Кахи, пользуется уважением в Эдо. Ему поверят, что «производивший в японских заселениях разные грабительства лейт. Хвостов был не что иное как флибустьер».

Все это Рикорд старательно разобъяснял маркизу де Траверсе с единственной целью — исходатайствовать высочайшее разрешение на повторную экспедицию в японские воды. Такое плавание, твердил Рикорд, необходимо не только ради Головнина, но и для оправдания русского флага, обесславленного в глазах японцев поступками Хвостова и Давыдова.

В заключение Рикорд покорнейше просил его высокопревосходительство удовлетворить давний рапорт Василия Михайловича Головнина о награждении за мужество «нижних чинов» шлюпа.

Между тем Петербург уготовил Рикорду новую должность, по прежним штатам генеральскую, — моряка назначили сухопутным начальником Камчатской области. Честолюбие было польщено. Но кодекс чести оказался под угрозой: освобождение Головнина почитал он святой обязанностью, как друг и помощник.

Петр Иванович, должно быть, успел связаться если и не со столицей, то с Иркутском, ему позволили «доверить временное управление Камчаткой» офицеру «Дианы» Рудакову. Таким образом, лейтенант временно занял генеральское кресло, а Петр Иванович, тоже временно, капитанскую каюту.

23 мая 1813 года он пустился в путь.

18 июня 1813 года он появился в заливе Измены.

Теперь Рикорду предстояло либо убедиться в «японской искренности», либо получить доказательство «японского вероломства». Выхода не было: должно было отправить Кахи на кунаширский берег. Почти год они прожили душа в душу. Теперь все зависело от Такатая-Кахи.

Он не обманул. В официальном печатном отчете Рикорд иначе его не величает, как «нашим почтенным японцем», «нашим добрым Такатаем-Кахи», «нашим усердным другом», «нашим малорослым великим другом».

Кахи курсировал между шлюпом и крепостью с регулярностью почтового судна. «Каждый его приезд, — говорит Петр Иванович, — почитаем был нами днем праздника». Самый большой праздник выдался 20 июля, когда торжествующий Кахи появился с листком бумаги и кто-то из моряков, заглянув через плечо японца, радостно закричал: «Рука Василия Михайловича!»

Не письмо — краткая записочка:

> «Мы все, как офицеры, так матросы и
> курилец Алексей, живы и находимся
> в Матсмае. Мая 10 дня 1813 года.
>
> Василий Головнин».

Драгоценный клочок бумаги переходил от одного к другому. Матросы, признав почерк Головнина, благодарили Такатая-Кахи. «Почтенный японец» сиял. Для полного ликования не хватало чарки. Рикорд сделал знак, понятный всякому. И каждый, пишет он, «осушил по целой чарке водки за здоровье тех друзей, которых в прошлом лете мы почитали убитыми, и все готовы были на тех берегах окончить и свою жизнь».

Конечно, предложение отправить письмецо обрадовало Василия Михайловича. Однако пребывание в мацмайской тюрьме не осветилось зоревым светом. Хлебников долго и опасно хворал. Еще хуже обстояло дело с Муром.

Признак освобождения был мичману призраком возмездия. Он видел себя в кандалах, каторжником. Японцы по-прежнему не принимали его домогательств о зачислении «в службу». Наконец сказали, что не могут доверять иностранцу. Мур был сражен. Казалось, ум его помрачился. Он заговаривался, бредил, не принимал пищи, покушался на самоубийство, сутками молчал и сутками не умолкал. Было ли то сумасшествие, или то была хитрость? Решать не берусь. Что до Головнина, то он сомневался в намерении Мура наложить на себя руки.

Сообщение о «Диане» прилетело к губернатору Мацмая с быстротой почти телеграфной. Рикорд говорил: почта Кунашир — Мацмай требовала трех недель. Головнин говорил: о «Диане» узнали на Мацмае два дня спустя по приходе шлюпа в залив Измены. Ошибка памяти? Но зачем же оба автора, публикуя рукописи, не сверили даты? Впрочем, суть не в подобных разночтениях.

О записке Головнина к Рикорду «усердный Кахи» не хлопотал: его еще не было на родине. Но вот следующее предложение сделали Головнину, очевидно, не без настояний «почтенного японца»: Василию Михайловичу позволили послать любого матроса для свидания с соотечественниками. Японцы осторожничали — именно матроса, а не офицера, считавшегося более ценной добычей. Да и кому из офицеров было ехать? Хлебников хворал. Мура не выбрал бы Василий Михайлович, опасаясь подвохов. Его ж самого не пустили бы ни при какой погоде.

На какого ни укажи — другие обидятся. Ведь вот же, господи,

фарт выдался: своих увидеть! И Головнин велел бросить жребий. Счастливый билет достался Дмитрию Симонову.

«Здесь я, — говорит Рикорд, — не могу не описать трогательной сцены, которая происходила при встрече наших матросов с появившимся между ими из японского плена товарищем. В это время часть нашей команды у речки наливала бочки водою. Наш пленный матрос все шел вместе с Такатаем-Кахи, но, когда он стал сближаться с усмотревшими его на другой стороне речки русскими, между коими, вероятно, начал распознавать своих прежних товарищей, он сделал к самой речке три больших шага, как надобно воображать, давлением сердечной пружины... Тогда все наши матросы, на противной стороне речки стоявшие, нарушили черту нейтралитета и бросились через речку вброд обнимать своего товарища по-христиански. Бывший при работе на берегу офицер меня уведомил, что долго не могли узнать нашего пленного матроса: так много он в своем здоровье переменился! Подле самой уже речки все воскликнули: «Симонов!» (так его звали), он, скинув шляпу, кланялся, оставаясь безмолвным, и приветствовал своих товарищей крупными слезами, катившимися из больших его глаз».

В каюте Рикорда матрос скинул куртку, распорол воротник, извлек тонкий лист бумаги, свернутый жгутом.

— Вот вам письмо от Василия Михайловича. Мне удалось скрыть его от хитрых японцев. Тут про наши страдания и советы, как вам поступать.

Рикорд несколько раз прочитал все подряд, от волнения ничего не понял. «Немного успокоившись, я все прочитал и обрадовался, усмотрев, что несчастные питаются некоторою надеждою о возвращении в свое отечество».

«Про страдания», как сказал матрос Симонов, Василий Михайлович вовсе не упоминал. А советовал следующее: быть крайне бдительными при переговорах с японцами (съезжаться на шлюпках, да так, чтобы с берега ядрами не достали); не сетовать на медлительность японцев (у них и свои мелкие дела волочатся месяцами); соблюдать учтивость и твердость (от благоразумия зависит не только свобода пленников, но и благо России); обо всем важном расспросить посланного матроса.

Заканчивал Головнин так:

«Обстоятельства не позволили посланного обременить бумагами, и потому мне самому писать на имя министра нельзя; но знайте, где честь государя и польза отечества требуют, там я жизнь свою в копейку не ставлю, а потому и вы в таком случае меня не должны щадить: умереть все равно, теперь или лет через 10 или 20 после... Прошу тебя, любезный друг, написать за меня к моим братьям и друзьям; может быть, мне еще определила судьба с ними видеться, а может быть, нет; скажи им, чтобы в сем последнем случае они не печалились и не жалели обо мне и что я им желаю здоровья и счастья... Товарищам нашим, гг. офицерам, мое усерднейшее почтение, а команде — поклон; я очень много чувствую и благодарю всех вас за великие труды, которые вы принимае-

те для нашего освобождения. Прощай, любезный друг Петр Иванович, и вы все, любезные друзья; может быть, это последнее мое к вам письмо, будьте здоровы, покойны и счастливы, преданный вам Василий Головнин»[22].

Приняв писаные наставления, Рикорд приступил к расспросам о неписаных. Тут стало ясно, как жеребьевка подвела Головнина: Симонов был добрым малым, но ума-то недальнего. Бедняга позабыл все «разведданные». Как ни бился Петр Иванович, матрос талдычил свое: в письме, мол, прописано. И вдруг залился слезами.

— В тюрьме шестеро наших. Если не скоро вернусь, как бы японцы не причинили им еще горшей беды.

В тот же вечер Симонов оставил корабль. Он возвращался в застенок. А «Диана» возвращалась в Россию, в Охотск, за бумагами, которые требовало японское правительство.

6

Простак Симонов не умел удовлетворить и любопытства Головнина. А любопытство было особенного свойства.

Ни один парламентарий, ни один дипломат так не алчет политических новостей, как заключенный «непростого звания». И никто так не увязывает свою судьбу с течением политических дел, как опять-таки «непростой» заключенный.

Симонова встретил Головнин будто «выходца из царства живых». Василий Михайлович голодал не только из-за отсутствия частных, прямо до него относящихся известий, но и общих — о России. Ведь связь с внешним миром пресеклась не в годы затишья, не в историческом захолустье, а в годы катаклизмов. К тому же со слов голландских корабельщиков японцы передавали, что Москва взята французами и сожжена москвичами.

«Мы, — признается Головнин, — смеялись над таким известием и уверяли японцев, что этого быть не может. Нас не честолюбие заставляло так говорить, а действительно от чистого сердца мы полагали, что такое событие невозможно».

«Смеялись»... «Невозможно»... Но, смеясь и не веря, сознавали, что дом в огне, что дома происходит нечто необычайное. И вот является «из царства живых» вестник. Вообразите, как его ждут и чего от него ждут!

Уже много позже, при мирных свечах, за бюро сидя, Головнин незлобиво усмехнулся: «Симонов был один из тех людей, которых политические и военные происшествия во всю их жизнь не дерзали беспокоить». А тогда, в тюрьме? Ох-хо-хо, досталось, верно, Симонову попреков!

Какой бы восторг сотряс Головнина, если бы он услышал в своей мацмайской темнице, что Россия воюет уже далеко от России, что она в союзе с Пруссией, Австрией, Англией, что злая звезда Наполеона неудержимо меркнет. (Впрочем, будь Симонов и семи пядей во лбу, он бы не поведал о событиях лета и осени 1813 года: и на шлюпе, прибывшем из Петропавловска, ничего про них не ведали.)

А если кого и порадовал Симонов, так это своих же братцев матросов Михайлу Шкаева, Спиридона Макарова, Григория Васильева: десять раз пересказывал подробности своего отпуска на родном корабле, чем и «доставил великое удовольствие».

Второе пришествие Рикорда, усилия Такатая-Кахи, официальные заверения в дружбе, некоторые, хоть и смутные, слухи о победах русского оружия — все это решительно отозвалось на положении семерых арестантов. «Кажется, — пишет Головнин, — японцы перестали нас считать пленниками, а принимали за гостей».

Они зажили в светлых, чистых покоях, едали на «прекрасной лакированной посуде», им прислуживали «с великим почтением». Губернатор объявил, что уполномочен отпустить русских, если «Диана» привезет в Хакодате удовлетворительные ответы на «особые пункты».

Утром 30 августа 1813 года шестеро русских и айн Алексей Максимович «церемониально, при стечении множества народа» покинули город Мацмай. 2 сентября 1813 года шестеро русских и айн Алексей Максимович вошли «при великом стечении жителей» в город Хакодате.

«Здесь стали содержать нас, — повествует Головнин, — так же хорошо; кроме обыкновенного кушанья, давали нам и десерт, состоявший из яблок, груш или конфет, не после стола, а за час до обеда, ибо таково обыкновение японцев».

Итак, вроде бы амнистировали. И они испытывали то переменчивое, нервическое, нетерпеливое состояние, какое испытывают амнистированные после указа об амнистии и до выхода за тюремные ворота. Все давно опостылело, а теперь и вовсе было несносно. Время и прежде ползло черепахой, а теперь и вовсе замерло. Тоска и прежде грызла, а теперь и вовсе поедом ела.

Громко прозвучал сигнал
В гавани на корабле.
Громко прозвучал сигнал,
С моря он летит к земле*.

Вот этого они теперь ждали денно и нощно. Ждали, ждали... Но громкого сигнала не доносилось из гавани. И не летел трехмачтовый шлюп к Хоккайдо.

Три недели шел Рикорд из Охотска до Хоккайдо. Еще бы часов шесть-семь ходу, и «Диана» укрылась бы в безопасном заливе. Этих часов-то и не хватило. Штормовой ветер налился ураганной силой, лавировать было бессмысленно и опасно, спасти могло лишь открытое море. И желанный остров Хоккайдо пропал из виду.

Рикорд понурился: пора равноденственных бурь. Значит, улепетывать в Петропавловск? Значит, изживать еще месяцы и

---

* Китахара Хакусю. Земля и море. Пер. с яп. В. Н. Марковой.

месяцы, зная, как ждут тебя в Хакодате? Но может быть, спуститься к Гавайям, зимовать в раю, а с апрельскими ветрами вновь достичь Хоккайдо?

Офицеры поддержали Петра Ивановича. Но курс на Гавайи означал курс на уменьшение ежедневной порции питьевой воды. На каких весах взвесишь, что легче, жажда иль голод? Но и матросы поддержали Рикорда: много терпели, еще потерпим, лишь бы скорее вызволить наших.

И все ж Рикорд медлил. Он медлил на авось. Чем черт не шутит, глядишь, и утихнет... А бури гремели двенадцать дней, двенадцать дней спорила с бурями команда. И переспорила. Как-то в одночасье все стихло, потянули спокойные переменные ветры. Редкостное и радостное исключение из сурового, жесткого правила.

На морях, как и в жизни, за светлое платят черным. Расплатились и на «Диане»: умер матрос, один из тех, кто давным-давно покинул Кронштадт. Его хоронили как православного: пели «Святый боже»; его хоронили как моряка: зашили в парусину, к ногам привязали ядро; его хоронили как близкого: плакали матросы, плакали офицеры, плакал Рикорд. «Не многие могут понять, — записал Петр Иванович, — каким чувством дружбы связуется на одном корабле маленькое общество, отлученное на столь долгое время от друзей и родственников».

Милость ветров сродни королевской: она не отличается постоянством, ею надо уметь пользоваться. «Диана» лавировала в прибрежных водах. Японцы прислали лоцмана. Прислали и шлюпки с пресной водою, рыбой, зеленью. От платы японцы отказывались. Потом с одной из шлюпок (она несла белый флаг, на ней горели фонари, дело было вечером) окликнули Рикорда. Петр Иванович узнал голос Такатая-Кахи. Кахи на днях отряс с ног острожный прах; его продержали под стражей, исследуя, не заразился ли купец иностранщиной. А сейчас «благородный и усердный» Такатай-Кахи поднимался на борт «Дианы».

В обширном Хакодатском заливе шлюп окружило множество казенных гребных судов: их пригнала не любезность и не любознательность, а указание портового начальства — для караула.

Два с лишним года назад на острове Кунашир связанный по рукам и ногам штурман Андрей Ильич Хлебников указал своему командиру, тоже связанному по рукам и ногам, на залив Измены, на мачты и паруса «Дианы»: «Взгляните в последний раз...» Два с лишним года спустя, прильнув к окнам, штурман, капитан-лейтенант, матросы глядели неотрывно, как лавирует «Диана».

Из Мацмая без опозданий и проволочек, свойственных сановникам, приехал губернатор. Едва шлюп убрал паруса и отдал якорь, губернатору вручили документы, выправленные в России. Эти документы не отягощал ни царский, ни министерский сургуч. Их «скрепляли» подпись начальника Охотского порта Миницкого, подпись Трескина, иркутского губернатора.

Переговоры, как начались, так и завершились на «губернаторском уровне».

Японцы поздравили Головнина. Казалось, беда, по слову поэта, «исчезла, утопая в сиянье голубого дня». Но в «голубом дне» бродила мрачная тень мичмана Мура.

Он рад был бы служить; японцы не приняли его в службу. Ему не тошно было бы и прислуживаться; японцы не приняли и в прислужники. В России мичмана ждал военный суд. Может, и не скорый, но правый. С появлением «Дианы» Мур судорожно потщился сорвать переговоры. Навета лучшего не выдумал, как опорочить бумаги, доставленные Рикордом: они-де полны угроз и непристойностей, они оскорбительны для губернатора и всей Японии. Ему не вняли. Он обреченно умолк[23].

И вот день, пятый день октября 1813 года, навсегда запечатлевшийся в душе и Головнина и Рикорда, — день свидания. Оба тождественны в своих записках, предоставляя читателю понять, что они тогда испытывали. И оба запомнили, что разговор долго не попадал в ровную колею, хотя никто не торопил друзей и никто не прислушивался к их голосам.

Но, повествуя о столь примечательном и волнующем событии, Головнин не утрачивает чувство юмора. Василий Михайлович иронизирует над самим собою: офицерская треуголка покоилась на волосах, обстриженных в «кружок, по-малороссийски», сабля болталась на шелковых шароварах японского образца. «Жаль только, — шутит Головнин, — что в Хакодате, когда нам объявили о намерении японцев нас отпустить, я выбрил свою бороду и тем причинил немаловажный недостаток в теперешнем моем наряде».

Рикорд тоже не без юмора описывает пререкания с Такатаем-Кахи, верховным церемониймейстером всех его дипломатических сношений с японцами. «Проблема сапог» оказалась главной. Местом берегового рандеву с Головниным назначили таможню; в казенном помещении Петру Ивановичу нужно было разуться и шествовать в одних чулках. Мундир, сабля, шляпа. И без сапог? Курам на смех! Мудрый Кахи сыскал лазейку. Пусть-ка Петр Иванович обует башмаки, а уж он, Кахи, уломает чиновников: дескать, башмаки все равно что чулки. На том и согласились. А другой просьбе своего наставника Рикорд и вовсе не перечил — отказался от пушечного салюта. Японцы не могли взять в толк, зачем почести оказывать стрельбой из пушек, назначение которых убивать и разрушать? Недоумение японцев было резонным. Во всяком случае, Рикорд резон усмотрел[24].

На другой день состоялась прощальная аудиенция. Губернатор поднял над головой плотный лист бумаги, испещренной иероглифами, торжественно объявил:

— Это повеление правительства.

Документ возвещал, что отныне и навсегда поступки лейтенанта Хвостова признаются «своеволием», а не действиями, согласованными с Петербургом, а посему и прекращается пленение капитана «Дианы».

Затем была прочитана другая бумага. Уже не правительственная, а губернаторская. Теске тут же перевел ее. Она гласила:

«С третьего года вы находились в пограничном японском месте и в чужом климате, но теперь благополучно возвращаетесь; это мне очень приятно. Вы, г. Головнин, как старший из своих товарищей, имели более заботы, чем и достигли своего радостного предмета, что мне также весьма приятно. Вы законы земли нашей несколько познали, кои запрещают торговлю с иностранцами и повелевают чужие суда удалять от берегов наших пальбою, и потому, по возвращении в ваше отечество, о сем постановлении нашем объявите. В нашей земле желали бы сделать всевозможные учтивости, но, не зная обыкновений ваших, могли бы сделать совсем противное, ибо в каждой земле есть свои обыкновения, много между собою разнящиеся, но прямо добрые дела везде таковыми считаются; о чем также у себя объявите. Желаю вам благополучного пути».

И приближенные правители Мацмая тоже поднесли Василию Михайловичу нечто вроде грамоты. В ней между прочим было сказано: «Время отбытия вашего уже пришло, но, по долговременному вашему здесь пребыванию, мы к вам привыкли и расставаться нам с вами жалко. Берегите себя в пути, о чем и мы молим бога».

А потом подарки. Словно бы при нынешнем обмене делегациями. Японцы — русским: ящики с лакированной посудой, мешки с пшеном, бочонки саке, свежую и соленую рыбу. Русские — японцам: атлас Крузенштерна и Лаперуза, портреты Кутузова и Багратиона (принятые с особенной благодарностью).

Два года, два месяца и двадцать шесть дней минуло с того часа, когда Василий Михайлович в последний раз спустился по трапу своего корабля. 7 октября 1813 года он поднялся на палубу «Дианы». Он был встречен не просто офицерами, не просто матросами, нет, «братьями и искренними друзьями».

В тот же день — день радостных слез и бурного ликования — на «Диану» хлынули солдаты и рыбаки, горожане и крестьяне, молодые и старые, женщины и дети. «Мы, — пишет Головнин, — не хотели отказать им в удовольствии видеть наши редкости, которые для них были крайне любопытны, а особливо украшения в каюте, убранной Рикордом с особенным вкусом... Посетители наши не оставляли нас до самой ночи; только с захождением солнца получили мы покой и время разговаривать о происшествиях, в России случившихся, и о наших приключениях».

Последним с ними простился Такатай-Кахи. Годы спустя и капитан Головнин и капитан Рикорд поместили в своих книгах изображение Такатая-Кахи.

Одиссей закончил одиссею прибытием на остров Итаку. В одиссее Головнина остров Хоккайдо лежит на полпути.

Глава пятая

1

Если говорить о воде, то за эти семь лет невской воды утекло пропасть. Если говорить о совпадениях, то они действительно приключаются: Головнин оставил Петербург в десятом часу вечера 22 июля 1807 года, Головнин вернулся в Петербург в десятом часу вечера 22 июля 1814 года.

Еще недавно казармы пустовали: войска были в походе. Опустели посольства: послы, кроме английского, уехали. Чиновники со своим домашним добром, потеснив казенное имущество, ретировались на баржах. Эрмитажные сокровища увезли. Банк и ломбард закрыли.

В каналах стояли наготове разномастные посудины, готовые принять беженцев. Фельдъегерей из армии боялись как вестников новых несчастий. Государь скрылся на Каменном острове, курьеров к нему не пускали, заворачивали на Лиговку, к дому Аракчеева.

Но вот грянуло наступление. Все оживились. На театрах затанцевали и запели. Император поехал к победоносным войскам.

В разгар лета 1813 года Петербург погребал Кутузова. За две версты от заставы толпы простолюдинов выпрягли лошадей и медленно, с опущенными головами, повлекли колесницу к Казанскому собору.

В разгар весны 1814 года в Казанский собор внесли французские знамена. Падение Парижа возвестил сто пятьдесят один залп орудий Петропавловской крепости.

Начались торжества. Из Франции возвращались дивизии. Они слушали благодарственный молебен. Полиция, как сообщает очевидец-офицер, «нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неблагоприятное впечатление».

Так было близ Петербурга, в Ораниенбауме. Потом в город, где уже неделю жил Головнин, вступала 1-я гвардейская дивизия. Государь, обнажив шпагу, гарцевал на рослом рыжем жеребце. Все сияло, все сияли. Публика кричала «ура». Император улыбался. «Мы им любовались, — признается будущий декабрист, — но в самую эту минуту перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было первое мое разочарование на его счет».

Император, преследующий русского мужика, одного из тех, кто кровью оплатил победу, полицейские дубинки на его кручинной голове — какова картина, каков символ! Контраст между освобожденной Европой и освободителями Европы блеснул в глаза. А на триумфальных арках начертано было: «Награда в Отечестве».

Первые неблагоприятные впечатления, первые разочарования. К ним прибавились иные, набегая и наслаиваясь. Возникал оппозиционный дух.

А что же бывший японский пленник?

Минуло три четверти года как Головнин оставил Хоккайдо. Распрощался с Рикардом, распрощался с «Дианой», решительно и вдруг одряхлевшей, как бывает и с людьми и с кораблями. И конечно, особенно сердечно обнял тех, кто делил с ним горечь плена. Головнин, рассказывает современник, «назначил из собственного незначительного состояния единовременные пособия всем бывшим с ним в плену матросам, а одному из них производил пенсию до конца жизни».

Рикорд принял бразды камчатского правления, а Головнин повторил недавнее странствие своего друга, то бишь добрался до Иркутска зимней дорогой, вернее — бездорожьем: на собаках, на оленях, на коне. А из Иркутска, летним уже путем, сквозь пыль и дождики, пустился Сибирским трактом в беспредельность вновь обретенной родины.

Лоренс Стерн, автор «Сентиментального путешествия», лукавства ради определил странствия по полочкам: праздные, лживые, гордые, мрачные, чувствительные и т. д.

Полковник Федор Глинка, современник Головнина, издал в 1808 году «Письма русского офицера»; в них прощупывается радищевская традиция. К следующему изданию полковник добавил «Замечания, мысли и рассуждения во время поездки в некоторые отечественные губернии».

Федор Глинка как саблей отсек свое авторское «я» от стерновской классификации. Глинка бранился: «О дураки, дураки — чувствительные путешественники».

Головнин, конечно, читал «Замечания» Глинки. Но читал-то уже тогда, когда написал свои записки о пребывании в японском плену. А еще раньше он вел дневник на великом пути от Тихого океана, то есть именно в «отечественных губерниях». Этот путевой журнал хранился в гулынском именье; в 1848 году сын Головнина передал автограф историку Погодину[25].

Только про то я и дознался в материалах отдела рукописей бывшего Румянцевского музея. Однако об «отечественных губерниях» критически рассуждал Василий Михаилович и в камчатских заметках и в карандашных примечаниях на полях «Двукратного путешествия» Гаврилы Давыдова. Нет сомнения, что и в дорожном журнале Головнина звучала радищевская интонация. «Записки» Головнина соседствовали с «Записками» Глинки и совсем не походили на гоголь-моголь эпигонов Карамзина.

В Петербурге Василий Михайлович очинил перья. Он был полон энергии. И бодрости: через день после приезда в столицу капитан-лейтенанта «всемилостивейше пожаловали» капитаном второго ранга, пожизненным пенсионом в полторы тысячи рублей годовых.

В ту пору город на Неве видел немало славных воинов, гром-

кие имена раздавались повсюду. Но положение Головнина было уникальным: русский из Японии, русский из какой-то неведомой, загадочной страны. У Василия Михайловича хватало ума понимать, что исключительность создали обстоятельства, от него не зависевшие. Как бы ни было, положение обязывало не ударить лицом в грязь. И он усердно трудился.

В Московском архиве литературы и искусства мне попался листок от 11 ноября 1814 года. Коротенькая записочка Головнина каким-то образом очутилась в коллекции поэта Тютчева. Вот она:

«Милостивый государь Карл Иванович, имею честь препроводить к Вам десять тетрадей моего путешествия, к переводу коих Вы можете приступить. Прошу покорнейше работу нашу держать в тайне».

Кто сей Карл Иванович, архивисты не установили. Отгадать нетрудно: на лейпцигском двухтомном издании Головнина значится имя переводчика Карла Иоганна Шульца. Главное, впрочем, не фамилия, а то, что за несколько месяцев Головнин написал десять тетрадей, и эти тетради получил переводчик. (Почему Василий Михайлович просил «работу нашу держать в тайне», не догадываюсь.) И опять-таки главное не в наличии десяти тетрадей, а в их содержании.

«Записки» эти явились русской публике как откровение. Их автор совлек сумеречный, зыбкий покров с удивительного островного государства. Головнин навел на него то заветное зеркало, о котором позже сказал Пушкин: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии».

Что сыскал бы о Японии русский книгочий 1814 — 1815 годов? Жалкие крохи. Чуть не столетней давности перевод с французского — «Описание о Японе». Семь страничек в «Полном географическом лексиконе»; переведенную со шведского статейку в «Новых ежемесячных сочинениях»; заметочку Карамзина в «Вестнике Европы»; брошюрку о первом русском посольстве в Японии; три странички во «Всемирном русском путешественнике» да столь же в переводной с французского «Дорожной географии»...[26]

Географ Венюков еще и полвека спустя отмечал: «Головнин к описанию своих приключений присоединил и систематическое описание Японского государства — единственное *оригинальное* сочинение на русском языке».

Какой же приманчивой новинкой было это оригинальное сочинение в начале века! Чернила еще не успели высохнуть, а уж в типографии Дрехслера набирали отрывок из «Записок» мореплавателя для очередного номера «Сына отечества». Семь раз популярный журнал «изымал» у Василия Михайловича его тетради. Спохватились и москвичи — лидер тогдашней периодики «Вестник Европы». А «Русский вестник», тоже московский, напечатал сверх того рассказ Рикорда о плаваниях к японским берегам ради спа-

сения Головнина. Наконец, в 1816 году книгопродавцы получили отдельное издание в трех частях.

Читательская жадность во многом, конечно, объяснялась сенсационностью материала. Но не только. Мореплаватель Крузенштерн говаривал, что моряки пишут худо, зато искренне. Искренность головнинских «Записок» подкупающая. Но и самое изложение отличается той легкостью, которая дается нелегко, и той выразительностью, которая присуща художническим натурам.

В январе 1817 года в Петербурге, в зале Публичной библиотеки, выступал Николай Иванович Греч (тогда еще не холопствующий). Греч критически обозревал русскую литературу минувшего двухлетия. Он сказал:

— На «Записках» господина Головнина наблюдатель отечественного просвещения не может не остановить особенного внимания, какого книга сия во всех отношениях достойна. И в самом деле, сколько положение самого сочинителя в плену возбуждает любопытство читателей, столько необыкновенный своей простотою и истиною слог его вселяет к нему совершенную доверенность... Кроме, может быть, путешествия английского капитана Флиндерса, во всей Европе в последние годы не выходило по сей части книг, которые важностью и занимательностью своею могли бы сравниться с сими записками.

В феврале того же восемьсот семнадцатого поэт Батюшков, сидя в деревенской зимней глуши, познакомился с книгой Василия Михайловича. Батюшков отозвался кратко и сильно: «Недавно прочитал Монтеня у японцев, то есть Головнина Записки. Вот человек, вот проза!»

Французский философ Монтень писал свои знаменитые «Опыты» в трудные, бурные времена, «при звуке оружия, при зареве костров, зажженных суеверием», а между тем сумел сохранить спокойную объективность. Такую же благородную сдержанность уловил Батюшков и в прозе капитана «Дианы». (Много позже, десятилетия спустя, расслышал ее и автор журнала «Морской сборник»: «Головнин, несмотря на перенесенные им бедствия, неразлучные с положением пленного, отзывается вообще о японцах как о племени великодушном и кротком».)

Друг Пушкина поэт-декабрист Вильгельм Кюхельбекер дважды обращался к творчеству Головнина. Высокое достоинство его прозы отметил Кюхельбекер в статье для журнала «Невский зритель». А в 1832 году, будучи узником Свеаборгской крепости, занес в дневник: «Целый день читал записки В. Головнина. Книга такова, что трудно от нее оторваться». И далее: «Записки В. Головнина — без сомнения, одни из лучших и умнейших на русском языке и по слогу и по содержанию».

Еще при жизни Головнина был у него жадный благодарный читатель: будущий автор «Фрегата «Паллада». Ссылки на Головнина у Гончарова неоднократны. Суть не только в том, что знаменитого романиста занимали мнения предшественника. Суть еще вот в чем: «Гончарова не мог не привлекать поистине реалистический

метод, которым пользовался Головнин как художник-очеркист, хотя в «Записках» есть и некоторые элементы сентиментального стиля. Не мог не увлечь Гончарова и великолепный русский литературный язык Головнина, сочный, образный, меткий»[27].

Век минувший не баловал сочинителей тиражами. И переизданиями тоже. Общий тираж книг Головнина я не сумел установить. Переиздания легко определить по каталогам. Каталоги свидетельствуют: книги Головнина не утрачивали притягательной силы, читательский интерес к ним не затухал. Они сходили с типографских станков и при жизни автора, и после его кончины. И не в одной лишь России.

Лондонские книгопродавцы получали их трижды: в 1818, 1824, 1835 годах. Французы и немцы, швейцарцы, датчане, голландцы — в один год, в восемьсот восемнадцатом. Поляки — в восемьсот двадцать третьем. Это была всеевропейская известность... А японцы увидели записки Василия Михайловича только сто с лишним лет спустя. Первое (иллюстрированное) издание осуществило 2-е управление Военно-морского штаба; затем, в 1943 году, в Токио появился двухтомник, еще несколько лет спустя — трехтомник.

«Записки» Головнина, адресованные вовсе не отрокам, утвердились и в круге юношеского чтения. В 1864 году было выдано в свет первое издание для детей. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия «Записки» шли нарасхват: издания девяносто первого года и девяносто шестого, девятьсот второго и девятьсот девятого. К тому же и беллетристы частенько баловались переложением прозы Головнина. Правда, не ей на пользу, а самим себе...

Признание досталось Василию Михайловичу в зрелую пору жизни. В марте 1818 года Вольное общество любителей российской словесности почтило Головнина званием почетного члена. В списке имя его значилось тридцатым. Ниже читаешь: «Ермолов Алексей Петрович, Крылов Иван Андреевич, Жуковский Василий Андреевич, Батюшков Константин Николаевич...»

Общество негласно примыкало к декабристскому «Союзу благоденствия» (подобно «Зеленой лампе», Военному обществу при штабе Гвардейского корпуса). В среде любителей российской словесности подвизались и господа, чуждые не только революционности, но даже оппозиционности. Однако, быть может, достойно внимания *время* баллотировки Головнина. Буквально только что, в конце февраля писатель Федор Глинка — фактический лидер общества и видная фигура «Союза благоденствия» — добился уставного избавления от «случайных людей». Глинка с единомышленниками клонили к тому, чтобы создать «ученую республику». Они своего добились. Ядром стали будущие деятели 14 декабря. В этой-то «республике» Головнин не считался лишним.

«Форма избрания» предусматривала непременную явку избираемого. Правда, почетные члены «из сего правила изъемливались». Впрочем, и не случись «изъятия», Головнин никак не мог бы явиться: в марте 1818 года он огибал Маркизские острова.

Не явился он и на Васильевский остров, в Академию наук,

где с мая 1818 года «почтенного мужа, г. флота капитана и кавалера» дожидался диплом члена-корреспондента: в мае Василий Михайлович был уже на другом краю России, в Петропавловске, там обнимал старинного друга своего Петра Ивановича Рикорда, который, кстати сказать, почти одновременно с ним удостоился той же академической чести. Но с некоторой разницей: Головнин — «за отличное в науках упражнение», Рикорд — «по разряду географии и навигации».

2

Молодой Брюсов однажды заметил: «Никогда самая искусная марина не заменит путешественнику вид на океан, уже по одному тому, что в лицо ему не будет веять соленый запах и не будет слышно ударов волн о береговые камни».

Не знаю, украсил ли Головнин свой петербургский угол (по чину полагались две комнаты) или гулынский дом (где пожил в шестнадцатом году) «искусными маринами». Если и украсил, то они и впрямь не заменили ему «вид на океан».

Было бы куда как романтично описать порыв героя к убегающему морскому горизонту, жажду буйных ветров, тоску по белоснежным парусам и т. д. и т. п. Но с Головниным не управишься традиционными приемами.

Противоречивые чувства владели Василием Михайловичем при назначении командиром кругосветного корабля. Предстоял долгий поход, на два-три года. А в Петербурге — Евдокия. Евдокия Степановна Лутковская, дочь отставного офицера, сестра четырех моряков. Головнин посватался, ему не отказали. Ничто не загораживало аналой. Ничто не мешало священнику цитировать у аналоя апостола Павла: «Так каждый из вас да любит жену свою, как самого себя».

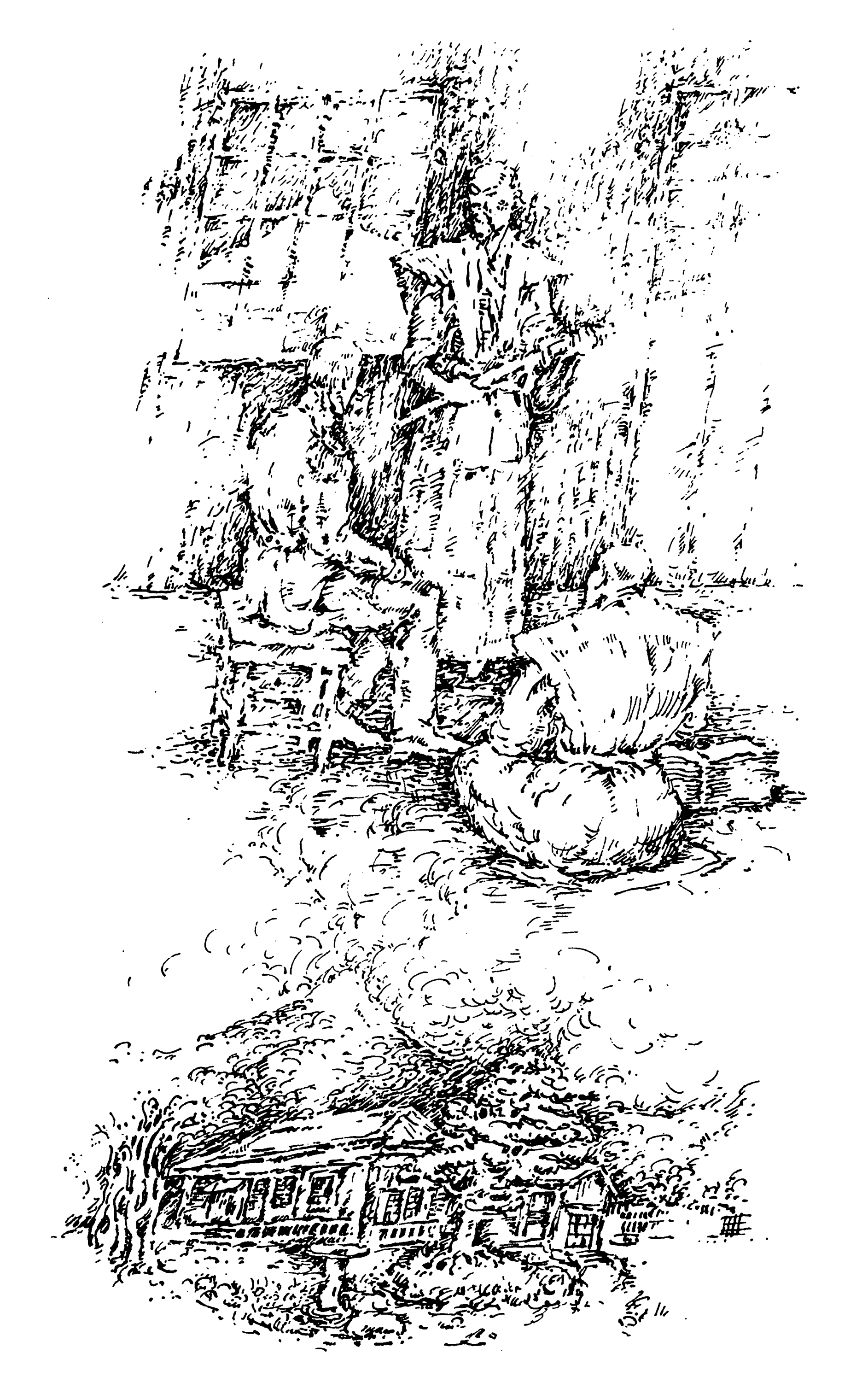
И вдруг — шлюп «Камчатка», кругосветное плавание, десятки тысяч миль, тысячи дней и ночей в разлуке. Он не повел Евдокию под венец. Он просил ждать его.

Было ль то испытательным сроком? Или беспредельностью веры? Или не хотел Головнин обречь ее на вдовство, памятуя участь мореходов? Или сам не хотел оставаться соломенным вдовцом?

Как бы там ни было, а свадьбу не играли. И ничего не сделал Головнин, чтобы увильнуть от похода. Между тем человеку его положения, известности, веса удалось бы пристроиться либо в Адмиралтействе, либо в Кронштадте, либо на каком-нибудь балтийском корабле.

Принимаясь готовить экспедицию, Василий Михайлович испытывал то душевное состояние, которое не располагает к улыбчивости. И кто поручится, не посещали ль его слабость, уныние, печаль? Но сказано: работа — губка, она поглощает сердечную боль. А работушка привалила многопудовая.

Десять лет назад лейтенанту, командиру «Дианы», дали некоторые письменные напутствия. Десять лет спустя почетному члену



Адмиралтейского департамента, капитану второго ранга, командиру «Камчатки», объявили:

— Ныне департамент, удостоверясь на опыте в ваших познаниях и способностях, не находит надобности повторять тех же предписаний и полагается во всем на ваше искусство и благоразумие.

Экспедиция преследовала троякую цель. Две — копировали задачи «Дианы»: доставка тяжелых грузов в Петропавловск и Охотск, картирование тех островов и берегов в северной части Тихого океана, которые еще не были определены астрономическими способами. Третья цель была весьма щекотливого свойства: Головнина посылали ревизором.

Его обязали исследовать положение коренного, туземного населения в колониях Российско-Американской компании. Требовался человек, по должности независимый от компанейских купцов-воротил. Головнин, офицер флота, от них не зависел. Он «зависел» от своих взглядов. Честность и прямота его были известны. И надо полагать, главные акционеры не очень-то радовались сему «препоручению», хоть и состояли «под высочайшим покровительством».

Российско-Американская компания жирела на добыче пушнины. Самыми желанными считались морские бобры. А самыми лучшими, сноровистыми, неутомимыми добытчиками считались алеуты. Их-то и ввергли в холопство. Никакими параграфами, пунктами, законами отношения предпринимателей и туземцев не регулировались. В стране огромных и громоздких канцелярий верховодила, в сущности, незримая Канцелярия-По-Ограблению.

Из-за тридевяти земель, с океанских островов и прибрежий, доносился такой тяжкий стон, такие слезные мольбы, что даже привычно глухих сановников иногда подирал морозец.

В пору снаряжения «Камчатки» генерал-губернатором Сибири был Пестель, отец декабриста. Герцен определял Пестеля-старшего сатрапом, да еще из худших. Так вот, генерал-губернатор летом 1817 года просил морского министра маркиза де Траверсе отрядить ревизором «морского чиновника». Пусть-де удостоверится в «обидах беззащитных островитян».

Маркиз прохлаждался неподалеку от Петербурга, в имении. Он лакомился русской природой и продувной француженкой, которой, говорят, строил куры сам государь. На лоне министр и подмахнул инструкцию № 1510 — инструкцию о «рассмотрении положения жителей колоний, принадлежащих Российско-Американской компании». Как Василий Михайлович исполнил ее — увидим позже.

А пока он в хлопотах, в разъездах из Петербурга в Кронштадт и обратно. Благо дымит и колотит плицами «Елизавета», и теперь от столицы до кронштадтских рейдов добираешься часа за три[28].

Он не изменил своему правилу: команду набирал по доброму согласию, офицеров тоже, и притом лишь тех, чье мастерство не вызывало сомнений. Впрочем, нет, были исключения из правила.

Одно по просьбе безвестного мичмана, другое по просьбе известного мореплавателя, третье, очевидно, по просьбе столь «важной» особы, что Головнин не устоял.

Безвестный мичман не отличался богатырским сложением. Рыжеватый блондин, он смотрел на Василия Михайловича преданно и восторженно, как паж на короля. Фердинанд Врангель самовольно покинул фрегат, на какой-то лайбе пришел из Ревеля и вот бил челом: сделайте милость, возьмите! Может, Головнину вспомнился другой мичман? Тот тоже не имел покровителей во флоте. И Головнин «устроил» нарушителя дисциплины на шлюп «Камчатка».

Ну, хорошо, Врангель мог козырнуть аттестацией, полученной в Морском корпусе. А вот этот едва оперился в Царскосельском лицее. Лицеисты, поди, не отличают грот-мачту от якорного каната! Да что тут попишешь, коли просит за Федора Матюшкина старший и старый товарищ — Крузенштерн? (А Крузенштерна просил директор лицея, известный педагог и добрейшая душа Егор Антонович Энгельгардт.) И вот уж в июле 1817 года читает Головнин благодарственное письмо из Царского Села, письмо, поныне хранящееся в Пушкинском доме.

Если радеешь незнакомым, как не порадеть почти родственникам? И наш мореход, большой противник протекций, не противится настояниям невесты. У Евдокии-то братья в корпусе. А какой гардемарин не жаждет кругосветки? Гм! Так-то оно так, да вот этот самый Ардальон не медальон. Непутевый малый, ей-богу. Подумать только, молоко на губах не обсохло... Э-э, какое «молоко», ежели разжалован Ардальон из гардемаринов в матросы второй статьи за пьянство! А у Евдокии вся надежда на тяжелую крепкую женихову руку. И Головнин принимает под свою руку бесшабашного Ардальона Лутковского. Но вроде бы и «компенсирует» его другим Лутковским, Феопемптом — спокойным, дельным, знающим английский и французский языки[29].

В конце августа кончились сборы. «Камчатку» снарядили, экипаж снарядился. Гребные баркасы вывели шлюп на Большой рейд. Туда, откуда «в предназначенное плавание идут тяжелые корабли».

Бердовская «Елизавета» привезла в Кронштадт бывшего лицеиста Федора Матюшкина. Строгий и осторожный ученый М. А. Цявловский указывает: «Если Пушкин вернулся в Петербург из Михайловского до 26 августа, то, возможно, он провожал Матюшкина до Кронштадта».

Они были однокашниками и друзьями. Академик Е. В. Тарле в письме к автору этих строк говорил: «Пушкин, может быть, только Дельвига и Пущина так любил, как Матюшкина».

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,

И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!
Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в младой душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!

Поступая в ученье к Головнину, Матюшкин имел дружеское и настоятельное поручение Пушкина. Долгое время считалось, что Матюшкин не выполнил его. Нет, выполнил. Убедимся чуть позже.

Было бы очень и очень заманчиво свести под кронштадтским небом юного Пушкина и капитана Головнина. Увы, даже если Пушкин и ездил в Кронштадт, Головнин его не видел. И порукой тому дневник Федора Матюшкина: Матюшкин уже расположился на борту «Камчатки», а Василий Михайлович все еще задерживался в Петербурге. Чертовски жаль! Что бы это ему появиться несколько раньше. Впрочем, кто знает, может, сурово-задумчивый Головнин вовсе и не приметил бы молодого Пушкина?

3

Моря разъединяют континенты, корабли соединяют.

Вахты, мили, ветры, погоды существенны в жизни морехода. Но подлинное золотое руно аргонавтов в том, что открывается уму и взорам. «Камчатка» шла в мир. Мир наплывал на «Камчатку». Сто тридцать человек смотрели на этот пестрый, этот переменчивый, этот движущийся мир.

Стремление запечатлеть увиденное — не суетность, а потребность благородная. В каютах шлюпа четверо (по крайней мере) склонялись над столом с пером в руках.

Журналы Головнина были изданы, мы в них заглянем. Записки мичмана Федора Литке и волонтера Федора Матюшкина больше века покоились под спудом. Дневник мичмана Врангеля исчез, кажется, навсегда.

Василий Михайлович адресовался в два адреса: к тем, кто пойдет курсом «Камчатки», и к тем, кто, не покидая очага, хотел видеть далекие страны. Молодые люди, подчиненные Головнина, не рассчитывали на типографию.

Два с небольшим месяца после отплытия из Кронштадта, в ноябре 1817 года, корабль отдает якорь у берегов прекрасной и нищей Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Путешественники съезжают на берег.

Можно услышать грохот огромного водопада, и они слышат его. Можно посетить театр, и они посещают. Можно насладиться игрою гитариста Жуана Мануэля де Сильва или ученика Гайдна пианиста Нейкома, и они наслаждаются. Можно приятно и не без пользы побеседовать с натуралистом Лангсдорфом, русским консулом в Рио, и они беседуют с Григорием Ивановичем Лангсдор-

фом. А еще можно попасть на улицу Волонга, где рынок черных рабов, или на невольничий корабль и призадуматься о многом.

«Сколь прискорбна мысль, — пишет мичман Федор Литке, — что одна из плодоноснейших стран в свете не может быть возделываема, словом сказать, не может иметь политического бытия, не лишая некоторого числа на несчастье рожденных людей драгоценнейшего и священнейшего права свободы. Португальцы говорят, что это необходимо, и преспокойно торгуют невольниками... Здесь есть улица, в коей продают негров. Она состоит из домов или, лучше сказать, сараев, разгороженных на две половины. В одной продаются мужчины, в другой — женщины. Желающий купить является. Хозяин показывает ему своих негров, заставляет их делать разные телодвижения в доказательство здоровья их. Покупающий смотрит у них язык, как коновал смотрит у лошадей зубы. Товар продан — и бедный негр делается собственностью другого»[30].

Матюшкин согласен с Литке. Но гнев Матюшкина накаленнее. Он был и на улице Волонга, и в плавучем португальском застенке:

«Там можно видеть все унижение человечества как со стороны притесненных несчастных негров, так и со стороны алчных бесчеловечных португальцев... Все, что себе можно вообразить отвратительного, представляется глазам нашим... Негры валяются везде и от боли стонут, другие с нетерпением и остервенением срывают у себя нарывы, по всему судну распространяется несносная, неприятная духота. Везде нечистота, неопрятность и нерадение португальцев видно. Они спокойно обедают (я был там в полдень), а недалеко от них несчастный полумертвый негр мучится, стонет и, кажется, издает последний вздох».

Матюшкин спустился в трюм, у него захватило дух: ребятишки, черные ребятишки. Он спросил, что же это такое, как же это можно? Ему отвечали «с совершенным хладнокровием: «Мы нашли за выгоднейшее возить детей, взрослых стараемся избежать и когда уж нельзя избежать, то их содержим весьма строго, в цепях».

Матюшкинские записи отличаются особенным звучанием — тираноборческим. На «Камчатке» был он, пожалуй, самым «левым». Тому и причины есть, и доказательства.

Восемнадцатилетний волонтер шагнул на корабль «с лицейского порога». Лицей пушкинской поры не тихая заводь, не питомник благонамеренных чиновников, но рассадник вольномыслия. «Краеугольный камень» положили в души юношей Куницын и Малиновский, последователь Радищева. Они воспитали «пламень», который освещал и согревал пушкинский круг. К нему принадлежал и Федор Матюшкин.

У пушкинистов существовало предание: отправляясь в плавание с Головниным, волонтер собирался вести записки «по совету и плану Пушкина». А пушкинист М. А. Цявловский уже прямо указывал, что именно Пушкин изъяснял однокашнику и единомышленнику «настоящую манеру записок, предостерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя только не забывать всех

подробностей жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерных особенностей природы».

Десяток с лишним лет назад мне посчастливилось читать то, что по плану и совету своего друга исполнил Матюшкин на борту головнинского шлюпа.

В отличие от Литке он не ограничился сочувственными эпитетами. Он жалел, что бразильские негры не «составят меж собой тайной братский союз»! Позднее, в Перу, он называет индейца, вождя повстанцев, «народным благодетелем»! И наконец, завершая дневник, берет грозный аккорд: «Мало изгнать из своей земли рабство, чтоб доставить подданным счастье, безопасность, но надобно изгнать его из колоний — для блага всего человечества».

Русские «кругосветники» наложили позорное тавро на работорговлю, на рабство. Записки моряков смыкаются с «негритянской темой», которая громко и явственно, долго и настойчиво звучала в русской литературе, у Радищева и у тех, кто «вослед Радищеву».

Негрофильство их не было лишь подражанием аббату Рейналю, автору «Философской и политической истории о колониях и торговле европейцев в обеих Индиях». Оборотной стороной негрофильства было русофильство. Русофильство вполне определенного, хотя и потаенного, толка — печалясь о черном рабе, печалились о рабе белом, о крепостном; клеймя португальского или испанского изверга, клеймили изверга русского, крепостника-помещика. То были не просто кивки в заокеанскую сторону, но и призывы: «Оглянись во гневе!»

Путевые записки мореходов при всем различии уровней — литературного, исторического, политического — схожи в одном: хоть убей, не выжмешь из них и пригоршню сведений о самой корабельщине. Фамилии названы, и только. Ни внешних, ни внутренних примет. В дневнике Матюшкина ни строки о начальнике, о товарищах. Дневник Врангеля куда-то запропастился. Лишь из его беглых, отрывочных записей, изданных в Штутгарте в 1940 году, можно установить, что рыжеватый блондин был на шлюпе «правым», что ему претило «материалистическое направление» Литке. И только вот этот самый «материалист» помогает нам представить и «Камчатку», и — что важнее — командира «Камчатки».

Пятьдесят лет минуло. Бывший мичман, проказник и весельчак, обратился в знаменитого путешественника, члена-учредителя Русского географического общества, президента Академии наук. И тогда-то Литке помянул своего давнего наставника, капитана второго ранга Василия Михайловича Головнина:

«В его глазах все были равны... Ни малейшего ни с кем сближения. Всегда и везде командир: steif (непреклонный и недоступный) донельзя... Все его очень боялись, но вместе и уважали, за чувство долга, честность и благородство». И далее: «Его система была думать только о существе дела, не обращая никакого внимания на наружность... Щегольства у нас никакого не было, ни в вооружении, ни в работах, но люди знали отлично свое дело,

все марсовые были в то же время и рулевыми, менялись через склянку, и все воротились домой здоровее, чем пошли... Я думаю, что наша «Камчатка» представляла в этом отношении странный контраст не только с позднейшими николаевскими судами, но даже с современными своими. После того что я сказал о характере нашего капитана, излишне упоминать, что на «Камчатке» соблюдалась строгая дисциплина. Капитан первый показал пример строгого соблюдения своих обязанностей. Ни малейшего послабления ни себе, ни другим».

Великолепная характеристика. Не только человеческих свойств, но и профессиональных качеств, головнинской «науки побеждать» непобедимое море. И она, наука эта, обратила шлюп в школу мореходного искусства.

Не все сделанное мастером непременно сделано мастерски. Но мастеру худо, если он не выучил мастеров. Головнин — пестун четырех адмиралов: Литке и Врангеля, Лутковского и Матюшкина. Первый из них признавался: «В начале похода я не имел никакого понятия о службе; воротился же моряком, но моряком школы Головнина, который в этом, как и во всем, был своеобразен».

«Камчатка» была школой под открытым небом и в открытом океане. Но и учителю приходилось держать нешуточные экзамены в этой школе. Вот хоть на новый, 1818 год, когда «Камчатка» огибала мыс Горн. Тот, что не сумел обогнуть Василий Михайлович на «Диане».

Правда, «Камчатка» оказалась резвее «Дианы». Вышла из Кронштадта позже, не в июле, а в конце августа, а пришла-то раньше, в благоприятное время, если только случается оно в тех широтах.

Испытание длилось почти месяц. Сухопутные люди и думать позабыли про рождество и уже сретенье господне праздновали, когда морские люди встретились наконец с Великим, или Тихим.

И вскоре — наградой — солнечный рейд, запахи теплой земли, полуобнаженные купальщицы, приглашения к вице-королю сеньору де ла Пецуела, пикники, поездки в горы: Перу, ее столица Лима, порт Кальяо.

Ах, какие любезности расточали русским гостям испанские хозяева! Но русские гости очень хорошо знают, что здешние хозяева почти уж и не хозяева, что надменность испанская сильно полиняла.

Не первый год в Южной Америке шла война за независимость колоний от мадридских владык. Испания терпела поражения. Новая Испания, Новая Гренада, Перу, Ла-Плата, все четыре вице-королевства вот-вот должны были обрести независимость. В Мадриде, а равно и в вице-королевских дворцах надеялись на подмогу императора Александра и Священного союза. Ну как же иначе? Ведь там, в Европе, есть могущественные роялисты, и они не бросят в беде испанских роялистов из роялистов. А посему в Кальяо и в Лиме расточают любезности офицерам российского военного корабля.

Однако Василий Михайлович Головнин не принадлежал к тем писателям, у которых недостает желания быть читателями. Он был не только одним из авторов, но и одним из подписчиков «Сына Отечества». А этот популярный журнал под сурдинку держал сторону мятежников: «Сила их возрастает наравне со счастьем!» «Сын Отечества», замечает историк Л. Ю. Слезкин, информировал об испанской Америке с явной симпатией к патриотам. Вообще журналы и газеты Петербурга и Москвы не скупились на материалы о войне за независимость, большей частью объективные.

Головнину не было нужды менять свою точку зрения на «законные права» колонизаторов. Он был тверд на сей счет. Вспомним пока лишь пометку на давыдовском «Двукратном путешествии»: «Присваивать вольный народ себе в собственность есть дело крайне несправедливое!» Если так сказано о российских собственниках, отчего ж миловать испанских? И, вежливо отвечая на комплименты, Головнин, конечно, не склонился на сторону комплиментщиков.

Но избави бог от натяжек и умолчаний: не все думали так, как Головнин. Матюшкин и Литке были «за», Врангель — «против». (О других не знаю.) Однако ведь дневник Врангеля утрачен? Это так. Да мне вот довелось рыться в обширном собрании его рукописей, листать другой его дневник, тоже почему-то отнесенный к «без вести пропавшим».

Дремучим монархистом был этот отличный моряк, Фердинанд Петрович Врангель. Он видел в Наполеоне укротителя революции и готов был целовать бич укротителя; его возмущало любое освободительное движение, повстанцы южноамериканских колоний рисовались Врангелю «дикими зверями», которые «кидаются за свободой, не понимая ее»[31].

Кальяо — первая тихоокеанская стоянка «Камчатки». Но не последняя. Великую панораму развернет Великий океан. И взору Головнина предстанет многое.

4

Можно следить за «Камчаткой», как она бежит свои мили, мили, мили. Да нужно ли? Головнин не стесняется писать: «Чрезвычайно скучно: кроме моря и неба, ничего не было видно, и шлюп качало ужасным образом».

«Певцы моря» большей частью обитают на берегу. Головнину «ахи» чужды. Он никогда не пугает читателя морскими страстями-мордастями. (Быть может, инстинктивно стесняясь выглядеть эдаким рыцарем без страха и упрека.) Он умеет рассказывать о морском походе: «Нет плавания успешнее, как пассатными ветрами, но зато нет ничего и скучнее. Единообразие ненавистно человеку; ему нужны перемены; природа его того требует. Всегдашний умеренный ветер, ясная погода и спокойствие моря хотя делают плавание безопасным и приятным, но беспрестанное повторение того же в продолжение многих недель наскучит. Один хороший

ясный день после нескольких пасмурных и тихий ветер после бури доставляют во сто крат более удовольствия, нежели несколько дней беспрерывно продолжающейся хорошей погоды».

Пейзажи у Головнина точны. Но это не фотографическая точность. Всегда видна кисть, их рисующая. Ему нужна елка, а не елочные украшения. И потому пейзаж у Головнина не сам по себе, не красоты ради. Если он пишет о лунных ночах в океане, то совсем не затем, чтобы нарисовать... Впрочем, читателю известно, как живописуют лунные ночи. Нет, лунные ночи отмечены не зря. Они «работают»: Головнин ими воспользовался, чтобы успешнее, быстрее, безопаснее пересечь экватор, где ветры переменчивы и порывисты, где нужна сугубая осторожность, а в светлые ночи «можно несравненно более нести парусов и удобнее с ними управляться».

Географические карты, как и марины, не заменяют вида на океан. Они, однако, обладают волшебством: сокращают расстояния, сжимают, спрессовывают время, необходимое для покрытия этих расстояний. Карты, как и книги, требуют прочтения. Они требуют и некоторых усилий воображения. И тогда оживают. Приглашение к карте — приглашение к заочному путешествию.

Пенистый след за кормою корабля угасает, как прожитое. Сплошная линия, положенная на карту, остается, как деяние. Секунды довольно — глаз схватит тихоокеанский маршрут шлюпа.

Древний философ Анаксимен спрашивал Пифагора: «Могу ли я увлекаться тайнами звезд, когда у меня вечно перед глазами смерть или рабство?» Смертью иль рабством не увлечешься. Куда приманчивее тайны звезд. А мысль о том, что́ мы, земляне, «дадим» звездам — не ту же ли смерть, не то же ли рабство? — мысль эта не тревожила человека минувшего столетия. Даже Кибальчича. А Головнина тем паче. Здесь иное: мореходный путь пролег сквозь смерть и рабство.

Во владениях Российско-Американской компании командир «Камчатки» приступил к ревизии. Он повел дело по всей строгости: допросил свидетелей, выслушав жалобы, заполнил в присутствии корабельных офицеров документы.

Головнин заглянул в бездны колонизации. И все увиденное изложил в двух записках. Одна была обширная, с историческим экскурсом, политико-экономическим обзором, но не холодным, а гневно-сатирическим. Вторая, краткая, похожа на рапорт по начальству.

«Без тщеславия могу сказать, что пером моим не водило никакое пристрастие», — писал Головнин. Неверно: пером его водило пристрастие правдолюба, пристрастие гуманиста.

Ему пришлось отказаться от одного весьма распространенного мнения: там, наверху, разберутся. Как многие на Руси, он слишком долго верил в справедливость высших сфер. Он полагал: беззакония и злодейства потому лишь бытуют, что их еще не досягнула карающая десница правительства. Правительство не ведает, не знает, не прослышало. Русский народ не вчера сложил пословицу: до бога высоко, до царя далеко. При всей ее грустной меткости

в ней все же тайная мысль: «Охо-хо, знал бы царь, знал бы батюшка...»

Головнину, повторяю, пришлось отказаться от надежды на вмешательство высших сфер. Почему? Очень просто — грабительство и беззакония не были тайной: «...о злоупотреблениях, компаниею чинимых, упоминается ясно, подробно, сильно и утвердительно в двух российских сочинениях, посвященных государю императору, напечатанных и обнародованных в Российской Империи и переведенных на разные европейские языки, а именно в путешествиях вокруг света флота капитанов Крузенштерна и Лисянского».

Ну что ж, кажется, еще Паскаль говорил, что нет ничего дороже чувства долга в человеческом сердце. И Головнин пишет свои записки, повинуясь этому чувству. Он пишет не по обязанности ревизорской, а потому, что не может и не хочет молчать.

Он заглядывает в прошлое колонизации. Чем оно пахнет, пресловутое освоение Алеутских островов? Кровью, кровью, кровью. Колонизаторы «употребляли всегда ужасные жестокости», алеутов «считали едва ли лучше скотов», «часто делали убийства, отнимали жен и дочерей и производили всякого рода неистовства над бедными жителями».

Да полно, уж не неистовствует ли сам Василий Михайлович, не сгущает ли краски, не перебарщивает ли? Увы. Его подкрепил впоследствии сын пономаря Иван Евсеевич Вениаминов, он же митрополит московский и коломенский Иннокентий. Священствуя, Вениаминов почти всю свою долгую жизнь отжил в Русской Америке, на островах и берегах северной части Тихого океана. Митрополиту Иннокентию огромная цифра — пять тысяч истребленных алеутов — и та кажется «слишком умеренной».

Вениаминов назвал имена выдающихся штукарей, имена, проклятые алеутами: Лазарев, Молотилов, Шабаев, Куканов и прочие и прочие. Один из этих душегубов — некий Соловьев — предвосхитил гнусности белокурых бестий: выстраивал алеутов чередой и стрелял — интересовался, вишь, скольких пуля прошьет.

Нет, не сгущал краски Головнин, не перегибал палку, как ни вертись. Был он прав, ударяя кулаком по столу: «Компания истребила почти всех природных жителей!»

Почти всех, но не всех. Что же те, которые выжили? Десяток печатных страниц занимает головнинский реестр обвинений против чиновников, правителей, конторщиков, приказчиков Российско-Американской компании. Это настоящий мартиролог, перечень преследования алеутов.

Записки Головнина о состоянии колоний не вошли в его книгу о путешествии на шлюпе «Камчатка». Они были опубликованы много позже. А в книге издания 1822 года Головнин утопил свои молнии в пространных описаниях природы, в замечаниях и наблюдениях, интересных мореплавателю. Про ревизию свою рассказал он в двух абзацах, да и то весьма бледных. Об индейцах-колюжах, о племени тлинкит отозвался вовсе не в духе записок: «вероломные»-де, никак, мол, не хотят дружить с Рос-

сийско-Американской компанией и к тому же, такие-сякие, «не упускают случая убить русского».

Пусть эта книжная тональность остается на совести Головнина. Но скажите на милость, что заставляет современного автора утверждать, например, столь очевидную нелепицу: «Все местные жители индейцы, видя мирные намерения русских на западном берегу Америки, приняли русское подданство»? Утверждение для киота, для божницы: «во человецех благоволение». И тут же еще одно категорическое указание, от которого, право, Головнин во гробе содрогнулся бы: «Русские, как всегда, по-хозяйски осваивали новый край». Ну, словно бы речь идет о строителях Комсомольска-на-Амуре!

Я цитировал статью о том, как «пламенный патриот Головнин» разоблачил американских агрессоров, покушавшихся на Русскую Америку[32]. Автор, понятно, ссылался на Головнина. Оно и верно. Василий Михайлович не жаловал иностранных хищников: «Большая часть русских промышленников, погибших от рук диких американцев, умерщвлены порохом и пулями, доставленными к ним просвещенными американцами». Наглость контрабандистов поддерживало правительство Соединенных Штатов. Чужеземные шаромыжники грабили владения Русско-Американской компании, и Головнин советовал петербургским властям предержащим оборонить далекий край.

Все так. Но наш современник начисто забывает о том, о чем не забывал не наш современник, офицер императорского флота Василий Михайлович Головнин: он не умалил грабительских «заслуг» соотчичей.

В девяностых годах прошлого века пионер русского марксизма писал «Внутреннее обозрение». В газете «Правительственный вестник» ему попалось сообщение царского консула из Сан-Франциско. Дипломат оплакивал вредное, развращающее влияние американцев на экономический быт приморского населения Восточной Сибири. Заголосили и другие газеты: необходимо пресечь американцев, дайте морские промыслы «исключительно в русские руки».

И Плеханов иронизирует: «Недогадливые люди и в этом случае скажут, пожалуй, что местному населению решительно все равно, кто станет обирать и развращать его, русские или американцы. Но теперь уж никто не слушает недогадливых людей, и котиковые промыслы у Командорских островов, наверное, будут переданы «исключительно в русские руки», которые займутся там наполнением исключительно русских буржуазных карманов».

Ирония тухнет, Плеханов вполне серьезен: «Когда православно-патриотический вой русской буржуазии направляется против американцев или против какой-нибудь другой народности, не имеющей трудно поправимого несчастья находиться под сенью крыл русского двуглавого орла, — он более смешон, чем вреден. Но когда предметом буржуазных воплей являются народности, состоящие в русском подданстве, дело принимает другой оборот.

Оно ведет к самому бесстыдному, самому гнусному угнетению слабых сильными».

Головнин видел дальние морские горизонты. Дальние горизонты истории он не видел. И не мог в силу объективных причин. Но в силу каких же причин не видит их и представитель кафедры гидрологии?

Не одарив елеем отечественную купеческую компанию, Головнин обладал нравственным правом осудить европейских наживал. И он этим правом не пренебрег.

Англичане оседлывали главные перекрестки мира. Головнин говорил, что бритты торгуют не то чтобы бесчестно, но прямотаки безбожно. Однако безбожники были набожны: «Они к евангелию присоединили свой догмат, который всем покоренным ими народам проповедуют; оный состоит в том, что никому врата царства небесного отверсты не будут, кто не станет носить платья из материй английских мануфактур».

Испанцы тоже «присоединили к евангелию свой догмат». Догмат этот служил дряхлеющим колонизаторам руководством к действию. Действия заключались в недопущении действий. Довольно баловаться «просвещенным абсолютизмом», начинания умного и дельного Карла III давно были похерены. Никаких перемен, и баста.

В Южной Америке летаргический сон был прерван восстанием. Калифорнию пока удавалось удержать в спячке. Колокола католических миссий убаюкивали «крещеных индейцев».

Головнин наблюдал калифорнийских индейцев. «За отступление от правил, католическою религиею предписываемых, за леность и преступления миссионеры наказывают их по своему произволу телесно или заключением, а чаще заковывают виновных в железо; плодами же полевых трудов своей паствы они сами пользуются».

Предшественники Головнина, знаменитые мореходы Лаперуз и Ванкувер, калифорнийских индейцев называли «народом крайне слабоумным», не способным ни к какому творчеству. Головнин бастует. Изделия индейцев, их наряды, утварь находит он отменного вкуса; плотницкую и столярную работу вполне приличной, а музыкантов и певчих, не имеющих понятия о нотах, «не хуже многих скрипачей, забавляющих наших областных полубояр».

Несогласие с европейскими знаменитостями Головнин простирает дальше, на сферу нравственную, духовную. Он подчеркивает в индейцах «высокое понятие о справедливости». Доказательства? Извольте: «Прежде они поставляли себе за правило, да и ныне некоторые роды из них сего держатся, убивать только такое число испанцев, какое испанцы из них убьют, ибо сии последние часто посылают солдат хватать индейцев... Солдаты хватают их арканами, свитыми из конских волос... После того соотечественники их ищут случая отомстить, и когда удается им захватить где испанцев, то, убив их столько, сколько умерщвлено их товарищей,

прочих освобождают. Ныне, однако, вывели их из терпения, и они никого из них не щадят...»

Марианские острова, как и Калифорния, принадлежали испанской короне. Там опять, в который уж раз, убедился Головнин во всесилье смерти и рабства. «Острова сии, — рассказывает Василий Михайлович, — при занятии их испанцами были многолюдны, но насильственное обращение жителей в христианскую веру и покушение истребить коренные их обычаи... дали повод язычникам к сопротивлению. От сего произошли войны, в которых многие из жителей погибли».

Пять недель провела «Камчатка» в Манильской бухте. Шлюп готовили к переходу в Кронштадт. Предстояло одолеть два океана — Индийский и Атлантический, готовились к обратному плаванию с великим тщанием.

Манильская бухта плавной дугой вдавалась в берег острова Лусон, самого обширного в Филиппинском архипелаге. Архипелагом владели испанцы. Еще совсем недавно, лет за десять-пятнадцать до прихода Головнина в Манилу, европейские державы относили Филиппины к испанскому захолустью, а то и попросту к географическому понятию. Один русский дипломат (его «епархией» были международные отношения в бассейне Тихого океана) не без основания утверждал, что Англия могла бы заглотнуть Филиппины еще в 1803 году, если бы считала их «достаточно важными». Впрочем, некий дошлый купчик-англичанин взбодрил-таки в Маниле торговый дом, хотя испанские власти, как и японские, чурались чужеземцев.

У его величества Прогресса длинные ноги. Едва было расхлебано кровавое варево, именуемое иногда наполеоновской эпохой, как буржуа Европы и Америки причислили и Филиппины к рынкам «больших возможностей».

В Маниле обосновались французский и американский консулы. За несколько месяцев до прибытия «Камчатки» к ним присоединился г-н Добелл, российский генеральный консул.

Головнин в своем «Путешествии» почему-то не называет его имени. А кажется, должен был бы. Добелл, родом ирландец, немало, как и Василий Михайлович, постранствовал; в те самые годы, когда Головнин занимал страницы «Сына Отечества», Добелл там же печатал очерки о Сибири.

Не упоминая Добелла, капитан «Камчатки», подобно консулу, взглянул на архипелаг с русской колокольни. Василий Михайлович как бы вернулся к давним своим размышлениям. «Филиппинские острова, — писал он, — из коих главный Лусон, на котором находится Манила, во многих отношениях заслуживают внимания европейцев, а более россиян, по соседству их с нашими восточными владениями, где во всем том крайняя бедность, чем Филиппинские острова изобилуют. Положение сих островов в отношении к Сибири, безопасные гавани, здоровый климат, плодородие и богатство земли во всех произведениях, для пищи и торговли служащих, многолюдство и, наконец, сношения их с китайцами — все сие заставляет обратить на них внимание».

Пользуясь нынешними терминами, сказать должно, что флота капитан второго ранга сделал на Филиппинах классовый анализ: он рассмотрел положение разных слоев островного населения.

На вершине общественной пирамиды восседали, разумеется, служители культа. Распрекрасное это дело, быть служителем культа. Надо лишь попугивать дурачков: без нас, служителей, все пойдет прахом. При Карле III, во второй половине XVIII века, испанское черное духовенство несколько утратило свое ведущее (вернее, никуда не ведущее) положение. Но быстро оправилось. В годы плаваний Головнина служители культа верховодили с прежней неукоснительностью.

Итак, писал Василий Михайлович, первый класс «составляет духовенство, которое здесь, как и во всех испанских колониях, весьма многочисленно и имеет главою архиепископа, живущего в Маниле, и несколько епископов, живущих в провинциях. В Маниле считается 5 монастырей мужских и 3 женских».

Головнину не удалось заглянуть за монастырские стены. Два его ученика — Врангель и Матюшкин — заглянули. Правда, спустя несколько лет, когда транспорт «Кроткий» тоже стоял в Манильской бухте.

Оказывается, филиппинские служители культа, как, впрочем, и всякие иные, отнюдь не предавались аскетизму. Неопубликованный дневник Врангеля воссоздает сценку в духе Боккаччо: «Сквозь густоту леса мелькнул вдруг огонек, лодки пристали к берегу, и добрые монахи помогли нам выйти на сушу и привели в огромный монастырь, где вместо скромных келий вошли мы, через освещенную галерею, в залу. Отец Николай, настоятель сего монастыря, монах здесь весьма уважаемый, встретил нас и, при звуках приятной музыки, проводил к чайному столу, где приветствовал нас губернатор и несколько почетных чиновников, приехавших со своими семьями берегом.

Сколь ни удивило нас доселе виденное в обители отшельников — хор музыкантов, собрание дам, но мы поражены были еще неожиданнейшим зрелищем: музыка громче зашумела, заиграла контрданс, и зала сия превратилась в танцевальную. Дамы и молодые кавалеры обнялись и заплясали, вероятно, из усердия к святому Иерониму, коего день намеревались завтра праздновать.

Действительно, в 4 часа другого утра отслужили сему святому молебен в церкви, отделенной от танцевальной залы одною тонкою завесою. Несмотря, однакож, на сию непристойность, провели мы вечер весьма приятно... Прекрасные дамы не уставали от качучу и фанданго, а мы не уставали восхищаться приятными их телодвижениями.

На ночь разместили нас по незанятым кельям, окна коих были в монастырский сад. Рано утром, по звону колокольчика, собрались мы в церковь; после молитвы подали шоколаду, а потом в колясках и на верховых лошадях поехали мы по окрестностям: осмотрели сахарный и индиговый заводы, проехали обширные

плантации сарачинского пшена[1], сахарного тростнику, индигового растения, леса плодоносных дерев, встречая на каждом шагу следы трудолюбия почтенного отца Николая, который все сие устроил, приучил индейцев к работам и обратил их к христианству»[2].

Ах, милейший барон, он остался себе верен. Его несколько смутила фривольность монастырского уклада, но зато искренне восхитили «следы трудолюбия» настоятеля и как тот с августинской братией «приучил» туземцев гнуть хребет на плантациях и угодиях.

Правду молвить, и наблюдения Головнина над участью «пятого класса», последнего н самого многочисленного класса филиппинского феодального общества, были поверхностны, беглы, неубедительны. Да ведь Василий-то Михайлович не отлучался из Манилы, не раскатывал в колясках и не галопировал по дорогам острова.

Но столичный, манильский «свет» Головнина отнюдь не умилил. Следующим классом после духовенства называет он «гражданских и военных чиновников». Великолепные трутни убивают время «в праздности, курении сигарок и карточной игре, за которую садятся даже с самого утра». Засим следуют купцы, плантаторы, винокуры и сахарозаводчики. Эти тоже не делом обременены, а золотым мундирным шитьем: тугой кошелек обеспечивает им полковничьи и майорские чины.

Розничную торговлю держали в Маниле китайцы. «Они, — усмехается Головнин, — не стыдились с нас просить за вещь в пять и шесть раз дороже настоящей цены». Но Василий Михайлович тут же смягчает упрек: китайцы задавлены налогами. И включаясь в согласный хор самых разных наблюдателей, подчеркивает трудолюбие, искусность китайских ремесленников.

Головнин опять и опять возвращается все к той же теме: об истреблении колонизаторами коренных народов. Мысль эта преследует мореплавателя, не дает ему покоя. Ужели, думал Головнин, даже в безмерном просторе Великого океана нет земли, не попранной европейским насильником?

На Сандвичевы (Гавайские) острова ходил он за свежими припасами. Но была и другая цель — увидеть, как «несколько тысяч взрослых и даже сединами украшенных детей вступают на степень человека совершенных лет».

Гавайями правил Тамеамеа Первый. Ни один европеец не удостоился от Головнина столь пылких похвал. Капитан снимает фуражку: «Необыкновенный человек». Тамеамеа, полагает Василий Михайлович, «всегда будет считаться просветителем и преобразователем своего народа», «природа одарила его обширным умом и редкою твердостию характера».

И верно, напрашивается сравнение с Петром Великим. Крепость, возведенная по всем правилам фортификации. Войска,

---

[1] Сарачинское пшено — рис.

[2] Центральный государственный архив Эстонской ССР. Фонд 2057, опись I, дело 312, листы 128—129 (об).

обученные на европейский лад. Заведение регулярного флота. Приглашение европейцев на службу, но при этом никакого ущерба самостоятельности. Интерес к технической новизне и т. д. На все это, признается Головнин, не мог он взирать «без удивления и удовольствия».

Вот именно — *удовольствия!* Ему всегда было радостно убеждаться в том, что «обширный ум и необыкновенные дарования достаются в удел всем смертным, где бы они ни родились».

Его радует не только энергия Тамеамеа, но и сообразительность, практическая сметка: молодец старик, понаторел в коммерции, черта с два проведут за нос американцы или англичане. А ежели он сам их порой объегоривал, то что же за беда? — улыбается Василий Михайлович. И объясняет: «Ведь тут дело идет о политике и дипломатических сношениях, а при заключении и нарушении трактатов где же не кривят душою, когда благо отечества или, лучше сказать, министерский расчет того требует?»

Не просто умного и удачливого монарха усматривает в Тамеамеа наш путешественник, но и выдающегося представителя народа, который имеет «чрезвычайные способности». Однако фигура семидесятидевятилетнего старца, «бодрого, крепкого и деятельного, воздержанного и трезвого», не застит от Головнина этот самый «чрезвычайных способностей» народ.

Пушкин, отдавая должное Петру, отмечал в нем резкие черты самовластного помещика. Головнин, восхваляя Тамеамеа, говорит о крутых поборах: «Деньги король собирает, когда ему захочется»; «Коль скоро королю нужны какие-либо припасы или другие вещи, то объявляется, чтоб со всех округов или некоторых привезли к нему требуемое так точно, как бы господин дома приказывал своим служителям».

Под пальмами благодатных островов отнюдь не розовела идиллия. Это печалило Головнина. Головнин верил, что все в «руце» Тамеамеа: «Он мог бы облегчить во многом нынешнее тяжкое состояние простого народа, которого теперь жизнь и собственность находятся в полной воле старшин; а сих последних права и преимущества наследственные».

О будущем гавайцев Головнин не гадал, но отгадка не требовала даже кофейной гущи. Архипелаг лежал на столбовой дороге, представлял сам по себе лакомый кус. Англичане и американцы приглядывались к нему и принюхивались. Не отстала и Российско-Американская компания.

Одно такое покушение лопнуло незадолго до появления «Камчатки» в водах королевства Тамеамеа. И лопнуло преконфузно. Историю эту Головнин, конечно, знал, хотя в книге своей изъяснился подозрительно глухо, как бы нехотя. Василий Михайлович помянул неких европейцев и некоего «неосторожного» доктора. И словно сквозь зубы назвал имя: Шеффер.

Георг Шеффер учился в Геттингене. Потом несколько лет служил полицейским врачом в Москве. В отличие от Владимира Ленского Георг Шеффер привез из Германии туманной не воль-

нолюбивые мечты, а пылкую жажду авантюр. Он метнулся в моря, плавал судовым врачом у Лазарева на «Суворове», перессорился со всеми и остался в Русской Америке.

Этого-то вздорного эскулапа, не лишенного, впрочем, некоторой наблюдательности, правитель Русской Америки Баранов вскоре отрядил на Гавайи — завести торговую контору и факторию.

В августе 1817 года (за день до отплытия «Камчатки» из Кронштадта) царю доложили об успехах Шеффера. Царь, не возражая, велел все же оглядеться, то есть выжидать, наводить справки и прочее. Однако уже в начале 1818 года (когда Головнин мыкался у мыса Горн) министерство иностранных дел сочло действия Шеффера несвоевременными, и ставленник компании, не одолев яростного сопротивления конкурентов-янки, убрался восвояси[33].

Впрочем, и Шеффер, и его попытка закрепиться на одном из Гавайских островов — все это уже при Головнине считалось инцидентом исчерпанным. Экипаж «Камчатки» пользовался самым радушным приемом народа; Василий Михайлович определил этот народ одним словом — «*добрый*».

Глава шестая

1

Александр Тургенев, друг Жуковского и Вяземского, писал последнему как о событии: «Мы ожидаем Головнина... Вероятно, ему позволят сказать вслух, что видел, слышал за морями».

Письмо мечено 19 августа 1819 года. «Камчатка» в этот день находилась в шести-семи милях от Ютландии. Неподалеку были Каттегат, Балтика. Две недели спустя моряки, «войдя в Финский залив, вступили в пределы отечества».

На берегу ждали Головнина. Головнин ждал берега. Ожиданье «последнего берега» рождает в морской душе и отраду и светлую грусть. Путешествия дают преимущества. Есть высокая гордость финиша. Но есть и некая опустошенность.

На «Камчатке» по-прежнему правят вахты. Но это уже последние вахты. По-прежнему слышится боцманская дудка. Но в ее посвисте что-то переменилось. По-прежнему обедают, ужинают, пьют чай. Но это уже допивают и доедают. Все властно определяется близким, но еще не совершившимся *прибытием.*

Офицеров ждут родные липы. Да ведь потом опять казарма. И запишет Матюшкин, произведенный в мичманы: «Скучная кронштадтская жизнь, везде барабаны...» Матросов ждут флотские экипажи, шагистика плац-парада. Кто-то будет новым отцом-командиром? И отцом ли будет? Господи, царица небесная, спаси и помилуй от ирода...

Отходило в прошлое то огромное и важное, что зовется кру-

госветным походом. Иссякало с каждой милей плавание, которое не всякому выпадает на долю и не каждому дано одолеть.

Литке, Матюшкин, Врангель убрали в чемоданы свои рукописные журналы. Штурманы Никифоров и Козьмин упрятали в деревянные футляры карты, терпеливо и любовно сработанные в северных широтах Тихого океана. Витым шнуром увязал папки корабельный живописец Михаил Тиханов.

Ему тяжко, он болен. Нет, не физически, а душевно. Судовой штаб-лекарь, глядя на Тиханова, печально качает головой. Что-то будет с Михайлой? Четыре года как закончил курс в Академии художеств. Золотую медаль присудили за картину «Расстрел русских патриотов французами в 1812 году». Капитан Головнин хвалит корабельного живописца. Рисунки будут изданы, имя не канет в Лету. Но медик не зря качает головой: скоро наденут на Тиханова грубый больничный халат, уготован ему желтый дом[34].

Пятого сентября 1819 года «Камчатка» была у Кронштадта. На Большой рейд пришла и положила якорь в шестом часу вечера. Плавание длилось два года и десять дней.

Два года и десять дней не видел Головнин Петербурга. Не кончены хозяйственные расчеты за экспедицию, не раз придется наезжать в Кронштадт. Но сейчас он думает только о ней. Только о ней. И клянет бердовский пароходик: «Экая черепаха!» Черт побери, какое это, наверное, счастье — спешить к любимой!

Частная жизнь Василия Михайловича, к сожалению, почти не восстановима.

Век эпистолярный, семья большая, родственники да свойственники, а поди ж ты, ни лоскутка интимной переписки я не нашел. (Корреспонденция жены Головнина и двух его дочерей, Марии и Александры, хранящаяся в Пушкинском доме, незначительна и относится ко временам более поздним.) Но была она, несомненно была, где-то когда-то желтела и блекла в какой-нибудь шкатулке вместе с огрызком сургуча и старой монеткой, в каком-нибудь комоде, среди бабушкиных кружев, или в коробе на чердаке.

Впрочем, вот рукопись, озаглавленная скромно: «Для немногих» — записки первенца Василия Михайловича, Александра Головнина, известного в свое время либерала, больших «степеней достигшего». «Для немногих» дает немного. Да и то, как говорится, хлеб[35].

Первенец родился в марте 1821 года. Хилый, хворый, до пяти лет не ходил и слова не вымолвил, будто немой. Запомнилась ему полутемная узкая детская, флигель на Галерной улице, тоже узкой и длинной, двор запомнился, залитый водою в ноябрьское гибельное наводнение, запомнилось, как отец просиживал ночи у его постели.

Такие ночи страшнее штормовых. Они теснят грудь невыплаканной жалостью, ты бессилен и клянешь все на свете. Англичанин Лейтон, видный в ту пору медик, генерал-штаб-доктор флота, лечил Сашу Головнина. Но Александр Васильевич Головнин, писав-

ший, как и отец, о себе в третьем лице, говорит: «Только нежной заботе родителей он обязан сохранением жизни».

Еще и еще были дети. Нежная заботливость не всем сохранила жизнь. Дважды Василий Михайлович закрыл глаза своим детям: пятилетней Ираиде и Николеньке, которому от роду насчитывались дни. И дважды бросил горсть земли в маленькие могилки там, в Сергиевском монастыре, близ Петербурга.

Петербург после «Камчатки» он почти уж не покидал, разве лишь для редких отлучек в Гулынки или на три дачных месяца у Финского залива.

Так вот, в Петербург он приехал в сентябре 1819 года. За несколько недель до того Александр Тургенев радовался: «Мы ожидаем Головнина, который заезжал в Святую Елену и жил там два дня. Вероятно, ему позволят сказать вслух, что видел, слышал за морями».

«Заезжал». Однако не жажда поглазеть на удивительного пленника, бывшего императора французов, а жажда пресной воды заставила «Камчатку» подходить к атлантическому острову Святой Елены. Наполеон никого не принимал. Головнина принимал граф Бальмен, русский комиссар, такой же тюремщик Наполеона, как генерал сэр Гудсон Лоу, как французский комиссар маркиз Моншеню. Бальмен жил в доме, который поначалу занимал Наполеон, в той же гостиной, где граф беседовал с командиром «Камчатки», Головнин, слушая комиссара, «воображал, что Наполеон чувствовал, в первый раз вступая в нее!».

Не берусь решать, в каких гостиных Санкт-Петербурга повествовал Василий Михайлович о том, «что видел, слышал за морями». Но известно, что с корабля попал не на бал, а в Адмиралтейство. И еще до того, как стал готовить в печать свою книгу, занялся планами важной экспедиции[36].

Предполагалось отправить исследователей к Ледовитому океану. Один отряд в устье Яны, другой — в устье Колымы: летом обозревать побережья, зимой на нартах искать неведомые острова. Дело намечалось трудное и долгое. От участников требовались именно те качества, что возникают и закаляются в морях: терпение, мужество, сообразительность и выдержка, осмотрительное презрение к опасностям и повседневное презрение к комфорту.

Из «Дневных записей Ф. П. Врангеля» — тетрадь размером нынешней школьной, но грубой, зеленоватой бумаги — узнаешь: в ноябре 1819 года Головнин предложил бывшему подчиненному возглавить колымский отряд, «прибавляя, что он сам будет дирижировать обоими».

«Что могло быть лестнее, — пишет мичман Врангель, — такого предложения молодому офицеру, начинающему только службу свою, и притом от человека, почитаемого всеми необыкновенным по редкому соединению в нем правдивости, рассудительности, обширных познаний и неутомимой деятельности».

«Предложение молодому офицеру...» Вот это и было определяющим: Головнин не боялся рекомендовать молодых, принимая на

себя нравственную и служебную ответственность. Колымский отряд весь вышел из его рук: мичман Матюшкин, штурман Козьмин, матрос Нехорошков. И в унисон с Врангелем восклицает Матюшкин в письме к Энгельгардту: «Не правда ли, Егор Антонович, Головнин прекрасный человек!»[37]

В феврале Головнин представил морскому министру Врангеля и Петра Анжу, начальника усть-янской группы. Маркиз Иван Иванович де Траверсе, как насмешничал Врангель, «...что-то такое пробормотал, кажется, по секрету, ибо его никто не понимал...». А несколько дней спустя после косноязычной аудиенции руководство экспедицией досталось вице-адмиралу Сарычеву.

Спору нет, Гаврила Андреевич Сарычев обладал всеми данными для успешного «дирижирования» полярным странствием: плавал некогда по Колыме, ходил во льдах Восточно-Сибирского моря, был почетным академиком, географом и гидрографом. Умом Головнин все это понимал, да сердцем-то не принял. Уязвила Василия Михайловича столь внезапная «отставка».

Еще до отправки экспедиции, на третьей неделе поста, уехал он из столицы. Уехал в Рязанской губернии Пронского уезда село Гулынки. Ему нужны были отдохновение, «врачующий простор» родной стороны.

Ученики не забывали наставника. Врангель, например, тревожился в Нижне-Колымске: «Хотел бы только знать, что Вас. Мих. обо мне думает или, по крайней мере, что он о нашей экспедиции говорит»[38].

Ученики не забывали наставника. Едва «блуждающая судьба» заносила их на берега Невы, они навещали Василия Михайловича. Навещали и во флигеле на Галерной улице, в домашнем кабинете с примыкавшей к нему обширной библиотекой[39], и в другой квартире — близ Измайловских казарм, — большая зала которой походила на ботанический сад, и у Храповицкого моста на Мойке, и на даче по Петергофской дороге. Словом, и тогда не забыли, когда из подмастерьев стали мастерами.

2

Итальянский дворец живо возник в памяти. Но не в самом Итальянском дворце: корпус давно уж перевели из Кронштадта в Петербург. Исаакиевским мостом или в ялике пересечешь Неву, выйдешь на Васильевском «острову», и вот он, любуйся — длинный фасад со множеством окон, обращенных к широкой реке.

Минуло почти тридцать как оставил корпус. А теперь, видишь, вернулся: помощник директора капитан-командор Головнин. Он идет гулкими коридорами, заглядывает в покои, уставленные койками, в классные комнаты, в актовый зал, во внутренний двор, где гауптвахта... Он неприметно усмехается, чувствуя на себе настороженные и любопытствующие взгляды. Ох, эта орава, готовая валять дурака и мечтать об адмиральских «мухах» на эполетах. Бездельники или усердные зубрилки, шустрые и угловатые,

умные и туповатые. У отроков разные склонности, у вьюношей ломается не только голос, но и характер. Под одну гребенку всех не острижешь.

И офицеры не на один салтык. Павел Новосильский, мичман, еще обожжен ветрами Антарктики: на «Мирном» ходил, в дивизии Фаддея Беллинсгаузена. Ревностный пестун этот мичман. И большой любитель географии. И отличный преподаватель астрономии... Ну-с, а Сергей Александрович князь Ширинский-Шихматов, командир роты? Гм! Говорят, голубиная душа. Оно, верно, так и есть: мармеладом потчует кадет, а если потчует березовой кашей, то непременно вздохнет: «Ах, друг мой, как грустно...» Или выстроит роту и читает, толкует евангелие. Эдак тихо, внятно. Охо-хо-хо, скукота смертная. Сочинял бы свои вирши да пьесы. А то бы в скит, под клобук... Вот математик Кузнецов под стать доброй памяти профессору Никитину, магистру Эдинбургского университета. А инспектор классов капитан-лейтенант Гарковенко — воплощенная пунктуальность. Семь утра бьет, Марк Филиппович тут как тут. На другое утро после венчания, молодую покинув, опять-таки в урочную минуту: «Здравствуйте, господа кадеты!»

Директор наведывается редко, как, бывало, Голенищев-Кутузов. Сенатор, член Государственного совета его высокопревосходительство адмирал Карцов не чаще двух раз в году осчастливливает корпус.

Поначалу усмешливо-снисходительный, помощник директора день ото дня мрачнел: по-прежнему царили «дикий произвол учителей» и «одичалость воспитанников». Большая часть офицеров либо развратничала, либо запойно пьянствовала, либо успешно совмещала и то и другое. Угрястые «двадцатилетние болваны» (понимай: гардемарины) жили в одних покоях, столовались за одним столом с желторотыми кадетиками. Кадетики, «заблаговременно наслушавшись о трактирах, биллиардах, б......х, пунше и т. п., приготовлялись блеснуть на том же поприще».

Математик Павел Иванович Кузнецов нарисовал еще более выразительную картину, мысленно проследив дальнейший «доблестный» путь выпускников корпуса: «Весь этот хаос умудрился сколотиться в какую-то плотную, патриархальную общину с своеобразными нравами, обычаями и преданиями, и машина работала безостановочно, выбрасывая ежегодно известное число офицеров в Кронштадт и Севастополь, где среди карт и попоек, чисто по-эпикурейски, доигрывался последний акт чудовищной драмы».

«Гнусное состояние» корпуса сильно и болезненно поразило Василия Михайловича. Но пробыл он в корпусе недолго. Очевидно, адмирала Карцова не устраивала помощь столь беспокойного помощника. Однако Головнин не унялся. Да и какой же подлинный заботник родного флота смирился бы с подобной «кузницей кадров»? Василий Михайлович никогда и ничего не «разносил» ради удовольствия. В обстоятельной статье «О морском кадетском корпусе» он изложил свои взгляды на обучение будущих моряков. Впоследствии Крузенштерн, сделавшись директором, многое заимствовал у своего товарища.

Хлопоча в корпусе, Головнин и литераторствовал. Выправил корректуры увесистого фолианта о путешествии шлюпа «Камчатка», составил «Записки» о положении колоний Российско-Американской компании, сопроводив их таблицами и приложениями; критически разобрал донесение комитета американскому конгрессу: комитет этот докладывал вашингтонским государственным мужам, что Соединенные Штаты «вправе» завладеть северо-западным берегом континента.

И сверх того решил составить учебник испанского языка. Такого в России не было; брошюрку Лангена «Краткая испанская грамматика» Головнин отверг.

Многим нынешним кадетам, размышлял Головнин, выпадет счастье дальних вояжей. В морях надо читать звездную книгу, на суше — говорить на разных диалектах. «К несчастью, — писал Василий Михайлович, — по неизъяснимой странности, дворяне наши, определившие себя жить в России, знают разные языки и не иначе хотят друг с другом говорить, как по-французски, а из служащих во флоте весьма мало таких, которые знали бы один или два языка, хотя им часто случается быть за границей, где как по делам службы, так и для собственного удовольствия должны они обращаться с иностранцами. Если бы кадеты морского корпуса понимали, как стыдно и больно офицеру, находящемуся в чужих краях, не знать никакого иностранного языка, то употребляли бы всевозможные старания на изучение оных».

Но корректуры, лингвистика, выписки из прочитанного не были главными его занятиями. Он думал о «тех, кто в море». В кабинетной тиши слышал он шум моря. И, подняв глаза от конторки или бюро, видел море. Нет, не поэтически опаловое, а свирепое. Нужна была энциклопедия морских несчастий. Не чтиво, а справочник.

Головнин принялся за перевод компилятивного труда Адама Дункана, того самого, который командовал флотом Северного моря и которого когда-то хорошо знал флаг-офицер русской эскадры лейтенант Головнин.

Василий Михайлович однажды заметил: «Признаюсь чистосердечно, что хотя и люблю страстно все отечественные произведения, но не могу презирать и иностранные, достойные похвалы и подражания». И другое: он работал над произведением иностранным, достойным похвалы; однако излагал Дункан то, чему отнюдь не следовало подражать. Напротив, всячески опасаться и избегать. Сочинение называлось: «Описание примечательных кораблекрушений».

Если бы морская типография в Петербурге напечатала лишь три полутома, вышедшие из-под пера британца, переводчик не подвергся бы никаким нареканиям: чужие беды, чужие несчастья не задевают «патриотов», а шевелят в них что-то похожее на злорадство.

Но, как встарь Курганов, Василий Михайлович не ограничился переводом. Кропотливый исследователь — теперь уже не географ, а историк — он прибавил часть четвертую: «Описание достоприме-

чательных кораблекрушений, в разные времена претерпенных российскими мореплавателями». Василий Михайлович не просто пересказывал разные происшествия со страшным эпилогом, а давал разбор причин аварий и указывал, как следовало бы действовать офицеру в подобных обстоятельствах.

И вот тут-то началось. Ого, как возопили мундирные люди, виновники различных крушений. Теперь они были в больших чинах и не хотели, не желали, чтобы им кололи глаза прошлым. Как они вознегодовали, как брызнули слюной! Еще бы: Головнин осмелился вынести сор из избы. Как же так, господа? Да у нас в России все распрекрасно. А ежели когда и попутал бес, то зачем же тащить напоказ? А что ж в европах-то скажут, ась? Разве ж так поступают благонамеренные сыны отчизны?

Один из флагманов даже учинил над Головниным расправу по всем правилам российского помещичьего самодурства. Этот мрачный юморист пригласил на парадный обед высших офицеров. Когда гости уселись, хозяин объявил: «Прежде всего, господа, прошу вас быть свидетелями приготовленной мною торжественной церемонии». Он хлопнул в ладоши, и два денщика внесли в столовую... маленький гроб. Хозяин снял со стены портрет Головнина, положил во гроб, накрыл крышкой. И возгласил: «По сие время были мы друзья, но отныне он в моем сердце навсегда умер». Собравшиеся рукоплескали и пили за здоровье хозяина дома.

Головнин пожимал плечами. Сделал доброе дело, полезное пособие получат все, кто вправду тянет корабельную лямку. А тут... Черт знает что!

Римский император Август, настрадавшись от шторма, жестоко рассердился на Нептуна и приказал убрать его статую. Об этом писал Монтень в своих «Опытах», в главе «О том, что страсти души изливаются на воображаемые предметы». Головнин не был воображаемым предметом, но распалившиеся чины с удовольствием «вынесли» бы его вон.

Он огорчался. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. И оправдывался такими очевидностями: «Всякое сочинение потеряет все свое достоинство, если будет наполнено одними похвалами и если в нем будут скрыты недостатки».

Обращался Василий Михайлович и к адмиралу Шишкову, первому члену Государственного адмиралтейского департамента. Письма получились предерзостные. Сперва, будто разгоняясь, Головнин выразил недоумение по поводу столь жаркой реакции «некоторых из господ морских генералов и старших капитанов». Потом подчеркнул: уж коли кто захочет принимать критику на свой счет, пусть, мол, и принимает. И наконец, извинившись проформы ради, сделал выразительную иллюстрацию к пословице «На воре и шапка горит»: «Приятель мой рассказывал, что ему случилось когда-то с одним из своих знакомых идти по Фонтанке. Знакомый между разговором спросил его, умеет ли он при первой встрече отличить честных женщин от распутных. Тот ему отвечал: «Нет!» — «А я умею,» — сказал он. Между тем подошли они к плоту, на котором прачки мыли

белье, тогда знакомый моего приятеля сказал им: «Бог помощь вам всем: честным женщинам и б....м!» Тут некоторые из них, поклонясь, отвечали: «Спасибо, добрый человек», а другие вскричали: «За что бранишься, пес!»

Угрюмый Шишков откликнулся тотчас: он нашел, что Головнин позволил себе «много сатирического на счет флотских чинов», что «подобные сатиры не научают, а только оскорбляют» и что «таковые вещи не долженствовали бы печататься».

Шишков не ограничился письменным выговором. «Пес» бранился и в Российской Академии, президентом коей состоял уже десять лет. Российская Академия (не смешивать с Академией наук), занимаясь вопросами русской словесности, «выспалась» присудить автору записок о Японии золотую медаль. Но теперь и речи о ней не было. Медаль Головнину не дали.

Долгие годы «Описание кораблекрушений» привлекало моряков. Впрочем, не только моряков. «Я в это время читал замечательную книгу, от которой нельзя оторваться, несмотря на то, что читал уже не совсем новое», — много-много лет спустя скажет автор «Фрегата «Паллада» и «Обломова». Гончаров имел в виду «Описание кораблекрушений»[40].

Головнин не давал себе роздыха. Он занялся оригинальными трактатами: «Тактика военных флотов», «Искусство описывать приморские берега и моря»... Оба остались недоношенными — Василия Михайловича перевели на другую должность, которая и поглотила без остатка все его время.

3

«Крадут» — так энергично и горестно отвечал Карамзин на вопрос: что делается в России?

«Крадут» — подтвердил бы и новый генерал-интендант российского флота Василий Михайлович Головнин.

Доволен ли он был своим назначением? Если высшие сановники не терпели малейших упоминаний о внутренних непорядках (столь закономерных, что обратились в порядки), то они же неохотно назначали на должность тех, кому эти должности подходили по умственным склонностям, по свойствам характера.

Вот, например, Жуковского, хмуро острил Вяземский, ни за что не поставили бы попечителем учебного округа, а коли б мирный Василий Андреевич настаивал, интриговал, то, смотришь, сделали бы бригадным. «Особенно в военное время», — приперчивает Вяземский.

С Головниным, думается, поступили почти в эдаком роде. Конечно, испытанный водитель военных кораблей знал флотское хозяйство, флотские нужды куда основательнее берегового «крапивного семени». Капитан-командора трудненько было провести на мякине. И все же флот выгадал бы больше, оставайся Головнин на палубах.

Но «по долгу присяги»... Да уж больно «отчетливо» понимал свой долг этот упрямец. Никак не хотел взять в толк, что существуют неизреченные канцелярские правила, что сухая ложка рот дерет, что служащий во храме от храма и кормится.

Чем глубже погружался Головнин в чернильный омут всяческих делопроизводств, тем яснее сознавал простую вековечную истину: глагол «брать» никаких пояснений не требует. Так же, как глагол «пить» отнюдь не означает утолять жажду брусничной водой.

Чем больше общался Головнин с адмиралтейской чиновничьей братией, тем сокрушительнее сознавал и другую истину — в формулярных списках, в графе: «Достоин и способен», чаще всего следует выставлять: «Достоин омерзения. Способен к любой подлости».

Усталый той нервной усталью, которую нелегко избыть, раздраженный, с ощущением собственной беспомощности, Василий Михайлович возвращался домой.

Он пытался рассеиваться сатирой. Писал: «О злоупотреблениях в Морском ведомстве существующих». Классифицировал: «Оные суть трех родов: 1) злоупотребления необходимые; 2) злоупотребления неизбежные; 3) злоупотребления тонкие, то есть обдуманные и в систему приведенные». И еще собирал он «перлы», курьезные «Примеры важности занятий государственной коллегии!!!».

Примеры были хоть куда: «дело о лопате» стоимостью в полтинник извело бумаги и сургуча на полтора рубля. Или: «Адмиралтейств Коллегия по выслушании рапорта о приеме на щет казны молота и крюка, стоящих 40 копеек, приказали: дать знать Исполнительной Экспедиции, что на испрашивания ею сим рапортом принятию на щет казны показанных молота и крюка, опущенных по нечаянности в воду, стоящих 40 копеек, Коллегия согласна».

Смешного много. Мало веселого. Головнин задумывался. В конце концов, почему он мечет громы и молнии на мелкую сошку, на весь этот люд с протертыми локтями? Что с них спрашивать? Как спрашивать? «Полунагие и голодные содержатели казенных вещей видят, что наибольшие над ними, имеющие достаточное содержание, огромные аренды, великолепные от казны помещения, сами себя рекомендующие к наградам, пользуются незаконно казенными экипажами, лошадьми, людьми, которых употребляют к возделыванию садов и огородов, платя им от казны хотя не деньгами, но провизиею, нанимают для детей учителей на жалование, чиновникам по особым поручениям положенное, и проч. и проч.»

Он отпирал ящик со списками запрещенных стихов.

Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру —
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.

Словно бы лучом проникаешь в душу человека, давно сошедшего «под вечны своды», когда в бумагах его находишь эти пушкинские стихи[41]. Вот он сидит где-то там, у себя, в креслах, в сумеречной комнате; тишина, разве слуга брякнет печной дверцей или служанка зазвенит посудой. Он сидит, немолодой уже офицер, усталый, насупленный, сидит, читает:

Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! Трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Порох в пороховницах был.

Освободители Европы освободились от шор. Они очутились на другой исторической высоте. Оттуда виделось дальше и шире. Война, по мнению строгих дисциплинистов, «разбалтывает» войска. Война, по мнению строгих государственников, «разбалтывает» души. Во время войны с этим мирятся и дисциплинисты и государственники. После войны они переходят в наступление. «Надо выбить дурь из головы этих молодчиков», — требуют аракчеевы.

Александр Первый дал заговору созреть. Тем самым Александр Первый дал хороший урок будущим тиранам. Смысл урока прост: глядите в оба за победителями в освободительных войнах: они побеждены духом освобождения.

В первый «береговой» год Головнина — 1820-й — Петербург взволновали измайловская и семеновская истории. Великий князь Николай Павлович оскорбил офицера-измайловца; его товарищи в знак протеста подали рапорты об отставке — пятьдесят два рапорта. Полковник Шварц замордовал Семеновский полк; солдаты-семеновцы взбунтовались.

«Подтягивания» и «фрунт», «шагистика» и «чистота ружейных артикулов» унижали не трудностью исполнения. И даже не голой бессмысленностью. Унижала и возмущала осмысленность обессмысливания. Аракчеевский барабан терзал армейцев. Но еще больше флотских. Армия и прежде удостаивалась прусской школы. Флот ее не знал и знать не желал. Палуба не могла обратиться в манеж; матросы не могли «налево кругом» ставить и убирать паруса. Глаз опытного морского офицера ласкала не «грудь колесом», а проворство, сметливость, неутомимость.

Военная молодежь знала Головнина. Не только по книгам, но и очно. И Головнин знал молодых офицеров. Не только служебно, но и по-домашнему.

Феопемпт Лутковский жил у Василия Михайловича. Шурин после «Камчатки» вторично обогнул земной шар на «Аполлоне», потом его определили «для особых поручений» к генерал-интенданту флота. Феопемпт коротко сдружился с Дмитрием Завалишиным; тот осенью 1824 года вернулся из дальних странствий, был полон замыслов, Головнину весьма интересных. Дружил Феопемпт и с офицерами Гвардейского флотского экипажа, с теми, кто 14 декабря вывел на Сенатскую площадь более тысячи матросов.

Ко всем этим людям тоже можно отнести пушкинское «витийством резким знамениты, сбирались члены сей семьи». Собирались они и у Феопемпта, в доме Головнина.

Интендантские обязанности часто приводили Головнина в Кронштадт. Все там, как выражается современник, были знакомы «вдоль и поперек», сохраняли даже в больших чинах старинные, корпусные прозвища (Макака, Корова, Рыбка, Бодяга), живали артельно, все почти люди малого достатка. Кронштадтская публика не терпела фрунтовые занятия, «обучая» матросов маршировке с вытянутыми носками и прямыми коленами, командовала: «По-прошлогоднему от кухни заходи!» Или: «Валяй, братцы, по-вчерашнему!»

Столичное тайное общество не представляло тайны для кронштадтцев. Агитационные песни Рылеева негромко распевали не только в кают-компаниях, но и в матросских углах.

Из прежних подчиненных Василия Михайловича служил в Кронштадте лейтенант Матюшкин (он, Врангель и Козьмин уже завершили полярную, колымскую экспедицию); Федор Федорович не порывал связей с «лицейской республикой», виделся с Вильгельмом Кюхельбекером. Очень вероятно, что именно Матюшкин ссужал Головнина запрещенными стихами Пушкина...

Нередко посещал Головнин дом у Синего моста, на набережной Мойки — дом Российско-Американской компании. Весною 1825 года Василий Михайлович связался с компанией, что называется, организационно: Головнина избрали членом Совета акционеров.

Кондратий Рылеев, служащий компании, жилец первого этажа дома на Мойке, так писал своему приятелю, тоже участнику тайного общества: «Засим предложено было о избрании члена Совета, и все единогласно избрали В. М. Головнина. Етому выбору я очень рад. Знаю, что он упрям, любит умничать; зато он стоек перед правительством, а в теперешнем положении компании ето нужно. Говорят, что он за что-то меня не жалует; да я не слишком етим занимаюсь: так, хорошо; не так, так мать твою так — я и без компании молодец: лишь бы она цвела».

Характеристика не восторженная. Тем ценнее зерно рылеевского отзыва: Головнин не гнет выю, Головнин «стоек».

Прослеживается цепочка знакомств, очерчивается вполне определенный круг. Степень личной близости Головнина к тем или иным декабристам была различной, как это и вообще бывает в отношениях между людьми. Идейная же близость Головнина к декабризму вне сомнений. Но есть и некоторые доказательства его практического участия в планах тайного общества.

Дмитрия Завалишина, моряка, путешественника, ученого, принял в общество Кондратий Рылеев. Завалишин прямо указывает на сходство своих воззрений с настроениями и взглядами Василия Михайловича. Больше того, Завалишин утверждает, что Головнин был «членом тайного общества, готовым на самые решительные меры». Какие же? Завалишин поясняет: «Головнин предлагал по-

жертвовать собой, чтобы потопить или взорвать на воздух государя и его свиту при посещении какого-либо корабля».

Завалишин, вспоминая об этом, ссылался на декабриста Лунина. О Лунине у Пушкина сказано: «Тут Лунин дерзко предлагал свои решительные меры». Рисуя лунинский профиль, поэт тотчас пририсовывает кинжал, символ цареубийства.

Многие арестованные декабристы дали в Зимнем и Петропавловке слишком откровенные и слишком пространные показания. Лунин, напротив, держался крайне осторожно и сдержанно. Кто знает, не был ли Головнин спасен благородным и мужественным подполковником лейб-гвардии Гродненского гусарского полка? И все же трудно отделаться от подозрения, что Завалишин преувеличил «терроризм» Головнина. Если Василий Михайлович и склонялся к насилию, то скорее придерживался не цареубийства (да еще такого, при котором погиб бы экипаж корабля, не говоря уж о нем самом), а скорее подумывал о вывозе царской фамилии за границу. Мысль эта возникала среди моряков декабристского толка...

Годовой период — конец восемьсот двадцать четвертого, конец восемьсот двадцать пятого — один из напряженнейших в жизни Головнина. Напряженность определилась грозным ноябрьским наводнением. Петербург и Кронштадт пострадали ужасно. (Примечательно: ни одна газета не сообщила о том, чему свидетелем и очевидцем явилось многотысячное население! Что за глупейшая манера умалчивать даже о тех бедствиях, в которых повинен лишь господь бог?) Стихия загубила десятки жизней, разрушила десятки домов, разорила сотни семей. Флотскому хозяйству нанесен был урон, какой не снился неприятельским эскадрам. В Кронштадте смыло портовые укрепления, унесло сорок семь пушек, выбросило на мели корабли. Всяческие припасы, биржи строевого леса, баркасы, яхты, шлюпки раскидало чуть не на сто верст по берегам.

Большую часть Петербурга затопило. Адмиралтейство, казармы в Галерной гавани, верфи, Морской корпус — ко всему приложилось «наглое буйство» Невы и ураганного ветра.

И все требовало неустанных забот генерал-интенданта флота. Забот хватило не на месяц — на несколько лет. И наверное, было о чем посоветоваться со старинным другом: в канун нового, двадцать пятого года Василий Михайлович потчевал праздничным домашним обедом Петра Ивановича Рикорда. Впрочем, не только о бедствиях стихийных шла речь.

Как раз 31 декабря 1824 года Головнин написал коротенькое предисловие к сочинению некоего мичмана Мореходова. «Необыкновенное и странное положение, до коего ныне доведена Россия, — говорил Головнин, — и всеобщий ропот во всех состояниях, по целому государству распространившийся, произвели между прочими политическими мнениями разные суждения и толки насчет морских наших сил». Далее Василий Михайлович предупреждает, что мичманское звание не благоприятствует авторству: мичман-де, по мнению публики, всего лишь «молодой неуч». Однако читатель

возьмет сочинение не безусого офицерика, но морского человека, прожившего почти полвека и совершившего несколько походов.

За мичманом Мореходовым... стоял Головнин. Официальный пост понуждал к псевдониму. «Описанием кораблекрушений» он нажил себе врагов. А «Записки мичмана Мореходова» грозили ему куда больше. Они были гневными, сатирическими, исполненными неподдельного патриотизма. Нигде так ясно и четко не высказался Головнин-критик, как в очерке «О нынешнем состоянии русского флота». Страшно молвить: даже священную августейшую особу не пощадил.

Он сразу берет быка за рога: «Если бы хитрое и вероломное начальство, пользуясь невниманием к благу отечества и слабостью правительства, хотело по внушениям и домогательству внешних врагов России, для собственной корысти, довести разными путями и средствами флот наш до возможного ничтожества, то и тогда не могло бы оно поставить его в положение более презрительное и более бессильное, в каком он ныне находится».

Круто положен руль! Лобовое обвинение государственных мужей в государственной измене. Зорким, наметанным оком окидывает Головнин организм, именуемый флотом. Твердой рукой рисует картину адмиралтейской бестолковщины. Бестрепетно, как скальпелем, вскрывает секретнейшие «ходы» подрядчиков, поставщиков дряни и гнили. Изобличает флотские «дымовые завесы»: на пути следования государя из Петербурга в Кронштадт расставлены корабли с одним лишь выкрашенным бортом. Обнажает механику закулисных сделок по принципу «ты — мне, я — тебе», систему родственного патронажа, засилие ни к чему не годных иностранцев.

И что же? Каков результат?

Флотовожди, выжившие из ума развалины, обратили Кронштадт в «морскую богадельню». И добро бы прели в халатах, посасывая трубки. Так нет ведь: молодых не пускают, не объедешь, не перепрыгнешь. «Теперь в русской морской службе нет ни одного адмирала, сколько-нибудь годного командовать флотом». Адмиралы под стать генералам. «Не могу вспомнить без досады и огорчения случившееся со мною однажды на вахтпараде. Близ меня стояли два англичанина, из коих один недавно приехал в Россию, а другой — купец, долго живший в Петербурге и мне весьма коротко знакомый человек. Когда мимо меня шел кавалергардский взвод, то новоприезжий спросил: «Что это за люди в зеленых мундирах, которые маршируют со взводом?» И, услышав, что это были генералы, вдруг сказал с удивлением: «Как! Четыре генерала выступают такими гусями с дюжиною солдат?» На сие товарищ его заметил, что в России генералы очень дешевы и не хочет ли он отвезти их целый корабельный груз из барыша в Англию. На что он отвечал: «Нет, это самый плохой товар в России, с которым, наверно, будешь в накладе. Вот если б солдат привезти, то была бы прибыль!»

Добро. Начальство, конечно, «фактор». Но есть же боевые ко-

рабли? О да, конечно. И Головнин гвоздит: корабли подобны распутным девкам. «Как сии последние набелены, нарумянены, наряжены и украшены снаружи, но, согнивая внутри от греха и болезней, испускают зловонное дыхание, так и корабли наши, поставленные в строй и обманчиво снаружи выкрашенные, внутри повсюду вмещают лужи дождевой воды, груды грязи, толстые слои плесени и заразительный воздух, весь трюм их наполняющий».

Одного за другим представил капитан-командор морских министров России: Кушелев — скудный умом; Чичагов — подражатель англичанам, «самого себя считал ко всему способным, а других ни к чему»[42]; Траверсе — лукавый царедворец, озабоченный лишь желанием ублажить государя парадностью; наконец, Моллер — воплощенное ничтожество, вор и покровитель воров. Лишь одного Мордвинова пощадил Головнин, но тут же оговорился, что просвещеннейший Николай Семенович манкировал своими обязанностями, занимался всем, да только не флотом. (Мемуаристка, дочь Мордвинова, объясняет это интригами врагов.)

Последний раздел памфлета — страстная защита самой идеи необходимости русского флота. Не ломился ли он в открытые ворота? Защищать идею флота после Петра, после стольких государственных услуг, оказанных флотом, после защиты Петербурга от шведов? Нет, идея нуждалась в обороне. Не однажды слышались голоса о напраслине содержания морских сил. Голоса звучные, сановные, уверенные, хорошо поставленные. Флот необходим, доказывал Василий Михайлович, но флот подлинный, боеспособный, обученный, снаряженный. А если сам император этого не понимает... Если так, то приходится согласиться, что «не на всех тронах сидят Соломоны».

Доведись Александру Павловичу прочитать «Записки мичмана Мореходова», царь мог бы сказать то же, что скажет впоследствии его младший брат, император Николай Павлович, посмотрев «Ревизора»: «Всем досталось, а больше всех мне».

Однако ни Александр, ни его преемник не прочли записок... Беда иной литературы, язвил Вяземский, состоит в том, что мыслящие люди не пишут, а пишущие не мыслят. Не худо добавить: беда состоит еще и в том, что, когда мыслящие люди пишут, их не печатают. Рукопись Василия Михайловича попала в типографию десятилетия спустя[43].

Его взгляды и требования, его боль и мука были тождественны декабристским. Моряки-декабристы из крепости указывали на те же язвы, на которые указывал он в домашнем одиночестве.

Но желание делать хорошую мину при плохой игре — смертный грех официальной России. Годы и годы минули после Севастополя, после Крымской войны, народился флот паровой и броненосный. Однако бюрократия, косность, лихоимство существовали, как и во времена Головнина. И опять были трезвые люди, предсказывающие Цусиму. Но с физиономии официальной России по-прежнему не сходила «хорошая» мина.

4

Как жить? Чем и зачем жить?

Не сразу все это поднялось в рост. Сперва был страх. Унизительный и беспощадный. Ни с чем не сравнимое, особое свойство у особого страха, который мнет душу перед арестом. Такого не испытаешь ни в бою, ни в штормовую ночь.

Если верить Завалишину, Василию Михайловичу, конечно, следовало ждать фельдъегерскую тройку. Если не верить Завалишину, то все равно следовало ждать: могли подозревать, могли донести. Подозревать было в чем, доносить было о чем.

Ожидание ареста хуже ареста. Военная храбрость не однозначна с гражданской, как смерть на миру со смерью в каземате... И фельдъегерь явился. Не за капитан-командором, а за лейтенантом Феопемптом Лутковским. Должно быть, в ту минуту капитан-командор ощутил мгновенную постыдную радость и постыдное облегчение. Но следом накрыла его, как вал, набежавший с кормы, тяжкая печаль: Феопемпта он любил.

Потом он узнал, что его родственника, его офицера для поручений, всего-навсего отослали на Черное море[44].

Сверстники и товарищи Феопемпта сидели в крепости. По выражению Бенкендорфа, процесс над декабристами вели с «возможной степенью законности и гласности». Восхитительное бесстыдство: «возможная степень», и шабаш.

Летом 1826 года верховный уголовный суд «совершил вверенное ему дело». В тринадцатый день июля пятерых повесили. День выдался светлый, играл военный оркестр. Приговоренные не дрогнули. Царь сообщил маменьке, «порфироносной вдове»: «Гнусные и вели себя гнусно, без всякого достоинства».

В тот же день флот простился с моряками-декабристами. Гражданская казнь была исполнена на адмиральском фрегате. Ритуал ее во всех деталях не потяготился составить «рыцарственный» государь.

Ударила пушка. Не обычная, не заревая — зловещая, как сигнал с тонущего судна. На крюйс-стеньге флагманского корабля поднялось черное полотнище. К Большому кронштадтскому рейду приблизился пароход «Проворный». Он привел на буксире баржу с осужденными. Осужденные поднялись на фрегат. Их было пятнадцать. Среди них и те, кого Головнин, несмотря на разницу в возрасте, считал товарищами: капитан-лейтенант Николай Бестужев и лейтенант Дмитрий Завалишин. Фон Моллер, брат министра, приготовился читать приговор: каторга, каторга, каторга. И тут в ритуале, составленном государем, произошла заминка: экипаж фрегата бросился обнимать «злодеев». Едва навели порядок, Моллер торопливо прочел приговор. Матросы утирали кулаком слезы. Над осужденными переломили шпаги. Они сняли мундиры, надели старые солдатские шинельки. Пароход «Проворный» увел в Питер баржу с каторжанами.

Пушкин говорил: повешенные повешены, но каторга друзей

ужасна. Он выразил чувства многих; однако никто из-за этого ужаса не кончал самоубийством. Декабристы без декабря продолжали служить, обедать, спать с женами. И все ж не жили так, как жили прежде.

Вяземский говорил: мы были лучами одного светлого круга. Светлый, чистый диск потух, исчез. Натекли сумерки, жуткие, как в остроге. В сумерках маячила петропавловская виселица. Ее косые тени беззвучно гнались за уцелевшими.

После 14 декабря Головнин не брался за перо. Сатирические чернила в его чернильнице пересохли. Он умолк и молча продолжал служить. Служил почти исступленно. Повседневным глушат мятежи сердца. Обыденным заменяют высокие порывы, как привычкой — счастье. «Теорию малых дел» исповедуют всякий раз, когда рушатся неличные надежды, когда на площади торжествует палач, а в душе — мораль: «Плетью обуха не перешибешь», «Сила солому ломит», «Своя рубаха ближе к телу» и проч.

Головнин молчал. Но дома, в четырех стенах, среди своих не выдерживал... В рукописных мемуарах его сына есть знаменательные строки, посвященные матери: «Вообще она сохранила к государю большую признательность и находила несправедливыми упреки, которыми его осыпали и во время его жизни и особенно после смерти». (Евдокия Степановна, овдовев, осталась с пятью детьми и долгами в шестьдесят тысяч ассигнациями; Николай назначил ей пенсию.) Но важнее иное: упреки в адрес Николая при жизни Николая! Кто бы на них осмелился в присутствии Головниной, как не сам Головнин? Кто посмел бы «осыпать упреками» самодержца, учредителя регулярного политического сыска, как не муж с глазу на глаз с женой? Однако мемуарист, думается, поделикатничал. Упрекают ветреную любовницу; вешателей проклинают.

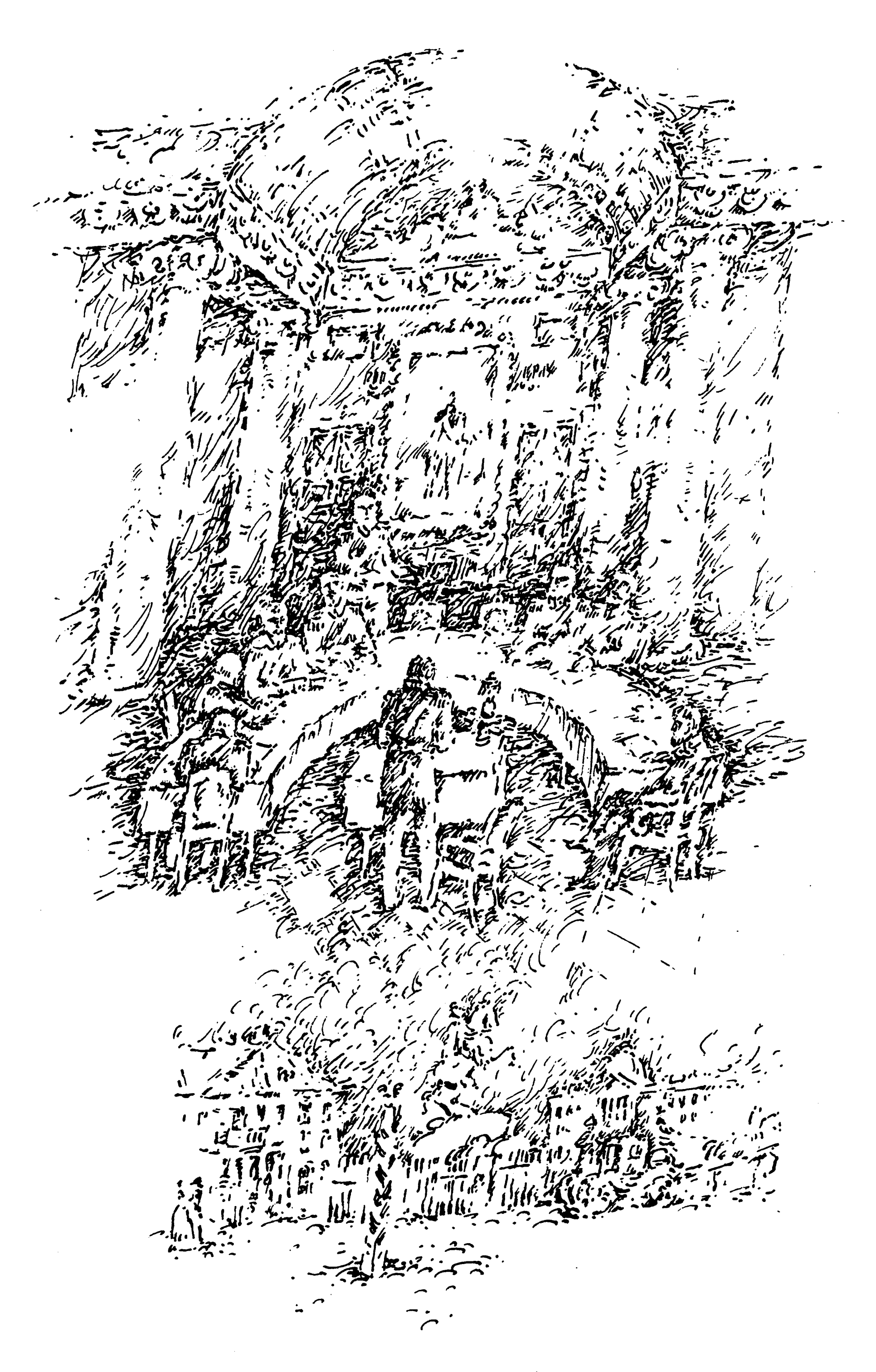
Итак, он продолжал служить.

Некий деятель однажды иронически «оплакивал» так называемую морскую науку. Николай Первый был последовательнее: презрительной слезою кропил он любую науку. Сын своего отца и брат своих братьев, он отвергал все дисциплины, кроме строевой. «Мне не нужны умные, мне нужны послушные».

Дивизионный генерал стал императором. Но император не перестал быть дивизионным генералом. «Дивизией» оказалась вся Россия. В России следовало установить порядок, как в казармах Второй гвардейской.

Но тут вот что надо иметь в виду. Поразительное невежество Николая, его жестокость и злопамятность известны. Однако крылась в нем и природная способность дипломатничать, пользоваться обстоятельствами. Качества эти с годами улетучились: Николая опоили лестью его приближенные, которые боялись говорить правду и не боялись лгать, но лгать так, чтоб непременно поддакнуть царским намерениям. Все это, конечно, не спасает Николая от «высшего судии» — Истории.

Коронуясь в Москве под громкий и звучный колокольный



звон и уже стихающий в отдалении окаянный звон кандалов, новый самодержец еще обладал некоторым умением разбираться в людях, а равно умением обворожить их. (Черты, нередко свойственные «начинающим» деспотам. Утвердившись, они окружают себя посредственностями: на блеклом фоне и медяшка блестит золотом.)

Так вот, принимая в «команду» Россию, император Николай обратил взоры и на Морское ведомство. Был учрежден Комитет образования флота. Членами комитета Николай назначил таких блистательных капитан-командоров, как Крузенштерн, Ратманов, Беллинсгаузен, таких сведущих адмиралов, как Пустошкин, Грейг, Рожнов. Кончилась долгая горчайшая опала прославленного флотоводца Дмитрия Николаевича Сенявина.

В Морском ведомстве пошли административные преобразования. Некоторые из них Головнин одобрял, в других сомневался. Но теперь-то ему уж было к кому обращаться, с кем разговаривать: в комитете — настоящие моряки, настоящие ревнители морских сил.

Однако и при таких товарищах Головнину приходилось солоно. Непреклонную честность, прямоту и решительность суждений, суровую преданность долгу венчают лаврами хрестоматийные жизнеописания. А в быстротекущей жизни обладатель таковых достоинств обрастает недоброжелателями, как корабль ракушками, замедляющими ход. И так же, как корабль, стерегут его коварные рифы и предательские мели. Василию Михайловичу не долго пришлось дожидаться встречи с ними.

Головнина-мореплавателя нельзя было не уважать. Головнина-писателя нельзя было не признавать. А Головнина-чиновника нельзя было не опасаться. Он не давал «брать», не давал греть руки. Такой генерал-интендант доставлял слишком много хлопот, слишком много неудобств. Отделаться от него махом случая не представлялось. Зато подворачивались случаи язвить, ранить душу.

Должно быть, не без «подходов» фон Моллера, конечно, знавшего, как Головнин расценивает его «духовный облик», Василий Михайлович не был назначен членом Комитета образования флота.

То было утеснение моральное. Оно как бы продолжало утеснение материальное. Дело-то в том, что «Путешествие на шлюпе «Камчатка» давно отпечатали и распродали. Головнину полагались законные триста экземпляров. Но автору показали кукиш. Автор лишился семи с половиной тысяч. Сумма кругленькая. Особенно для того, кто существовал с чадами и домочадцами на жалованье, ничего не урывая от казенного пирога.

Правда, Головнин удостоился ордена Владимира 2-й степени. Но Василий Михайлович был русским человеком, а Лесков тонко заметил, что «эти самые русские люди, которые так любят получать медали, звания и всякие превышающие отличия, сами же не обнаруживают к этим отличиям уважения и даже очень любят издеваться». Да к тому же никаким орденом не заткнешь дыры в

бюджете. А семейный бюджет хромал. Головнин далеко был от Гулынок, да и Гулынки далеко не были рогом изобилия.

Куда больше «высокомонарших» наград заботила Василия Михайловича предстоящая в конце 1826 года баллотировка. Процедура, возникшая в Венеции при выборе дожей, держалась двести лет (с перерывами) в русском флоте при выборе должностных лиц. Результаты офицерского голосования обычно утверждались высшим командованием.

У Головнина были веские основания опасаться поражения. Если на морях его пощадили черные ядра, то в Адмиралтействе его не пощадили бы черные шары. Он знал недругов открытых, догадывался о скрытых. Провал на баллотировке лишил бы его контр-адмиральского чина. Но и не это главное. Провал лишил бы его возможности продолжать службу: честь потребовала бы отставки.

Скрепя сердце Василий Михайлович написал рапорт. Обратился к Моллеру, заправлявшему флотом. К тому самому, которого презирал всеми силами души.

Головнин напрямик заявил Моллеру: «А судьи кто?» Если б эти люди «мнение свое излагали гласно», то «во избежание стыда», глядишь, и сказали бы истину, однако «при баллотировке невидимая рука врагов, не боясь поношения, может втайне вредить невинному и навсегда пребыть в неизвестности». А потому Головнин предлагал без баллотировки «переименовать» его (как это практиковалось) в генерал-майоры, «буде вышнее начальство признает меня для морской службы неспособным».

И «вышнее» начальство не постыдилось признать негожим для корабельной палубы того, кто совершил тридцать одну кампанию, дрался на Балтике и в Средиземном море, огибал под парусами земной шар. Василия Михайловича Головнина «переименовали» в генерал-майоры. Истым морякам понятна вся оскорбительность подобных «переименований». Только на краю могилы Василий Михайлович вновь получил морской чин — вице-адмирала — в декабре 1830 года.

А Комитет образования флота между тем заканчивал «образование» Морского ведомства. Не стану рассматривать перемены и перетасовки должностной колоды; тузы остались тузами, двойки и тройки — самими собою. Перечислю то, что отдавалось в ведение генерал-интенданта Головнина: постройка и ремонт кораблей, заготовление припасов, снабжение всеми видами довольствия личного состава, управление корпусом морской артиллерии, инспекторский надзор за корабельными инженерами, арестантскими ротами, рабочими и ластовыми экипажами*.

Огромное, сложное, запутанное и запущенное хозяйство взвалили на Головнина. Будь, мол, Василий Михайлович, и семи пядей во лбу, и двужильным. Он писал: «Не имею ни днем, ни ночью покоя, ни в праздники отдохновения; дела мои такого рода, что

---

* Ластовые экипажи обслуживали мелкие портовые суда.

и в болезни должен ими заниматься; при всем том нахожусь в ежечасной опасности, чтобы не подпасть под взыскание или к ответу не за себя, а за других».

Так минули годы.

Далеко разбросало прежних соплавателей. Иные уже встали на мертвые якоря. Но многие еще были в упряжке.

Вот Петр Иванович Рикорд, одногодок, не бросает палубы. Командует эскадрой в Средиземном море, эгейские зори золотят паруса его кораблей, аттическая соль если и не в приказах по эскадре, то на губах. Завидное дело досталось и Петру Ивановичу и его подчиненным, в числе коих Федор Матюшкин: помогать повстанцам-грекам в праведной битве за независимость от турецкого султана. «Борись за свободу, где можешь», — писал покойный Джордж Байрон. Полного тебе ветра, Петр Иванович, любезный сердцу старый товарищ. А вернешься, зададим мы с тобою молодецкую пирушку. И добром помянем, кого следует добром поминать.

Давно оперились ученики. Глядишь, и учителя обгонят. Литке Федор уже капитан первого ранга, недавно вернулся из кругосветного похода, открытия сделал в Тихом океане, потрудился славно. А Врангель на Ситхе: правитель Русской Америки. Надеется «поднять» колонии. Дай-то бог, дай-то бог. Но верится с трудом. Отчего ж с трудом верится? Может быть, стареешь, Василий Михайлович? Минуло пятьдесят пять, ты скоро обратишься в одного из тех замшелых пней, которых сам же всегда ругательски ругал. Старость подкрадывается, как туман в ночи. Не уследишь, не приметишь — пожалуйте, господин адмирал, на погост. Полноте! Здоров ты, совершенно здоров. Ну, колено побаливает, давным-давно, при побеге из японской тюрьмы, ушиб колено, вот и побаливает. Да ревматизм грызет к непогоде, обычная морская хворь. И плевать тебе на старость. Что старость — на старуху с косой и то плевать! Да, да, улизнул от тлена и праха, пусть и могила исчезнет, но вечно пребудет карта мира: среди Курильских островов гуляют волны пролива Головнина; Берингово море гложет скалистую бухту Головнина, что на полуострове Сьюард в Северной Америке; на Новой Земле тучи, набухшие снегом, мрачно влекутся поверх горы Головнина, Ледовитый океан шершаво оглаживает мыс Головнина...[45]

В исходе мая 1831 года семейство вице-адмирала оставило зимнюю квартиру: Василий Михайлович нанимал двухэтажную дачу по Петергофской дороге.

Лето пало знойное, безветренное. Душно было и мглисто. Финский залив спал летаргическим сном. Небо приняло зловещий оттенок. Во всем чудилось что-то грозно-неотвратимое.

Лето тридцать первого года означилось черным, долго памятным событием: холерной эпидемией, поразившей несколько губерний. В середине июня «Санктпетербургские ведомости» сообщили о вспышке страшной болезни в столице. Моровое поветрие понеслось быстро, как верховой пожар в сухом бору.

Загрохотали валкие больничные фуры. Полиция хватала каждого, кого подозревала «холерным». Госпитальные палаты ломились. Мертвецов не поспевали оттаскивать в сараи, заменявшие морги. Случалось, тащили и полуживых.

Медики с ног сбивались. Они пользовали народ какими-то мушками и микстурой меркурия. Народ не верил ни лекарям, ни снадобьям. Обезумевшие люди громили больницы и калечили докторов. Шелестел слух, что заразу напустили поляки. Потом всплеснула молва, что пагубу напустили «злодеи 14 декабря». Видели их, мол, на заставах: бородатые, жуткие, прямиком из Сибири «выбежали». Но чаще и упорнее толковали, что холера — дело властей. Тут уж, как замечал очевидец, проглядывала вера во всемогущество «начальства».

В конце июня холера косила машисто. Денно и нощно тянулись обозы с мертвецами. Мертвецов кое-как прикрывали рогожами. Умерших хоронили на новом, «опальном, отчужденном» Митрофаньевском кладбище. Хоронили без духовенства, ночью, при факелах.

Евдокия Степановна не могла (а может, и не смела) удерживать Василия Михайловича на даче. Каждый день, после завтрака, вице-адмирал садился в казенный экипаж, запряженный четверкой, и отправлялся в Петербург. Он ездил в Адмиралтейство, ездил на верфи, на Охту, где жили плотники и столяры, кузнецы, конопатчики, мачт-макеры, как по старинке называли умельцев, изготовлявших корабельные мачты.

И 29 июня в утренний час Головнин, как обычно, отправился на службу. А в пятом часу пополудни, раньше обыкновенного, знакомая жене и детям высокая зеленая карета привезла его домой.

Головнин умирал, пораженный холерой.

Молодым волонтером он едва не погиб в океане. Моряки, поддерживая друг друга за плечи, пели наперекор буре, медленно и торжественно пели: «И перед взором твоим тысяча лет проходит как один вечер».

Как один вечер...

Кронштадт, 1947.
Москва, 1968.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Много любопытного из истории Гулынок любезно сообщил мне в 1966—1967 гг. Андрей Филиппович Щегольков. Дед его был тамошним крепостным, сам А. Ф. Щегольков прожил почти всю свою долгую жизнь в Гулынках.

В письмах А. Ф. Щеголькова зафиксированы крестьянские легенды о В. М. Головнине, передававшиеся из поколения в поколение. Резко отделяя В. М. Головнина и его сына А. В. Головнина от прочих гулынских душевладельцев, автор писем нисколько не идеализирует деревенскую жизнь «под помещиком».

Что же до материалов родовых, то они — за 1793—1916 гг. — составляют фонд 98 Государственного архива Рязанской области. Там же фонд (№ 1367) родственников Головниных — Саломон П. И., Саломон А. П. — за 1825—1917 гг.

[2] В. К. Кюхельбекер, будучи узником Свеаборгской крепости, читал «Письмовник» Курганова и в дневнике своем отметил, что «Письмовник» «вовсе не так дурен», как он, Кюхельбекер, наперед предполагал. Подчеркнув необычайную полноту собрания русских пословиц, Кюхельбекер отмечает также, что и повести Курганова «гораздо лучше большей части печатаемых ныне». Кюхельбекер В. К. Дневник. Л., 1929, С. 51—52.

[3] И. Л. Голенищев-Кутузов (1729—1802), человек действительно просвещенный, в Кронштадт почти не наведывался. В тот год, когда он издал перевод Госта (1764), его назначили эдаким морским дядькой к десятилетнему генерал-адмиралу, будущему императору Павлу I. Кроме того, Голенищев был генерал-интендантом флота и членом Адмиралтейской коллегии. Где уж тут таскаться в Кронштадт и вникать в жизнь учебного заведения.

[4] В 1802 г. в России были образованы восемь министерств, в том числе военных морских сил (с 1815 г. — морское министерство). В это ведомство входили Адмиралтейств-коллегия и Адмиралтейский департамент. Коллегия занималась содержанием, комплектованием, снабжением и действием флота. Членами ее назначались флагманы, двое из которых ежегодно сменялись. В департаменте заседали «люди, известные ученостью и сведениями, морскому искусству существенную пользу принести могущие».

К последним принадлежал и благодарно помянутый Головниным П. Я. Гамалея (1766—1818). Платон Яковлевич оставил заметный след в истории русского морского образования как автор прекрасных морских учебников. В 1801 г. он был избран почетным членом Академии наук. Небезынтересно отметить, что П. Я. Гамалея — предок советского ученого, почетного академика Н. Ф. Гамалеи.

[5] Уильям Блай, бывший штурман Кука, командовал в 1788—1789 гг. кораблем «Баунти». Среди отъявленных тиранов в капитанском сюртуке Блаю по праву принадлежит одно из первых мест. В Тихом океане на «Баунти» вспыхнул мятеж.

Капитан с несколькими верными ему моряками был высажен в шлюпку, а мятежный экипаж обрел убежище на необитаемом полинезийском острове Питкерн. Низложенный Блай совершил длительный шлюпочный переход и уцелел. Уцелел и остался Блаем: назначенный командиром военного корабля, довел команду до исступления; назначенный губернатором Нового Южного Уэльса (Австралия), «добился» восстания колонистов. Судьба Блая, мятеж, поселение на острове Питкерн не однажды описаны историками и беллетристами. (См., в частности: Фальк-Рённе А. Слева по борту — рай. Путешествие по следам «Баунти». М., 1980.) В 1962 г. в Ла-Манше маячил близнец пресловутого корабля — американцы снимали фильм «Бунт на «Баунти».

Совершенно иная характеристика У. Блая принадлежит нашему соотечественнику, не раз упомянутому в этой книге. П. В. Чичагов встретил У. Блая в 1796 г. в Англии. Вот отзыв: «Общество его приятно, обхождение ласково и беседа полезна... Весьма малое число людей в состоянии столько претерпеть и столько догадкою своею изобрести средств к спасению своей жизни и еще семнадцати с собою. Он столь любезного обхождения, что я истинно не понимаю, как они, изверги, могли поступить с ним так жестоко». Архив князя Воронцова. М., 1881. Кн. 19. С. 6—7.

Нам остается недоумевать по поводу этого «не понимаю». Странно, П. В. Чичагов, человек далеко не глупый, даже и не предполагает возможность, так сказать, разного поведения в зависимости от обстоятельств места.

[6] Любопытно было бы прочесть рапорт вице-адмирала Барти о столь позорном для престижа его эскадры «упущении». Архивы британского Адмиралтейства несомненно содержат документацию, запечатлевшую уникальный подвиг Головнина. К сожалению, мне не удалось навести справки.

Моряк-декабрист Д. И. Завалишин писал, что после происшествия с «Дианой» «русские корабли избегали м.Доброй Надежды», опасаясь недоброжелательства околпаченных представителей администрации гордого Альбиона. Опасения, прибавляет автор мемуаров, были, вероятно, напрасными, ибо англичане, по его мнению, сознавали свое вероломство — ведь «ученые экспедиции составляют всегда изъятие из военного права». Завалишин Д. И. Записки декабриста. Спб., 1906. С. 69.

[7] Цитирую анонимное «Путешествие в Санкт-Петербург в 1814 году с заметками об императорском русском флоте». Автор, английский корабельный хирург, человек, судя по книге, богатого морского опыта, в течение двух лет был прикомандирован к нашей Балтийской эскадре.

[8] Л. А. Гагемейстер (1780—1834), уроженец Латвии, дважды обогнул земной шар, уточнил карты некоторых островов Тихого океана, строил на Байкале суда, умер капитаном первого ранга. «Старинным другом и сослуживцем», «сведущим и опытным офицером» называет его Головнин.

[9] А. А. Баранов (1746—1819) был первым главным правителем русских поселений в Америке. В 1818 г., прожив десятки лет в Новом Свете, отправился в Петербург на корабле «Кутузов» (командир Л. А. Гагемейстер). В пути, у острова Ява, скончался.

[10] Писатель и географ Ю. К. Ефремов работал на Курильских островах после Великой Отечественной войны. Одна из задач экспедиции заключалась в возрождении русских географических названий, похороненных за долгие годы японского правления. «Перед нами, — пишет Ю. К. Ефремов, — встал вопрос: не использовать ли карту Шпанберга при восстановлении старых названий? К сожалению, это оказалось неосуществимым. Островов на своей карте Шпанберг нарисовал больше,

чем их было в действительности. Возможно, что туман, застилая низкие перешейки, разделял целые острова на части, и Шпанберг изобразил по нескольку островов на месте единого острова. Контуры при этом получились такими искаженными, что невозможно было их опознать». Ефремов Ю. К. Курильское ожерелье. М.; Л., 1951.

Об изначальных экспедициях см., например, содержательную работу Б. П. Полевого «Первооткрыватели Курильских островов: Из истории рус. геогр. открытий на Тихом океане в XVIII в.» (Южно-Сахалинск, 1982.)

[11] Булгарин Ф. В. Воспоминания: Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни. Спб., 1846—1849. Ч. 1—6.

Экземпляр мемуаров, хранящийся в Библиотеке им. В. И. Ленина под шифром S 73/95, испещрен язвительными восклицаниями читателя-современника. Одно из них особенно примечательно. На страницах 315—316 автор «Воспоминаний» как бы мимоходом лягает мертвого льва, утверждая, что «гениальный Пушкин» изъяснялся «более по-французски, думая этим придерживаться высшего тона», и что «похвала какого-нибудь князя» была ему дороже похвалы Державина. Рядом гневная отповедь неизвестного читателя: «Вздор и ложь: я знал Пушкина и помню, что он охотно и прекрасно говорил по-русски. Но Булгарин не может позабыть и переварить эпиграммы Пушкина». И далее: «Гнусная ложь: нельзя было держать себя благороднее Пушкина...»

Насколько мне известно, пушкинисты не обратили внимания на этот экземпляр булгаринских мемуаров. Представляется небезынтересным установить автора маргиналий.

[12] Экземпляр книги Г. Давыдова, читанный В. М. Головниным, находился в библиотеке писателя Вл. Лидина. «Во множестве карандашных пометок, подчеркнутых строчках, восклицательных и вопросительных знаках можно ощутить твердый характер знаменитого мореплавателя... В пометках этих во всей полноте проявляется благородство просвещенного деятеля, непримиримого к взяточничеству, поборам и угнетению человека». (Лидин Вл. Наедине с книгами//Новый мир. 1957. № 6.)

[13] Позденеев Д. М. Материалы по истории Северной Японии и ее отношений к материку Азии и России. Иокохама, 1909. Т. 2, ч. 3.

Отмечая «серьезность и вдумчивость» В. М. Головнина, автор, однако, упрекает его в несерьезном, невдумчивом отношении к «боевым способностям» японцев. А коль скоро такое отношение было усвоено, то и оказывается, что Головнин в известной степени (ему известной, Д. Позденееву) повинен в неудачах русско-японской войны, происходившей без малого столетие спустя.

[14] В дневнике он еще красноречивее: «Последовавшее 11 июня 1811 года с нами при острове Кунашир несчастие помрачило мой рассудок. Волнующиеся мои мысли везде представляли мне толпы соединенных бедствий, стремящихся поразить меня». Рикорд П. И. Записки флота капитана Рикорда о плавании его к Японским берегам в 1812 и 1813 годах и о сношениях с японцами. Спб., 1816.

[15] Сравнительно недавно опубликован документ, проливающий свет на намерение США способствовать освобождению В. Н. Головнина и его команды. (Россия и США: становление отношений, 1765—1815. М., 1980. Док. № 423.)

[16—17] Впрочем, не всегда отрывочной. В Библиотеке им. В. И. Ленина хранится объемистый — 1054 страницы — манускрипт «Канкай ибун». Это подробный рассказ японских рыбаков, проживших в России десяток лет, побывавших в Петербурге, получивших аудиенцию у Александра I и т. д. На родину их доставил И. Ф. Крузен-

штерн, совершавший кругосветное плавание. (Подробнее: Давыдов Ю. В. Кольцо морей, или Приключения четырех японцев и одной рукописи // Мир приключений. М., 1962. Кн. 7.)

Головнину в Японии показывали чертежи перехода Крузенштерновой «Надежды» из Кронштадта в Нагасаки. Эти чертежи (планы) сделали японские пассажиры русского шлюпа. Василий Михайлович и удивился, и восхитился. «На них, — пишет он, — были изображены Дания, Англия, Канарские острова, Бразилия, мыс Горн, Маркизские острова, Камчатка и Япония — словом, все те моря, которыми они плыли, и земли, куда приставали. Правда, что в них не было сохранено никакого размера ни в расстоянии, ни в положении мест, но если взять в рассуждение, что люди сии были простые матросы и делали карты на память, примечая только по солнцу, в которую сторону они плыли, то нельзя не признать в японцах редких способностей».

[18] Эдо — первоначально замок, возведенный в 1590 г. полководцем Токугава Иэясу. В 1603 г. Токугава провозгласил себя сегуном, правителем. Его династия господствовала около двух с половиной веков. Все это время императорский двор роскошествовал в городе Киото. Император царствовал, сегун правил. Одной из черт токугавского режима был курс на изоляцию от внешнего мира. Еще многие годы спустя после головнинского пленения сегунат в десятый, кажется, раз подтвердил неизменность избранного курса. После свержения сегуната в конце 60-х гг. XIX в. резиденцией императоров становится Эдо, переименованный в Токио.

[19] Во время русско-японской войны пленный мичман Анатолий Толстопятов бежал с товарищами из заключения. Они тоже скитались в горах и тоже были пойманы. Кляня почем зря «наглых и надменных» островитян, мичман, однако, отмечает, что японцы отнеслись к беглецам весьма снисходительно. (См.: Толстопятов А. М. В плену у японцев. Спб., 1908.)

[20] Этот «лексикон» сохранился среди бумаг В. М. Головнина, находящихся в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота (Ленинград).

[21] Почти век спустя, во время русско-японской войны, офицеров содержали в плену еще вольготнее. В уже цитированной книжке А. Толстопятова сказано: «Пленные офицеры имели каждый отдельную комнату, пользовались садом, в их распоряжении был биллиард и теннис, наконец, они получали жалованье от русского правительства по 50 р. в месяц и, казалось, ни в чем не нуждались. Но, боже мой, какое то было тяжелое, беспросветное существование!»

[22] Это послание П. И. Рикорд поместил в своей книге без каких-либо сопроводительных восклицаний, полагая, что оно говорит само за себя. Иначе поступил Ф. Булгарин. Много лет спустя ему попались подлинники японских писем Головнина на рисовой бумаге. Публикуя автографы в цитируемых выше «Воспоминаниях», Булгарин предварил их панегириком. «Письма сии вполне характеризуют геройский дух русского моряка. Если бы подобное событие случилось в Древнем Риме, то Головнин был бы прославлен, как Регул!» Преамбулой Булгарин не удовольствовался, он снабдил письма сносками: «Есть ли что выше в летописях Древней Греции и Древнего Рима!», «Вот истинное самоотвержение, т. е. геройство!», «Истинное величие!»

Не мне оспаривать сущность этих похвал, разбирать историческую достоверность мученичества консула Регула в плену у карфагенян. Примечательно другое. Автор «Воспоминаний», будучи русским офицером, дезертировал и сражался в 1812 г. под знаменами Наполеона. В 1820 г. вынырнул в Петербурге и занялся литературой. «Литераторствовал» Булгарин и для Третьего отделения, пользуясь «презритель-

ным покровительством» тайной полиции. И вот, уже старцем, умиляется Головниным.

[23] Мичман Мур вынужден был вернуться в Россию. От позора спасся смертью: наложил на себя руки. Не умел жить, так хоть сумел умереть... Его прежние товарищи не унизились до сведения счетов с покойным. Надпись на могиле гласила: «В Японии оставил его провождавший на пути сей жизни ангел хранитель. Отчаяние ввергло его в жестокие заблуждения. Жестокое раскаяние их загладило, а смерть успокоила несчастного. Чувствительные сердца! Почтите память его слезою...»

В. Кондрашкин (Пенза) произвел весьма любопытные разыскания, связанные с Муром. В своей заметке по этому поводу, опубликованной в газ. «Книжное обозрение» (1980. 23 мая), он сослался на мемуары В. А. Инсорского «Половодье». Дедом писателя со стороны матери был англичанин Мур, поступивший на русскую службу и впоследствии исполнявший многотрудные обязанности городничего в одном из уездных городов Пензенской губернии. Мичман же Мур приходился В. А. Инсорскому дядей. Автор заметки обращает внимание на Мура, персонажа рассказа Александра Грина «Ночью и днем», и отмечает, что представителей этой фамилии он мог знать, жительствуя в Пензе.

[24] Адмирал Путятин (1803—1883), будучи в Нагасаки в 1854 г., напротив, не согласился с просьбой об отмене пушечного салюта и открыл оглушительную пальбу, к вящему удовольствию как своих офицеров, так и писателя Ивана Александровича Гончарова, прикомандированного секретарем к адмиральской особе. (См.: Гончаров И. А. Русские в Японии в начале 1853 и конце 1854 года: Из путевых заметок. Спб., 1855.)

[25] Судьбы рукописей и людей порой причудливо сплетаются. В 1864 г. старец Ф. Н. Глинка сообщал из Твери М. П. Погодину: «Знаете ли, что у меня находится большая тетрадь... (неразб. одно слово) бумаги, исписанная мелким почерком. Эта тетрадь — японская бумага; это собственноручный почерк Вас. Мих. Головнина. Драгоценный в своем роде, этот манускрипт принадлежал П. Ив. Рикорду».

Одаривая Глинку, адмирал Рикорд сказал: «Возьмите же в коллекцию Ваших любопытных бумаг этот портфель. В нем вся жизнь друга моего Головнина, написанная им в японской клетке».

Разбирая портфель, Глинка «не один раз испытал чувство глубокого умиления, читая строки, на которые, может быть, падали слезы благородного узника. Положение его было ужасно!».

Письмо Ф. Н. Глинки находится среди неопубликованных документов М. П. Погодина, хранящихся в отделе рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина.

А в отделе рукописей библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина хранится рукопись спутника В. М. Головнина штурмана А. Хлебникова «Японский плен семи россиян...».

[26] Во второй половине XVIII в. среди раскольников имела хождение рукопись о путешествии инока Марко в Японию. Путешествие по тем временам огромное: из Архангельской губернии, Кемского уезда, в Китай, из Китая в Японию. Можно только дивиться семимильным сапогам отважного северянина. Любопытный факт: Марко нашел в Японии русских староверов, потомков тех, кто укрылся там от преследования властей еще при царе Алексее Михайловиче. Следствие по делу «японских» раскольников производилось в 1807 г. (См.: Мельников-Печерский П. И. Полн. собр. соч. Спб., 1909. Т. 7. С. 22—23).

[27] В. Михельсон, «Записки» В. М. Головнина и «Фрегат «Паллада» И. А. Гончарова». Эта обстоятельная статья, единственная, кажется, в своем роде, помещена в Ученых записках Краснодарского педагогического института, вып. XIII, 1955. Подробнее см.: Михельсон В. «Путешествие» в русской литературе. Ростов н/Д. 1974.

Вообще же Василию Михайловичу, что называется, не повезло: литературоведы, даже авторы узкоспециальных работ, замалчивают Головнина. В. П. Вильчинский, исследователь русской маринистики, лишь мимоходом назвал его имя. Приходится довольствоваться общим (впрочем, справедливым) утверждением: «Жанр морских путешествий, в истории которого необходимо учитывать его ранних представителей, получил широкое распространение в середине XIX в. в творчестве выдающихся мастеров критического реализма» (Вильчинский В. П. Русские писатели-маринисты. М.; Л., 1966).

[28] Первый русский пароход, построенный петербургским заводчиком Карлом Бердом, совершил свой первый рейс Петербург — Кронштадт в ноябре 1815 г. «Елизавета» имела машину в четыре лошадиные силы и покрывала в час около девяти верст.

П. И. Рикорд опубликовал в «Сыне Отечества» специальную статью о преимуществах паровых судов и блистательной их будущности. «Классик» парусного флота, он прежде многих и многих коллег разглядел «закат парусов».

[29] Ардальону Лутковскому (очевидно, заступничеством будущего шурина) вернули звание гардемарина. Служил он недолго: в 1822 г. погиб у берегов Голландии.

О Феопемпте Лутковском см. примеч. 44.

Двое других Лутковских, Нил и Петр, были удачливее Ардальона. Нил дрался с французами во время Отечественной войны, получил боевой орден; в год отправления «Камчатки» находился в Свеаборге. Петр Лутковский пережил братьев и умер в 1882 г. полным адмиралом. Его бумаги, в том числе письма В. М. Головнина, хранятся в отделе рукописей библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Любезно сообщено Ц. И. Грин.

[30] Двухтомные записки Ф. П. Литке находятся в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота (Ленинград).

[31] Правда, среди документов Ф. П. Врангеля встречались верные заметки о Южной Америке. Он посетил ее вторично, командуя транспортом «Кроткий», и подчеркнул, что бывшие испанские колонии подпали под власть английских и североамериканских предпринимателей. (См.: Давыдов Ю. В. Фердинанд Врангель. М., 1959.)

[32] Дремлюг В. В. Разоблачение русским мореплавателем В. М. Головниным подготовки американской агрессии против Русской Америки в начале XIX века //Учен. зап. Высш. аркт. морского училища им. адмирала Макарова. 1954. Вып. 5

[33] Георг Шеффер еще долго носился с проектом покорения Гавайских островов. Но его императорское величество отверг домогательства медика, ибо, как выразился министр иностранных дел, мало было надежды «на прочность такового водворения». Разобиженный геттингенец променял Россию на Бразилию, угрелся подле тамошнего трона и воспарил до того, что достиг титула графа Франкентальского. (Подробнее см.: Болховитинов Н. Н. Авантюра доктора Шеффера на Гавайях в 1815 — 1819 гг. // Новая и новейшая история. 1972. № 1.)

[34] М. Т. Тиханов (Тихонов) находился в лечебнице несколько лет. Очевидно, хлопотами Головнина ему определили пенсию. Умер в 1862 г., 73 лет от роду. Сбережения завещал Академии художеств. (Подробнее см.: Шур Л. А. Художник-путешественник Михаил Тиханов//Латин. Америка. 1974. № 5.)

[35] Записки А. В. Головнина «Для немногих» находятся в его фонде (№ 851) в Центральном государственном историческом архиве СССР (Ленинград). Сведения о других детях — см.: Великий князь Николай Михайлович. Петербургский Некрополь. Спб., 1912. Т. 1. С. 636—637.

Переписка детей В. М. Головнина и его жены Е. С. Головниной, пережившей мужа без малого на полвека (1880), хранится в Пушкинском доме, шифр 6059/XXII б. 12.

[36] Поразительна, выражаясь современным языком, работоспособность автора и оперативность издателей — уже в феврале 1820 г. В. К. Кюхельбекер писал: «Между прозаическими статьями первых пяти книжек «Сына Отечества» первое место занимают: Путешествие вокруг света флота капитана Головнина... Статьи занимательные, написанные без всех пустых украшений, восторгов и восклицаний» (Невский зритель. 1820. Февраль. С. 117).

[37] В. М. Головнин питал неприязнь не к немцам, а к неметчине. Оценивая профессиональные достоинства сослуживцев, он исходил из наличия или недостатка этих достоинств, а не из национальной принадлежности.

И. Ф. Крузенштерн, начальник первой русской экспедиции вокруг света, географ с громким европейским именем, человек в высшей степени добропорядочный, писал в ноябре 1819 г. В. М. Головнину: «Письмо, каковым вы изволили удостоить меня от 14 ноября, весьма обрадовало меня, тем более по тому, что оно служило мне прямым доказательством, что пользуюсь еще вашею дружбою. Крайне приятно мне узнать от вас самих, что вы довольны г. Врангелем, и премного вам благодарен, что вы изволили его назначить в новую экспедицию» (Центр. гос. архив ВМФ, ф. 14, оп.1, д. 252, л. 54).

[38] Успех экспедиции Ф. П. Врангеля (1820 — 1824), как и успех экспедиции П. Ф. Анжу, был признан географами и полярниками всего мира. Книгу Врангеля, просмотренную в рукописи Головниным, перевели на иностранные языки. В Англии быстро разошелся первый тираж, был выпущен второй.

[39] Н. И. Шульговская произвела тщательный «опыт реконструкции» личной библиотеки В. М. Головнина. Около 5000 томов этой библиотеки поступили в 1921 г. из Рязани в библиотеку Московского университета. (См.: Из коллекций редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. М., 1981.) Библиотека В. М. Головнина состояла из сочинений как литературных, так и научных. В букинистических магазинах до недавнего времени случалось обнаруживать книги с экслибрисами В. М. Головнина. (См., напр.: Дзюба О. Странствия старой книги // Кн. обозрение. 1981. 22 мая.)

[40] В первом издании Василий Михайлович поместил и очерк будущего декабриста, моряка Николая Бестужева «Крушение российского военного брига «Фальк». Головнин сопроводил очерк дружеским примечанием: «Н. Бестужев с успехом занимается словесностью: просвещенные читатели уже знают его по весьма приятному сочинению «Записки о Голландии»; а ныне по повелению Государственного адмиралтейского департамента занимается сочинением Российской морской истории». Во втором издании имя декабриста было вычеркнуто, хотя со времен «происшествия» на Сенатской площади минуло почти 30 лет. Впрочем, подобные «устранения» у нас не редкость.

[41] В архиве В. М. Головнина сохранились списки стихов Пушкина «Вольность», «Моя родословная», «Послание к цензору» и др.

[42] Головнин слишком категоричен. П. В. Чичагов, наверное, не был образцовым министром. Однако Чичагов не потерпел нареканий даже от бесноватого Павла

и угодил в крепость. Человек независимых суждений, он открыто уничижал дворцовую чернь. Герцен весьма уважительно отзывался о П. В. Чичагове.

[43] Автограф хранится в отделе рукописей публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Шифр: Э П-243.

[44] Черноморские ветры выветрили из Ф. Лутковского либеральный дух. Он «образумился». В архиве Октябрьской революции, в фонде Мраморного дворца, я читал его подхалимские письма тогдашнему руководителю флота светлейшему князю А. С. Меншикову, которого презирали все честные моряки, в том числе и приятель Лутковского Ф. Ф. Матюшкин. Ф. С. Лутковский умер в 1852 г. контр-адмиралом свиты его величества.

[45] В наше время, после Великой Отечественной войны, на острове Кунашир, где некогда пленили капитана «Дианы», возник рыбачий поселок Головнино. Там же, на Кунашире, высится вулкан Головнина, двуконусный, с двумя озерами: одно спокойное, другое, меньшее, постоянно кипит.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Владимирович Давыдов

ВЕЧЕРА В КОЛМОВЕ
И ПЕРЕД ВЗОРОМ ТВОИМ ...

Редактор *Т. В. Громова*
Художественный редактор *Т. В. Добер*
Технический редактор *А. З. Коган*
Корректор *В. А. Коротаева*

ИБ 1242. Сдано в набор 22.06.88. Подписано в печать 09.01.89. Формат $60\times90^1/_{16}$. Бум. офс. № 1. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 42,5. Уч.-изд. л. 24,17. Тираж 200 000 экз. Изд. № 3822. Заказ № 1481. Цена в бумвиниле 1 р. 90 к., в коленкоре 2 р. 10 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Давыдов Ю. В.

Д 13 Вечера в Колмове. Повесть о Глебе Успенском. И перед взором твоим... Опыт биографии моряка-мариниста. — М.: Книга, 1989. — 334 с., ил. — (Писатели о писателях).

Повесть о Глебе Успенском рассказывает о последних, самых драматических годах жизни замечательного русского писателя. Но вместе с тем она вмещает все его нравственные искания, сомнения, раздумья о русском народе и его судьбе. Написанная ярко, страстно, повесть заставляет сегодняшнего читателя обратиться нравственным проблемам, связанным с судьбой народа. В книгу включены повесть о русском мореплавателе и писателе Василии Головнине, а также в сокращенном варианте «Дневник Усольцева», ранее печатавшиеся в издательстве «Молодая гвардия».

Книга иллюстрирована. Для широкого круга читателей.

$$Д \frac{4702010201-016}{002(01)-89} 22-89$$